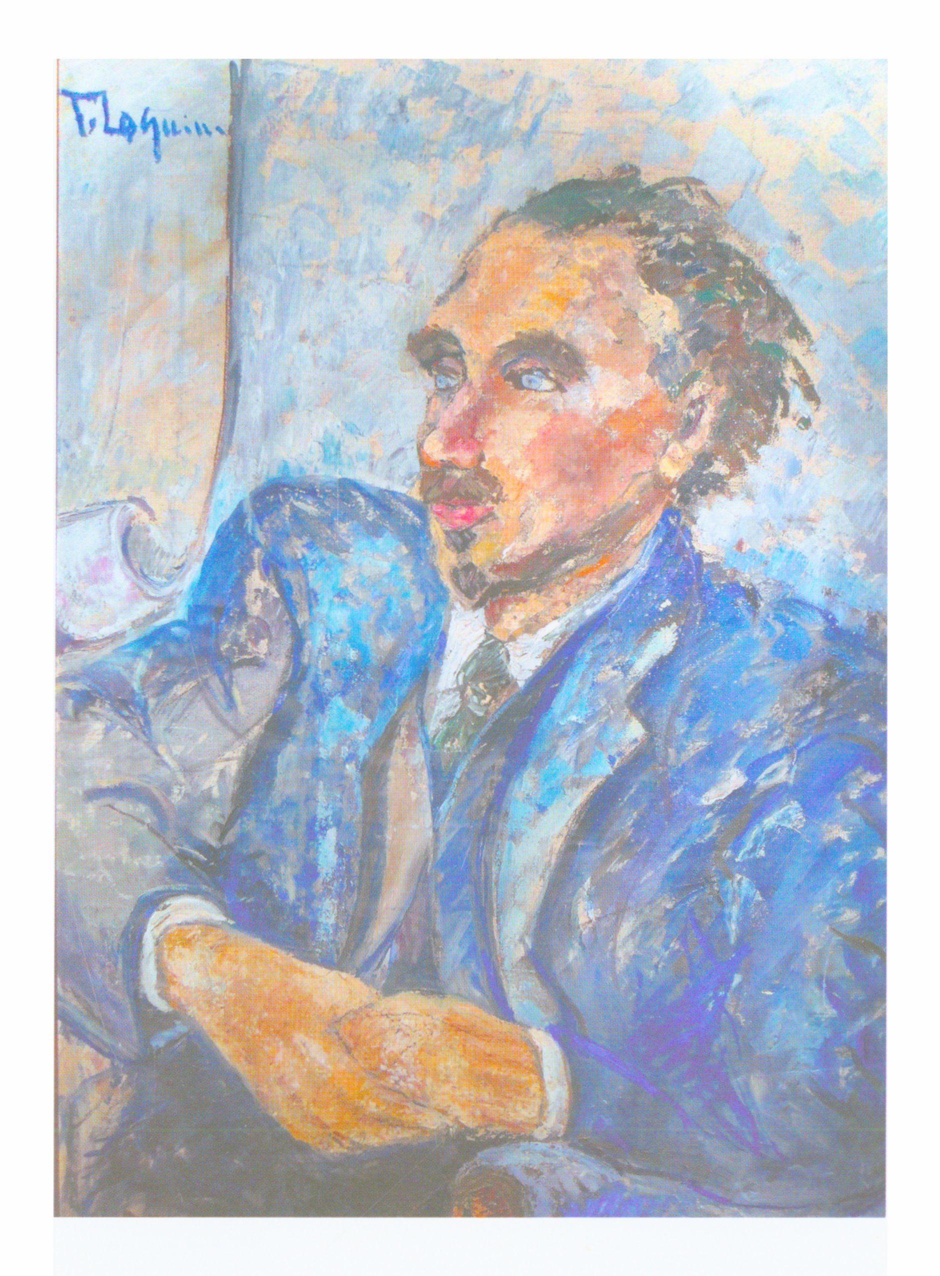
Г. П. ФЕДОТОВ

Собрание сочинений

SAM & SAM



Татьяна Муравьева-Логинова. Портрет Г. П. Федотова. Париж, 30-е годы

Г. П. ФЕДОТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

SAM & SAM
2011

Г. П. ФЕДОТОВ

ТОМ
ПЯТЫЙ

И есть, и будет

SAM & SAM
2011

ББК 87.3
Ф 34

Федотов Г. П.
Ф 34 Собрание сочинений в 12 т. Т. 5: И есть, и будет / Примеч. С. С. Бычков. – М.: Sam & Sam, 2011. – 424 с.

В V том собрания сочинений Г. П. Федотова вошли произведения, созданнные им на протяжении 30-х годов. Исключение – «Церковь и социальная правда» – тезисы, написанные им по просьбе Всемирного Совета Церквей в 1949 году, за два года до смерти. Две трети V тома составляет книга «И есть, и будет» (Размышления о России и революции), вышедшая в Париже в 1932 году. В свою очередь книга выросла из четырех из статей, опубликованных в начале 30-х годов в журнале «Современные записки». В V том также вошли его статьи из журналов «Новый град», «Современные записки» и «Новая Россия». Их объединяет общая тематика – проблемы свободы и демократии, а также социализма в его подлинном значении, очищенном от ядовитых примесей коммунизма.

ISBN 5-7248-0037-3
ISBN 5-7164-0592-3, т. 5

© С. С. Бычков, составление, примечания, 2011

И есть, и будет

Размышления о России и революции

Нижеследующие очерки, задуманные с самого начала, как книга, почти все были напечатаны в журнале «Современные Записки» (первые три еще ранее в газете «Дни»). Впервые появляются в печати отдел «Схема революции», глава «Советская система» и, в значительной части, «Сегодняшний день». Замысел книги явился для автора в форме «трилогии». Революционная Россия вытекала из России императорской и создавала условия для построения России будущей. Размышления историка должны были служить основой для акции политика — или политиков — национальной России. Самое уязвимое место схемы — «сегодняшний день». Незаконченность революционного процесса в России мешает очертить его в точной схеме: каждый следующий день опрокидывает в чем-нибудь конструкцию дня вчерашнего. Схема автора сложилась на исходе периода, именуемого НЭПом: в этом ее естественное ограничение и ее слабость. Однако, несмотря на совершенно новую революционную ситуацию, созданную Сталиным, автор не отказывается от выводов своего анализа движущих сил революции и от предвидений элементов России будущей. Вторая часть книги, в своей фрагментарности, приносится в жертву идее целого: без этой жертвы книга вообще не могла бы увидеть свет.

По отношению к первой части, автор должен заявить, что его очерки не задаются целью воссоздать облик старой императорской России. Это всего лишь история болезни — схематическая до крайности. Из многих линий декаданса автор выбрал линию социальную лишь потому, что она прямее всего подводит к те-

ме революции. Русская революция развивалась и победила, как революция социальная. Но даже в этих рамках многое существенное не затронуто: напр., экономическое развитие. Сами отношения между общественными классами становятся понятны лишь на фоне духовной жизни общества. Эта основная тема русской истории, которой автор касался в другой связи, здесь лишь просвечивает сквозь социальный узор, сама его освещая.

Оценка недавнего прошлого для автора подчинена задаче искания нового национального сознания. По отношению к этой основной задаче пересмотр традиции является, выражаясь моральным языком, актом покаяния. Ничто так не вредит созидательной работе будущего, как закоренелость в старых грехах, выражающаяся в постоянных попытках идеализации России вчерашнего дня. Все это хилые попытки пересудов уже совершившегося Божия суда.

Если для русской молодежи в России основной задачей является введение в наследство бессмертной культуры старой России, восстановление порванной связи поколений, то здесь, за рубежом, это же восстановление связи достижимо лишь путем отречения от тленного и мертвого в прошлой культуре.

В анализе революции и творимой ею новой России автор обязал себя к рассечению ее элементов: разрушительных и мертвых — революции коммунистической, и творчески-живых — революции народной. Отсюда разница в оценках явлений, внешне схожих и между собою связанных. Предпосылка двух революций (или революционной псевдоморфозы[1]) неизбежна для положительного построения пореволюционной России. Автору чуждо всякое идолопоклонство перед стихией, как революционного народничества, так и всех оттенков современного скифства. Однако, не отождествляя волю народа ни с правдой, ни даже с волей России, автор готов пожертвовать ради народа многим, дорогим и привычным для него из старого наследства политической и социальной культуры.

Эти жертвы особенно значительны в перспективах будущей России. Национальная Россия для своего бытия требует отречения от всех кумиров, которым служили в старой России: от монархии, социализма и формальной демократии. Каждая политическая группа, и каждый общественный деятель должен совершить за себя этот тяжелый акт отречения — не от святы-

ни, которой он служил, но от тленной ризы своей святыни. В новых формах, на новых путях России, мы будем служить все той же вечной правде, которой служили и строители государства русского и мятежное мученическое воинство русской интеллигенции.

Лишь совершивший эту суровую работу отречения может надеяться войти не бесполезным работником в мастерскую новой России.

Революция идет

1. Когда зашаталась империя?

Две силы держали и строили русскую империю: одна пассивная — неисчерпаемая выносливость и верность народных масс, другая активная — военное мужество и государственное сознание дворянства. Теперь всякому ясно, до какой степени эти силы были чужды друг другу. Со времени европеизации высших слоев русского общества, дворянство видело в народе дикаря, хотя бы и невинного, как дикарь Руссо; народ смотрел на господ, как на вероотступников и полунемцев. Было бы преувеличением говорить о взаимной ненависти, но можно говорить о презрении, рождающемся из непонимания. Отдельные примеры патриархальных отношений к крестьянам в иных помещичьих семьях, сохранивших православный быт, не опровергают основного факта. Он засвидетельствован Пушкиным для дней Екатерины, Толстым для Двенадцатого года и середины прошлого столетия. Единственной скрепой нации была идея царя — религиозная для одних, национальная для других. Не трудно видеть, что дворянская империя и мужицкое царство — совершенно разные идеи. Монархизм русского дворянства, наследственный, кровный, даже религиозно окрашенный, был очень близок к легитимизму французского дворянства или прусского юнкерства. В основе его лежала идея рыцарской верности государю-сеньору, верности данной присяге, своему, дворянскому слову. Эта личная, почти феодальная связь углублялась патриотическим сознанием, видевшим в государе средоточие национальной жизни, воплощение отечества. Идея национального служения государя была привита нам с Петра.

Идея дворянской, личной верности выковалась в изменнических гвардейских переворотах XVIII века. В век Екатерины дворянское монархическое чувство сложилось окончательно, и в существенных чертах своих жило до дней революции. Дворянство наше могло обожать государя, но не позволяло унижать себя. Оно уже не могло кланяться царю в ноги, как его предки в старой Москве, или лезть под стол в местнических спорах. Оно восприняло западные начала личной чести и личной верности, хотя и в сословно-корпоративных формах.

Народ относился к царю религиозно. Царь не был для него живой личностью или политической идеей. Он был помазанником Божиим, земным Богом, носителем божественной силы и правды. По отношению к нему не могло быть и речи о каком-либо своем праве или своей чести. Перед царем, как перед Богом, нет унижения. Пытаясь свести царя на землю, очеловечить его в своем воображении, народ пользовался образом сказки. Царь Берендей, царь Додон приобретал то бармы и венец московского государя XVII века, то ленту через плечо и аксельбанты. Что касается государственного смысла империи, то он едва ли доходил до народного сознания. Россия с Петра перестала быть понятной русскому народу. Он не представлял себе ни ее границ, ни ее задач, ни ее внешних врагов, которые были ясны и конкретны для него в московском царстве. Выветривание государственного сознания продолжалось беспрерывно в народных массах за два века империи. Россия такова, какой хочет ее царь. Это было подчинение по доверию, а не по убеждению, что не мешало ему быть безусловным и неограниченным. «Поляк ли бунтует» или «наш батюшка велел взять дань с китайцев чаем», народ готов лить свою кровь, не считая, не спрашивая объяснений. Но он льет ее «за веру и царя». Отечество здесь на последнем месте. Для дворянства оно на первом. У него и народа в обиходе даже разные имена для верховного носителя власти. Одни называют его государем, другие — царем. «Государь» — «prince», «seigneur». Это старое московское слово переводимо на иностранные языки. «Царь» — непереводимо, ибо мистически связано с русской религиозной идеей.

Соединение мужицкого царя с дворянским государем создавало из петербургской императорской власти абсолютизм, небывалый в истории. Неограниченный государь Западной

Европы, на самом деле, был ограничен личными и корпоративными правами, еще более – правовым чувством аристократии. Московский царь (как все деспоты Востока) был ограничен религиозными верованиями и бытовым укладом народной жизни. Петербургские самодержцы могли, опираясь на народ, подавлять дворянство и, опираясь на дворянство, разрушать быт, оскорблять нравственное чувство народа. Религиозная концепция власти, в связи с невидимостью, нереальностью для народа ее носителей, сообщала им полную неуязвимость. Вся ненависть за поругание национальной правды направлялась на господ, на министров, останавливаясь у порога даже Екатерининского дворца.

Если на практике императорская власть обнаруживала большую мягкость сравнительно со своими юридическими возможностями, – то это потому, что, по своему воспитанию и культуре, государь был первым дворянином империи и должен был разделять европейские понятия о приличиях и благовоспитанности, свойственные своему классу. Однако, значение народной почвы самодержавия сказывалось всякий раз, когда дворянство пыталось, или только мечтало перевести свои бытовые и гражданские привилегии на язык политический. Против дворянского конституционализма царь всегда мог апеллировать к народу. Народ, по первому слову, готов был растерзать царских недругов, в которых видел и своих вековых насильников. В этой обстановке, при двойственности самой природы императорской власти, становится понятной ее органическая неспособность к самоограничению. Конституция в России была величайшей утопией.

В оболочке петербургской империи московское царство было, выражаясь термином Шпенглера, «псевдоморфозой». Раскрытие ее приводило само по себе к крушению построенного на ней здания государственности. Другими словами, русская государственность могла, – следовательно, должна была – погибнуть от просвещения.

В просвещении был весь смысл империи, как новой формы власти. Рождение империи в муках петровской революции предопределило ее идею властного и насильственного насаждения западной культуры на Руси. Без опасной прививки чужой культуры, и притом в героических дозах, старая московская

государственность стояла перед неизбежной гибелью. Речь шла, прежде всего, о технике и формах народного хозяйства. Но разве мыслима техника без науки, а новые формы хозяйства без новых хозяйствующих классов? Восемнадцатый век шел без раздумья и колебаний по европейской дорожке. (Только с новыми хозяйствующими классами дело обстояло слабо). Социальная пугачевщина, с одной стороны, и политический либерализм Новикова и Радищева, с другой, отмечают конец просвещенного абсолютизма в России. Отныне и до конца империя, за исключением немногих лет, стоит на противоестественной для нее, – но не удивительной для последних поколений – позиции охранения. То, что охраняется, – не вековые основы народной жизни, а известный этап их разрушения. В консервативный догмат возводится выдохшийся, мумифицированный остов петровской революции. В этом вечная слабость русского консерватизма – его подлинная беспочвенность. Консерватизм прекрасно понимал лишь одно: опасность просвещения для крепости империи. Трудно даже сказать, какое просвещение было опаснее: православно-национальное славянофилов или космополитическое и безбожное западников. И то, и другое разоблачало основную ложь, поддерживающую всю систему, – ложь, которую можно было бы наглядно выразить так: московский православный царь в мундире гвардейского офицера, или петербургский гвардейский офицер, драпирующийся в бармы московского царя.

Для всякого проницательного политика было ясно: когда сознание этого противоречия проникнет в тугие мужицкие головы, рухнет все здание величайшей в мире империи, построенной на искусно прикрываемой лжи. Другими словами, задача власти, как справедливо формулировали ее Леонтьев и Победоносцев, – заморозить Россию, ее заживо гниющее тело, оттянуть, елико возможно, неизбежный процесс разложения и смерти.

Но задолго до того, как раскрытие основной лжи расшатало крестьянский устой империи, зашаталось дворянство. Народ был еще, как мягкая глина в руках ваятелей, а творчество ваятелей уже иссякало. В военном и государственном отношении Россия достигла своего зенита при Екатерине, в культурном – при Александре. Потемкин, Суворов, Пушкин, Захаров[1] озна-

чают предельные вершины русской славы. Большего не могла дать дворянская Россия. Культурный расцвет запоздал вполне нормально на одно поколение. Но если остановиться на военной истории Александровского времени, то сквозь весь блеск его всемирных триумфов не трудно видеть, что подвиги его сынов уступают орлам Екатерины. Слишком ясно, что не военный перевес обеспечил победу над Наполеоном. Государственные люди и полководцы Екатерининской эпохи казались титанами для современников Александра. О новом поколении достаточно сказать, что оно ничего не уступило из старых лавров.

Если окинуть взглядом войны, которые Россия вела в XIX и XX столетиях, то линия упадка обозначится с поразительной четкостью. После турецкой войны 1827–1830 гг. Россия уже не знает побед. Все серьезные столкновения неизменно оканчивались для нее катастрофой. Даже турецкая война 1877–1878 гг. по своим жертвам и ничтожности политических результатов воспринималась современниками, как поражение. Эта военная слабость маскировалась непрерывным ростом империи. В XIX веке приобретается Кавказ, Туркестан, перед катастрофой 1904 г. — Манчжурия. Перед самой гибелью империи она утверждается в Монголии и северной Персии. Экспансия идет, не встречая серьезного сопротивления. «Дряхлый Восток» не противник и ослабленной России. Да и слишком велик накопленный за полтысячелетия капитал, чтобы промотать его за одно-два поколения. Сила инерции, присущая самой массе исполинского тела России, замедляет упадок.

Откуда эта неизбежность военных неудач России? Ее живая сила — «святая серая скотинка» генерала Драгомирова[2] — сохраняет почти до конца пассивный героизм, совершенно беспримерный. Севастополь, Плевна тому свидетели. Только в Манчжурии впервые дала трещину солдатская верность. Откуда же поражения? Говорят о технической отсталости, о злоупотреблениях в организации армии (интендантство!). Все это верно. Но почему же в век Петра, Екатерины, даже в век Александра русская армия не страдала от технической отсталости? Титанические усилия Петра и прогрессивная инерция его преемников завалили на время техническую пропасть между Россией и Западом. Недостаток технических средств заменялся с избытком количеством и качеством живой силы. Сама Европа

в XVIII веке жила спокойным темпом промышленной работы; весь XIX и начало XX непрерывная хозяйственно-техническая революция. Чтобы сохранить дистанцию, от России требовалось непрерывное и нечеловеческое напряжение. Достаточно сопоставить идиллию Николаевской – Гоголевской России с промышленной горячкой не только Англии 30–40 гг., но и Франции июльской монархии, чтобы получить головокружение от разверзающейся пропасти. Результатом был Севастополь.

Проблема технической отсталости России сводится к двум основным: слабости западного просвещения, отмериваемого с опаской и с оглядкой чайными ложками, и слабости торгово-промышленного класса, оттесняемого всюду дворянством. Первая возвращает нас к основному пороку власти, вторая к истории правящего класса.

К этим двум источникам приводит нас и другой урок Крымской войны. Он вскрывает не одну отсталость, но и нечто худшее: коррупцию «тыла». Здесь дала трещину созданная Сперанским[3] бюрократия. Бюрократия была, с одной стороны, формой самодержавной власти, с другой, по личному составу, «инобытием» того же русского дворянства. К дворянству надлежит обратить и первый вопрос об ответственности. До Александра II из числа сил, работавших по разложению империи, должна быть исключена революционная интеллигенция, по всем известной причине: она еще не существовала. Без нее происходило разложение Николаевской России. Из всех классов русского общества только одно дворянство являлось носителем государственной идеи и государственной власти. Ни в одном из других классов, живущих еще в старом московском быту, мы не видим симптомов разложения. Недуг поразил прежде всего тот класс, который был мозгом и волей страны, который полтора века, вместе со своим дворянским государем, строил судьбу России.

2. Дворянство

История русского дворянства еще не написана. Может ли она быть написана когда-нибудь удовлетворительно?

Живая семейная память старых русских фамилий не восходит дальше 18-го века. Петровская реформа, как мокрой

губкой, стерла родовые воспоминания. Кажется, что вместе с европейской одеждой русский дворянин впервые родился на свет. Забыты века, в течение которых этот класс складывался и воспитывался в старой Москве на деле государевом. Родившись в XV веке, широко пополнившись в XVI за счет пришлых, бродячих, даже преступных элементов общества (татар и казаков), поместный служилый класс выявил в опричнине свои социальные притязания, свою плебейскую мстительность против старого боярства, отбунтовал в Смутное время и, выйдя из него победителем, выдвинулся на первое место в государстве Романовых. Закрепощение крестьян было его экономическим завоеванием. Но Москва XVII в., в отличие от Петровской России, еще не была узко-сословным государством. Служилый класс правил страной не один, духовенство и купечество — земская Русь — имели еще голос на земских соборах, а первое из них и в царском совете.

Хотелось бы представить себе русского помещика XVII столетия в его бытовой обстановке, в его отношениях к крестьянам. До сих пор историки не собрали материала для этого социального портрета. Быть может, самое поразительное — это трудность представить себе московского профессионального воина с военными традициями, с оружием в руках. И эта трудность сама по себе говорит о многом. Русское военное сословие не обнаруживает никаких черт рыцарства. Рыцарство, в общем смысле феодальной этики и быта, свойственно не одному католическому Западу. Его знали и арабско-турецкий ислам и старая Япония. Вот этих-то самых общих черт профессионально-военного класса — высоко развитого чувства личной чести, независимости и увлечения боевым делом — мы не видим в московском служилом классе. Несомненно, военное дело было для него «службой», а не правом. Служба, как и «тягло», есть нечто такое, от чего можно уклониться, быть в «нетех»[1]. Рыцарство не знает «нетчиков»: оно выбрасывает беспощадно из своей среды — в клир, в монастырь — всех, лишенных военной доблести. Есть люди, которые объясняют слабость военного сознания московской Руси духом православия. Достаточно указать на православную Киевскую Русь, создавшую свое княжеское рыцарство, чтобы отвести эту ссылку. По-видимому, самая принудительность, государственное закрепощение военного де-

ла, как службы, парализовали развитие рыцарского сознания. Китай и древний Египет – как поздний Рим и Византия – тоже его не знают.

В XVIII веке дворянство стоит одно у трона. Оно оттесняет купечество и духовенство далеко вниз к черным, податным сословиям, к крепостному мужику. Оно одно восприняло дух петровской реформы: западное просвещение и новый имперский патриотизм. У европейского дворянства оно нашло, наконец, то, чего ему недоставало: кодекс чести, «chevalerie», и идеал военной доблести. Русское офицерство жило ими до дней великой войны, все более одинокое со своими «средневековыми» пережитками среди мирного, «цивилизованного» общества. Европейски воспитанные офицеры сделали русскую армию непобедимой. Вооруженный помещик в Москве умел отсиживаться за стенами крепостей, или трудиться, проливая более пота, чем крови, в обороне страны от азиатов. При преемниках Петра русские били пруссаков, французов – лучшие европейские армии. Россия создает и первоклассных военных гениев. Золотой век дворянства – дворянской царицы Екатерины – есть вместе с тем вершина русской государственной мощи.

Золотой век дворянства принес ему и дары Пандоры: указ о вольностях. Еще свежа была память о том роковом дне, когда раздоры в среде шляхетства и его политическая неорганизованность помешали ему закрепить в правовых формах его участие в государственной власти. Оно продолжало влиять на судьбу империи путем цареубийств и дворцовых заговоров. И благодарное самодержавие освободило его не только от власти, но и от службы. Дворянин остается государем над своими рабами, перестав нести – сознавать на своих плечах – тяжесть империи. Начинается процесс обезгосударствления, «дезетатизации»[2] дворянства, по своим роковым последствиям для государства аналогичный процессу секуляризации культуры – для Церкви. Его скрашивает пышный расцвет дворянской культуры: Александровские годы, век поэтов и меценатов, денди и политических мечтателей. Конечно, дворянство еще служит, еще воюет, но из чтения Пушкина, как и Вигеля[3], выносишь впечатление, что оно больше всего наслаждается жизнью. Эта утонченная, праздная среда оказалась великолепным питомником для экзотических плодов культуры. Но сама их экзотичность внушает

тревогу. Именно отрыв части дворянства – как раз наиболее культурной – от государственного дела усиливает заложенную в духе Петровской реформы беспочвенность его культуры.

Политическое мировоззрение декабристов, конечно, питается не столько впечатлениями русской жизни, сколько западным либерализмом. Их героическая фаланга в Пруссии строила бы вместе со Штейном[4] национальное государство. В России они не нашли себе места, или им не нашлось места. Трагизм России был в том, что «лишними людьми» в ней оказались не только слабые. Дворянство начинает становиться поставщиком лишних людей... Лишь небольшая часть их поглощается впоследствии революционным движением. Основной слой оседает в усадьбах, определяя своим упадочным бытом упадочные настроения русского XIX века.

Конечно, о Николаевской России нельзя судить по Гоголю. Но бытописатели дворянской России – Григорович, Тургенев, Гончаров, Писемский – оставили нам недвусмысленную картину вырождающегося быта. Она скрашивается еще неизжитой жизнерадостностью, буйством физических сил. Охота, любовь, лукулловские пиры и неистощимые выдумки на развлечения – заслоняют иппократово[5] лицо недуга. Но что за этим? Дворянин, который, дослужившись до первого, корнетского чина, выходит в отставку, чтобы гоняться за зайцами и дурить всю свою жизнь, становится типичным явлением. Если бы он, по крайней мере, переменил службу на хозяйство! Но хозяйство всегда было слабым местом русского дворянства. Хозяйство, т. е. неумелые затеи, окончательно разоряют помещика, который может существовать лишь на счет дарового труда рабов. Исключения были. Но все экономическое развитие XIX века – быстрая ликвидация дворянского землевладения после освобождения, – говорит о малой жизненности помещичьего хозяйства. Дворянин, переставший быть политической силой, не делается и силой хозяйственной. Он до конца, до дней революции, не перестает давать русской культуре людей, имена которых служат ее украшением. Но он же отравляет эту культуру своим смертельным недугом, имя которому «атония»[6].

Самое поразительное, что эта дворянская «атония» принималась многими за выражение русского духа, Обломов – за национального героя. Наши классики – бытописатели дворянства –

искали положительных, сильных героев среди иностранцев, не находя их вокруг себя. Только Мельников и Лесков запечатлели подлинно русские и героические образы, найдя их в нетронутых дворянской культурой слоях народа. Лесков — этот кроткий и склонный к идиллии писатель — становится жестоким, когда подходит к дворянскому быту. Самый могучий отпрыск дворянского ствола в русской литературе, Толстой произнес самый беспощадный суд над породившей его культурой и подрубил под корень вековое дерево.

Дворянская культура не могла пережить крестьянского освобождения. Хозяйственный упадок разорил почву, на которой некогда произрастали пышные цветы: усадьбы-дворцы с домашними театрами и итальянскими картинами, тонкий язык, воспитанный на галлицизмах, общение с передовыми умами Запада. Безостановочное продвижение разночинцев завершило «разрушение эстетики», гибель философии, порчу языка и, главное, искусства жизни. В России перестают веселиться, разучиваются танцевать, забывают самое сладостное из искусств — любовь. Наступает время желчевиков и поджигателей. С каждым поколением дворянство неудержимо падает, скудея материально и духовно. Последние зарисовки дворянскими беллетристами — Буниным, Ал. Толстым — своего класса показывают уже труп.

В смерти дворянства нет ничего страшного. В Европе XIX в. дворянство представляет тоже скорее упадочный, хотя и не сдающийся класс. Беда России в том, что умирающий класс не оставил после себя наследника. Его культурное знамя подхватили разночинцы, его государственной службы передать было некому. Поразительно: чем более хирело благородное сословие, тем заботливее опекало его государство, стремясь подпереть себя гнилой опорой. С Александра III дворянская идея переживает осенний ренессанс. Всякий недоучка и лодырь может управлять волостями в качестве земского начальника, с более громкой фамилией — целыми губерниями. Несомненно, что в этой запоздалой попытке оживления трупа самодержавие расточило весь свой моральный капитал, которым оно обладало еще на нашей памяти в сознании народных масс.

Но политическая пора дворянства ушла давно и безвозвратно. Отодвинутое монархией от участия во власти в начале XIX в.,

оно с тех пор утратило все политические традиции лучших своих дней. Теперь, когда понадобилась его служба, оно могло принести государству лишь опыт псарни и сенной. Среди всеобщей абулии[7] неврастеническое покрикивание капризного барина сходило за проявление сильного характера. Во дворце тосковали по сильным людям не меньше, чем тосковали по ним героини русских романов. Барановы, Зеленые и Думбадзе[8] были в государственном масштабе тем же, чем босяки Горького в литературе: допингом для усталых душ.

Дворянство, как класс, умирало. Это не значит, что оно растворилось бесследно. Напротив, его влияние в русской жизни было и осталось громадным. Дворянство, сходя со сцены, функционально претворилось в те силы, которые поделили между собой его былое государственное и культурное дело. Эти силы, призванные сменить его, были: бюрократия, армия, интеллигенция.

3. Бюрократия

Русская бюрократия — это новый служилый класс, который создает империя, пытаясь заменить им слишком вольное, охладевшее к службе дворянство.

В XVI веке смена княжеского боярства худородным поместным классом приняла характер насильственной революции, поколебавшей самые устои московского царства. В XIX веке реформа была проведена так бережно, что дворянство сперва и не заметило ее последствий. Дворянство сохранило все командные посты в новой организации и думало, что система управления не изменилась. В известном смысле, конечно, бюрократия была «инобытием» дворянства: новой, упорядоченной формой его службы. Но дух системы изменился радикально: ее создатель, Сперанский, стоит на пороге новой, бюрократической России, глубоко отличной от России XVIII века.

Пусть Петр составил табель о рангах, — только Сперанскому удалось положить табель о рангах в основу политической структуры России. XVIII век не знал бюрократии: плодил еще московских дьяков и подьячих, старое «крапивное семя», строчителей кляузных бумаг, побирушек и «ябедников», сообщающих провинциальному административному быту XVIII века столь

архаический допетровский стиль. Над этой армией старых приказных, переодетых в новые мундиры, всюду царит вельможа, роскошный и своевольный барин, который на службу склонен смотреть, как на жалованную вотчину. XVIII век – век временщиков и фаворитов – налагает на провинциальную Россию причудливые черты позднего европейского феодализма. Перед нами словно последние дни княжеских сеньерий – дни Фронды[1], феодальное лето св. Мартина[2], в канун политической смерти французского дворянства. Мемуары александровского времени еще отражают этот быт. Пленные французы 12-го года всерьез принимали саратовскую вотчину князей Голицыных за вассальное княжество. Порода и связи – помимо талантов – почти исключительно определяют служебную карьеру. Каждый вельможа поднимает за собой целый клан родственников, клиентов, прихлебателей. Карьеры создаются фантастически быстро, но столь же быстро и обрываются, в результате придворной катастрофы.

Попович Сперанский положил конец этому дворянскому раздолью. Он, действительно, сумел всю Россию уловить, уложить в тончайшую сеть табели о рангах, дисциплинировал, заставил работать новый правящий класс. Служба уравнивала дворянина с разночинцем. Россия знала мужиков, умиравших членами Государственного Совета. Привилегии дворянина сохранились и здесь. Его подъем по четырнадцати классическим ступеням лестницы напоминал иногда взлет балерины; разночинец всползал с упорством и медленностью улитки. Но не дворянин, а разночинец сообщал свой дух системе.

Начиная с николаевского времени, русская литература разрабатывает новую, неистощимую тему: судьбы маленького чиновника, его подлостей, его добродетелей, его страданий. Явный признак перерождения социальной ткани. Дворянская усадьба Тургенева, Григоровича, Гончарова, социально-бездейственная, «лишняя», хотя и утонченная, – и канцелярия, которая открывает свои двери не только для жалких Акакиев Акакиевичей, но и для сильных, кипящих рабочей энергией честолюбцев («Тысяча душ»)[3].

Сперанский создал, как известно, свою административную систему с наполеоновских образцов. Чтобы привести ее в действие, чтобы впрячь в оглобли даровитую, но беспорядочную

русскую натуру, понадобились немцы, много немцев. Недаром два русских бюрократических царствования — Николая I и Александра II — были эпохой балтийского засилья. И все же нельзя отрицать, что эта система получила некоторый национальный оттенок. Николаевский чиновник, как и бессрочный николаевский солдат, в конце концов, умел вложить в эту чужую немецкую форму труда и службы капельку сердца, теплоту русского патриотического чувства. Николаевская эпоха знала не одних взяточников и черствых карьеристов, но и неподкупных праведников, честно заработавших свою пряжку за тридцатипятилетнюю «беспорочную» службу. Те, кто знавал в своей молодости старых служак николаевского времени, поймут, что я хочу сказать. Два или три праведника спасают Гоморру. Спасали они и Николаевскую Россию — вплоть до Севастополя. Не только спасали, но и окружили ее память легендой, живым, творимым мифом. Николай I, столь ненавистный — и справедливо ненавистный — русской интеллигенции, был последним популярным русским царем. О нем, как о Петре Великом, народное воображение создало множество историй, анекдотов, часть которых отложилась у Лескова, и которые жили в патриархальной России до порога XX века. Носителем этой живой легенды был николаевский ветеран, старый служака, вложивший в канцелярскую службу свой идеал служения.

Следует ли удивляться тому, что праведников было так мало? Древней Руси, по-видимому, всегда был чужд образ честного судьи. В отличие от всех народов, ни одного из царей своих народ русский не поминал, как царя правосудного. Народные пословицы, сказки ярко и беззлобно отразили неправду московских приказов, воеводских изб. Народ веками свыкся с двумя истинами: нет греха в том, чтобы воровать казенное добро, а судья на то и судья, чтобы судил неправедно. Удивляться надо тому, насколько удалось Сперанскому оздоровить это крапивное болото прививкой европейского идеала долга. Главный порок николаевской системы не в этом. Болезнь заключалась в оскудении творчества, в иссякании источников политического вдохновения. Огромная, прекрасно слаженная машина работала, по-видимому, исключительно для собственного самосохранения; ее холостой ход напоминает беличий труд большевистских ведомств. Царь, изолировавший себя от дворянства и

общественных влияний, был бессилен указать великой России достойные ее пути: увязил ее в провинциальном миргородском болоте.

Николаевская канцелярия не была последним словом бюрократии на Руси. Вернее, она была ее первым словом. После нее бюрократия пережила у нас две фазы: либеральных реформаторов Александра II и «людей двадцатого числа» двух последних царствований.

Свежий ветер, подувший по петербургским канцеляриям в пятидесятые годы, был так крепок, что обещал, было, опять, к великому счастью России, закопать ров между людьми службы и людьми идеи. Милютины, Зарудные и Кони[4] тому свидетели. Либеральный бюрократ, искореняющий взяточничество, ревизующий губернии, проветривающий темное царство – излюбленная фигура у беллетристов середины века. Но свежий ветер упал быстро. Молодым либералам на службе приходилось в спешном порядке консервироваться. Модная англомания позволяла изящно и нечувствительно совершать превращение из вигов в тори. Но эта быстрая смена течений, с повторными перебоями и реакциями, оказала самое губительное моральное действие. Царствование Александра II создало бессовестный тип карьериста, европейски лощеного, ни во что не верующего, ловящего веяния сфер.

Чуткость к веяниям – явление новое – делается едва ли не главным двигателем бюрократической карьеры: родовитость, связи и таланты – все отступает перед барометрической чувствительностью.

С 1881 года особой чуткости опять не требуется. Ветер дует один без перерыва – ветер реакции, который гонит корабль на скалы. Опасности никто не видит, – не чувствуют даже движения корабля. Кажется, что он прочно засел на мель, и команда от нечего делать разбрелась кто куда – ловить рыбу, играть в карты. Русский служилый класс конца XIX века открыто и принципиально приносит в жертву личным и семейным интересам дело государства. Ему уже нечего стесняться. Своекорыстие, как форма аполитизма, служит патентом на благонадежность. За Россию могут, если хотят, умирать крамольные студенты; чиновник думает о том, чтобы вывести в люди своих детей и обеспечить себе приличную пенсию под старость.

Сравнительно с классическим режимом николаевских лет, служба облегчилась, дисциплина повыветрилась. Служба в конце концов сводится к просиживанию в учреждениях пяти-шести часов, скрашиваемых приятными разговорами. Нужно быть горьким пьяницей или совершить уголовное преступление, чтобы потерять обеспеченное место. Служба и являлась для сотен тысяч особой формой социального обеспечения, пожизненной рентой, на которую дает право школьный диплом. Элемент соревнования, борьбы за жизнь, озонирующий деловые и либеральные профессии, на службе был не обязателен. За исключением немногих карьеристов — мало уважаемых в своей среде — служебное повышение обусловливалось временем, то есть фактором, несоизмеримым с количеством и качеством труда. Призванная некогда спасать Россию от дворянской атонии, бюрократия вырождалась в огромную государственную школу безделья.

Самое страшное — это непомерное разбухание нового правящего класса, который стремился вобрать в себя едва ли не всю грамотную Русь. Дворянство, когда-то уклонявшееся от службы, к концу века, нищая и разоряясь, возвращается на казенные хлеба. Для крестьянского или «кухаркина» сына, если он имел (легкую) возможность протащиться через четыре-шесть классов средней школы, но не имел дарований пробить себе путь в жизни, служба была единственной дорогой. Половина населения русских городов ходила в форменных шинелях. Синие фуражки гимназистов приготовляли к цветным ведомственным околышам.

Когда два человека в старой России осведомлялись о социальном положении друг друга, они спрашивали: «Где вы служите?» подобно тому, как китайцы говорят, здороваются друг с другом, задавая вопрос: «Кушали ли вы рис?». Мы все отлично помним, что обилие мундиров не придавало русской улице военного стиля. Одутловатые, сутулящиеся, с ленивой, развинченной походкой, носители форменных шинелей всем своим обликом сигнализировали физическое и моральное истощение.

Унылой паутиной скуки была затянута эта жизнь — благословенное царствование Александра III. Падение честолюбия сказывалось в том, что даже чиновничьи жены не помнили хорошо ни порядка знаменитых четырнадцати ступеней, ни качества получаемых крестиков: невещественные, но некогда

могущественные социальные символы, определявшие судьбу человека поколение тому назад. Слово «чиновник» (в сущности, чем не «сановник»? – филологически одно и то же) перестало связываться с идеей чина, почета, вырождаясь в «чинушу», обогащаясь ассоциациями скуки и мелочности. Характерно, что сами члены этого первенствующего в России сословия предпочитали называть себя интеллигенцией. И это при всем побочном одиозно-революционном смысле, связанном с последним словом.

Конечно, талантливые люди есть везде. Давала изредка талантливых, чаще дельных, трудолюбивых людей и русская бюрократия последних десятилетий. Но самые выдающиеся среди них, подлинно государственные люди, вроде гр. Витте[5], поражают однобокостью специалиста, отсутствием настоящей культуры. В сущности, русским бюрократическим верхам не хватало не только творческих идей, но и воли к власти, даже реальной власти над страной.

Старое, еще не умершее окончательно начало породы действовало анархически. Родовитая знать, слишком ленивая, чтобы управлять государством, охотно свалила эту обузу на плечи министров-тружеников, честных «спецов» – еще действительно честных под строгой ферулой Александра III. Но принять этих дворян-чиновников, полуплебеев в свою среду знать не могла. Императорские министры царской России стояли иногда вне света, как министры республиканской Франции. Не имея путей во дворец, лишенные возможности использовать в государственных целях почти всесильные в условиях вырождающегося самодержавия закулисные влияния, министры оставались техниками-рутинерами, бессильными дать новый поворот рулю.

Вот почему было бы трудно сказать, что бюрократия управляла Россией. Во всяком случае, она не направляла. Отсюда потребность в последнее, бурное царствование найти новый волевой стержень для русской политики. Отсюда эти запоздалые поиски суррогатов общественности – попытка подпереть престол Советом Объединенного Дворянства, или Союзом Русского Народа. Когда эти опоры оказались гнилыми, утопающие во дворце хватаются за сильных людей, ищут героев, святых. За Столыпиным приходит час Илиодора[6], пока, наконец, русские министры и вместе с ними весь чудовищный бюрократи-

ческий механизм не оказывается игрушкой в руках зловещего Старца[7], подлинного правителя России в ее последние трагические годы.

4. Интеллигенция

Кому должна достаться власть, выпадающая из слабых дворянских и чиновничьих рук? Такова проблема, поставленная перед Россией конца XIX века — самая серьезная из ее политических проблем. За судорогами революционных и реакционных спазм вырисовывается все тот же вопрос: где класс, который вольет новую кровь в дряхлеющий государственный организм, вдохнет в него волю к творчеству, к жизни и победе? Объективно интеллигенция предъявила свои права на власть, боролась за нее более полувека и потерпела поражение в 1917 году. Я говорю: объективно, потому что в сознании своем интеллигенция боялась власти, презирала ее и — в странной непоследовательности — мечтала о власти для народа. Во власти интеллигенции всегда чуялось нечто грязное и грешное. Она была сурова ко всем ярким выразителям государственной идеи в истории. В политику она вкладывала моральный пафос, видя в ней необходимую форму реализации справедливости. Да и в политике ее пленяла, скорее, сама борьба, а не реализация, — жертва, а не победа. И все же: интеллигенция была охвачена политической страстью, имеем право сказать, — политическим безумием. Кто борется, рискует победить. Интеллигенция не могла не считаться с возможностью своей победы, но победа в политической борьбе есть власть. Интеллигенция шла к власти и лишь обманывала себя призрачной властью народа. Чем реальнее рисовалась грядущая революция, тем неизбежнее было для интеллигенции пересаживаться со старого анархического коня семидесятых годов в седло западноевропейской демократии, лишь скрашенное социалистическим флером. Но демократия есть представительство. Именем и голосом мужика и рабочего адвокат, профессор и журналист будут править Россией. Это стало ясно в 1906 году, когда интеллигенция уже наметила свое «общественное» правительство. Отныне исход революции и вместе с ним судьба России определяются степенью способности интеллигенции к власти.

В другом месте[1] мы пытались судить интеллигенцию, как идеологическую группу, усматривая ее Ахиллесову пяту (и даже ее конститутивный признак) в беспочвенности ее идеализма. Не трудно видеть, что эти качества были предопределены самым рождением ее в Петровской революции. В течение столетий ее функцией было несение в Россию — в народ — готовой западной культуры, всегда в кричащем противоречии с хранимыми в народе переживаниями древнерусской и византийской культуры. Отрыв от почвы был своего рода заданием Петра. В этом отрыве интеллигенция более века шла с монархией, пока не обратила против нее жала своей критики.

Сейчас нас интересует, однако, лишь та интеллигенция, те ее течения, особенно влиятельные, которые вели борьбу с властью — и, следовательно, предъявляли права на власть. «Правые» течения поддерживали монархию и ее исторические опоры: дворянство, бюрократию, пытаясь или оправдать существующее или возродить его огнем идеи. «Левые» таранили власть более полувека, в самых сильных своих партиях и общественных движениях ставили революцию своей целью и, следовательно, несут или, по крайней мере, разделяют ответственность за нее.

Каковы были причины господствующего революционного настроения интеллигенции? Отрешимся от ее собственных схем, субъективно окрашенных. С ее точки зрения, движущим стимулом были невыносимые страдания народных масс. Страдания масс, на костях которых строится культура, остаются наиболее устойчивым явлением в истории. Но лишь изредка, при особых обстоятельствах они ощущаются как трагическое бедствие. Сравнительно с Англией половины XIX века, Россия, только что освобожденная от крепостного рабства, казалась страной социального благополучия. На этом относительном благополучии крестьянства, без всякого лицемерия, славянофилы могли строить свою веру в крепость русского социального быта. Но и славянофилы задыхались в Николаевской России. Где же корень трагического расхождения между исторической властью России и ее интеллигенцией?

По нашему убеждению, этот корень — в измене монархии своему просветительному призванию. С последних дней Екатерины монархия находится в состоянии хронического испуга.

Французская революция и развитие Европы держат ее в тревоге, не обоснованной в событиях русской жизни. Обскурантизм власти – это ее форма западничества, – тень Меттерниха[2], которая, упав на Россию, превращала ее в славянскую Австрию. Благодаря Петровской традиции и отсутствию революционных классов, для русской монархии было вполне возможно сохранить в своих руках организацию культуры. Впав в неизлечимую болезнь мракобесия, монархия не только подрывала технические силы России, губя мощь ее армий, но и создала мучительный разрыв с тем классом, для которого культура – нравственный закон и материальное условие жизни. Красные чернила Николаевской цензуры, по определению Некрасова, были кровью писателя. Этой крови интеллигенция не имела права простить.

XIX век – время величайшего расцвета новой русской культуры. Бытие народов и государств оправдывается только творимой ими культурой. Русская культура оправдывала империю Российскую. Пушкин, Толстой, Достоевский были венценосцами русского народа. Правительство маленьких Александров и Николаев дерзнуло вступить в трусливую, мелкую войну с великой культурой, возглавляемой исполинами духа. Интеллигенция, еще чуждая политических интересов и страстей, воспитывалась десятилетиями в священной обороне русского слова. Борьба за слово и, следовательно, за совесть, за высшие права духа была той правой метафизической почвой, которая вливала силы в новые и новые поколения поверженных политических бойцов.

Вступление интеллигенции на политический путь вызывалось, помимо духовного разрыва с властью (что само по себе недостаточно), самим вырождением дворянской и бюрократической политики. В интеллигенции говорила праведная тревога за Россию и праведное чувство ответственности. Но вся политическая деятельность интеллигенции была сплошной трагедией.

Она вышла на политический путь из дворянских усадеб и иерейских домов – без всякого политического опыта, без всякой связи с государственным делом и даже с русской действительностью. Привыкнув дышать разреженным воздухом идей, она с ужасом и отвращением взирала на мир действительности. Он

казался ей то пошлым, то жутким; устав смеяться над ним и обличать его, она хотела разрушить его — с корнем, без пощады, с той прямолинейностью, которая почиталась долгом совести в царстве отвлеченной мысли. Отсюда пресловутый максимализм ее программ, радикализм — тактики. Всякая «постепеновщина» отметалась, как недостойный моральный компромисс. Ибо само отношение интеллигенции к политике было не политическим отношением, а бессознательно религиозным. Благодаря отрыву от исторической Церкви и коренного русла народной жизни, религиозность эта не могла не быть сектантской. Так называемая политическая деятельность интеллигенции зачастую была, по существу, сектантской борьбой с царством зверя-государства — борьбой, где мученичество было само по себе завидной целью. Очевидно, у этих людей не могло найтись никакого общего языка с властью, и никакие уступки власти уже не могли бы насытить апокалиптической жажды. В этом была заколдованность круга.

Правда, остается еще умеренный либерализм, как возможный контрагент переговоров. Но либеральные течения никогда не были особенно влиятельны в русской жизни. За ними не стояло силы героического подвижничества, не стояло и спокойной поддержки общественных классов. Само содержание их идеалов представляло зачастую лишь остывшую форму революционной лавы. Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительный идеал с движущими силами русской жизни. Только монархия могла бы, если бы хотела, осуществлять либеральные реформы в России. Но монархия не хотела, а у барина-либерала не было общего языка даже с московским купцом, не говоря уже о его собственных крепостных. В условиях русской жизни (окостенение монархии) либерализм превращался в силу разрушительную и невольно работал для дела революции.

Западническое содержание идеалов, как левой, так и либеральной общественности, при хронической борьбе с государственной властью, приводило к болезни антинационализма. Все, что было связано с государственной мощью России, с ее героическим преданием, с ее мировыми или имперскими задачами,

было взято под подозрение, разлагалось ядом скептицизма. За правительством и монархией, объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация. Русский революционизм и даже русский либерализм принимал пораженческий характер, ярко сказавшийся в японскую войну. Это антинациональное направление, если не всей, то влиятельной интеллигенции, делало невозможным для патриотических кругов дворянства (и армии) примирение с нею, признание относительной правды ее идей.

Перед интеллигенцией ставилась задача: пробиться из осажденной крепости самодержавия – в народ. Найти в крестьянских и рабочих массах, тоже страдающих от чиновничьего произвола, сообщников в своей борьбе. Но тут она встретилась с тяжелым, непреодолимым недоверием к ней со стороны масс, которое сопровождает все трагические попытки интеллигентского исхода «в народ». Это недоверие лишь видимо зарубцевалось в революцию 1905 года и снова в 1917 году разверзло между народом и интеллигенцией пропасть, похоронившую не только царскую власть, но и демократическую революцию.

Как объяснить это вечное недоверие народа к интеллигенции? Для понимания его необходимо остановиться на одной особенности образования интеллигенции в России. Углубившись в нее, мы вместе с тем дорисуем наш портрет интеллигенции – уже не только, как носительницы известных идей, но и как общественного слоя с его бытовыми чертами, обрекавшими его, не менее самих идей, на политическое бессилие.

* * *

Есть коренное отличие в истории образования интеллигенции, в широком смысле, на Западе и в России. Различие это сводится к тому, что европейская интеллигенция нового времени была одним из слоев третьего сословия, питалась соками городской буржуазии, воспитывалась в ее дисциплине, защищала ее право. У нас питомником интеллигенции было дворянство. С приходом разночинцев, гегемония дворянства не сразу пала. Поразительно, до какой степени даже революционные партии блещут дворянскими именами – до самого конца: Герцен, Бакунин, кн. Кропоткин, Лавров, Плеханов, Ульянов. Мы видим:

это не перебежчики, а вожди. Дворянский слой непропорционально велик и среди квалифицированной интеллигенции, в науке, литературе, искусстве.

Главным проводником дворянских влияний, настоящей машиной для переливки в дворянские формы демократической России была школа.

Средняя и высшая школа создана у нас государством для надобностей дворянства и для образования бюрократии. Такой характер она сохранила до самого конца. Неудача профессиональных и коммерческих школ всего лучше свидетельствует об этом. Процент дворян в средней школе и в университете был невелик; русская школа чрезвычайно демократична по своему составу. Но какие-нибудь десять процентов дворян определяли характер школы, характер всего образованного класса. Дворянин, выходя из университета, даже живя революционными идеями, в общественном отношении оставался членом своего класса. Для «кухаркиных» и даже купеческих детей образование означало разрыв с семьей, с классом, с целой культурой. Дети пролетариев получали у нас дворянское воспитание, какое в Европе выпадает на долю привилегированной элиты. Классические языки составляют, как известно, главный ингредиент аристократического образования — строго охраняемые ворота в мир утонченной культуры. У нас ворота эти не вели никуда, стояли просто на телячьем выгоне, в виде непонятной классической руины. «Кухаркины дети» жили — или должны были жить — в мире греческой мифологии, подобно меценатам пушкинской эпохи. Все мы знаем, что наша школа воспитывала в лености и барстве. Виной тому не одна ее программа и педагогические методы. Дворянин приносил с собою лень, как наследственную привилегию. Разночинец разлагался в школе, потому что семья его была, в сущности, ей враждебна, не понимала ее смысла, могла пороть лентяя за единицы, но не могла приучить его к умственному труду.

Не давая навыков к умственному труду, школа убивала в разночинце вкус к труду физическому. Крестьянская девушка, попадая в уездную или сельскую гимназию, училась бренчать на фортепианах, но стыдилась помогать матери по хозяйству. Мыть полы, даже стряпать на кухне для барышни величайший позор. Дворянское презрение к черному труду русский интел-

лигент умел привить даже людям, которые не успели еще отмыть своих трудовых рук. Дворник и лавочник с величайшим трудом и жертвами тащили своих Ванек и Васек сквозь мытарства классической, в худшем случае, реальной школы и не желали отдавать их в ремесленные училища. Если мальчишка проявлял клиническую гносифобию[3], изгнанный из двух, трех заведений, он все еще мог попасть в юнкерское училище и, в конце концов, выйти в люди околоточным надзирателем или помощником начальника тюрьмы. Белые руки были знаком благородства и культуры. Что удивительного, если господами и белоручками народ считал своих непризнанных учителей?

Физическая беспомощность влечет за собой физическое бессилие. Интеллигент презирал спорт так же, как и труд, и не мог защитить себя от физического оскорбления. Ненавидя войну и казарму, как школу войны, он стремился обойти или сократить единственную для себя возможность приобрести физическую квалификацию — на военной службе. Лишь офицерство получа́ло иную школу, и потому лишь одно оно оказалось способным вооруженной рукой защищать свой национальный идеал в эпоху гражданской войны. Масса российской интеллигенции тучнела или тощала в четырех стенах кабинетов — обреченный на заклание, убойный скот революции.

Еще более опасным, чем презрение к черному труду, было презрение к хозяйству. И это черта чисто дворянская. Дворянство видело в своих вотчинах чистую обузу; из разорительных опытов рационального хозяйства выносило лишь отвращение к этому грязному делу. Земля, отданная в аренду или управляемая заведомыми ворами-приказчиками, не могла быть источником хозяйственной этики. Промышленность, торговля были уделом черной кости. В торговле дворянство всегда чуяло нечто низкое. И это аристократическое презрение рантье к купцу разорившееся дворянство сумело влить с молоком матери в своих блудных детей. Повальный социализм русской, по началу дворянской интеллигенции в значительной мере классового происхождения наряду с княжеским анархизмом Кропоткина и Толстого. Против социалистической критики в русском сознании не нашлось ни одной нравственной или бытовой реакции в защиту свободного хозяйства. Крестьянство, неустанно, путем величайшего напряжения, вырабаты-

вавшее из своих недр трудовую буржуазию, никогда не могло бы понять интеллигентского отрицания хозяйства. Для него социальная проблема сводилась к изъятию земли из нехозяйственных барских рук. В непонимании смысла хозяйства дворянская интеллигенция сходилась с пролетариатом, да разве еще с выбитыми с земли бродячими элементами крестьянского мира.

Интеллигенция не имела классов, на которые могла бы опереться. Не заметив растущей буржуазии, она не пустила корней и в народных массах. Ведя борьбу с дворянством, она разделяла его слабости, его предрассудки. Она могла бы завладеть государством, став над классами. В России внеклассовая государственность вовсе не утопия. Но для этого нужно было уважать государство, иметь вкус к власти. Если бы огромная численно русская интеллигенция в эпоху разложения сословно чиновничьего строя объединилась на определенном завоевании государственной власти, это предприятие не было бы безнадежным: слишком слабы были руки, державшие власть. В странах революционного Востока – Турции, Китае, в России XVIII века возможна диктатура интеллигенции, кующей национальное сознание. Там смысл диктатуры – просвещение, а упрощенность просвещения допускает широкие национальные партии. Русская политически-активная интеллигенция XIX века жила в сектантском подполье. Дробление интеллигенции приводило к дробности политических партий, большинство которых при этом боялось политической ответственности.

В этом трагическом тупике оставалась еще одна возможность: захват власти какой-либо интеллигентской сектой. В семидесятые годы некоторые воинствующие секты изъявляли притязание на власть. Но в то время охранительные силы страны еще не иссякли. Позже, либерально-демократическое содержание политических идеалов делало саму идею диктатуры неприемлемой для интеллигенции. Ее сектантская строгость и идейный динамизм постепенно выветривались. Из сектантских течений после 1905 года сохранился лишь большевизм. Он же оказался единственной сектой, стремящейся к государственной диктатуре. Вот почему нелюбимый интеллигенцией и ненавидящий ее, большевизм один имел некоторые шансы. Но его диктатура означала гибель интеллигенции.

5. Буржуазия

Есть один факт в истории русского революционного движения — поразительный и необъяснимый, если его рассматривать по западноевропейской схеме. В этом движении не участвует третье сословие, буржуазия, торгово-промышленный класс. Революция, которая ставит своей целью разрушение дворянского строя, начинается с дворянского заговора декабристов и до конца окрашивается в цвета дворянской интеллигенции. Купечество и мещанство неизменно остаются силой консервативной. «Темное царство», «чумазый», «кулак», «охотнорядец», «черная сотня» — вся позорящая ономастика русской контрреволюции совпадает с сословными кличками купечества. Многие уже забыли, что «черная сотня», по происхождению самого слова, связана не с черным цветом зла, а с низовыми, торгово-демократическими организациями старой Москвы. И это не только ономастика. Охотнорядцы, действительно, били студентов в 1905 году — и притом во всех городах России. Чайные Союза русского народа, действительно, были базарными, «черными», демократическими притонами, возглавляемыми обычно каким-нибудь толстосумом. В презрении, с которым интеллигенция относилась к «черной сотне», всегда слышался обертон брезгливости к плебсу, к грубой и дикой «черной кости». У интеллигенции, боровшейся в городских самоуправлениях за либеральную и демократическую политику, у провинциальной прессы — не было злейшего врага, чем местное купечество, корыстные и невежественные «отцы города».

И однако, марксисты, уверенные в буржуазном характере грядущей революции, отвели буржуазии в ней красный угол. Они напрасно дожидались почетного гостя. Революционный пир, очевидно, не прельщал русского купечества, привыкшего к иным яствам. Когда пришла революция, буржуазия сыграла в ней лишь страдательную роль. Она дала свое злосчастное имя, как позорное клеймо, для всей коалиции погибающих классов. Князья Рюриковой крови и революционные социалисты, как представители «буржуев», гибли в подвалах ЧК.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы буржуазия была твердым оплотом режима. Этому мешало, прежде всего, ее антиобщественное воспитание. Как сословие казнокрадов, она была

силой разлагающей не менее дореформенной бюрократии взяточников. Интеллигентское отвращение к профессиональному купеческому быту, нужно признаться, имело некоторые бытовые основания. Когда поэт Блок хотел с максимальной силой воплотить идею зла в старой России, он не мог найти для этого лучшего образа, чем лавочник его страшного «Грешить бесстыдно»... Поэт прав. Ниже этого икающего благочестия нельзя опуститься по ступеням человеческого падения. Рядом с «кондовой», «толстозадой» Русью двенадцать красногвардейских хулиганов несут какое-то освобождение. Хотя бы освобождение смерти.

Вопрос лишь вот в чем: исчерпывается ли «темным царством» характерология русского торгово-промышленного класса? Вопрос, который приобретает тем большее значение, что класс этот, в противоположность остальным классам старой России, не погиб в революции. Вырезываемый и удушаемый, он каждый день возрождается к жизни и, несомненно, призван строить будущую Россию.

Печальная моральная физиономия и еще более печальная репутация этого класса в России XVIII и XIX века вызывает в памяти его великое прошлое.

Славянофильское и народническое восприятие древней Руси не отдает достаточного отчета в том огромном вкладе в русскую культуру, который внес купеческий дух. Иностранцы поражались, в XVI и XVII вв., коммерческим способностям русских и их страсти к торговле. Ярославец, нижегородец по сие время сохранили в своем областном характере эти некогда национальные черты. На торговле держалась вся Киевская Русь. Торговля создала Великий Новгород — не город, а великое северное государство, охватившее половину русских земель. С отмиранием южных очагов культуры и старых Ростово-Суздальских, Новгород делается главным выразителем русской культурной идеи: прежде всего, в искусстве. Военно-служилая Москва, сломив Новгород, заглушив городскую жизнь Севера, и в XVII в. сохраняет еще купеческий размах и предприимчивость. Минины (северное ополчение) спасли Россию в годы смуты, и еще при Алексее Михайловиче их голос слышится во дворце. «Земская Русь» это прежде всего посадская, торговая Русь. Именно эти слои сообщают земскую окраску соборам.

Еще Петр опирается в своих экономических мероприятиях на инициативу старого купечества. Лишь XVIII век глубоко принизил древнее почетное сословие. Отчужденное от европейской культуры, оно оказалось лишенным права на общественное, т. е. дворянское уважение. Оторванность от государственного дела вызывала неизбежно гражданский декаданс, измельчание, личную и хищническую направленность интересов.

И однако, верность старомосковским церковным традициям, отторгая класс от новой общественности, сохранила в нем драгоценные качества: строгость аскетического закала, трудовую дисциплину, национальное чувство. Старая личная этика могла, как часто на Руси, совмещаться с общественной беспринципностью. Неуважение к профессии подрывает профессиональную этику. Прекрасный семьянин, набожный церковник мог быть вором, столь же мало стыдясь этого, как старый чиновник — взятки. К тому же чиновничья коррупция была зачастую источником коррупции купеческой. При слабости торговой предприимчивости в XVIII, в начале XIX века, главный источник образования капиталов — эксплуатация государства. Наиболее заметный тип среди торгово-промышленного класса — подрядчик, кабатчик, откупщик. Но в этой области особенно велики искушения, ослаблен как раз творческий момент предприимчивости. Впрочем, и в эту эпоху встречается строгое отношение к деловой этике — гораздо чаще, чем это кажется с дворянских верхов. Не по Островскому, а по Лескову надо изучать купеческий быт. Островский — сатирик переломной эпохи. Проникновение передовых, т. е. капиталистических идей в патриархальную среду не может не вызывать на первых порах явление имморализма. Крепче, строже других оставались старообрядческие слои купечества, закаленные в гонениях, в борьбе за веру, поставленные на место былого боярства во главе подпольной старой Руси.

Освобождение крестьян дало мощный толчок долго скованной хозяйственной энергии народа. Деревня сразу же выделяет энергичный слой «кулаков», предпринимателей, скупщиков дворянской землицы, основывающих торговые предприятия. Эта новая буржуазия подготовлялась задолго в оброчных формах крепостной зависимости. Мобилизация дворянских земель, железнодорожное строительство вызвали горячку ажиотажа, создавали огромные богатства, нередко дутые и грюндерские[1]

предприятия. 60-е годы — первая волна русского капитализма, очень нездорового и хищнического. Банковские судебные процессы и сатира Некрасова отразили эту пиратскую эпоху «первоначального накопления».

Но за ней идет в 80-х годах волна промышленного расцвета. Капиталы приливают в текстильную индустрию, создавая мощный центрально-промышленный район. И здесь коренное московское старообрядчество сохраняет гегемонию, как и на Волге, Каме, Урале. Рост хозяйственной энергии и капиталов продолжается беспрерывно, постепенно меняя социальную физиономию страны.

В 80-е и 90-е — чеховские — годы единственным представителем русской силы и предприимчивости был русский купец. Это часто грубая, жестокая сила, — но она спасала нацию на фоне дворянской атонии. Горький-босяк, ненавидевший мещанство, — дал трагические образы этой стихийной силы, разрушительной в слепоте своей борьбы за освобождение. Имморализм все еще отмечает успехи нового господина жизни. Народная память и литература отражают темное, нередко преступное происхождение недавних богатств. Обобрал хозяина, казну, а то и зарезал кого-нибудь темной ночью, — эти зловещие легенды плетутся по Руси за многими из миллионщиков и отцов города. Но и для такой карьеры недостаточно дерзости и счастья. Яркая талантливость окрашивает социальное восхождение новых людей. Они стоят художественных биографий, они еще ждут своего Плутарха.

На фоне старого, удушливого, скаредного быта, творится сказка из мира кондотьеров, завоевателей России. Для полноты аналогии московские Медичи превращаются в меценатов. Уже в 80-е годы Мамонтов окружает себя художниками, создает оперу, подмосковную усадьбу свою превращает в памятник-музей русской художественной культуры. За ним идут другие: Третьяковы, Морозовы, Рябушинские[2], собиратели картин, основатели театров, клиник, журналов. С начала XX века Москва начинает явно претендовать на культурное первенство перед Петровской столицей. И всем своим цветением она обязана новым хозяевам жизни. Вклад торгово-промышленного класса в русскую культуру обгоняет не только вклад дворянства, но даже государственную инициативу. Для интеллигенции находятся

новые организаторы ее творчества, которые дают нередко из своих рядов и первоклассных культурных деятелей. Провинция отстает от Москвы, но Пермь, Сибирь уже шлют новых людей.

Купеческое меценатство – явление настолько недавнее в русской жизни, что интеллигенция не успела приспособиться к нему, не успела как будто заменить его. Менее всего – революционная интеллигенция. Впрочем, для нее имелось некоторое оправдание. Политическое пробуждение русской буржуазии значительно отставало от ее культурного роста. Новая сила не предъявляла никаких притязаний на власть. Давно уже голос торгово-промышленного класса звучал на съездах, но всегда в разрез с голосом русской «общественности». Вместо свобод он требовал от государства покровительственных тарифов. Протекционизм был, конечно, необходимой теплицей для русской промышленности, но в его банной температуре атрофировалась политическая воля. Пока государство было дойной коровой, промышленники охотно мирились с безвластием. Их угол в избе был невидный, но теплый. Однако, проблема деревенского рынка вводила русского предпринимателя в курс роковых вопросов русской жизни. Постепенно верхи класса втягиваются в колею либеральной оппозиции. Путь политического радикализма был заранее отрезан тем социалистическим характером, который приняло русское революционное движение. С рабочими шутки плохи. В 1905 году фабриканты, случалось, заигрывали с левыми партиями. Не один Морозов давал деньги на большевиков. Но забастовки были слишком разорительны. Призрак диктатуры пролетариата и крестьянства не улыбался. Оставалась средняя тропа октябризма, для немногих – партия к.-д.[4]

Между 1905 и 1914 гг. умеренный либерализм, определяющий настроение двух последних Дум, носит заметный буржуазный отпечаток. Он стремится договориться с бюрократией, найти мирный выход из политического тупика. Но он не создает до конца ярких политических деятелей. Политика его тускла, совершенно не соответствует размаху хозяйственной и культурной работы буржуазии. Прошлое тяготеет над ней, принижая ее молодое, неуверенное честолюбие. Наиболее яркие ее политики не носят характера своего класса. Они усвоили замашки дворянского либерализма.

Поразительно, что дворянский декаданс просачивается и сюда. Через ту же школу, через общеинтеллигентную традицию молодой наследник старого дома уже отравляется дворянским ядом. Потеря вкуса к наследственной хозяйственной работе и уважения к ней – прямое и роковое последствие этих дворянско-интеллигентских влияний. Само меценатство иногда носит опасный характер. Оно еще почвенно, здорово, почтенно до конца XX века. В новом столетии разлагающие эстетические влияния покоряют золотую молодежь Москвы. Сыновья патриархальных староверов кутят не только с цыганами у Яра, но и в артистических кабаре, впивая с шампанским сладкий, трупный яд стихов. Эта атмосфера утонченного имморализма приводит к необъяснимым самоубийствам. Taedium vitae[5], болезнь снобов, и здесь косит свои жертвы. Становится страшно, когда думаешь о ломкости древней и мощной породы. Века труда, самоотречения и борьбы воспитывали купеческий род. Дед еще был начетчиком, держал дом по Домострою, лишь изредка напяливая на свои могучие плечи европейский сюртук. Сын – просвещенный либерал, учился в Англии, ведет рациональное производство. Внук прожигает жизнь по кабакам, среди мертвых эстетов, и умирает от тоски и пустоты жизни.

Не будем обобщать этих явлений. Они показательны, но не всеобщи. Это недуг быстрой ломки нравственных устоев, резкой европеизации, опустошающей религиозным и моральным нигилизмом даже сильную, но дурно воспитанную, незащищенную личность. Приспособление было вопросом времени. Тема новой буржуазной Москвы была обещающей, богатой темой, несущей обновление русской жизни. Но она не успела получить своего развития и была жестоко оборвана. Бродильный процесс в русском крестьянском тесте только что начался. Новая, выдвигаемая народом промышленная аристократия не успела организовать народной жизни, получить признание, не успела даже освободиться от дворянских влияний. Рост молодого класса протекал в критических болезнях двойного имморализма: первоначального накопления и скороспелого декадентства. Народ, порождающий из своей среды буржуазию, не научился уважать ее. Более близкая ему, чем дворянство и интеллигенция, она вызывала его зависть; поскольку же приобретала интеллигентский облик, разделяла судьбу господ. За-

хваченная врасплох революцией, она утонула в ней, не сумев овладеть ею, пала жертвой не столько своих, сколько чужих грехов.

6. Народ

В русской социальной терминологии «народ» (как и «интеллигенция») значит бесконечно больше, чем в любом европейском языке. За крестьянством, за трудящимися классами, даже за «землей», это слово ознаменовывает всю Русь, оставшуюся чуждой европейской культуре. Это «черная», «темная», социально деградировавшая, но морально крепкая Русь, живущая в понятиях и быте XVII века. Это базис, на котором высится колонна Империи, почва, на которой произрастают ее сады. Не только народничество русское, но и все консервативные направления русской мысли сохраняют сознание, что в этой почве коренятся моральные устои России. Власть, интеллигенция, просвещение сами по себе бессильны пробудить живительные родники национальной жизни; они способны лишь культивировать, организовать ее. Народничество заблуждалось, связывая свое верное ощущение моральных начал народной жизни с фактом земледельческого труда. Славянофилы точнее определяли их, как хранение древней, религиозной и национальной культуры. В этом смысле понятие народа выходило за пределы крестьянства, обнимая слои городского мещанства, купечества, связанного со старым бытом, и духовенства, особенно сельского.

Разумеется, все эти слои тонут в сером море крестьянства. Кроме России, не было ни одной страны, консервативные силы которой в такой мере питались бы крестьянской правдой и крестьянской косностью. Чем сильнее заболевала светобоязнью власть, тем определеннее делала она ставку на крестьянскую темноту. Беда власти была лишь в том, что потребности государства (армии) заставляли ее, скрепя сердце, дозировать народное просвещение, которое — она видела ясно — разлагало устои народной жизни. Мы уже говорили, почему монархия в России могла погибнуть от просвещения.

Но было и другое коренное противоречие в отношениях власти и народа. Консервативный религиозно-политически,

народ, т. е. крестьянство, не был благонадежен социально. Империя жила в течение двух веков под судороги крестьянских бунтов. Это был нормальный ритм русской жизни, к которому государственные люди привыкли, как привыкают к дымку Везувия жители деревень на его склонах.

Мы очень мало знаем о народе, его жизни, его затаенных мыслях — до XIX века, когда русская интеллигенция начала жадно приглядываться и прислушиваться к нему. По-видимому, мы все же имеем право сказать: русский народ в глубине своей совести никогда не принимал крепостного права. Он мог временно с ним мириться, он покорялся Божией и царской воле, которая судила ему жить в рабстве, но морально это рабство не было для него оправдано. Факт удивительный, принимая во внимание суровость семейных и государственных форм, к которым привык московский человек. Но крепостное право было слишком новым явлением русской жизни. Оно не имело за собой тысячелетнего прошлого, которое на Западе приковывало поколения сервов к их суровым сеньорам связью наследственной верности, где верность земле сливалась с верностью господину. В России, при текучести населения, особенно на новых местах колонизации, эти личные связи не успели еще закрепиться, когда государство фиксировало их. Личный момент в отношениях подвластных к владельцам был очень слаб сравнительно с публично-правовым. И, что особенно важно, тяжесть зависимости, переходящей в рабство, все усиливалась к исходу XVIII века, когда личная связь ослабевала окончательно, подрезанная сословным строением новой культуры.

Если крестьянин и видел когда-нибудь в московском помещике своего социального вождя и защитника (и это сомнительно), то он не мог признать его в полунемце, отрекшимся от родных обычаев, одежды, речи, нередко даже от Бога. Естественная социальная рознь обострялась рознью национальной. Народ относился к дворянству почти так же, как он относился к польской шляхте там, где он подпал под чужеземное иго.

Оригинальнее всего было то, что народ всегда сохранял убеждение в своем праве на помещичью землю. Говорила ли в нем старая память о государственном происхождении дворянского поместья? Исходил ли он из социальной идеи самодержавия, идеи царя, которому принадлежит вся земля, который дает и

отнимает ее по своей воле? По мере того, как дворянство снимало с себя социальные функции, крестьянство делало свои выводы. Оно привыкло видеть в барине паразита. В сущности, воинская повинность, легшая на крестьян в XVIII веке, уже уничтожила дворянское право на землю, как плату за кровь.

Раздел земли между крестьянством и дворянством во время освобождения, был воспринят первым, как тяжелая несправедливость. Уже тогда оно предъявило притязания на всю землю. Это требование вытекало не из экономической нужды, а из сознания права, – своеобразного, не частно-коммунистического, а скорее публичного права. Как ни странно, но освобождение крестьян нанесло первый удар монархическому чувству крестьянства. Оно же положило начало разложению тех духовных основ, на которых держалась старая мужицкая верность.

Со времени эмансипации медленно, но неизменно начинает крошиться тот гранитный массив, на котором стояла империя. Пока сила инерции держала могучий комплекс консервативных чувств в душе крестьянства, расшатанность и разброд среди правящих классов были не опасны. «Россия управляется случаем и держится силою тяжести», – заметил один умный дипломат при петербургском дворе начала XIX века. 19 февраля вывело страну из равновесия. Начался процесс брожения, не прекращающийся до дней революции. Крестьянство расползалось по лицу России в поисках земли и заработков. Постоянное падение сельского хозяйства обостряло извечный голод по земле. Освобождение создавало прецедент для черного передела. Борьба за землю сталкивала крестьянство с официальной Россией, которая держалась лишь именем царя. К ней не было уважения, а, с ослаблением режима, убывал и страх. Школа, город, казарма, железная дорога стихийно разлагали основы крестьянского мировоззрения. На поверхности это было незаметно: мужик не читал, не рассуждал. Но он терял веру, уходил в себя, хитрил и ждал.

Думается, что огромная разница в восприятии крестьянской стихии у Тургенева и Некрасова, с одной стороны, и Чехова, с другой, связана не только с изменившимся сознанием интеллигенции, но и с эволюцией самого крестьянства. Комплекс благоговейных чувств рассыпался. Остался практический материализм и последовательное недоверие. Это еще не нигилизм,

но начало духовного омертвения. Из всех социальных инстинктов болезненно разбухает инстинкт зависти.

Несмотря на полвека, протекшие со дня освобождения, реминисценциями рабства была проникнута вся русская жизнь. Есть две мерки, два свода приличий: для господ и для простонародья. При официальном гражданском равенстве в суде и управлении — какая разница в языке, в обращении! В участке околоточный рассыпается в любезностях перед дворянином и гонит в шею — совсем не фигурально — мужика. Мужик не обижается на «ты», на грубую брань, но уже с неудовольствием переносит побои. Он возмущается, собственно, не грубостью, которой пропитан и его собственный быт, но бытовым неравенством. С ним он встречается на каждом шагу: в приемных канцелярий, на железной дороге, — особенно в казарме. Это неравенство оскорбляет его потому, что общественная иерархия лишена в его глазах благообразия. Быт господ, их идеал красоты и жизни для него отвратителен. Вот почему эти мелкие уколы, от которых постоянно страдает его чувство достоинства (а в нем много самого подлинного, аристократического достоинства!) будят в нем темные воспоминания. И поныне еще в русских деревнях живы дряхлые старцы, которые помнят время рабства. И не из книг, а по устным преданиям повторяется злая повесть о том, «как нас на собак меняли» или «как травили медведями наших детей». Народ еще не забыл и не простил старых обид, оживляемых новыми ранами.

Переживание крепостнических навыков среди правящих классов, не замечавших сдвига в народной душе, или думавших справиться с ними классической розгой, являлось при этих условиях серьезной угрозой. И вот — уже в XX столетии — наступает пора, когда мужик ощущает губернаторскую порку, как оскорбление, и думает о мести. В этот момент он впервые становится восприимчив к революционной пропаганде.

Здесь происходит, наконец, долгожданная встреча народа и интеллигенции. Доселе все ее героические усилия пробить стену народного непонимания оканчивались неудачей, для нее трагической. Десятки лет народ видел своих людей в жандармах и сыщиках, ловивших социалистов, и отвращался от последних с религиозным ужасом. Социальное отчуждение питалось дворянским происхождением и стилем интеллигенции. Перед

этим бледнеет даже чуждость проповедуемой, антимонархической, доктрины. Крестьянин видел перед собой непонятное, беспомощное существо, которое претендовало учить его, но вызывало его презрение. Оно было одето по-господски, говорило барским языком и хотя чем-то несомненно отличалось от настоящих господ, но для народа не было возможности входить в разбирательство оттенков во вражеском стане. Интеллигент всегда был для мужика барином, пока в один прекрасный день не был перекрещен в буржуя.

Разумеется, за всеми частными поводами для недоброжелательства зияла все та же пропасть, разверзшаяся с Петра. Интеллигенция, как дворянское детище, осталась на той стороне, немецкой, безбожной, едва ли не поганой. Барину-крепостнику, принципиальному консерватору было даже легче пробиться к мужицкому пониманию, чем революционеру. Бог и царь создавали общую почву – до конца прошлого столетия. Конечно, мужик не верил в искренность барского монархизма, подозревая в нем обманные и захватнические поползновения. Но просветителей-радикалов он окончательно не понимал.

В японскую войну завершился распад монархической, отчасти религиозной идеи народа. На мгновение интеллигенция нашла в крестьянстве себе союзника. «Земля и Воля»[1] соединяла их в двусмысленном компромиссе: одному земля, другому воля. Но вековое недоверие не было изжито. На место разрушенных богов в народной душе не встали новые. Народ вступил в полосу своего нигилизма, еще неизжитого. Волей-неволей народ передоверял интеллигенции свой политический голос: трудовикам, эсерам, даже эсдекам[2]. Но, подозревая обман, держал камень за пазухой.

В революционной пропаганде роль посредника между интеллигенцией и народом достается рабочему. Молодой, численно слабый класс, пролетариат сыграл в судьбах России огромную, хотя чисто отрицательную роль. Его значение соответствует значению города в крестьянской стране. Город всегда ведет деревню, и удельный вес горожанина может в десять раз превосходить удельный вес сельского обывателя. У нас пролетариат еще не порвал связи с деревней, и как ни свысока относился крестьянин к фабричному, он поневоле заимствовал от него то, чего не стал бы и слушать от интеллигента. Почему город-

ской пролетариат неминуемо должен был сделаться носителем революции, это не требует объяснений. Его духовная беспочвенность, безжалостная эксплуатация его труда, беспросветное существование заставляли жадно мечтать о перевороте. Ему подлинно нечего было терять. В революцию русский рабочий вложил свое понимание справедливости (которое не все сводилось к классовой зависти), и для нее принес за 20 лет немало жертв, геройствуя не хуже студентов: на эшафоте, в тюрьмах и ссылке. В 1905 г. этот союз революционной интеллигенции, пролетариата и крестьянства был уже совершившимся фактом. Схема русской революции была дана – вплоть до идеи советов.

Совершенно условно и приблизительно рабочий и крестьянин шли за социалистическими партиями с.-д. и с.-р. Просто потому, что первые во главу угла ставили пролетария, вторые – мужика. Но если для рабочих социализм, в самом туманном понимании, был, действительно, красным цветком, освещающим жизнь и борьбу, то для крестьянина это было пустое слово. С с.-р. у него было общим требование земли. Когда ему говорили о воле, он не противоречил, когда говорили о социализме, – молчал. Социализацию земли переводил на язык общинных распорядков. Любая партия, написавшая в своей программе ликвидацию помещичьего землевладения, могла бы рассчитывать на поддержку крестьянства. При наличии данных (связанных с интеллигентской традицией) партий, крестьянство числилось в эсерах по недоразумению.

Недоразумений было достаточно и с рабочими. Экономические основы марксизма, на которых с таким талмудическим начетничеством настаивали пропагандисты, с трудом влезали в голову пролетария. Бланкизм[3] или бакунизм[4], вероятно, более соответствовали бы его природе и умственному уровню. Его выступления в рядах социал-демократии были тоже «псевдоморфозой», хотя и не столь причудливой, как крестьянский социализм. 1917 год разоблачил и тот, и другой маскарад.

7. Новая демократия

Пролетариат и крестьянство были огромной силой в русской революции, но силой чисто разрушительной. Не им было организовать революцию. Не им, но и не старой интеллигенции,

которая руководила движением в течение полувека. С 1906 г. интеллигенция постепенно сходит с революционной сцены. Оставленная ею брешь заполняется новыми людьми, — можно сказать, новым классом. Ему не повезло, этому классу. Его не заметили в момент рождения. Увидели и испугались, когда он уже пришел к власти, и отнесли его за счет большевистской революции. Насколько помнится, только проницательный К. Чуковский в одном из своих фельетонов отметил появление чуждой, страшной силы — «битнеровцев»[1] — и забил тревогу. Эту силу можно было бы назвать новой интеллигенцией. Мы предпочитаем называть ее новой демократией.

Есть демократия убеждений и есть демократия быта. С начала XX века Россия демократизуется с чрезвычайной быстротой. Меняется сам характер улицы. Чиновничья-учащаяся Россия начинает давать место иной, плохо одетой, дурно воспитанной толпе. На городских бульварах по вечерам гуляют толпы молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетыми по-модному, но явно не бывавшими в гимназиях. Лущат семечки, обмениваются любезностями. Стараются соблюдать тон и ужасно фальшивят. Барыни-чиновницы в ужасе, что прислуга дерзит и носит шляпку. Несомненно, прислуга — вчера полукрепостная, — превращается в барышню. Она уже требует, чтобы ее так называли. Около 1905 г. это уравнительное, европейское «барышня» (fraulein, demoiselle) входит в разговорный язык, означая огромную культурную революцию. Мужика еще никто не называет господином, или гражданином, но женщина (девушка) первая завоевывает гражданское равноправие.

Приглядимся к ее кавалерам. Иногда это чеховский телеграфист или писарь, иногда парикмахер, приказчик, реже рабочий или студент, спускающийся в народ. Профессия новых людей бывает иногда удивительной: банщик, портной, цирковой артист, парикмахер сыграли большую роль в коммунистической революции, чем фабричный рабочий. Разумеется, с этим разночинством сливается и выделяемый пролетариатом верхний слой, отрывающийся от станка, но не переходящий в ряды интеллигенции. Сюда шлет уже и деревня свою честолюбивую молодежь. Могуч этот напор, идущий с самого дна. В конце прошлого века босяки появляются в литературе не только в качестве темы, но и авторов. С Максима Горького можно да-

тировать рождение новой демократии, с Шаляпиным она дает России своего гения. Горький и Шаляпин десятилетиями варились в интеллигентском котле, в общении с цветом русского культурного слоя. Несмотря на это, в их культуре остались такие пробелы, и, главное, их отношение к жизни настолько необычайно для интеллигенции, что она часто отказывается понимать их.

Русская интеллигенция конца XIX века была весьма демократична по своему происхождению, но это не нарушало ее преемственной связи со стародворянской культурой. Связь эта, как мы знаем, устанавливалась через школу. Все отличие новой демократии от интеллигенции в том, что она не проходит через среднюю школу, и это образует между ними настоящий разрыв. Новые люди – самоучки. Они сдают на аттестат зрелости экстернами, проваливаясь из года в год. Экстерны – это целое сословие в старой России. Экстерны могут обладать огромной начитанностью, но им всего труднее дается грамота. Они с ошибками говорят по-русски. Для них существуют особые курсы, особые учителя. Для них издают всевозможные «библиотеки самообразования», питающие их совершенно неперевариmыми кирпичами в невозможных переводах. Это невероятная окрошка из философии, социологии, естествознания, физики, литературы: de omnibus rebus et quibusdam aliis[2]. Для них издается «Вестник Знания», самый распространенный журнал в России, о котором настоящая интеллигенция не имеет понятия. Никому не известный Битнер делается пророком, вождем целой армии. Впервые в русской литературе образуется особый нижний этаж, плохо сообщающийся с верхом. Многие течения русской интеллигенции – символизм, религиозная философия – вниз не доходят вовсе. Зато там увлекаются эсперанто, вегетарианством, гимнастикой Мюллера. Среди новых людей множество неудачных изобретателей и еще больше непризнанных поэтов. В социалистических партиях они встречаются с интеллигенцией на равной ноге, – пожалуй, преобладают здесь после крушения первой революции. Но было бы ошибочным считать их господствующее настроение революционным. Среди них попадаются яростные антисоциалисты, ученики Леонтьева[3], мстящие революционерам за тайную классовую обиду.

Ибо настоящее, кровное их чувство — ненависть к интеллигенции: зависть к тем, кто пишет без орфографических ошибок и знает иностранные языки. Зависть, рождающаяся из сознания умственного неравенства, сильнее всякой социальной злобы. Социалисты — они кричат о засилии в партии интеллигентов, литераторы — протестуют против редакторской корзины, художники — мечтают о сожжении Эрмитажа. Футуризм — в социальном смысле — был отражением завоевательных стремлений именно этой группы. Маяковский показывает, какие огромные и взрывчатые силы здесь таятся.

Более скромен, мягко выражаясь, их вклад в науку. Но не надо забывать, что они уже до войны имели свой университет, созданный Бехтеревым в Петербурге «Психоневрологический Институт». За странным его названием скрывается еще более странное содержание. Там читали философию зырянин Жаков[4] и Грузенберг[5]. Там было все свое, доморощенное — для экстернов, для полуграмотных. Уже тогда, вращаясь среди этой молодежи, можно было представить себе, каков будет большевистский университет.

Говорить о единстве миросозерцания среди нового слоя совершенно невозможно. Но, когда он примыкал к революции, обнаруживалось огромное различие в направленности воли. Для интеллигенции революция была жертвой, демократия — нисхождением. «Все для народа». Народничество лежало бессознательно и в марксистском преклонении перед пролетариатом. Новая демократия — сама народ. Она стремится к подъему, не к нисхождению. Она скорее презрительно относится к массе, отсталой, тупой, покорной. Она хочет власти для себя, чтобы вести народ. Она чужда сентиментального отношения к нему. Чужда и аскетического отречения. Большевику последнего призыва не трудно промотать часть экспроприированных для партии денег, он цинически относится к женщине, хотя бы своему товарищу по партии. Теоретический имморализм Ленина находит в нем практического ученика. В 1910 г., примерно, из революционных партий в России фактически действовали, хотя и чрезвычайно слабо, почти одни большевистские группы. В этих группах почти не было интеллигенции, в старом смысле. За исключением рабочих, это были представители новой демократии. Да и рабочие, ставшие профессиональными рево-

люционерами, принадлежали к той же социальной группе. Уже одно это обстоятельство необыкновенно повышает ее удельный вес. Но в партии Ленина были, конечно, единицы. Массе новых разночинцев пришлось дожидаться октября 1917 г., чтобы схватить столь долгожданную власть. Это они — люди Октября, строители нового быта, идеологи пролеткультуры.

8. Партийная псевдоморфоза

Нет ничего ошибочнее мнения — у марксистов догмата — что политические партии лишь отражают интересы общественных классов. Обслуживание классовых интересов часто является условием жизненности и почвенности партии, но создается она и живет идеей. Идея — не всякая, конечно, — способна проявлять огромную социально-действенную и организующую силу. Религиозная идея может создать государство, даже при отсутствии национальных для него предпосылок: пример Ислам. Идея меньшего калибра способна создать партию.

Есть два рода политически-активных идей. Одни коренятся в глубине народного самосознания, оформляют могучие инстинкты, дремлющие в массах. Другие приходят с книгой, как готовый товар, «made in Germany». Почвенные в ином месте и в иное время, они ведут автономное, кочующее бытие, проявляют нередко огромную, чаще всего разрушительную энергию, но лишены творческой, органической силы роста, цветения и плода.

Русские политические идеи-партии были чаще всего второго сорта. Причин тому было две. Во-первых, подавляющее, обессиливающее влияние Запада и его опыта на русскую мысль, особенно политическую. Во-вторых, полицейское давление абсолютизма, которое вплоть до 1905 г. — в течение полувека — делало возможным существование лишь нелегальных, т. е. революционных партий. Последнее обстоятельство было роковым для правых и умеренных течений, первое — для партий революции.

Запад привил нам доктрины: бюрократического и классового (прусского или английского) консерватизма, свободомыслящего, буржуазного (французского и английского), либерализма и революционного (сперва французского, потом немецкого) со-

циализма. Все эти идеи действовали разлагающе на народную жизнь и углубляли пропасть между политическим сознанием народа и интеллигенции.

Русский консерватизм, как он сложился при Николае I и Александре II (Катков[1]), был государственным миросозерцанием бюрократии и оставался таким до последних ее дней. Это особая форма западничества, т. е. Петровской традиции: постепенного разрушения основ древней жизни во имя цивилизации. В сущности, это была постепенность в революции, или консервирование определенного фазиса революции – на царствовании Николая I или Александра III. В этом внутреннее противоречие русского консерватизма. Отсюда его бездушие, бюрократическая сухость, ироническое отношение к народной душе и ее святыням. Атеизм чувствовал себя легко и удобно в этой среде, где не принято было спрашивать о вере, и где религия поддерживалась больше по традиции. Консерватизм был просто силой инерции государственного аппарата, того аппарата, который был создан Петром для целей грандиозной революции. Русский консерватизм всегда относился подозрительно к черной контрреволюции, к почвенному черносотенству. Правые почвенники наши не могут называться консерваторами: они глашатаи реакции, чаще всего насильственной, т. е. революционной.

Либерализм русский, начиная с Кавелина и Чичерина[2] первых лет, был всегда слабейшим течением в русской интеллигенции. Его слабость была следствием идейного угасания либерализма на Западе после 1848 г. и слабости нашего третьего сословия, на которое мог бы опереться чисто буржуазный либерализм. Один из основных пороков русского либерализма заключался в том, что он строил в расчете на монархию, будучи совершенно лишен монархического пафоса. Русский либерал видел свой идеал в английской конституции и считал возможным пересадку ее в России, забывая о веках революций, о казни Карла I, о страшном опыте почти тысячелетней истории, которая заканчивалась идиллически сотрудничеством монархии, аристократии и демократии. Второй порок либерализма – чрезвычайная слабость национального чувства, вытекавшая, с одной стороны, из западнического презрения к невежественной стране, с другой, из неуважения к государству и даже просто

из непонимания его смысла. За английским фасадом русского либерализма скрывалось подчас чисто русское толстовство, т. е. дворянское неприятие государственного дела. В сущности, от этого порока либерализм освободился лишь в 1914 году, когда всерьез связал защиту России с защитою свободы.

И, наконец, социализм русский, с которым связано столько грозных недоразумений для России! Совершенно ясно, что в социальных и политических условиях России не было ни малейшей почвы для социализма. Ибо не было капитализма, в борьбе с которым весь смысл этого европейского движения. Реально, исторически оправдано одно: борьба интеллигенции за свободу (свободу мысли прежде всего) против обскурантизма упадочной Империи. Борьба за свободу связывалась с горячим, иногда религиозным народолюбием, но отсюда, если и вытекала революция, то уж никак не социализм. Социалистическая формула была просто подсказана западным опытом, как формула социального максимализма. Говоря точнее, первоначально такой формулой явился анархизм, и все развитие русской революционной идеологии совершалось, с чрезмерной медлительностью, по линии: анархизм-социализм-демократия. Социализм постепенно выветривался из конкретных программ всех социалистических партий. С.-р. вообще мало беспокоились о судьбах промышленности. Что касается с.-д., то груз социалистической доктрины приводил их на практике к ряду безвыходных противоречий. Пропагандист уничтожал до конца современный строй и кончал убеждением в том, что этот никуда не годный строй должен быть пощажен революцией. Не было тех бранных слов, которыми он не клеймил бы буржуазии – для того, чтобы передать этой гнусной буржуазии политическую власть, завоеванную руками рабочих. Поистине, от русского рабочего требовалось безграничное самоотречение и безграничная доверчивость. Французский рабочий класс дважды, в 1848 и в 1871 г., доказал, что подобное самоотречение выше его сил и разумения. Гибель республики была совершенно неизбежным последствием классовой борьбы 1848 г., и в 1871 г. республику спас случай. В России социалистический характер всех революционных партий делал невозможной честную коалицию с либералами, делал невозможной национальную революцию.

Вдумываясь в господствующие политические настроения, смутные чаяния во всех слоях общества, поражаешься, насколько они не соответствовали официальным партийным группировкам. В России могли бы создаться, по крайней мере, три могущественных партии, из которых каждая могла бы повести страну. Они не создались из-за отсутствия вождей и идейного оформления.

Во-первых, «черносотенная» партия крестьянства, которая соединила бы религиозный монархизм с черным переделом. Народ до японской войны мечтал о царе Пугачеве. Для монархии этот путь был реально возможен. Пугачевщина могла и не принять разрушительных форм, будь она провозглашена престолом и поддержана церковью. В сущности, при слабости и быстрой ликвидации дворянского землевладения, экономические потери были бы невелики. От монархии требовалось только одно: отказаться от гнилой опоры в дворянстве и опереться на крестьянство, с возвращением к древним основам русской жизни. Это путь, указанный Достоевским и немногими идейными черносотенцами. Потери на этом пути: варваризация, утрата (временная) многого, созданного интеллигенцией за два века. Однако, эти утраты были бы, может быть, не столь тяжелы, как в условиях марксистской пугачевщины Ленина.

Во-вторых, партия славянофильского либерализма: православная, национальная, но враждебная бюрократии и оторвавшемуся от народа дворянству, защищающая свободу печати и слова, единения царя и земли в формах Земского Собора. Эта партия могла бы быть не классовой, а всенародной, с ударением, однако же, на торгово-промышленные слои, как силу земскую по преимуществу, почвенную и прогрессивную. Вырождение старого славянофильства в черносотенство конца XIX века обескровило это направление. Однако в Москве (и провинции) никогда не угасала эта благородная традиция — Самариных, Шиповых, Трубецких[3]. Самая распространенная в России газета «Русское Слово», несмотря на наружную бульварную окраску, была именно органом этой, никогда не оформившейся национально либеральной партии. Миллионы людей в гуще провинциальной жизни мыслили и чувствовали по «Русскому Слову», даже в среде дипломированной интеллигенции, расписанной по иным, радикальным и социалистическим партиям. Огромная сила национального возрождения растрачивалась зря, рас-

текаясь по чуждым ручейкам, или заболачиваясь в низинах, за отсутствием вождей. Либерально-демократическая партия приобрела бы огромный резонанс в городском купеческом и служилом населении, будь она почвенна и национальна. Конечно, ее успех был бы немыслим без доброй воли царя, от которого в этом случае требовался бы жест Пугачева, а дело Александра II в идейном обрамлении Алексея Михайловича.

И, наконец, в-третьих, если выяснилась неспособность монархии к творческому акту, если путь революции оставался единственным, открытым для интеллигенции, то теоретически мыслима партия демократической революции, русского якобинства. Ее элементы имелись уже в русской политической культуре, в памяти декабристов, в поэзии Некрасова и Шевченко, в прозе Герцена и Горького, с «Дубинушкой», в качестве национального гимна. Тысячи бунтовавших студентов именно в «Дубинушке», а не в Марсельезе (всего менее в Интернационале) находили адекватное выражение вольнолюбивым своим чувствам. В «Дубинушке», да еще в песнях о Стеньке Разине, которые были в России поистине национальны. Русские радикальные юноши в массе своей безнадежно путались между с.-д. и с.-р., с трудом и внутренним отвращением совершая ненужный выбор между ними – ненужный потому, что не социалистическая идея волновала сердца, а манящий призрак свободы. В этой борьбе студенчество, конечно, было бы поддержано новой демократией, как мы ее определяли, и крестьянством, которое поднялось бы за землю, кто бы ни обещал ее. Конечно, революционная стихия в России несла с собой неизбежно пугачевщину, сожжение усадеб, разгром богачей, но гроза пронеслась бы, и вошедшее в берега море оставило бы (за вычетом помещиков) все те же классы в той же национальной России. Вчерашние бунтовщики оказались бы горячими патриотами, строителями великой России. Это путь революции в Германии, Италии, Турции. Почему же в России не нашлось места младотуркам и Кемалю-паше[4]? Неужели турецкая политическая культура оказалась выше русской? Одна из причин этого столь невыгодного для нас несходства заключалась в том обстоятельстве, что турки учились у политически отсталой Франции, а мы у передовой, т. е. у социалистической Германии. Но за этим стоит другое. Французские учебники оказались подходящими для Турции потому, что они твердили зады революции 1793 г.:

буржуазной и национальной. Турция 1913 или 1918 года ближе к Франции 1793 г., чем современная Россия к современной Германии. За легковесностью политического багажа турецких генералов скрывается большая зоркость к условиям национальной жизни, большая чуткость, большая трезвость. Трезвые люди были и в России. Но им не хватало турецкой смелости. Нужно представить себе Скобелева[5], Драгомирова или Гучкова[6] конспираторами, организующими дворцовый переворот, поднимающими военные восстания, чтобы почувствовать всю ирреальность этого исхода. Ни в русской армии, ни в русской интеллигенции не было людей, соединяющих холодную голову, понимание национальных задач с беззаветной смелостью и даже авантюризмом, необходимым для выполнения такого плана. Гражданский маразм, деформация политической психологии делали невозможным образование национальной революционной партии в России.

9. Была ли революция неотвратимой?

Ставить так вопрос — не значит ли заниматься пророчествами наизнанку: гаданием о том, что могло бы быть и чего не было? — самый никчемный, ибо ни на что не вдохновляющий вид пророчеств. — Вопрос этот может иметь смысл лишь как новая оценочная и в то же время поверочная форма нашей аподиктической[1] схемы. Отчасти это вопрос о вине и ответственности, отчасти поправка к безнадежно черной картине, умышленно односторонней, ибо предназначенной для объяснения гибели.

И вот, на пороге последней катастрофы, мы останавливаемся, чтобы сказать: не все в русской политической жизни было гнило и обречено. Силы возрождения боролись все время с болезнетворным ядом. Судьба России до самого конца висела на острие — как судьба всякой живой личности.

Начнем издалека.

Первый признак государственного упадка России мы усматривали в политической атонии дворянства. Заметное с конца XVIII в., явление это связано — отчасти, по крайней мере, — с крушением его конституционных мечтаний. Даже если мечтания эти не были ни особенно сильными, ни особенно распространенными, в интересах государства было привлечь дворянство, как класс, к строительству Империи: возложить на

него бремя ответственности. Всенародное представительство в виде Земского Собора было невозможно с того момента, как все классы общества, кроме дворянства, остались за порогом новой культуры. Но дворянский сейм был возможен. Он сохранился повсюду в Восточной Европе, и русские государственные деятели часто испытывали его соблазн. Эта аристократическая (шведская) идея жила и в век Екатерины (граф Панин[2]), и в век Александра I (Мордвинов[3]). Декабристы — значительная часть их — усвоили демократические идеи якобинства, беспочвенные в крепостной России. Но и среди них, а еще более в кругах, сочувствующих им, в эпоху Пушкина были налицо и трезвые умы и крупные политические таланты, чтобы, сомкнувшись вокруг трона, довести до конца роковое, но неизбежное дело европеизации России. Конечно, эта задача делала невозможным немедленное освобождение крестьян, которое неминуемо ввергло бы Россию в XVII век. Единственный шанс русского конституционализма в начале XIX века — это, что крестьянство могло бы не заметить перемены, всецело заслоненное от государства лицом помещика. Новый строй был бы принят им на веру, на слово царя. Постепенное приобщение к представительству других слоев — духовенства, интеллигенции, купечества, — сообщало бы земский характер Собору, открывало бы возможности нормальной демократизации, плоды которой со временем достались бы и освобожденному крестьянству. Конечно, в тот день, когда царь апеллирует к народу, от дворянства не останется ничего. В этом, в необходимости политического самоограничения царя, и заключается практический утопизм конституционного пути. Абсолютизм нигде и никогда себя не ограничивал, а в России не было силы, способной ограничить его извне. Весь этот первый политический ренессанс — дворянский — был задушен навсегда тяжелой рукой Николая I.

Реформы Александра II, надломив бюрократический строй, но не перестроив государства на новых началах, оставили хаос, разброд в умах, междоусобную борьбу во всех колесах правительственного механизма. Уничтожая левой рукой то, что делала правая, царь вывел Россию из равновесия. С 60-х годов начинается последняя, разрушительная эпоха Империи. А между тем вызванная ею к жизни так называемая общественность, т. е. дворянско-интеллигентские силы были значительны, оду-

шевлены идеализмом политической и культурной работы и далеко не всегда беспочвенны. Земская, позже городская Россия, плод самоотверженного труда двух поколений деятелей, доказывает положительные, созидательные способности новых людей. Государство оттолкнуло их, отвело им тесно ограниченный удел, создав из земщины как бы «опричнину» наизнанку, вечно подозреваемую экспериментальную школу новой России. Эта изоляция от государства воспитала земцев-безгосударственников, деятелей уездного и губернского масштаба, слепых к мировым задачам России.

Но атрофия государственного сознания была искусственной: поддерживалась вечной мелкой войной с губернаторским самодурством и зрелищем попятного движения Петербурга. «Увенчание здания» в 60-х годах организовало бы эту общественную энергию, превращая ее в национальную. Трудности были — и не малые. Во-первых, политическая школа Запада угрожала превратить русский Земский Собор в театр красноречия и борьбы за власть. Но правительство располагало еще большими славянофильскими ресурсами. Опираясь на духовенство и купечество, оно могло бы оживить древнюю легенду православного царя. Приобщая к реальной власти, т. е. давая политические посты земским деятелям, наряду с бюрократией, правительство вырвало бы почву у безответственной оппозиции. Вторая и несравненно большая трудность заключалась в свободном крестьянстве, которое не замедлило бы предъявить свои притязания на всю землю. Пришлось бы идти на ликвидацию дворянского землевладения гораздо решительнее, чем шли в действительности. Последствия были бы не из легких — сельскохозяйственные и общекультурные. Но жизнь показала, что этот процесс неотвратим. Россия должна была перестраиваться: из дворянской в крестьянско-купеческую. У власти был шанс сохранить в своих руках руководство этим процессом, проведя ликвидацию с возможной бережностью к старому культурному слою. Третьей опасностью являлся анархический нигилизм. Поскольку он отражал не реально-политические, а сектантски-религиозные потребности русской интеллигентской души, он не поддавался политическому излечению. Но в 60-х годах болезнь была в зародыше, и в условиях гражданского мира максималистские тенденции могли быть направлены по их подлинному религиозному руслу.

Для этого пути от власти требовалась большая смелость и вера, – вера в свою правду и в свой народ. Александр II и его правительство ни верой ни смелостью не обладали. Правительство ориентировалось на немцев, было чуждо русским национальным течениям, и трусливо так, как мог быть только доживающий абсолютизм Габсбургов[4]. Тяжелая моральная атмосфера двора, столь несоответствующая народной легенде о Царе-Освободителе, доказывает эту внутреннюю опустошенность монархии. Но сама легенда говорит о еще не опустошенных монархических ресурсах в народной душе.

Под пышной порфирой Александра III гниение России сделало такие успехи, что надежды на мирный исход кризиса к последнему царствованию были невелики. Главное было в исчерпанности моральных ресурсов. Славянофильский идеал был опоганен мнимо-национальной полицейской системой удушения. Внутренняя хилость и бездарность консервативных течений конца века (после Достоевского, Леонтьева!) – показатель безошибочный. Консервативные идеи, в «Новом Времени», оказались продажными. Без субсидии от правительства не могла существовать ни одна правая газета. Ясно, что возрождение теократической идеи царства стало невозможным.

Но для России были даны еще два последних шанса. Первый шанс – революция 1905 г. Второй – контрреволюция Столыпина.

Невозможно доказать, невозможно даже утверждать с полной убежденностью, что победа революции в 1905 г. не привела бы к тому же развалу России, что революция 1917 г. Все же можно привести серьезные противопоказания. В движение 1905 г., в отличие от революции 1917 г., все партии и группы русской интеллигенции шли с огромной верой и энтузиазмом. Моральный капитал революции, скопленный за столетие, не был растрачен. Народ не находился в состоянии отчаяния и слабо чувствовал войну. Огромные массы крестьянства жили еще в условиях патриархального быта и сознания. Самое главное: международная обстановка была сравнительно благоприятной. Война могла быть закончена в любой момент. Конечно, успех революции неизбежно привел бы к захвату помещичьей земли, пожарам и погромам. Конечно, социалистическая агитация в рабочих массах возбуждала их против либеральной демократии. Но все эти опасности действовали в неизмеримо меньшей степени, чем через 10 лет.

Даже большевики 1905 г., со своей программой диктатуры пролетариата и крестьянства, стояли на почве русской, национальной революции. Гражданская война была неизбежна. Но она имела шансы окончиться победой опирающихся на удовлетворенное крестьянство умеренных слоев демократии.

Впрочем, сами шансы эти, т. е. недостаточная острота революционной ситуации и сделала возможной сравнительно легкое подавление революции.

Инициатива была в руках правительства. Оно имело шанс. И какой шанс!

Восьмилетие, протекшее между первой революцией и войной, во многих отношениях останется навсегда самым блестящим мгновением в жизни старой России. Точно оправившаяся от тяжкой болезни страна торопилась жить, чувствуя, как скупо сочтены ее оставшиеся годы. Промышленность переживала расцвет. Горячка строительства, охватившая все города, кидалась в глаза. В деревне совершалась большая работа; обещавшая подъем хозяйства, предлагавшая новый выход крестьянской энергии. Богатевшая Россия развивала огромную духовную энергию. Именно в это время становился явен тот вклад в русскую культуру, который вносило русское купечество. Университет, получивший автономию, в несколько лет создал поколение научных работников в небывалом масштабе. В эти годы университеты Московский и Петербургский не уступали лучшим из европейских. Помимо автономии и относительной свободы печати, научная ревность молодежи поддерживалась общей переоценкой интеллигентских ценностей. Вековое миросозерцание, основанное на позитивизме и политическом максимализме, рухнуло. Созревала жатва духа, возросшая из семян, брошенных в землю религиозными мыслителями XIX века. Православная Церковь уже собирала вокруг себя передовые умы, воспитанные в школе символизма или марксизма. Пробуждался и рос горячий интерес к России, ее прошлому, ее искусству. Старые русские города уже делались целью паломничества. В лице Струве[5] и его школы — самой значительной школы этого времени — впервые после смерти Каткова возрождалась в России честная и талантливая консервативная мысль. Струве подавал руку Столыпину от имени значительной группы интеллигенции, Гучков от имении бур-

жуазии. Как использовала монархия эти счастливые для нее возможности?

Император Николай II имел редкое счастье видеть у подножия своего трона двух исключительных по русской мерке государственных деятелей: Витте и Столыпина. Он ненавидел одного и предавал обоих. Они были совершенно разные, особенно в моральном отношении, люди. Но оба указывали монархии ее пути. Один — к экономическому возрождению страны через организацию сил промышленного класса, другой — к политическому возрождению России в национально-конституционных формах. Николай II хотел принизить Витте до уровня ловкого финансиста, а Столыпина до министра полиции. Он лукавил с обоими и окружал себя политическими гадами, публично лаская погромщиков и убийц. Он жил реакционной романтикой, созвучной славянофильским идеалам, растоптанным его отцом и дедом. Лет сорок-тридцать тому назад они имели действенную силу. Теперь это была вредная ветошь, нелепый маскарад, облекавший гвардейского полковника в одежды московского царя. В Царском Селе императрица строила Феодоровский городок для задуманного ею духовно-полицейского ордена рыцарей самодержавия (старая идея «опричнины»). В жизни рыцари оказывались наемными охранниками или бандитами. Во дворце жили в сознании войны со своими мятежными подданными и подменивали политику полицией. Это выпячивание полиции бередило уже зарубцевавшиеся раны, срывало дело национального объединения. Беспричинно и бессмысленно разрушалась автономия университетских корпораций. Кассо и Шварц[6] сумели вызывать из потухшего пепла слабые вспышки студенческих забастовок. Но хуже всего было проституирование народного представительства.

Монархия не могла править с Думами, состоящими из социалистов и республиканцев. Это ясно. Но она так же не доверяла Думе октябристов и националистов. Она вела в лице ее войну с консервативными силами страны — мелочную, нелепую, но дискредитирующую и власть, и народное представительство. Народ приучался к мысли о бессилии и никчемности Думы, интеллигенция — к аполитизму. Не стоило создавать Думы, не приобщая к власти ее вождей. Оставляя за ними лишь право слова, правительство превращало Думу в «говорильню», в митинг, который, как митинг, имел тот огромный недостаток, что

отражал настроения лишь правого сектора страны. Столыпин не принял протянутой руки Струве и Гучкова, — не потому, чтобы недооценивать значения гражданского мира. Но за ним стоял дворец, который парализовал его волю, дворец, который превратился в штаб гражданской войны.

В довершение бедствия дворцовый мистицизм принял уродливые и опасные формы. Вся Россия — с ужасом или захлебываясь от удовольствия — переживала годы распутиниады. Хлыст, через царскую семью, уже командовал над русской церковью, в ожидании того момента, кода война отдаст ему в руки государство. Подобранный Распутиным Синод, распутинские митрополиты, ссылка епископов — неслыханное поругание церкви совершалось именем царя, который мистически сознавал себя помазанником Божиим, который всецело принимал сверхчеловеческую ответственность самодержавной власти. Для религиозного сознания один этот грех обрекал на смерть династию. Для всей грамотной России это была ванна мерзости, в которую она погружалась каждый день.

Оглядываясь на последние предвоенные годы, чувствуешь странное раздвоение: гордость достижениями русской культуры и тяжесть от невыносимого нравственного удушья. Имморализмом была поражена более или менее вся Россия. Ренессанс культуры не сказался еще ничем в ее сердце. Но ясно замечаешь и определенные черные лучи, исходящие из одного фокуса: отравляющие правительство, Думу, печать, общественность. Этот фокус — в царском дворце. Можно, конечно, думать, что рок войны, непосильной для России, все равно обрекал на гибель работу ее творческих сил. Но и без войны было ясно, что вся эта работа парализуется и отравляется в самом сердце страны.

Нельзя преуменьшать значения личной ответственности в истории. В самодержавной монархии не может не быть особенно тяжелой ответственность царя. Но бывают годы в жизни народов, годы кризисов, распутий, когда чаша личной ответственности начинает перетягивать работу бессознательных исторических сил. В русской революции только два человека сыграли роковую, решающую роль, не сводимую к типическим факторам, к воздействию групп. Эти два человека — Николай II и Ленин. Первый спустил революцию, второй направил ее по своему пути.

Схема революции

1. Обвал

Можно без конца спорить о том, была ли неизбежной революция в России — без войны. В той напряженной борьбе творческих (духовных и хозяйственных) и разрушительных (политических) сил, из которой складывалась жизнь предвоенной России, кто мог предугадать исход?

Значит ли это, что события развязаны силой трагической случайности? Конечно, нет. Война входила в расчеты всех национально-мыслящих политических деятелей. Власть готовилась к ней — хотя и плохо. Исход войны определился всем уровнем технической и политической культуры страны. Война — это суд над народами. Сильные устояли, слабые развалились. Россия развалилась первой. Механизм катастрофы был ясен для всех: нет снарядов, есть Распутин (т. е. нет власти). Революция не была в числе движущих сил катастрофы. Она была ее результатом, ее именем. Революционный процесс на девять десятых сводился к развалу армии и дезертирству, т. е. стихийной демобилизации. Самовольное возвращение с фронта десятимиллионной армии — не только фон революции, но ее постоянное питание, «белый уголь»[1], превращающий в жар падение жидких масс. В этом первое роковое условие русской революции.

Второе ее условие и в то же время величайший парадокс: она пришла незваная и нежеланная, она совершилась без революционеров — как обвал, как стихийная катастрофа. Всякая революция, конечно, — обвал и катастрофа. Но когда ее призывают сознательно, когда ее встречают, как освобождение, в

хаосе разрушения бродят и творческие силы. Они организуют революцию и среди развалин строят новую жизнь. Русская интеллигенция десятилетиями ждала революции, но, разбитая и «поумневшая», устала ждать. Она разоружилась морально после 1906 г. Во время войны последние остатки ее разбитой армии растворились в национальном потоке. Интеллигенция принесла тягчайшую жертву: пожертвовав свободой ради России. Она пошла за трехцветным знаменем и доверила защиту России исторической власти. Но эта связь ее с национальной Россией была куплена дорогой ценой: отрыва от народа. Интерес войны, сложный рисунок европейской политики, для широких слоев интеллигенции впервые открывшийся, захватил ее совершенно; газетный лист прикрыл своим кровавым схематизмом трагедию народной души. Интеллигенция приняла войну почти восторженно, сделала своими ее официальные цели и не заметила, что народ безмолвствует. Он принял войну покорно, он готов был на все жертвы, умирая безоружным, голыми руками разрывая колючие проволоки, но он не знал, за что сражается. Его удерживал в аду окопов вековой инстинкт верности, но ни одна сознательная идея не приходила на помощь инстинкту.

Когда правительство оставило армию без снарядов, армия поверила в измену. За Сухомлиновым[2] вставала немка-императрица и царь, отдавший свой дом и Россию в руки чудовищного старца. Быть может, консервативные депутаты «прогрессивного блока» ошибались, думая, что их гневные речи успокаивают страну. Но громче их говорили немецкие пушки и сильнее газетных листков жалила ползучая легенда, убившая честь царя.

Интеллигенции можно поставить в вину одно: она ленилась умирать. Послав на смерть свой лучший цвет первых добровольцев, она стала сдержаннее к личным жертвам. Выросла огромная армия «земгусаров», окопавшихся в тылу, превративших повинность крови в классовую подать. Это малодушие, несомненно, связано с имморализмом предвоенных лет. Самое крушение революционных идеалов ощущалось прежде всего, как поражение морального идеализма. Рост новых культурных интересов обгонял рост нового нравственного сознания. Огромное общественное влияние «Вех»[3] на интеллигентские массы было прежде всего разлагающим. Такова же была социаль-

ная функция эстетики. Приятие национальной идеи не могло переродить морально людей с опустошенной душой. Для России готовы были принести дань словом, трудом, но не кровью. Кровь лили офицер и мужик. Именно поэтому они одни смогли стать активными деятелями революции. Революция вылилась в борьбу между солдатом и офицером, в которой интеллигент играл печальную роль.

Офицерство умирало рядом с солдатом (гвардия). Но почему же вся солдатская ярость обрушилась не на окопавшийся тыл, а на своих командиров? Русская армия всегда сохраняла в своей организации остатки крепостного быта. Демократическая по своим принципам, она являлась сословной по духу. Солдат был не гражданином, а мужиком. До поры до времени это было естественно. Мужик не обижался на мордобитие, пока порол сам себя по приговорам волостных общин. Но огромная перемена в народном сознании, происшедшая с японской войны, ускользнула от офицерства. Оно жило традицией денщицкого анекдота, и полагало, что мат и зуботычина (во всяком случае, фельдфебельские) единственная форма обращения, доходящая до солдатского черепа. В армии Великой войны была восстановлена порка, как форма милосердия. Но обучение в тыловых лагерях принимало совсем не милосердные, порою зверские формы (Казанский округ). Оторванного от сохи мужика стремились оглушить, раздавить морально, чтобы через 6 недель послать на верную смерть. Качество бойца, подготовка его игнорировались при расчете на громадность цифр. Приходилось забивать непрерывно дыры фронта свежей порцией человеческих тел. Там, в огне, общая смерть и боевое братство соединяли на короткое время командира и «нижних чинов». В тылу обреченные видели перед собой только истязателей. Но тыл в три раза превышал фронт. И революция вспыхнула в тылу.

Поразительно, но понятно, что офицерство военного времени, т. е. демократия, пропущенная через юнкерские училища, оказалась гораздо дальше от солдата, чем офицерство кадровое. В этом отразилось крушение идеалов революционной интеллигенции. Вчерашний социалист через полгода становился держимордой. Он зарубил себе на носу, что старые, «слюнтявые» идеалы гуманности, идя на войну, надо бросить. Он культивировал в себе жестокость, как драгоценное качество

бойца. Он не мог выработать в себе чувства меры, которое дается профессиональной этикой и долгим опытом человеческих отношений. «Коль рубить, так уж сплеча». В отличие от старого офицера, он принимал войну, как злодейство, ради России, – и соответственно тренировал себя.

Революция началась солдатским бунтом, и избиение офицеров было первым ее актом. Интеллигенция пыталась встать между офицером и солдатом, чтобы революционной фразеологией обезоружить последнего и спасти армию для национальной войны. Офицерство упрекало ее в разложении армии, указывая на приказ № 1 и речи демагогов. Демагогия – вещь обоюдоострая. Оратор, спасавший жизнь офицера, губил его авторитет. Революционная фразеология, проникая на фронт, несомненно разлагала армию. Но остается фактом, что восстание Петроградского гарнизона было стихийным взрывом, честь которого не могли приписать себе даже большевики. Остается фактом, что перепуганные офицеры искали спасения в Государственной Думе и требовали от нее для успокоения частей левой демагогии, потому что правая перестала действовать. Ясно, что петроградский бунт не мог не перекинуться на остальные города России, где условия были совершенно те же. В России, после убийства Распутина, не было никакой власти, и ничто не могло остановить пожара. Можно было несколько задержать его распространение. Обвал лавины можно было растянуть – на 8 месяцев, что и было сделано «революционной демократией».

Теперь уже, кажется, одни безнадежные фанатики рассуждают о том, как можно было спасти Россию в 1917 году. Час страшного суда наступил, и каяться было поздно.

Единственно, что несколько оправдывает трагическую суетню на тонущем корабле – это бесконечно малый шанс на окончание войны, на общеевропейский мир, который мог бы узаконить стихийную демобилизацию армии. Это объясняет пацифистскую фразеологию демократии – которая, как и вся ее фразеология, тушила и раздувала огонь одновременно.

Рассматриваемая в целом, как единый процесс, русская революция проходит две фазы: период распада и период созидания власти. Последний начинается с октябрьского переворота и с формирования первых отрядов Красной Армии.

Распад государства протекал во взаимной борьбе трех сил: солдат, офицерства и тыловой интеллигенции, из которых каждая облекалась в более или менее маскарадную идеологию: большевизма, кадетства и разных оттенков демократического социализма. Под большевизмом понимался похабный мир, под кадетством — военная диктатура, под социализмом — демократическая государственность. Борьба между двумя последними силами могла уже очень мало прибавить к торжествующему хаосу. Но эти две силы — все, что оставалось от старой России. Эти две силы до сих пор ведут между собою призрачный бой в царстве теней эмиграции.

Историческая авансцена была занята демократией. Ей номинально принадлежала власть, и ее слово, море слов, создавало революционную декорацию. Тяжело и стыдно вспоминать, мучительно перечитывать речи 1917 года. Это горькое чувство стыда рождается из основного ощущения лжи — то есть несоответствия между словами и реальностями. Оратор держал себя так, словно перед ним был народ, жаждавший свободы и готовый защищать родину. Он обращался не к дезертирам, а к гражданам, да и как иначе он мог бы обращаться к ним? Против дезертиров выставляют пулеметы, а тогда пулеметы были в руках дезертиров. Неужели не чувствовали деятели этого трагического года лжи своих слов и бессилия действий? Большинство чувствовало, несомненно, хотя чувство это боролось с отчаянной решимостью уверить себя в противном. Для вождей 1917 г. революция, как мы видели, была разогретым блюдом. Они давно пережили юношеский энтузиазм и веру в волшебные слова. Для многих революционное прошлое было покрыто гражданской десятилетней давностью. Февраль и март были мобилизацией ополчения революционной армии, давно уже не имевшей актива. Мирным людям, культурным работникам приходилось перестраивать свой душевный лад, из забытых недр памяти извлекать красные слова. Кое-кому удавалось опьянять себя фразой. Другие поддерживали бодрость, спешно перелистывая истории французской революции. Почти у всех кошки скребли на сердце. Странная это была революция, где революционерам приходилось тушить, а не раздувать ее. И они сознавали, что в руках у них не было ничего, кроме садовых леек.

В нарушение всех канонов революции, демократия и ее правительство жили фикцией легальности. Разработка идеального закона об Учредительном Собрании, который сделал невозможным его созыв до большевистского переворота, была одним из примеров этого правого фетишизма. Право, не подкрепляемое силой, принимало форму моральной проповеди. Правительство было штабом агитаторов — безразлично, вытекало ли непротивленчество из моральной идеи (кн. Львов[4]) или из фактического бессилия (Керенский[5]). Люди совершенно иного закала (Гучков), попадая в данную обстановку, не могли действовать иначе — т. е. просто не могли действовать.

Этого не хотела видеть партия национальной России. Она обнаружила еще меньшее понимание остроты положения, чем революционная интеллигенция. Офицеры «кадетского» толка не могли рискнуть выступить перед толпой. Но им все время казалось, что они могли бы справиться силой с разбушевавшейся стихией; забывали, что сила была в то время в руках толпы. Всего убедительнее доказал это генерал Корнилов. Как бы ни относиться к его попытке, несомненно, что она была первоначально задумана не в расчете на помощь социалистического правительства Керенского, а против него. Ставка Главнокомандующего должна была взвесить все шансы, собрать все не окончательно разложившиеся части, чтобы двинуть их на Петербург. 27 августа эти части были двинуты при той политической обстановке, которая предполагалась с самого начала: т. е. не за, а против Керенского. Каковы же были эти силы национальной России? Корниловский полк, туземная дивизия и 3-й конный корпус, которые не могли быть вовремя переброшены по разобранным Викжелем[6] путям (нормальная революционная обстановка) или разложились, не дойдя до Петербурга. Генерал Корнилов был человек героической воли, на котором сосредотачивались надежды и даже молитвы национальной России. Жалкий провал его показывает, каковы были средства и шансы военной диктатуры, о которой мечтали офицерство и вся буржуазная Россия.

Теперь легко рассуждать об этом и говорить о неотвратимом. Но в 1917 г. Россия не могла просто покончить с собой самоубийством. Ее отчаянные, хотя и бесполезные жесты утопающей не могут не вызывать глубокого волнения. Мы не имеем права

забывать о трагедии последней борьбы. Печатью трагизма запечатлены усилия обеих – и национальной и демократической России. Океан слов не должен скрывать от нас готовности к жертвам и подлинного чувства гибели в стане мнимых революционеров. Национальная Россия гибла почти без слов. В этом ее историческое счастье.

2. Большевики

На рубеже октябрьской революции уместно поставить вопрос: в какой мере большевизм был судьбой России? Действительно ли для взвихренной революцией России 1917 года не оставалось иного пути? Этот вопрос имеет смысл уже исключительно оценочно-экспериментальный. От ответа на него зависит наше последнее суждение о большевизме и русской революционной интеллигенции.

В разгаре революции у национальной России был только один шанс: национально-революционная партия, – т. е. именно та партия, которой не хватало (как и многих других) в политическом спектре.

Революционная, т. е. ненавидящая старый режим, политический и социальный, национальная, т. е. не связанная ни интернациональной, ни социалистической догмой. Эта партия должна была бы сделать все разрушительное дело большевиков, не ставя себе их «творческих» задач. Быть опричной метлой, Атиллой, Божиим бичом грешной России. Испепелить ее – и уйти, оставив зеленую траву расти свободно среди пожарищ. Этой воображаемой партии в первую голову пришлось бы вывести Россию из войны какой угодно ценой: т. е. ценой похабно-Брестского мира. Эта партия должна была бы санкционировать захват и передел земли, вместе с социальной пугачевщиной. После этого она могла бы организовать в новую армию революционную чернь и сохранить внешнее единство России приблизительно в границах нынешнего СССР. Эта часть октябрьских «завоеваний» вытекала, действительно, неотвратимо из самой революционной ситуации. Революция в России 1917 г. могла быть только такой: социальной, глубокой, жестокой, до дна переворачивающей жизнь. Ее делал народ, сделал бы ее без всяких партий и политических вождей: однако, без вождей и

партий он не мог бы спасти единства России. Всякая партия, которая пошла бы по ветру народной стихии, могла вести Россию за собой. В своей идеологии с.-р.-ы были даже ближе к народу, чем большевики. Но, как я уже сказал, в России 1917 г. не было революционеров. Именующие себя революционными партии боялись крови, боялись стихии. Старая интеллигенция оказалась слишком чистой и морально сложной, чтобы делать революцию. У революции не было других «работничков», кроме большевиков. Народная Россия приняла их, но вместе с ними должна была принять и тяжкое приданое: расплату по счетам III Интернационала и крепостное право, именуемое «социализмом в одной стране».

Что такое большевики?

Значительная трудность в понимании и оценке большевистской партии происходит от недоуяснения сложности этой формации. Тот, кто не желает подставлять вместо живой реальности призрак апокалиптического зверя, обязан различать: различать ряд слоев, которыми постепенно обрастал катящийся ком, первоначальное ядро партии, в лавине всероссийского обвала. Народ давно подметил двойственность в «единой и единственной» партии. Стало тривиальным разделение на коммунистов и большевиков, выражающее двойственность интернациональной и национальной стихии большевизма. Но это деление еще недостаточно. Оставляя в стороне карьеристов, разбухший партийно-бюрократический аппарат, можно насчитать не менее 6 слоев, слитых или связанных в партию и соответствующих более или менее последовательным фазисам ее роста. Можно различать: 1) большевизм старый, русский, социал-демократический, 2) международный, коммунистический, 3) военный, 4) народный, рабоче-крестьянский, 5) полицейский, старорежимный, 6) нео-демократический.

1. Говоря об отсутствии революционных партий в феврале 1917 г., приходится особо оговорить большевиков. Как партия, они, конечно, почти не существовали. Их работа в России тогда была равна нулю. Но за границей, в ссылке и тюрьмах, они сохранили боевой человеческий материал огромной силы и — что еще важнее — вождя и готовую схему организации. Сила организации была в деспотическом централизме, неслыханном в бунтарской интеллигентской среде и отводившем фракции

Ленина с начала XX века особое место в рядах русских революционных сил. Человеческий материал отличался тоже фамильно-Ленинскими чертами: небывалой силой ненависти и принципиальным имморализмом. Казалось, вся пролитая самодержавием кровь и страдания трех поколений революционеров сгустились, отвердели в холодную и стальную злобу, которая воспитывалась и охранялась от всех смягчающих и разъедающих влияний этики и культуры, которая расширялась в своем объекте — от царя и царского строя, захватывая либералов, буржуазно-интеллигентную Россию, меньшевиков, соглашателей — всех, кто не с ними, не «твердокаменный», не «ортодокс». Большевики уступали народникам в жертвенном самоотвержении, готовые порой купить ценою низости личное спасение от тюрьмы и жандармов, но не уставали ненавидеть, не способны были размякнуть, примириться. И за эту каменность сердца интеллигенция, ужасавшаяся их имморализму, не могла все-таки не уважать их, против воли: в самой себе она чувствовала так мало этой твердости — в то последнее поколение, когда широкое революционное движение протекало на фоне новой, антиреволюционной культуры. Имморализм большевиков, по происхождению, был формой революционной аскезы: умерщвлением в себе «человеческого, слишком человеческого» во имя бесчеловечной «любви к дальнему». Влияние Ницше и европейского имморализма на русских большевиков вообще глубже, чем можно было бы предположить (Горький[1], Луначарский[2], Базаров[3]). Впрочем, этот аскетический имморализм имел и русские корни: он восходил, через народничество с его морализмом, к нигилизму 60-х годов. Большевики учились этике у Писарева, тактике — у Нечаева[4]. Бакунин, Ткачев[5], Нечаев — вот линия предков Ленина. Революционная интеллигенция в массе своей чуждалась этой традиции. Но она же, конечно, и породила ее. В этом единственный интеллигентский корень большевизма, ненавидевшего интеллигенцию почти наравне с царизмом.

В годы Столыпинской реакции разбитая партия на почве принципиального имморализма выращивала и другой — беспринципный. Партизанская борьба, увлечение «эксами»[6] создавали авантюристов, уже не отделявших личных интересов от партии. Каторга и ссылка консервировали во льдах Сибири

старую ненависть, освобожденную и брошенную в кипящий котел февральской революцией.

2. В то же десятилетие реакции (1907–1917) за границей происходило сближение большевистского штаба с верхушкой левого Интернационала. Затишье в России, вынужденная праздность эмиграции обращала их внимание к европейским делам. Здесь завязались прочные связи у Ленина, Зиновьева и (меньшевика) Троцкого с Розой Люксембург[7], Радеком[8], Раковским[9], с польско-еврейско-немецкики радикалами, кочующими из страны в страну и связанными с Германией Маркса, как своей духовной родиной. Во время войны и измены социалистов делу революции, совершилось в Циммервальде-Кинтале[10] рождение III Интернационала[11], связавшего с мировой войной чаяния всемирной революции. В эту эпоху Ленин и особенно Троцкий менее всего чувствовали себя русскими революционерами. Подобно Радекам и Раковским, это были бесплотные духи («бесы»), жаждавшие воплотиться в любой стране. Они могли бы спуститься в тело Австрии или Германии, если бы Россия не развалилась первой. Единственно русское в Ленине того времени, оборотная сторона патриотизма, — его особая ненависть к России, как злейшей из «империалистических» стран. Но в центре политических интересов его — и вообще большевиков до 1918 года — была, конечно, Германия, духовно импонировавшая им в обоих своих полюсах: Маркса и Людендорфа[12]. Францию и романские страны они презирали. Российская революция всегда рисовалась им прелюдией, провинциальным бунтом. Только Германия знаменовала крушение буржуазной Европы, только здесь могло начаться и строительство социализма. Но так как революционные элементы Германии не проявляли пораженчества, то, ориентируясь на них, Ленин спасал Германию от Европы, одновременно прививая ей коммунистический яд. В этом (а не только в немецких деньгах) разгадка прочных германофильских настроений большевиков.

Вернувшись в Россию, Ленин увлек за собой и головку III Интернационала. Вместе со старой гвардией большевиков, они разрушали демократическую Россию и осуществляли диктатуру. Естественно, что диктатура эта получила резко антинациональный характер. Старые эмигранты, не чуждые европейской культуре, презирали Россию, как страну полудикую, однако бы-

стро сумели сбросить с себя свое барство и приспособиться к массам. Среди вождей иностранцы и инородцы преобладали, хотя старая партия никогда не была инородческой в той мере, как, например, организация меньшевиков.

Это коммунисты. А вот и большевики.

3. Революция в России началась и развивалась полгода, как военное восстание. Интернационалисты быстро обросли военными телохранителями. Броневики выезжали демонстрировать за Ленина, матросы Кронштадта держали в трепете Петербург. Разложившаяся армия давала не одних дезертиров. Годы войны воспитали породу людей, находящую вкус в человеческой крови. Для нее возвращение к мирному труду было невозможно. Главная масса этого слоя ушла в бандитизм, в атаманщину. Но многое было всосано и большевистской организацией. Матросы сидели повсюду в ЧК, исполкомах, даже в жилотделах. Они несли с собой ненависть к офицерству, разросшуюся в месть «буржуям», и жадность к наслаждениям. Они сообщали милитаристический стиль диктатуре. От них – кожаные куртки, штабы, коменданты в каждом доме, чеканная резкость приказов, телеграфный язык революции. Почти все языковые новообразования революционного времени идут из армии. Даже одесский жаргон совершал свое вторжение в русский язык, чаще всего проходя чрез толщу солдатских масс.

Международный социализм живет добродетельным отвращением к войне (исключение – Энгельс). Но большевики, по обстановке своей победы, как, впрочем, и по технической романтике инсурекций[13], которой они бредили с 1905 года, чувствуют влечение к военному авантюризму. Это обстоятельство помогло Троцкому составить штаб Красной армии из осколков армии национальной и превратить старых подпольщиков в революционных маршалов.

4. Большевизм всегда имел прочные корни в рабочих массах. В Петербурге, Москве, на Урале сочувствие пролетариата было ему обеспечено. Нельзя отрицать, что, каковы бы ни были его объективные задачи, в глубине своей революционной совести он оставался рабочей партией. Его тактика в крестьянстве была чисто демагогической. Уже с 1905 г. Ленин обещал конфискацию всех помещичьих земель – жестом почти циническим для ортодоксального марксиста. В 1917 г. он просто переписал у

с.-р.-ов их аграрную программу, скрепив ее магическим «немедленно», – и выиграл революцию. Классический большевизм, по своему стилю, абсолютно чист от примесей народничества, но, имея в виду его аграрную эволюцию, можно сказать, что в нем победил сплав народничества и марксизма. Революция в России не могла победить против крестьянства, и Ленин сделал ее «рабоче-крестьянской», совершив, для марксиста, акт величайшего оппортунизма. В конце 1917 года крестьянство, сжигавшее усадьбы, в значительной массе своей, несомненно, шло за большевиками. Однако не этот временный политический союз с крестьянством и не классовая рабочая политика образует народное лицо большевизма. Его неустойчивый немецкий марксизм был очень скоро переведен на истинно русский язык. В формулах классовой борьбы нашла свое выражение вековая ненависть к барству, дремавшая в душе народа. Ленин воскрешает дело Разина и Пугачева – двух канонизованных героев октябрьской революции. В 1918 г. массы бредили «еремеевской ночью», и кое-где справляли свой сон наяву. Сама идея классовой расправы, классового суда пришлась особенно по сердцу. Убивать за белые руки значит мстить за грехи предков – «собаками травили», – и в этом была родовая, историческая справедливость, не признающая лица и личной ответственности. Экономический материализм оказался утробным сознанием полуголодного человека, который живет в навязчивых идеях физического труда и пищи, презирая, как барство, формы высшей культуры. Социализм преломился в крестьянскую идею уравнительной справедливости. Социализм дележки, над которым смеялись в Европе социал-демократы, был подлинным пафосом 1918 года. Барские трюмо в избах, городские платья на деревенских девушках, и груды обожженных кирпичей на месте дворянских гнезд – вот реальные, хотя и жалкие, завоевания революции. «Нынче все равны» – гордое, победное сознание народа, которое льется на мельницу партии. Отсюда приток в партию из русских низов. Постепенно она теряет инородческий характер, орабочивается и окрестьянивается. Рабочие проходят на высшие посты и не всегда играют роль пешек в руках диктаторов. Рабочее или крестьянское происхождение заменяет аристократические титулы старого режима на путях партийной карьеры.

Есть разница между партийцем рабочим и крестьянином. Первый лучше усваивает уроки марксизма и свысока смотрит на собственнические, буржуазные мечты крестьянина. Ему одному доступна идея общего или государственного достояния, ответственности перед коллективом. Крестьянин считает рабочего лодырем и презирает его чужую, заученную фразу. Но над классовыми различиями доминирует единство сознания трудового народа, черного труда.

Конечно, не рабочим и не крестьянам принадлежит водительство в партии. Но они имеются на всех ступенях ее иерархии, они дают ей такую же бытовую и социальную связь с низами, какая существовала у монархии с дворянством. Прибавьте власть идеологии: гимнов, символов и слов. Серп и молот. — «Царствию рабочих и крестьян не будет конца». Все это объясняет, почему столь чуждый народному духу интернациональный продукт, как коммунизм, мог и может до сих пор влиять на народные слои, вовлекая наиболее активных в саму партию.

5. Попав под молот классового государства, интеллигенция с ужасом встречала в чрезвычайках, в тюрьмах, среди палачей своих старых знакомцев: царских стражников и жандармов. Большевики поставили на службу революции держиморд старого режима. Но вместе с тем они воспитали и держиморд нового типа. В этом черном, т. е. черносотенном типе революционеров сказалась не только беззастенчивость новой власти, но и влияние народной среды. Интеллигенция никогда не сознавала достаточно, в какой мере были народны низшие агенты старой власти, особенно ее карающий аппарат. Раньше усмиряли студентов и социалистов, врагов царя, теперь душили меньшевиков и кадетов, врагов трудового народа. Носители этих карательных функций, как прежде, так и теперь представляют наиболее «государственный» тип в анархической народной среде. Раньше их поставляла армия из сверхсрочных своих служак, теперь тоже армия — гражданской войны. Тот же слой, с той же психологией подозрительной ревности — и тот же объект подавления: крамольная интеллигенция, всегда непонятная, всегда идущая против народа и его власти.

6. Здесь кончаются большевики. Но цвета коммунистов и большевиков причудливо переливаются в последней — может

быть, самой многочисленной группе — той, которую мы условно окрестили «новой демократией». Все ее промежуточные, полукультурные слои нашли в большевизме безграничные возможности для своего честолюбия. Они ворвались с огромным напором в оставленные интеллигенцией бреши, чтобы строить новое государство и новую культуру. Малочисленная гвардия старых революционеров, занятая на фронте, в Наркоматах, могла свалить всю низовую, особенно «просветительную» работу на плечи новых людей. Всякие пролетстудии, политпросветы, союзы безбожников, которыми гнушаются перегруженные работники партии, достались этому слою. Революция, правда, видела парикмахеров и циркачей, командующих армиями. Но настоящее их призвание на внутренних фронтах. Здесь они взяли свой реванш над дипломированной интеллигенцией, прикрыв свое самоуверенное невежество партийным билетом. Нельзя отрицать, что в революции пробили себе дорогу и подлинные таланты. Большинство их духовно искажено марксизмом, который воспринимается здесь уже не в народном, а в бухаринском, т. е. полунемецком стиле. Такой марксизм был гончарной печью, сквозь которую прошла вся свежеиспеченная интеллигенция, уже вполне свободная от дворянской преемственности. Этот слой, быть может, является самой широкой, хотя и не самой твердой социальной базой партии.

* * *

Большевистская партия — создание Ленина. Без него она немыслима. Он один сделал возможным эту фантастическую спайку интернационалистов, инородцев, русских подпольщиков, экстернов, рабочих, солдат и мужиков. И не спайку, а сплав, литой и твердый, самый твердый в политической истории России. Распад России совершился бы без Ленина, хотя он сделал все, что мог, чтобы его ускорить. Но построение СССР из ее развалин — дело его рук, его личное дело. Тысячи международных социалистов не смогли бы создать из хаоса этот железный строй. И они это знают. Презиравшие личность марксисты создают религию личности над его трупом. Ленин — единственная биография русской революции, но без этой биографии она теряет всякое правдоподобие.

Партия выражает Ленина, актуализирует его, как члены актуализируют клетки центрального мозга. В каждом истом большевике можно узнать фамильные Ленинские черты.

Как и партия, Ленин максимально оторван от русской почвы, и в то же время Ленин национален. Он ненавидит старую Русь. Ничто в ее традициях, в ее истории не говорит его сердцу (Сердце Ленина!). Он презирает русского человека, мягкого, расхлябанного, и хочет бить дурака по голове, пока он не поумнеет. Но несомненно, что Ленина в какой-то мере притягивает русская народная стихия. Ему чужда Европа с ее укладом, с ее психическими формами. Он любит русскую природу и умственный склад русского мужика — скорее мужика, чем рабочего. Отсюда, через мужика, его уважение к Толстому. С мужиком — и с Толстым — его роднит вкус к простоте, ненависть к красивости, ко всяким оболочкам культуры, особенно слова. Для Ленина культура исчерпывается техникой: элементарная полезность — трактор. Его простота, в моральном смысле, цинична. Но ее оголенность помогает нам рассмотреть цинизм мужика и даже Толстого, как одну из основных стихий русской души. Циник, но не лицемер. И лжет цинично: себя обманывать не станет. В цинизме есть некоторая честность — перед самим собой.

Ленин — плохой оратор, лишенный воображения — умел изумительно влиять на толпу. Его речь била дубиной по голове, отбрасывая все лишнее, чуждаясь ораторских прикрас. Ругательство — единственная риторическая фигура, признаваемая им. Сосредоточенная сила и ясность, целестремительность слова сообщают ораторству Ленина нечто классическое. Русский народ, как и Ленин, презирает краснобайство. В этом грассирующем барине, прикатившем из-за границы марксисте, народ признал своего. В Ленине нет ни скрупула русского интеллигента. Все его огромное влияние на подпольную Россию объясняется именно этой его непохожестью, исключительностью в революционной среде. Ленин вылеплен из того теста, из которого создаются государственные деятели реакции. Его нетрудно представить министром полиции при монархии. П. Н. Дурново[14] и Курлов[15] — его ближайшие духовные родичи (у Дурново даже ум марксистский). Большая энергия, практический ум, презрение к фразе и сентиментальности, внутренний иммрализм — каждая черта здесь отрицает тип

революционера. Иные влияния в отрочестве — и симбирский дворянин В. И. Ульянов мог бы сменить Плеве[16] на его посту. Русские марксисты 90-х годов, этически настроенные и сами презирающие себя за это, ужаснулись перед «твердокаменным» и покорились ему. Он стал центром притяжения людей нового типа. Он сам ковал его, неумолимо преследуя сарказмами и оскорблениями мягкотелого интеллигента. Из евреев, кавказцев и русских ницшеанцев, он создавал свою гвардию — хищников и бойцов. То, как он умел (хотя и не всегда) — укрощать этих тигров подполья, не менее удивительно, чем обуздание волчьей стаи Октября. Выковать большевистскую партию было не легче, чем государство СССР.

Ум Ленина? Это не важно. В нем были огромные провалы. Бездарный теоретик, почти чуждый умственной культуре, Ленин стал великим специалистом в революционной тактике. Он был профессионалом революции, занимаясь ею, не как идеей, служением или авантюрой, а как делом. За десятки лет своей жизни он едва ли читал что-либо, кроме газет и брошюр. Быть в такой мере узким — это уже половина победы. А у Ленина есть и ум — сильный ум, хотя и низшего порядка. Чувство реальности заставляло его удерживаться от разбега головой об стену, хотя замечал он эту стену на вершок от нее. Этого было достаточно, чтобы поставить его в исключительное положение в стане людей, где мысли заменялись цитатами. В целой партии Ленин один думал — тяжело, неповоротливо, но все же думал. Остальные упражнялись в диалектике. Конечно, обладай Ленин настоящим умом, он не мог бы строить социализма в России, не мог бы стать вождем слепых — единственный кривой в стране. Его ум был максимально возможный в России 1917 года. Чуточку больше, — и он был бы обречен на бездействие.

Однако, нельзя забывать, что ум Ленина все же ум маньяка, и ничто так не обнажает его, как смешная мечтельность техники. Ленин, вроде Манилова, мечтал об электрификации России. Непонимание духовных основ хозяйства уживалось в нем с суеверным культом машины. Американские инженеры — единственные люди буржуазного мира, с которыми он удостаивал говорить, как с равными. За революционером, за диктатором мы с удивлением различаем — в последней глубине — признаки религиозного существа. Да, и у этого человека была своя рели-

гия: не сатанинская религия ненависти, а наивная фетишистская религия дикаря, верующего в технический прогресс. Европа и Россия могут погибнуть, новый мир, небывалое царство социализма, пригрезившееся этому «кремлевскому мечтателю», будет удивительно похоже на Северо-Американские Штаты.

3. Победа

Победа большевиков в октябре 1917 г. была предопределена всем ходом революции. Закрепление этой победы — факт непредвиденный, почти чудесный. Большевизм победил не своей силой, а бессилием России. Октябрь был не торжеством восстания, а пределом разложения русской государственности. Логично было думать — и так думала вся интеллигенция — что за большевизмом последует окончательный разлив анархической стихии и германская оккупация. Черная сотня злорадствовала и кое-где макиавеллистически помогала большевикам. Ошиблись все — в том числе сами победители. Большевики не верили, что им удастся продержаться долее нескольких месяцев. И Ленин все свои расчеты строил не на России, а на Германии. Даже Ленин не дооценивал энергии русской революционной стихии и своей собственной партии. Ошибка понятна. Пробуждение положительных революционных сил народа началось лишь после октября. А между тем октябрь был чрезвычайно опасным испытанием революции. С демобилизацией армии она лишалась своего главного питания. Захват земель полагал предел брожению крестьянства. Продовольственный кризис, подрывающий один за другим все дооктябрьские режимы, теперь с еще большей силой подкапывал Советы. Большевики победили под знаменем: «Мир, земля и хлеб». Но эти самые лозунги теперь несли им, казалось, неизбежную гибель.

В начале 1918 года Россия распалась на множество почти несвязанных между собой городских республик. Дезертиры и рабочие справляли разгульный пир своей воли, «грабя награбленное», мстя классовым врагам. Приказов из центра никто не слушал. Защищать революцию от немцев нечего было и думать. Весь юг России, с Украиной, Доном, Кавказом отложился от голодного севера. На Дону собиралась уже горсть патриотов, вокруг Алексеева[1] и Корнилова[2], чтобы начать белую борьбу

против красной диктатуры. Революция, разнузданная, беззащитная, как могла защищаться? Как могла создать власть?

На последний вопрос – о власти – ответ дает партия и ее предыстория. Но на первый – об обороне революции – можно ответить, лишь исходя из признания новой жертвенности и героизма, рожденных в недрах хаоса. Об этом красном героизме свидетельствует само создание революционной армии и ее победы. Этой красной эпопеей 10 лет питается советская литература. С гениальной лапидарностью она уже заключена в «Двенадцати» Блока.

Мы знаем, что Красная Армия слагалась вокруг латышских и иностранных частей, инструктируемых царским офицерством. Но на одних наемниках и изменниках далеко не уедешь. Третий элемент армии преемственно связывал ее с отрядами рабочей «красной гвардии». Еще в 1917 году рабочие Питера выступали к Колпину с винтовками в руках защищать свою красную столицу против Корнилова и Керенского. Еще негодные в боевом смысле, части эти были носителями революционного энтузиазма. Рабочие менее других страдали от войны, которая подняла их социальное положение в стране. Рабочим не нужна была земля. Захват фабрик обещал им не конкретные блага, а нечто неизмеримо высшее. Для них социализм был Царствием Божиим без Бога, осуществлением всей полноты правды. Они жили в сознании новой эсхатологической эры, забрезжившей над человечеством. Их интернационализм носил крипто-религиозный характер. И этой иррациональной, но пламенной верой была охвачена в России 1918 г. не только рабочая, но постепенно и значительная часть крестьянской молодежи, и тех слоев, которые мы называем новой демократией. В комплексе революционных чувств преобладали, конечно, отрицательные моменты – ненависти и злобы против сил старого мира: буржуев, кадетов и дворян. Но без освящения положительного идеала, ненависть не способна на жертвы, не совместима с самообузданием. А жертвы требовались огромные: в течение 2-3 лет рабочие центры голодали, посылали на фронты отряд за отрядом, сознавая себя в борьбе со всей буржуазной Европой, но не малодушествовали, не бунтовали против своих вождей. Комиссары армий и всех учреждений воплощали эту пролетарскую волю к победе, зачастую лишенную

всякой технической годности. Интеллигенция в России проглядела этот энтузиазм, явившись его жертвой. Она испытала на себе лишь отрицательные реакции революционной массы. Подобно мирному населению завоеванной страны, она видела насилия, мародерство, вселения, конфискации, расстрелы, — но не могла судить о боевом духе и патриотизме вражеской армии. Эта армия сама рассказала о себе, когда пришло время сменить наганы на перья. Нельзя отрицать, что дисциплина поддерживалась жесточайшим террором. Но террор достигает своей цели лишь тогда, когда им руководит верная рука. В чрезвычайках палачи-солдаты направлялись бескорыстным фанатиком, и наряду с профессионалом-подпольщиком, рабочий-металлист и матрос — наиболее типические фигуры среди русских террористов.

Этой красной идее была противопоставлена идея белая — национальной России. Ее защитники проявили не меньший героизм и жертвенность. Летописи Белой Армии останутся неизгладимыми в истории России и русского самосознания. На всем необозримом пространстве бывшей империи, только на белых полосках окраин имя России еще вызывало священный трепет: только здесь за нее умирали. Но эти подвиги всегда оставались актами личного избрания. За ними не стояло благословения народа, ни даже поддержки класса. Факт изумительный: из трехсоттысячного офицерского корпуса русской армии лишь несколько тысяч откликнулось на призыв Алексеева и Корнилова. Остальные предпочли позор, бездействие и даже смерть от руки врагов. Буржуазия белых городов, огромные массы беженцев оставляли без помощи защищавшую их армию. Рабочие и крестьяне относились к ней враждебно. Здесь не спасал и террор. Контрразведка, случалось, копировала Чеку. Но за ней не стояло суровой идейности палача. Юг России, занятый Добровольческой Армией, являл собою картину повсеместного развала, продолжающего агонию императорской России. Спешно воссоздавалась дореволюционная администрация, наглядно указывая, какой характер примет реставрация победителей. Воссоздавался Миргород, и в его болоте — старом болоте казнокрадства и хищничества — топилась национальная идея. Сотни тысяч беженцев загромождали тыл, спасая свои животы и равнодушные к России. Ненависть к большевикам,

не обязывающая ни к чему, заменяла активный патриотизм. Добровольческая армия, вырастая из героической горсти, обрастала шкурниками. Классовый характер ее противоречил национальной идее. Смертельное разложение класса предопределяло разложение армии.

Историки белого движения тщетно ищут основной причины его поражений: в ошибках стратегии, в общей стратегической ситуации, в измене союзников, в подавляющей численности врага. Вероятно, с чисто военной точки зрения, преимущества были на стороне белых армий: старые полководцы, офицерские кадры, техническая помощь Европы. В вооруженных столкновениях белые уступали только подавляющей силе. В источнике этой силы ключ к вопросу о поражении – политический ключ. Для белых армий оказался закрыт – или очень ограничен – источник пополнения в общегражданской мобилизации. Белая армия не стала народной.

Было бы ошибочно думать, что крестьянство охотно шло в Красную армию. Отвращение к войне в массах было еще велико. Большевики, жившие реквизициями, разоряли деревню не менее белых. Борьба с вольной торговлей озлобляла народ. В 1918–1919 г. большевикам приходилось усмирять немало крестьянских восстаний. В борьбе белых и красных крестьянство хотело остаться нейтральным, ненавидя обе стороны. Там, где побывали красные, население белело; оно краснело, посидев под белыми. Все же была существенная разница, предопределившая исход. Во-первых, в Красной армии мужик не видел ненавистного ему офицера. Это были разбойники – но свои, черная кость, люди, понятные ему до конца. Во-вторых, он убедился на опыте, что за белым офицером возвращается помещик, и угроза земельной реставрации совершала чудеса. Комиссар-еврей, шедший за красными, был ненавистен. Но барин? Мужик взвесил и сделал свой выбор: с «жидом» против барина. Это определило судьбу революции. За всеми колебаниями фронтов, за сложными перипетиями гражданской войны стоит один основной факт, сообщающий ей осмысленность: медленное политическое самоопределение крестьянства. Конечно, крестьянство не могло не пытаться осуществить и свою собственную программу: в махновщине и атаманщине Юга, в партизанщине Сибири. Поскольку крестьянские идеалы под-

давались формулировке, они имели анархический характер, сводясь к уничтожению (или погрому) государства, города, интеллигенции. Внутренняя слабость анархических движений вовлекала их в подчинение большевистским штабам. Не без сопротивления, не без восстаний мужики подчинялись новой неволе, закрепляющей за ними землю, сопротивляясь до конца лишь белой силе, которая, в их глазах, собиралась лишить их и воли, и земли. Большевики, спасая город от солдатско-крестьянской анархии, приобретали временные симпатии даже в глазах интеллигенции и буржуазии, не видящей другого исхода. И несомненно: разрушительная лава русской революции была приостановлена, ее иконоборческая ревность сильно ограничена наличностью партийной диктатуры. В этом мы убеждаемся из сличения хотя бы вандализмов русской революции с вандализмами французской. Итоги, далеко не в пользу Франции, особенно поражают на фоне низкого культурного уровня русских народных масс.

Ужасы гражданской войны в России, несомненно, смягчались одним обстоятельством: в ней принимало участие с обеих сторон сравнительно малое число людей. Огромные массы города и деревни оставались пассивными, держась выжидательно, и все свои силы употребляли на борьбу за хлеб — борьбу чрезвычайно трудную и опасную в условиях военного коммунизма. Это равнодушие населения способствовало локализации революционного пожара, но само по себе являлось зловещим симптомом: глубокого разложения гражданского и национального сознания. Массы народа, как и интеллигенции, приняли бы любую власть, любого иностранного завоевателя. Судьба России решалась активным меньшинством, слабо связанным — в обоих полюсах — с настроениями масс. Отсюда неизбежность деспотической диктатуры победителя, кто бы он ни был.

Судьба демократической интеллигенции особенно печальна. В подавляющем большинстве своем она была в числе противников коммунизма. В числе — но не в рядах. Лишь немногие приняли участие в гражданской войне. Мешал, конечно, и монархический характер белого движения. Офицерство ненавидело демократов едва ли меньше, чем большевиков. Но это обстоятельство не объясняет революционной пассивности интеллигенции. Как сложилось ядро белой армии? Почему героическая

горсть борцов за национальную Россию, не смевшая еще выявить своего политического идеала, оказалась представленной людьми старой России? Почему эсеры — «мартовские» — и меньшевики не защищали республики с оружием в руках? Ответа на эти вопросы надо искать в характере русской интеллигенции: в ее физической немощи, в ее ненависти к военному делу, в ее тыловых настроениях за время войны. Справедливость требует признать, что не все уклонились. Эсеры сыграли большую роль в Сибирском движении. Но сам переворот Колчака доказывает слабость их сил по сравнению с офицерским ядром контрреволюции. Если же в рядах антикоммунистических армий преобладали люди старого режима, как могли они, рано или поздно, не вывесить своего флага? Приходится удивляться тому, что монархисты до конца не решались выставить монархии открыто целью движения. Это показывает, до какой степени идея монархии в России была скомпрометирована.

Поражения убивали белую идею, ускоряя распад. Победы окрыляли Красную армию и стоящую за ней большевистскую Россию. Революционный энтузиазм не выдыхался, но вырастал, питаемый боевой эпопеей. Большевизм — народный — вступал в свою третью стадию: национальную. Зачатый в классовой злобе и военном бунте, он развязал энергию социальной воли обездоленных к правде и счастью, и теперь, наконец, окрашивался в цвета национальной гордости. С истреблением русской буржуазии, перед восставшими рабочими все более вырисовывался призрак буржуазной Европы. Это она держит Россию в блокаде. Это она оказывает помощь белым армиям, без которой они не продержались бы и месяцев. Русские контрреволюционеры начинали казаться лишь «прихвостнями и наймитами Антанты». С другой стороны, европейский пролетариат не спешил на помощь. Его восстания 1919 года были подавлены, и революционные перспективы Запада все затуманивались. 1919 год — предельная точка русского интернационализма. Потом русский рабочий начинает уже свысока похлопывать по плечу иностранных гостей и задавать им нетактичный вопрос: «Ну, что, когда же, наконец, вы устроите социальную революцию?».

Поразительное дело: в голодной, разоренной России, в режиме абсолютного бесправия, рабочий и даже крестьянин чувствовали себя победителями, гражданами передовой страны

мира. Только в России рабочий и крестьянин – хозяева своей земли, очищенной от паразитов и эксплуататоров. Пусть нищие, но свободные (в социальном смысле – т. е. равные, или, лучше, первые). Слова о «социалистическом отечестве», робко узаконившие новый патриотизм, не лгали. Конечно, «социалистический» надо расшифровывать, как «народный». Народ русский, давно уже потерявший свое отечество в императорской России, теперь находит его в России рабоче-крестьянской. Эту Россию стоит защищать, ею можно гордиться. Коммунистическая партия боится возрождения великодержавного сознания России. Она отнимает у нее историческое имя, она взращивает малые народности, растворяя великороссов в безличном РСФСР, потом в СССР, где из трех С ни одно не знаменует имени России. Но из-под интернациональной красной шапки выпирает русское лицо. В польской войне 1920 года русская нота прозвучала достаточно громко. Полякам удалось то, чего не могли сделать немцы: вызвать из-под векового пепла смутную память о судьбах России. Не следует обольщаться. Первые ростки революционного национализма настолько еще слабы, что не могут вырастить победных лавров. Революционная Россия не знала побед над внешним врагом, уступая Польше, Румынии, Эстонии, слабейшим из слабых. Но новый день уже брезжит. Уже комсомолец в любимой песне может гордо бросить своей страдалице-матери, потерявшей память о родине:

«Кабы были все, как вы,
Ротозеи.
То не было бы Москвы
Ни Рассеи».

4. Противоречия революции

1920 год – год завершения революции. К этому времени большевизм уже выполнил свою историческую миссию. «Бич Божий», пронесшийся над страной в огне и буре, уничтожил почти без остатка все здание царской, дворянской и интеллигентской России. Вековые дубы повержены, целые классы выкорчеваны с корнем, миллионы пали искупительной жертвой – невинные вместе с виновными – впрочем, есть ли невинные, и не является ли репрезентативной всякая социальная кара,

подобно римской децимации[1]? Классовый террор не оставлял никаких сомнений в безличной, социальной природе преступления и наказания. Никто и никогда не сможет оправдать его морально. Но история «примет» его, как естественное завершение катастрофы, как итог двух столетий, построенных на основной лжи. История простит большевикам злодеяния (как она прощает почти всем историческим злодеям), но не простит им самовольного творчества. Здесь начинается область сплошной фальсификации, новый, горший прежнего, исторический маскарад. В царстве бескровных фикций и призраков советского строительства грозной реальностью являются лишь красная армия и ЧК.

Завершив разгром белых армий, большевизм мог бы удалиться со сцены, предоставив строительство России новой демократии. Наш «термидор» мог бы совершиться в 1920 году, и НЭП 1921-го был лишь слабым движением по открывающемуся пути. Россия по этому пути не пошла. Она завинтилась на месте в мучи́тельных поворотах от рабочего социализма к деревне и обра́тно, заживляя свои раны, но туго сжатая веревками, врезавшимися в ее истерзанные члены.

Сравнение большевиков с якобинцами лучше всего уясняет трагическое своеобразие русской партии. Якобинцы созданы революцией. Большинство их даже не мечтало о республике до 1789 года. Вот почему, выполнив свою палаческую роль — в безответственном экстазе, почти в наваждении — они могли с такой беспамятной легкостью свалить террористов, уступить дорогу новой буржуазии, а скоро предать и саму республику. Русский большевизм, выковываемый 20 лет, отлился в железную машину, обладающую огромной силой инерции. Эволюция для него была, если не прямо невозможна, то чрезвычайно трудна. Понадобилось десятилетие, чтобы надломить эту твердокаменную породу — и то лишь в порядке изнашивания и деморализации. Ни один большевик из сделавших Октябрь еще не каялся и даже не ставил новых вех.

Без этой машины победа анархических масс над контрреволюцией, вероятно, была бы невозможной. Но за победу русскому мужику и рабочему пришлось заплатить дорогой ценой. Большевики не ушли, сделав народное дело, а остались, чтобы делать свое: то, ради которого они начали свой эксперимент

в России. Россия была лишь средством, горючим материалом для мирового костра, плацдармом для дальнейших завоеваний. Две вещи при этом приобретали непомерное значение: власть и знамя. Голый факт властвования коммунистической партии, которая некогда сможет бросить крестьянские полки на завоевание мира, и социалистическое знамя, которое приковывает к СССР взоры всех угнетенных. В результате Россия, под именем диктатуры, получила самодержавие, а под именем социализма – всеобщее крепостное состояние – в формах, небывалых в ее истории.

Социализм в России – это издевательство над здравым смыслом и марксизмом одновременно – возможен благодаря четырехсотлетней традиции крепостнического государства. Свобода труда, как и свобода личности, до середины XIX века были почти неизвестны в России, да и за последние десятилетия защищены весьма слабо. Разумеется, русский коммунизм не продолжение фискальной и экономической политики самодержавия XX века, а возвращение к XVII – началу XVIII веков. С одной, впрочем, существенной разницей. К хозяйственному этатизму присоединяется эгалитаризм, т. е. сознательная борьба за низший экономический уровень. То, что называется в России социализмом, есть удушение всего хозяйственно сильного, живого, талантливого. Четырнадцать лет страна выдерживается в состоянии искусственного нищенства, равняясь на «бедноту». Очевидно, в этом равнении есть нечто, соответствующее уравнительному идеалу примитивной, или фискальной общины. 150-миллионная крестьянская и рабочая масса на первых порах восприняла этот «социализм», как аксиому естественного права. Лишь опыт голода и нищеты медленно перевоспитывает примитивное экономическое сознание народа.

Это новое самодержавие и рабство не могут смыть печати своего революционного происхождения. Революция и реакция уживаются в причудливых и сложных сочетаниях. Сложный состав партии, противоречие между интернационально-подпольной ее верхушкой и народными низами – отражаются теперь в противоречиях партийной политики, в разных уклонах, в двойственности самого лица большевизма. Через четырнадцать лет диктатуры она не изжила еще всецело революционных, освободительных своих потенций, не утеряла окончательно

питания из глубины низов. Оттого так расходятся в оценке большевизма: говоря о нем, люди имеют в виду совершенно разные вещи.

Эти противоречия большевизма всем известны. Их общий источник в том, что партия интернациональных социалистов вынуждена была историей делать отчасти национальное дело. С обеих точек зрения работа большевиков может приобретать, в зависимости от оптимизма зрителя, гигантские очертания всемирно-исторического дела или представляться изменой: интернационалу и России. Будучи справедливым, нельзя отрицать ни того, ни другого: мировой значительности большевистского предприятия и двойной измены. Здесь достаточно указать на общеизвестное.

В мировой политике тема социальной революции причудливо скрещивается с темой «московского империализма». В огненные годы 1918–1920 внутренний пафос русской революции вырастал до вселенских размеров. Массы мирились легко с расчленением империи, но мысль о кровавом очищении и преображении мира жгла многие сердца. Собственные страдания и гибель оправдывались спасением мира через жертву России. Не одни поэты тогда «слушали» вселенский голос революции. Он звучал и для рабочего, и для красноармейца — для части новой интеллигенции не перестал звучать до сих пор. Было время — несомненно, было — когда интернационал стал гимном русского национального чувства, которое переродилось в чувство вселенское. Вся тринадцатилетняя работа Коминтерна живет эксплуатацией этого пламени или его остывающего пепла. Аппарат этой эксплуатации не лишен цинизма. Но он не мог быть пущен в действие без стоящей за ним идеи.

Со временем эта идея — национально-вселенской революции — расщепилась и раздвоилась. С одной стороны, эксплуатация России для международных авантюристов: русский рабочий и крестьянин должен оплачивать английские стачки, издержки Мопра[2], нести бюджет III Интернационала, т. е. всех, входящих в него партий. С другой — серп и молот, т. е. государственный герб России, ставший знаменем революционеров всего мира, портреты Ленина, как предмет поклонения в Китае, Индии и Африке — необычайно высоко подняли знамя Москвы. Побежденная Москва стала столицей мира для всех изгоев ми-

ра старого. А к этим изгоям принадлежат не только цветные народы и пролетариат Европы, но и часть ее интеллигенции, задыхающаяся в сумерках мещанства. Отсюда голоса Уэльса[3], Роллана[4], Дюамеля[5], тревожащие и непонятные для русской интеллигенции. Именно грандиозный факт русской революции обостряет и увлечение русской культурой в странах Запада. Почти для всех, заглядывавших в глаза «русского сфинкса», Ленин стоит в линии Толстого и Достоевского, раскрывая новые метафизические пласты русской души. Вот почему друзья русской культуры на Западе (но не в славянских странах) являются в большинстве случаев, друзьями советской России.

Однако, по мере разгрома мирового коммунизма и стабилизации буржуазного общества, связь с революционерами становится национально опасной. Она политически изолирует Россию, окружая ее кольцом врагов. Самые тяжкие поражения интернациональный национализм понес в Азии, где блестящие победы, одержанные им, казалось, уже оправдывали евразийскую концепцию России – азиатской империи. Революционные народы Востока, отстояв себя с помощью московского золота и оружия, один за другим поворачиваются спиной к России – опасной в ее положении социального поджигателя. Национальное знамя развевается в Турции, Персии, Китае. Россия, которая еще недавно пользовалась таким престижем на Востоке, уже не может ожидать с этой стороны ничего доброго. Этим она обязана Коминтерну. Бескровное пока поражение в Азии опаснее вечных угроз в Европе. В грядущем столкновении Востока и Запада оно ставит Россию под первые удары, лишая ее исключительно счастливого призвания – служить мостом между двумя мирами.

Это противоречие между национальной и интернациональной душой русской революции политически и организационно выражается в хроническом конфликте между Наркоминделом и Коминтерном. Чичерину[6], отпрыску старой России, выпало на долю защищать интересы России революционной. Фазы борьбы остаются для нас недоступны. Но было бы величайшей близорукостью видеть в Коминтерне подлинное правительство России. Не правительство, но и не наемный орган пропаганды московского империализма. Равновесие поддерживает Политбюро – весьма неискусно со времени Сталинской диктатуры. Но Сталин в Интернационале чужой человек. Если нельзя в

нем предполагать наличия русского сознания, то «евразийское» весьма вероятно. Через Грузию и Кавказ он связан с восточным профилем России, будучи не в силах, однако же, подняться на высоту поставленных перед Россией мировых проблем.

Внутри России национальная проблема выражается в напряжении между русским сознанием и национализмами малых народов. И здесь большевизм обвиняется в прямо противоположных грехах: он разделил Россию, прекратил ее государственное бытие, и он же душит десятки народов террором Москвы. По природе, большевизм отрицает национальное сознание народов – больших и малых. По традициям партии, он предпочитает централистическое государство. В первые годы революции он подавил сепаратистские стремления малых народов и областей (Украины, казачества, Кавказа) и сохранил обрубленный остов старой России. Но слабость пролетариата, слабость большевистской идеи в невеликорусских областях заставила его пойти на уступки национальной стихии. Как в Индии и Китае, на окраинах бывшей Империи эксплуатируется чуждое большевизму национальное сознание. Русское национальное чувство объявлено великодержавным и империалистическим, и отдано в жертву новым шовинизмам. Однако, не без сопротивления внутри партии, особенно со стороны русских рабочих, оказавшихся «меньшинствами» в новых республиках. Борьба идет с переменным успехом, борьба идет в самой партии, разлагая марксистский металл острыми националистическими кислотами. При «евразийствующем» Сталине антисемитизм становится распространенной партийной болезнью. В то время, как верхушки партии делаются кавказскими, сама партия неуклонно русеет. Впрочем, антисемитизм на окраинах дает обратные результаты. Там евреи являются носителями русского языка и культуры, и удар по ним бьет косвенно по России. Недаром полоса украинизации совпала с заменой еврейской верхушки УКП[7] пришлыми галицийскими элементами. Парадокс революции: единство России лучше охранялось в грозе мировой бури, чем в годы затишья. Интернациональный патриотизм большевистской партии, разлагаясь, выделяет из себя национализмы: как великорусский, так и меньшинственные, борьба которых сегодня подкапывает партию, завтра поставит во всей грозной остроте вопрос о единстве России.

Национальным антагонизмам соответствуют еще более острые экономические противоречия: крестьянство и пролетариат, НЭП и коммунизм. Вот уже 10 лет политика партии качается, с регулярностью маятника, опускаясь всей тяжестью молота то на город, то на деревню. В результате, как известно, накопление капиталов приостановлено, и страна выдерживается на полуголодном минимуме. Равнение по экономическому минимуму окрашивает собою всю внутреннюю политику партии. Когда-то оно соответствовало завистливому народному идеалу равенства нищеты. Теперь это уже давно политика самосохранения партии. В народе разбужены хозяйственные силы, жажда труда и накопления, забитые в колодки. Искусственно пауперизируемая[8] деревня должна держать на своей спине не только государство, но и промышленность, которая сделалась культурно-показательной статьей в бюджете, — международной выставкой социализма. Унылая работа над Тришкиным кафтаном деморализует партийцев, двинутых на хозяйственный фронт. Этот сектор коммунизма рано и безнадежно разложился. Красный купец и частник с равным усердием грызут государственное достояние, и отличить их друг от друга не всегда удается. Но частник, в свою очередь, бессилен переварить коммунистический яд. Он хил, паразитарен, он бежит от опасного производительного труда, предпочитая легкие и хищные пути обогащения. В результате хозяйство мертвеет, и в этой неудаче разлагается партийная вера в социалистическое строительство. Еще незрелые юнцы, быть может, верят в это строительство. Деловая, политическая масса давно уже не верит в него, как не верит в мировую революцию. Нужно помнить, какое значение имел технический идеал, мечты об Американской России, в большевизме Ленина, чтобы понять весь трагизм этого разочарования. Не толстовской коммуной соблазнить антихристианских мечтателей. Пуританизм равенства — это для комсомола — вернее, для пионеров. Старики мечтали о своих Фордах[9]. Вот почему от этих, некогда «стальных» и «каменных» людей веет такой безнадежностью.

Ужас России в том, что эта изношенная уже порода бессильна к решениям, к поворотам, к действию. Они способны лишь умирать на посту. Для них отказ от диктатуры не мыслим — вовсе не из самосохранения. Измученная Россия обоготворит

того, кто даст ей возможность трудиться под своей смоковницей. Все старое будет прощено. Но матерые не могут пойти на измену социалистическому флагу, по соображениям бессознательно религиозным. Для них в буржуазии навеки окаменела идея вселенского зла. Уступить в этом — значит отречься от борьбы всей жизни. Я не идеализирую этих людей. Опускаясь, они становятся ворами и развратниками — партийный катехизис всегда отличался двусмысленностью по части личной этики. Но измена символу «Коммунистического Манифеста» — свыше их сил.

При иных условиях новые люди, коммунисты послеоктябрьской формации, давно вытеснили бы окаменелых хранителей ленинского мавзолея. Но режим диктатуры делает этот процесс необычайно медленным. Террор партии направлен давно уже на свою собственную оппозицию, на свой молодняк. Только физическая изнашиваемость да склока между вождями разрежают постепенно их ряды. Люди, закаленные в революционных боях, проявляют странную робость, когда приходится поднять руку на партийную верхушку. Создается впечатление — вероятно, правдивое, — что партия для своих членов обладает мистикой, соответствующей мистике самодержавия в старой России. Перед восстанием на Политбюро останавливаются самые смелые, как в 1916 г. гвардейцы-патриоты, убежденные в спасительности дворцового переворота. Вне партии в России нет ни одной силы, способной на политическое действие. Революция загнивает, и гниение ее, как некогда монархии, отравляет все тело России. И теперь лишь «дворцовый» переворот может спасти новый символ власти — революцию, и вместе с ней мирное будущее русского народа. Если революция не найдет сильной и смелой руки, Россия снова идет навстречу катастрофе: стихийному взрыву доведенных до отчаяния масс, вторжению врагов, расчленению территории, новому, тягчайшему национальному позору.

Новая Россия

(Россия НЭПа)

1. Новое общество

Ни в чем так не выразилась грандиозность русской революции, как в произведенных ею социальных сдвигах. Это самое прочное, не поддающееся переделке и пересмотру «завоевание» революции. Сменится власть, падет, как карточный домик, фасад потемкинского социализма, но останется новое тело России, глубоко переродившейся, с новыми классами и новой психологией старых. Глубина переворота зависит от того, что совершен он не только политической волей большевистской партии. Помимо указанных выше могущественных факторов, здесь действовали такие силы, как голод и разорение гражданской войны, и даже годы войны «империалистической». Все било в одну точку: раздавить хрупкую в России прослойку людей умственного труда и поднять значение крепких мускулов. Борьба за существование сама совершала классовый отбор. Целых классов — помещиков, интеллигенции, старой буржуазии — уже не существует. Их место заняли новые образования. Вглядимся же в новый чертеж социального строения России.

а) Крестьянство.

Крестьянство осталось по-прежнему в основании пирамиды, производящим, кормящим, поддерживающим атлантом. Но это уже не последнее, не униженное сословие: по существу, даже первое сословие «земской», неопричной России. Политическое бесправие и даже экономическая эксплуатация деревни городом не в силах парализовать ее социального подъема. Подъем этот

всего менее отражается в цифрах. Его трудно показать невидящему и неверящему, потому что он заключается в невесомом, но огромной важности факте: в социальном самосознании.

Выкурив помещика, вооруженное винтовками и пулеметами, крестьянство одно время воображало, что оно с такой же легкостью может уничтожить и город, и государство. Прекратив уплату податей, уклоняясь от мобилизаций, оно со злорадством смотрело на толпы нищих мешочников, которые высылал к нему голодающий город. На фоне грязных лохмотьев обносившейся городской культуры, деревенская овчина казалась боярским охабнем[1]. Кода деньги превратились в бумажную труху, мужик стал есть мясо и вернулся к натуральному хозяйству, обеспечивающему его независимость от города. В городе разваливались каменные дома, деревня отстраивалась: помещичий лес и парк шел на белую избяную стройку.

Это благополучие оказалось непрочным. Вооруженные отряды, отбиравшие «излишки», декреты, приводившие к сокращению посевной площади, голод и людоедство в Поволжье и в Крыму, — все это слишком памятно. Отступление партии, длительный, хотя очень медленный подъем деревни (1922–1927), и, наконец, новое разорение последних лет — все время нервируют крестьянина, дразня его трудовой аппетит, но лишая его возможности удовлетворения. В деревне, освобожденной от помещика и от наваждения земельной прирезки, проснулся небывалый голод к труду. Крестьянин словно впервые почувствовал себя хозяином на своей земле: он жадно слушает агронома, бросается на технические новинки, которые еще недавно его пугали. Он рассчитывает, строит планы, — и убеждается, что при данной фискальной системе, самое умное — скосить свой хлеб на сено. Но при малейшей передышке он показывает свою силу. Среди старшего поколения три миллиона побывавших в немецком плену вернулись энтузиастами технического прогресса. Остальные — все, посидевшие в окопах, или, по крайней мере, в казармах, исходившие Россию из конца в конец, целые годы питавшиеся газетой и опиумом митинговых речей, — как не похожи они на патриархальный тип русского Микулы. Многие до сих пор продолжают бриться и носить городской пиджак. Большинство, разуверившееся в новых фетишах, не вернулось к старым святыням. Мужик стал рационалистом. Он понимает

русский литературный язык и правильно употребляет множество иностранных слов. Правда, это скудный язык газеты, и вместе с ним в голову входят газетные идеи. Обычный здравый смысл крестьянина предостерегает его еще от прямолинейного решения последних вопросов жизни. Он не вынесет из избы икон; не бывая в церкви по воскресеньям, он придет туда венчать, крестить, хоронить своих домочадцев. Но на земле для него нет уже ничего таинственного. Он превосходно разбирается в экономических вопросах, столь запутанных в советской России. Он заглянул и в лабораторию власти, которая утратила для него священное обаяние. Отношение его к советскому правительству весьма сложно.

Мужик уже не склонен ломать шапки перед начальством. Как ни бьют деревню, она не забита. Мужик боится вооруженной силы, пока сам безоружен. Власть может расстрелять десяток-другой из деревенских «кулаков», может спалить все село — в случае восстания. Но когда она является в деревню без военного сопровождения, она не импонирует. Проезжего комиссара всегда могут «обложить» в совете, да и в уездном городе мужик не очень стесняется с начальником: свой брат. Демагогия является необходимым моментом коммунистической деспотии, и демагогия не проходит даром. Нельзя безнаказанно чуть не каждую неделю собирать людей, обращаться к ним, как к свободным и властным хозяевам земли, представлять им фиктивные отчеты по всем статьям внутренней и внешней политики. Крестьянин уже поверил в то, что серп с молотом должны править Россией, что он хозяин русской земли по праву. А если в жизни он по-прежнему обижен, он знает, что наследники Ленина его обманывают, как прежде царские министры. Ненавидя коммунистов, он не унижается перед ними. Впрочем, и ненависть его к коммунистам лишена классового характера. Она смягчается сознанием, что в новом правящем слое все свои люди. Правда, в деревне процент коммунистов совершенно ничтожен. Но трудно представить современную крестьянскую семью, у которой не было бы родственника в городе на видном посту: командира Красной армии или судьи, агента ГПУ или, по крайней мере, студента. Поругивая молодежь, делающую карьеру, старики все же гордятся ею. Да, наконец, и сами партийцы ругают власть. Деревня знает, как много в партии «редисок»: иные и в коммунисты пошли, чтобы

лучше тянуть семью или служить своей деревне в сельсовете. И деревенский террор вовсе не целит в коммунистов, как таковых: зачастую он направляется рукою коммуниста. Деревня сейчас, вопреки разговорам о «кулаках», представляет небывалое единство в экономическом отношении. Но всегда находится один или несколько паразитов, желающих строиться на чужой счет: будут ли они называться кулаками, бедняками или колхозниками, председателями или селькорами, это не важно. На них-то и сосредоточивается ненависть деревни. Несмотря на просачивающиеся кое-где требования легализации крестьянской партии, едва ли деревня имеет определенный политический идеал. Бесспорно, выросла ее политическая независимость, но трудно сказать, насколько выросло ее государственное сознание со времени анархического угара 1917–1919 гг.

б) Рабочий класс.

Рабочий класс, быть может, несчастнее всех в современной России. Незадачливый диктатор, претендент на роль нового дворянина, он, в отличие от крестьянина, сильно опустился. Революция дала ему титулы (герой труда), знамена, даже ордена, но лишила самого главного: его мечты. Материально его положение почти не изменилось. Кое-где, для некоторых категорий, даже улучшилось немного. На фоне общей нищеты это создавало иллюзию достижений. По «I категории» рабочий питался лучше учителя. Хмель социальных привилегий бросился в голову. И нужно сказать, что рабочий, воспитанный на марксизме, принимал, как должное, привилегии. Превосходство мозолистых рук над мозгом казалось ему бесспорным. Через 14 лет после революции, когда давно пора было улечься классовой ненависти, рабочий находит еще удовольствие в травле инженеров, в истязании врачей. Правда, теперь это уже не торжество победителя, а слепая злоба побежденного.

Нельзя без конца упиваться привилегиями, когда они не реализуются в жизненных ценностях. Рабочий, быть может, один боролся по-настоящему за социализм, жертвовал для него страданиями, голодом, кровью. Его ослепляла мечта о земном рае. И вот, он по-прежнему прикован, как каторжник к тачке, к постылому, бессмысленному труду. Обстановка, самый процесс

этого труда на фабрике изменились лишь к худшему: статистика несчастных случаев об этом свидетельствует.

При номинальном 8-ми часовом, или даже 7-ми часовом рабочем дне, сверхурочные часы обязательны. Дисциплина? Здесь трудно уравновесить два ряда противоположных явлений: с одной стороны, прогулы, пьянство — в размерах, невозможных на старой фабрике, с другой — опыты рационализации, тейлоризации[1], фордизации, подстрекательство к «соревнованиям», придирчивый контроль. Где же свобода? В мастерских шпионы занимают, в правильном порядке, места за станками, чтобы не проронить ни одного слова. Красный директор из выслужившихся пролетариев лишь раздражает вчерашних товарищей, попавших под его тяжелую руку. Комъячейка из тунеядцев, которая верховодит всем на фабрике, вызывает зависть и злобу.

Не нужно забывать, какой огромный процент рабочих-социалистов делает административную карьеру — вплоть до постов в Совнаркоме и командующих армиями. Многие из них перестали быть декоративными фигурами и разбираются в деле не хуже других. Но для станка они потеряны безвозвратно. Этого кровопускания «сознательных» рабочий класс вынести не мог. Он стал стремительно падать. Его апатия сказалась в отсутствии культурных интересов. Он перестал посещать лекции, остыл к рабфакам. В то время, как государство из кожи лезет, чтобы «орабочить» науку и искусство, рабочий стал к ним совершенно равнодушен. Пролеткультура оказалась блефом. Рабочий клуб превратился в притон, и в неслыханном пьянстве и разврате рабочая молодежь убивает в себе последнюю искру социального идеализма. Вся работа интеллигенции с 90-х годов в воскресных школах пошла насмарку. Чубаровщина[2] именно пролетарский продукт, и, конечно, никогда в своей страдальческой истории русский рабочий не падал так низко.

в) Советские служащие.

Этот класс представляет самый оригинальный продукт русской революции. В нем слились в один весьма сложный сплав остатки старой бюрократии и старой интеллигенции с «новой демократией», отчасти с верхушками пролетариата. Было бы слишком просто сказать, что в этом образовании бюрократия

поглотила интеллигенцию, и что мы имеем в России типично чиновничье государство. Верно то, что интеллигенция в России исчезла без остатка – интеллигенция в старом смысле, как общество, противополагавшее себя государству. Но, умирая, она завещала бюрократии частицу своего духа, кое-что от своих традиций, хотя и чрезвычайно деформированных. Упрощая, можно было бы сказать, что Россия вернулась к XVIII веку, когда не существовало противоположности между обществом и служилым классом. Конечно, нужно помнить, что это произошло в результате такого давления пресса, при котором всякая свободная деятельность становилась немыслимой. «Свободная профессия» – каторжное клеймо в России.

Саботаж был естественной, но кратковременной реакцией бессилия на государственный переворот. У части интеллигенции мотивы социального служения не допускали саботажа. Униженная, она продолжала служить народу – государству. Перед остальной массой не было выбора: служба или голодная смерть. Втянувшись в ярмо, она работала уже и за страх, и за совесть. У людей, измученных многолетней пыткой и страхом смерти, атрофировалось само чувство свободы. Примиряясь с рабством, не хотели примиряться лишь с полной бессмысленностью жизни, стараясь вложить как можно больше смысла в свой подневольный труд.

Одним из пороков старой интеллигенции было ее презрение к профессиональному труду. Редко можно было встретить в России человека, призвание которого, в его глазах, совпадало бы с профессией. Теперь почувствовали, что, составляя каталог библиотеки, охраняя музей, выполняют огромное дело – «спасения русской культуры». И в дело вкладывали все еще неистраченные силы, весь, подогретый в костре революции, энтузиазм жертвы.

Старая бюрократия могла дать интеллигенции свой опыт форм, рабочих приемов, свой дух профессионализма. В общем, в процессе работы, она слилась с интеллигенцией так, что уже ничего не осталось от старого векового антагонизма. Вчерашний адвокат работает рядом с прокурором – оба юристы, – и старые политические программы уже давно не разделяют людей.

Новые люди приживались медленно. Они входили, как чужие, и занимали лучшие места. Долго длилось взаимное подсиживание, мстительный прижим победителей, злобное шипение побе-

жденных. Новые люди были, мягко говоря, малограмотны, и не имели понятия о деле, к которому приставлены. Зато они были полны кипучей энергией и стремлением все перевернуть вверх дном. Началась трагикомическая борьба (отнюдь не саботаж), где интеллигенция, самая передовая, вынуждена была заняться чистым охранительством, во имя здравого смысла. Шли годы, парвеню[1] обтесывались, учились и, если не становились растратчиками и прожигателями жизни (что тоже не редкость), то проявляли иногда большие способности. Во всяком случае, эта группа сообщила советскому механизму тот стремительный темп, тот беспощадный напор работы, который менее всего вяжется с классическим представлением о бюрократии. От советского служащего требуется не только исполнение предначертаний (конечно, и это, и самых противоположных притом), но и собственный почин, изобретательность, творчество. В соответствии с нелепостью основной идеи, огромный процент этих изобретений и этой работы делается совершенно зря. Но не все же зря. Есть обширные сферы чисто профессиональных заданий, которые не могут быть освещены (или искажены) идеей. Тут-то и протекает подлинно творческая работа нового служилого класса. Здесь огромная, пока еще почти только потенциальная энергия, которой лишена была императорская бюрократия, и которая может быть направлена на строительство будущей России.

Но, в отличие от старой бюрократии, новому служилому классу не принадлежит власти над Россией. «Партия» держит власть в своих руках. Совслужащие лишь в ничтожной доле совмещают работу в государственном и партийном аппарате. Вся масса их, несмотря на огромный и бескорыстный труд, и на 14-м году революции остается на положении белых рабов; идеология нового государства не оставляет им места в царстве «рабочих и крестьян».

г) Нэпманы.

Как известно, в России это псевдоним буржуазии, т. е. торгово-промышленного класса. Тот оттенок нового, «нувориша», который звучит в этом слове, имеет свое оправдание. Вся старая буржуазия в России выкорчевана начисто. Старые семьи среди нэпманов встречаются в виде исключения. Само бытие

этого класса весьма прекарно[1]. Каждый день нэпман может ждать разорения, тюрьмы, ссылки. Государство официально защищает теорию, согласно которой нэпман откармливается, в буквальном смысле, на убой. Эти периодические бойни держат новорожденный класс в очень худом теле. Об обрастании жиром говорить не приходится. Лишь в 1923 г., в первый год настоящего, ленинского нэпа, наживались серьезные капиталы. Можно было говорить о советских миллионерах. Через год уже с этим было покончено. Но само существование нэпмана столь же неизбежно, как существование крестьянина. Один производит элементарные продукты, другой распределяет их. Без нэпмана, как без мужика, Россия умерла бы с голоду. Это он, в первобытной форме мешочника, спас ее в 1918–1919 гг.

Новый торгово-промышленный класс (более торговый, чем промышленный) не однороден. И по происхождению, и по функциям он распадается резко на два слоя. Внизу – мелкий торговец, лабазник, непрестанно выделяемый деревней, как желчь – печенью. Деревенский «кулак» искони стремился завести лавку или трактир. В годы мешочничества горячка спекуляции захватила самые низы народных масс. Эти вкусы остались, несмотря на большой риск, связанный с промыслом. Городской базар, городская мелкая торговля главным образом держатся выходцами из деревни. Новый торговец сильно отличается от дореволюционного. Он много культурнее; он стремится дать своим детям среднее или высшее образование. По настроениям, это самый консервативный слой в России. Но достатки его невелики, фигура его мало заметна: этой незаметностью своей он и спасается, отдавая фининспектору львиную долю своего заработка.

Внизу мелкий торговец – наверху делец-спекулянт. Это совершенно разные типы. Последний может заниматься и торговлей покрупнее, – но не начинает с нее. Источник подлинного накопления капиталов в России – эксплуатация государства. Социалистическое хозяйство представляет для этого куда более широкий простор, чем бюрократическое XVIII–XIX веков. В голодные годы военного коммунизма предприимчивые люди спекулировали валютой, скупали за бесценок бриллианты, торговали вагонами, хлебом, чем попало. Все эти операции рассматривались, как тягчайшие преступления. За них угрожал расстрел. Пойти на них могли лишь очень ловкие люди, со связями в коммунистических

кругах. В последующие годы крупный нэпман кормится главным образом вокруг трестов и других органов государственного хозяйства. Он скупает государственную продукцию и сбывает ее мелкому лавочнику. Он в сговоре с «красным купцом» или даже сам числится таковым официально. Он живет в мире растратчиков, взяточников и казнокрадов. Если не смерть, то ссылка и тюрьма всегда висят над его головой. В условиях советской экономики, лояльная организация крупного частного производства или торгового дела невозможна. Разве лишь на территории иностранных концессий.

Этот верхний или спекулятивный слой буржуазии в России почти исключительно еврейский: обстоятельство весьма чреватое последствиями для национального развития России — настоящей и будущей. Причины его слишком понятны. Русский купец, оглушенный революцией, не мог и не хотел к ней приспособиться. Оставшиеся в живых русские «буржуи» поспешили обратить все имущество в золото или камни, и проедают их до сих пор. Они очутились в подполье, не понимая ничего из происходящих событий. Другое дело евреи. Во-первых, прошлое достаточно приучило их к борьбе за существование в нелегальных формах («право жительства»), равно как и к спекулятивным кредитным операциям. Во-вторых, террор в первые годы революции менее коснулся еврейской буржуазии, чем русской, ибо она имела за собой ореол угнетенной нации. В-третьих, по условиям еврейского быта, купцы и спекулянты были связаны кровными узами родства с революционерами, а значит — и с большевиками. У русского коммуниста очень редко найдется папаша лавочник, у еврейского сплошь да рядом. Эти родственные связи были использованы в годы террора для разных более или менее нелегальных лицензий. Теперь уже не то. Когда государство бьет по нэпману, оно бьет по еврею, и знает это. Коммунистическая партия потеряла очень большой процент еврейских «товарищей», которые главным образом пополнили ряды новой буржуазии. В партии свивает гнездо антисемитизм, для которого борьба с капитализмом и еврейством (как некогда для Маркса) сливается в одно. Но то же происходит и в народных низах. Рабочий и крестьянин, даже требуя свободной торговли, ненавидит спекулянта. Для народа еврей отвечает вдвойне: и за спекулятивный тип нового

капитала, и за коммунистическую партию, которую по традиции, уже устарелой, продолжают считать еврейской.

д) Партия.

Партия, не советский аппарат, представляет правящий слой в России. Как ни своеобразна эта форма — «единственной государственной партии» — она уже имеет свой дубликат в Италии. Социологически такую партию нелегко определить, как большинство переходных форм, к числу которых она принадлежит. Созданная в качестве частного, притом антигосударственного союза, она сделалась главным рычагом государственного управления, мозгом и рукой диктатуры. К этому так привыкли, что не удивляются более. А удивляться здесь есть чему. Государственная партия отличается в настоящее время от всяких иных партий тем, что она не имеет сама свободного голоса, являясь в той же мере, как и государство, орудием олигархов, или даже единоличного диктатора. Партийный аппарат разветвляется параллельно с «советским», подчиняясь одной и той же направляющей воле. К чему этот дуализм, это удвоение работы, огромный накладной расход? Те, кто смотрит на коммунистическую партию в России, как на чисто бюрократический аппарат, как на содержанку государства, не смогут ответить на этот вопрос. В действительности, партия есть организация идеи и, поскольку она жива, она живет остатками былой идейности. В России имеется, может быть, не один миллион людей, для которых Бухаринский катехизис является священным писанием. Пусть вожди, или часть вождей, уже не верят в победу. Но монополия коммунистического слова, монополия школы создали огромные кадры юношей, для которых вне коммунизма нет ничего в жизни. Наиболее верующие и наиболее чистые, как всегда, встречаются среди женщин. Среди женщин — сверстниц Ленина есть окаменелости, напоминающие многими чертами былых шестидесятниц. Но верующие тупицы встречаются и среди мужчин из бывшей революционной среды. Напрасно думают, что коммунисты в России содержатся на государственный счет. Это верно лишь относительно аппаратчиков. Остальные, напротив, нередко должны отдавать партии часть своего советского жалованья и почти весь свой досуг, безвозмездно. Главная награда,

конечно, — в удовлетворении честолюбия. Партия — единственные ворота в общественную жизнь. Вот почему она привлекает всех активных или беспринципных, желающих играть роль, вести толпу или проводить свои идеи, часто не имеющие ничего общего с коммунизмом. И, наконец, третий — вероятно, самый значительный слой — людей устраивающихся, лишенных честолюбия, но охочих половить рыбку в мутной воде. Если не в партии, то с партийным билетом можно прокормить себя.

От нас скрыты подробности внутренних процессов, протекающих в партии. Общая картина ясна: отчаянная борьба идейного ядра с честолюбивым и корыстным хвостом и не менее отчаянная борьба внутри ядра за потерянный ленинский путь. Ядро тает с годами, пожирает само себя, хотя остерегается следовать якобинским методам. Подчиняясь диктатуре одного, растрачивая идейный багаж, партия, чем дальше, тем больше утрачивает смысл своего существования. Сталинская диктатура лучше охраняется советским аппаратом ГПУ.

Как складываются отношения между беспартийной массой и партией? Весьма различно. Они теснее в низах, слабее среди интеллигенции. В Москве большинство интеллигенции давно уже пьет чай с коммунистами. В Петербурге от этого воздерживаются до сих пор. Провинция идет посредине. Несомненно, каждый коммунист давно уже оброс хвостом беспартийных друзей и даже родственников, его разлагающих. Но страх доноса создает вокруг коммуниста холодок, который преодолевают лишь немногие. Незримо присутствующая тень ГПУ деморализует почти все общественные отношения в России, но изолирует партию. Быть может, только последние расколы в ней и кары, обрушившиеся на оппозицию, заваливают ров между обывателем и коммунистом, который, ведь, почти всегда принадлежит — в глубине души, по крайней мере, — к тому или иному оппозиционному уклону.

* * *

Таковы классы современного русского общества. Его строение стало много беднее, чем в дореволюционное время. Нельзя думать, конечно, что социальная кристаллизация приняла окончательные формы. Напротив, формы эти поддерживаются,

и в то же время уродуются непрестанным нажимом государственного пресса. Легко представить себе, что, с устранением механического давления, буржуазия получит несравненно более значительное развитие, возродится интеллигенция, в смысле профессий свободного умственного труда, произойдет расслоение деревни. Но с другой стороны, немыслимо, чтобы 14 тяжких лет, младенческих лет новой России, прошли бесследно для будущего. Сейчас закладывается фундамент, на котором будет строить не одно поколение.

По сравнению с императорской, революционная Россия поражает однородностью своего состава. Крайности сблизились, расстояния между классами сошлись – конечно, ценою обезглавления всего, стоящего выше среднего уровня. Но новый средний уровень проходит гораздо выше былых низов. Низы поднялись, если не экономически, то культурно – во всяком случае, социально. На улице русского города вы не всегда отличите по одежде и по лицу рабочего от служащего или торговца. И, что гораздо важнее, не отличите и по речи. В культурной борьбе классов победительницей оказалась «новая демократия», т. е. низы интеллигенции. Это она навязала рабочему, а частью и крестьянину свой галстук, пиджак или толстовку. Давно прошло время, когда европейский костюм был признаком барства. Если остатки старой интеллигенции чем и отличаются от «народа» по внешности, то лишь тем, что они хуже одеты. Во всяком случае, это верно относительно женщин. Работница носит шелковые чулки, и в ее костюме сказывается отдаленное влияние Парижа. Не даром в эпоху голода и ужасов гражданской войны, выпиской модных журналов из Парижа кормились многие из бывших людей. В языке полуинтеллигенция тоже одержала победу, хотя здесь очень сильно и пагубно отразилось армейское влияние. Люди стали вежливее, извиняются беспрестанно, и к старой «барышне» прибавилось «дамочка», отнюдь не означающее буржуйку. Народ в городе говорит полулитературным языком, хотя и сильно замутненным войной и революцией. Зощенко верно схватывает его слабые места, но пародий Зощенко нельзя принимать за этнографическую запись. Народ перестал ненавидеть интеллигенцию с тех пор, как сам стал производить ее. Современные студенты летом косят и жнут со своими братьями и односельчанами, и ни в быту, ни в речи не

отличаются от них. Можно жалеть о гибели старо-народного быта, языка и фольклора, но нельзя не видеть, что общество после революции приобрело гораздо большую устойчивость и цельность. Как это ни странно, оно стало более похожим на западную Европу некоторой общностью междуклассового культурного фонда и самим содержанием новой культуры. Впрочем, типом социального строения оно скорее напоминает русский XVIII век. Заполнение пропасти между классами, с одной стороны, и между обществом и государством (не «партией»), с другой, создает предпосылки для нового национального сознания.

2. Новая культура

Говоря о новой культуре, нельзя не задать себе вопроса о судьбах старой: на чем держится преемство традиции, без которого культура, вообще, невозможна? Зрелище вулканических разрушений не должно закрывать от нас органических процессов жизни. Основной факт современной русской культуры – ее экстенсификация. Исполинский резервуар, искусственное озеро, наполняемое столетиями, вдруг прорвало плотины и затопило страну. Но среди этого мелководного, подчас болотистого разлива так редки глубокие воды. Россия кишит полуинтеллигенцией, полузнайками, но в ней редко встретишь «культурного» человека в старом смысле слова. Новая школа его уже не дает. Старые человеческие запасы иссякают. «Недорезанные», но задушенные теряют культурный облик. На советской службе, как на заводе Рено, не до книжки; а газету русский интеллигент читать отвык, презирая советские «Правды». За этим презрением – законным – к газете скрывается часто презрение ко всему тому политическому миру, которым газета питается. Когда на улицах Москвы и Петербурга появились, впервые после блокады, Berliner Tageblatt и Temps[1], их почти никто не читал: отвыкли. Едва ли многие из представителей старой интеллигенции могли бы назвать фамилию французского президента. Но гораздо страшнее: вместе с поверхностной политической пленкой из сознания вчерашнего интеллигента выветриваются и более глубокие слои, дававшие ему некогда право на социальную избранность.

И все же приходится удивляться, как много сил сохранилось. Произошел отбор: не опустившиеся, не превращенные в «поден-

щиков забот» нашли в себе неожиданные источники сил для творческой деятельности. Областью этой деятельности для многих явилась наука. В России существуют десятки университетов, тысячи научных работников. Среди этих работников большинство молодежь, прошедшая старую школу университета или, по крайней мере, гимназии, выученики старых профессоров. Но рядом с ними много вне-академических людей. Педагог или юрист, общественный деятель, придушенные революцией, вспомнили о мечтах юности, о ненаписанных диссертациях, и возвращаются к научной работе. Экзамены облегчены, требования понижены. Университет спасает и от тюрьмы (относительно) и от голодной смерти. Этот приток сил отчасти компенсирует огромную убыль от смертности среди старых ученых, не вынесших голодных лет. Конечно, количество за счет качества: все посерее, это уже поскребыши, со дна котла.

В глухой провинции остатки местной интеллигенции группируются вокруг обществ краеведения, бывших «архивных комиссий». Со страстью изучают местную этнографию, областное прошлое. «Режионализм»[2] – единственная легальная форма патриотизма в России. Нужно молчать об отечестве, но можно пламенно говорить о крае. В этих кругах несут свое служение с аскетическим энтузиазмом, который часто связан с религиозным служением православной культуре. Русская икона – новая, открывшаяся область изучения – служит одним из мостов между двумя мирами: научным и религиозным.

Существует ли высшая школа в России? Это вопрос, на который не так легко ответить. Было время – около 1920 г. – когда почти каждый губернский город гордился своим университетом. Разумеется, такой университет или ИНО[3] был не более, чем Учительским Институтом старого времени. Теперь число их поубавилось, но все же превышает наличие ученых сил России. Нивелировка, децентрализация и здесь сказались в упадке столичных и вообще старых (особенно Украинских и Казанского) Университетов и сравнительном процветании новых, областных, чаще всего восточных центров: в Саратове, Ташкенте, Баку. Многие кафедры заняты педагогами средней школы или коммунистами с партийным стажем. Но рядом с ними работают настоящие ученые старой или новой формации. Студенты? Их квалификация представляет еще большие

трудности. Лишь часть их проходит через среднюю школу. Но современная средняя школа не дает особых преимуществ перед рабфаковцем или партийцем. На приемных экзаменах большинство поражает своей общей безграмотностью. Но профессора нередко не нахвалятся их прилежанием. Упорные кроты «грызут гранит науки». Разумеется, им не наверстать пробелов общего образования. Для этого отсутствуют все средства и возможности. Ни философских кафедр в университете, ни настоящих журналов, лекций, культурной среды, наконец, которая вчера обтесывала разночинца. Но у него остается некоторая возможность выработать из себя узкого специалиста. Плохой врач, плохой инженер, но все же не фельдшер, не простой техник. А главное, почти всегда человек с большой волей, с большим вкусом к «строительству» жизни.

Пройдемся мысленно по коридорам русского университета и вглядимся в молодые лица с определенным вопросом: следует ли смотреть на них, как на новое поколение русской интеллигенции или как на совершено новый класс? Я думаю, у каждого создадутся разные впечатления. По одежде, конечно, вузовцы не очень отличаются от старого демократического студенчества — во всяком случае, более обращают внимания на нее. По лицам, бритым, грубоватым, судить трудно. Обрывки подслушанных разговоров, скорее, пугают: порчей литературного языка, простонародной фонетикой, морфологией, синтаксисом. Но все это еще не решающее. Вспоминаешь шестидесятые годы с их надрывом дворянской традиции, с языком «шерамуров»[4]. Думается, пропасть между современниками Герцена и Чернышевского была немногим меньше той, которую разверз между двумя поколениями русской интеллигенции 1917 год. Но не выходит ли уже последнее поколение за пределы интеллигенции, а его школа за пределы университета? Старый русский университет — по крайней мере, в Москве и Петербурге — за последние годы не уступал лучшим в Германии. Но уже к Оксфорду нельзя подходить с континентальной меркой. А университеты есть и в Америке. Мы готовы сказать: меряя американским (или, может быть, австралийским, новозеландским) аршином, — университеты есть и в России.

В таком же смысле решается вопрос и о средней школе. Она выпускает людей полуграмотных, не имеющих понятия об истории, без древних и, в сущности, без новых языков, со скудными

обрывками новой русской литературы. Но она сообщает известную сумму математических, естественнонаучных, технических знаний и, что особенно важно, навыков. На школьных выставках поражаешься технической ловкости маленьких дикарей. Они рисуют, лепят, конструируют модели, чертят диаграммы. Иной может построить аэроплан. Есть школы, где физические кабинеты, и очень недурные, оборудованы руками учеников. И потом они так много видят, так много ходят с экскурсиями и путешествуют. И музей, и фабрика на них производят впечатление. Они знакомы с элементами статистического обследования и имеют некоторое понятие об экономических явлениях. Не забудем, наконец, широкого увлечения музыкой и спортом. Из советской школы выходят односторонние марсиане, но полные активности люди, — быть может, лучше нас вооруженные для жизни.

Если средняя и высшая школы в России до некоторой степени остаются под вопросом, то бытие Академии, и после недавней ломки, не вызывает сомнений. Детище петрово пережило Елизаветинский университет. Наука в России не погибла, но сильно стеснена в средствах своей работы. Сотни трудов в рукописях ожидают очереди в скупо отмеренных изданиях. То, что выходит, не вызывает тревоги своим качеством. Университет перестал быть семинарием ученых, но его роль заняли различные институты при Академии, музеи и даже библиотеки, где поддерживается личное общение, на совместной работе, учителя с учениками.

Судьба отдельных наук, конечно, различна. Иные погибли, иные расцвели, в зависимости от случайностей «социального заказа». Физике, например, повезло, благодаря прикладным институтам, связанным с индустрией. Русские физики, среди которых много мировых имен, ведут нелегкую борьбу за сохранение теоретической науки в университете. Но уже чистая математика сильно изувечена. Счастливы дисциплины, которые могут укрыться под сенью «Комиссии по изучению производительных сил России» (геология, почвоведение и др.). Могут работать и биологи, интересующие государство вопросами селекции, евгеники и проч. Но молодежь среди них увлекается и философскими основами науки.

Медицина, конечно, неистребима, поскольку неистребим страх смерти, даже для коммунистов. Но потребность в обслу-

живании советского аппарата спасла и остатки (практической) юриспруденции от угрожавшей ей, казалось, окончательной гибели. Теоретическая экономика уничтожена монополией марксизма. Но зато развивается доселе бывшая в пренебрежении экономика практическая и описательная («идеографическая»). Доминируют, естественно, вопросы организации производства и экономической политики.

Сильнее всех пострадал историко-филологический факультет. Он потерял философию, совершенно, и, в значительной мере, историю. Лучше сохранились филология и искусствоведение. Почти окончательно погибла, со смертью древних языков, наука классической древности, и медиевистика, представленная недавно в Москве и Петербурге двумя большими (может быть, непропорционально для России) школами ученых. Презрение к католической культуре и романо-германскому миру одинаково повинны в советском дискредитировании этой науки. Из всеобщей истории уцелела новейшая, как история революций в марксистском освещении. Да еще торжествует Восток – по всей линии: филологической, исторической, археологической. На первом плане и здесь практическая потребность: подготовка дипломатов и революционеров для работы в Азии, но за этим – и бескорыстное увлечение Востоком, как оборотная сторона ненависти к Западу.

Русская история спаслась, несмотря на сознательно антирусскую политику Комиссариата (Покровский[5]). Причина – в социальном и экономическом направлении русской историографии в школах Ключевского и Платонова. Старые марксисты воспитаны на Ключевском, и переиздают «Очерки смуты» Платонова, по недоразумению, как образец исторического материализма. Наука русской истории (по давней традиции!), не требующая ни иностранных языков, ни филологической культуры, издавна была уделом демократических слоев студенчества. Продолжает она привлекать их и теперь. У стариков можно заметить иногда, как реакцию против духа времени, возрастание интересов к духовной культуре России, но в печати эти интересы находят лишь слабое отражение.

Как это ни странно, необычайно расцветает изучение русской литературы (только не древней). Эта дисциплина всегда была в позорном загоне в русских университетах. Вместо художествен-

ного слова изучались нередко направления публицистической мысли – «интеллигенциология». Накануне революции небольшая, но ярко талантливая группа отдаленных учеников Потебни[6] подняла бунт. «Формалисты» рассматривают идеи и сюжет, «как явления стиля». Антигуманизм и антиидеализм новой школы создал для нее известную неуязвимость со стороны академической ЧК. Большевики их терпят, хотя предпочитают им пролетарских Венгеровых[7] с социологическим подходом. Фактически формалисты господствуют. Они развивают огромную рабочую энергию, которой соответствует не меньшая литературная продукция.

И, наконец, искусствоведение. Русская революция, вразрез со всеми историческими прецедентами, проявила необычайную робость в разрушении памятников искусства. Это объясняется отнюдь не кротостью народной стихии, всегда иконоборческой. Не успел улечься вихрь разрушения, как царские дворцы переименовываются в музеи. Памятники Николая I, и даже Александра III пережили крушение кумиров. Наконец, в обеих столицах существуют высшие институты искусствоведения, целая Академия истории искусств (под именем Академии Материальной Культуры), и во всех этих учреждениях бьется полноценная научная жизнь. Здесь не пахнет халтурой. Здесь совершаются серьезные научные открытия. Материалы, накопленные, отчасти изученные после революции, так огромны и неожиданны, что историю древнего русского искусства теперь надо писать заново. Невероятно: в стране безбожия существуют иконописные школы и школы реставраторов иконы. Как объяснить это? Здесь возможны две догадки. Во-первых, эстетизм, лежащий в основе одной из большевистских формаций. Об этом ниже. Во-вторых, суеверное уважение марксиста к памятникам «материальной культуры». Есть категория марксистов-искусствоведов, которые больше интересуются составом красок и доской, чем картиной (такова первоначальная идея Академии М.К.). За технологией красок пришлось допустить и фактуру, технику живописи. А дальше, как с литературой: марксист губит казенную бумагу классовой интерпретацией, ученый остается в границах формалистического изучения, свежего и плодотворного. Средства, отпускаемые государством для раскопок, исследований и публикаций чрезвычайно скудны. Но они с избытком восполняются энтузиазмом исследователей.

Таковы обломки старого. Их, как видим, не мало. Некоторые ветви старой культуры пустили свежие, многообещающие побеги. Но вся эта культурная поросль глумится буйным ростом молодняка. Вся культурная работа старых направлений остается неорганизованной, необъединенной. Она не выходит из рамок специальных исследований. Она всегда в колодках, как и хозяйственная жизнь. Не доверяя жизненным силам новой культуры, государство сознательно губит старую. Система цензуры, созданная им, действительно, превосходит николаевскую. Ее ужас в том, что она чувствует свое родство не с полицией, а с богословием: пытается не пресекать, а учить и назидать; дает «социальный заказ» и печется о «малых сих». Второе ее отличие от николаевской в том, что она нашла в России не первые побеги, а великолепное дерево национальной культуры и поставила себе целью выкорчевать его с корнем. Теперь дело идет не о стихах лишь и романах, а о русской философии, богословии, историографии, социологии. «Поле, усеянное костями» русской мысли, представляет самое потрясающее кладбище из театров великой войны. Французская революция, которая, как известно, «не нуждалась в ученых», нашла господствующим строй идей, в котором коренилась она сама. Русская пришла незваным гостем на чужой пир. Здесь все было ей чужим, и все подлежало гибели. Предстояло планомерно выкорчевать вековой лес и заменить его новой пролетарской посадкой. Не вина (и не заслуга) большевиков, если они лишь наполовину успели в этой неблагодарной задаче.

* * *

Новая культура (для иных все еще только новое варварство) не чувствует себя хозяином ни в университетах, ни в академиях. Однако к ней мы отнесли бы господствующий в искусствоведении формализм. И средняя школа в значительной мере является проводником новых веяний. Но главные органы их – митинг, газета, книга, театр, так называемая советская общественность. Серьезность новой культуры доказывается ее полной победой в художественной литературе: ей служат стихи, и проза, и театр. Нет «советской» науки, но есть «советское» искусство. Но труднее создать продажное искусство, чем

продажную науку. Значит, гипотеза продажности не объясняет сути нового явления, хотя было бы невозможно отрицать глубокой деморализации литературных нравов.

Трудность в оценке новой культуры, как и всего в России, заключается в сложном соотношении между коммунистическим и национальным. Их нужно разделять, но нельзя разделять до конца, ибо, несомненно, идеология коммунизма была центром кристаллизации всех новых сил. Лживость, составляющая нормальную атмосферу интеллектуальной жизни в России — оборотная сторона тирании — мешает уяснить до конца соотношение между новой культурой и коммунизмом. Коммунизму льстят, курят фимиам и стараются лягнуть его незаметно, чтобы тут же отпереться от неосторожных слов. Кадят идолу, чтобы обеспечить свободу служения иным, своим богам. В обстановке всеобщего идоложертвенного культа трудно разобраться в оттенках личных верований.

Представляется несомненным одно: не марксизм лег в основу новой культуры, хотя он завещал ей некоторые из своих элементов. Огромные средства, потраченные государством на пропаганду марксизма, множество журналов, марксистских институтов и академий не дали ни одного серьезного ученого, ни одного талантливого писателя. Россия изрыгнула из себя все лошадиные дозы марксистского яда, как не оставила почти ни одного из портретов и бюстов злого Карла, украшавших все витрины в 1918–1920 годах. Что осталось от марксизма — так это социальный реализм[8], вернее, цинизм, классовый примитив в оценке социальных явлений. Осталось общее достояние I Интернационала, скорее Бакунин, чем Маркс. Большевики сумели обязательным катехизисом своей политграмоты отбить вкус к марксизму, вызвать ощущение, близкое к тошноте, у всех, проходящих через ее мытарства. Но не нужно поддаваться иллюзиям: молодые люди, проклинающие политграмоту, не способны в большинстве случаев ни критиковать ее, ни преодолеть. Она остается в их мозгах непереваренным комом, как куча скучных, пошлых истин — но все-таки истин. Освобождение из духовной тюрьмы совершается не на путях социологической мысли. А религиозное или эстетическое преодоление марксизма все еще оставляет на дне сознания каменный балласт классовых и экономических схем.

Марксизм, как экономическая доктрина, определил сознание лишь первого поколения большевиков (90-е годы). Немногие из коммунистов читали Маркса. Молодежь гораздо более увлекается естествознанием. Дарвин вытеснил Маркса, и народная Россия переживает свои 60-е годы. Это эпоха наивного просветительства, юношеского богоборчества — казалось, давно преодоленная русской мыслью. Воскрешение Базарова после Владимира Соловьева — расплата за вековую беспочвенность русского культурного слоя. Новый натурализм — действительно, широкое, народное увлечение, не только коммунистический ингредиент. В деревне молодежь спорит со стариками о громе и молнии, о всемирном потопе. Ужас в том, что партии, т. е. отсталым, заскорузлым старикам ее, удалось обмануть эту юную пытливость, подменив науку научным суеверием, современную биологию почти столетним дарвинизмом. В то время, как молодые биологи в России становятся виталистами и христианами, приобщающаяся к культуре масса принимает материализм, как новую научную веру. В этом реальная почва антирелигиозного движения в России, которое держится не одними партийцами, а если партийцами, то второго и третьего сорта.

Марксизм всегда заключал в себе технологический слой, прикрытый у Маркса понятием «производительных сил». Ученики оставили в забросе эту богатую жилу. В советской России она разрабатывается впервые не столько по требованию теоретической диалектики, сколько из практического интереса. Старый марксист, читавший лекции о фабричном производстве, был не в состоянии разобраться в самой простой машине. Теперь ему или его выученику пришлось стать во главе фабрики, обобранной дотла, и восстанавливать производство. Понятно, что вопросы техники играют в России главенствующую роль, затеняя даже космологические проблемы. И здесь мы имеем дело не только с партийной директивой, но и с широким, низовым увлечением. Никогда в России не было стольких самоучек-изобретателей, как в наши дни. Над Москвой, почти над каждым домом, лес антенн, и приборы радио чаще всего домашнего изготовления. О конструктивных способностях школьника мы уже говорили выше. Много здесь, конечно, жестокой маниловщины: такова ленинская электрификация, сталинская пятилетка и пр. Но есть и живой поток народной энергии,

нашедшей для себя практическое поле. Интересно, что тут, в техническом восприятии культуры, Россия встречается с ненавистным Западом, и скорее всего с дальним Западом. Мы имеем право говорить об американизме современной России, который отвечает на предсмертную мечту Ленина. Россия отвергает все глубокие слои западной культуры — от античности до либерализма, — но жадно бросается на последние слова ее нового, «американского» дня. Можно очертить приблизительно круг тем, актуальных на Западе, которые вместе с тем составляют комплекс «советской культуры». Тейлоризм, фордизм, радио, авиация, кинематограф, спорт во всех его видах, вопросы практической биологии: омоложение, евгеника, искусственное скрещение видов (человека с обезьяной), победа над смертью (микроб старости) и т. д., и т. д. Весь этот комплекс говорит о молодой и животной жизнерадостности, которую мы привыкли считать почти исключительным свойством англосаксонской расы. Громко кричит потребность комфорта, жажда устроиться прочно и навсегда на этой земле, не нуждающейся в преображении. Эту жажду гениально выразил Маяковский, поэт нового дня:

> Надоели нам небесные сласти,
> Будем жрать хлебище ржаной!

Этот голод по хлебу, впрочем, еще не получил буржуазного отпечатка. Преобладает стремление все перестроить, начать жизнь сызнова, зачеркнув историю. Отсюда социальный революционаризм, который даже для успокоившихся и обрюзгших остается догматом веры. Европа сгнила, и только революция может воскресить ее, — в этом не сомневается никто из людей новой формации.

Что глубоко отличает современную Россию от России 60-х годов, — так это ее повышенный интерес к вопросам искусства. О «разрушении эстетики» никто и не помышляет. Впрочем, эстетика и искусство совершенно разные вещи. Сначала об искусстве.

С изобразительным искусством у революции был краткий, но замечательный роман. С самого Октября левые русские художники (назовем их условно футуристами) поступили на службу революции — сознательно и бескорыстно. С революцией

их роднила ненависть к буржуазному искусству (сжечь Эрмитаж!), предчувствие небывалых форм жизни. Именно жизни, ибо разочарованные в поисках новых художественных форм, футуристы провозглашали уже смерть искусству и служение жизни. Этот лозунг мог иметь только один смысл: прикладное, техническое искусство. И новые художники прежде всего явились декораторами революции. Они писали тысячи плакатов, которыми была заклеена умирающая с голоду Россия, они создавали в дни революционных празднеств великолепные декорации на разрушающихся улицах столиц. Иногда им удавались поразительные эффекты, соперничающие с революционными инсценировками Давида[9]. Кубизм, механизм, бесчеловечность нового искусства отвечали геометрической жестокости большевиков. Этот союз для обеих сторон обещал многое. Всякая тирания нуждается в художественном помазании: без нее она недолговечна. Беда большевиков заключалась в низком уровне их эстетической культуры и, главное, в давлении масс. Рабочие и крестьяне требовали здоровой, простой пищи, т. е. наивного передвижничества. Власть подчинилась, и народные праздники утратили всякий художественный интерес. Государство поощряет придворных портретистов и бездарных мазилок массовых сцен. Левое искусство выдохлось, ибо – декоративное по существу, – оно не может жить без заказчика.

Счастливее оказалось художественное слово. Его брак с революцией не расторгнут доселе. Большевикам повезло удивительно. В то время, как почти вся интеллигенция отвергла их революцию, почти все русские поэты ее приветствовали. – Внутренние мотивы те же, что у художников. – В годы гражданской войны Россия могла быть названа «соловьиным садом». Потом многие соловьи замолкли навсегда, и социальный заказ произвел между ними очень суровый отбор. Сейчас стихов почти не печатают в России. Проза вытеснила интерес к ним. Формальным наследством символизма еще живут отсталые рабоче-крестьянские поэты. Сегодняшний день принадлежит ученикам настоящего революционера – к сожалению, разболтавшегося – Маяковского и Пастернаку, который посвящает свой умный и холодный талант темам революции.

Художественная проза – самое живое и интересное в новой России. И притом это, в полном смысле, детище революции.

В России почти не осталось старых беллетристов. Молодые вышли из народа или из новой демократии. Учились на медные гроши, зато имели богатый опыт жизни: проделали гражданскую войну – конечно, в красных рядах. Они преданы революции, воспитавшей их, и творят красную легенду боевых лет. Это дает им право на известную независимость по отношению к внутренней и внешней цензуре. Большинство их не чувствуют себя рабами и полны гордого и оптимистического утверждения жизни. И здесь, как в живописи, влияние социального заказа, а также примитивность массового читателя сказались обилием халтуры и воскрешением давно похороненных литературных явлений. Параллельно с передвижничеством революционной живописи возродился социально-дидактический роман 60–70-х годов. Герои Шеллера-Михайлова и Омулевского[10], переряженные в коммунистов, продолжают просвещать героических девушек и бороться с темным царством. К сожалению, по этой тропинке пошли почти все пролетарские писатели, доказывая духовную слабость своего класса. Не мало и крестьянских идейных романов, но здесь не они задают тон. Литература попутчиков свободна от идейности. Но она одна и составляет художественную литературу в России. У новых писателей одна фамильная черта: брутализм. Их тема – примитивная, звериная жизнь, как она выражается в голоде, похоти и убийстве. Война, революция, борьба за жизнь – дают неисчерпаемый запас сюжетов. Быт деревни на первом плане. Мужик изображается пером не барина, а своего собственного сына – с беспощадным реализмом. В этом сильном, хитром, аморальном дикаре (Всеволод Иванов[11]) трудно узнать кроткого мученика народнической литературы. Но Толстой, Чехов и Бунин уже помогают уяснить его генезис. Не все в этой новой революционной «иконе» клевета на народ. Многое надо отнести на счет оголения и озверения революционных лет. Остальное – на счет требований нового стиля. Искусство, отталкиваясь от барской рафинированности вчерашнего дня, неизбежно влечется к брутализму. На этом опасном пути, указанном Толстым, еще возможны потрясающие открытия звериной правды о человеке. Возможно и новое мощное чувство природы, не отделенной от темной глубины в человеке.

Большие эффекты достигаются методами изобразительного импрессионизма. Живопись ярких пятен, мазков, выступающих

из мрака, без соединяющего линейного контура повествования, впечатляет и раздражает одновременно. Язык освободился от оков литературной речи и упивается народным говором. Тысячи новых слов, иногда очень ярких, иногда просто непонятных, затопили литературу. Русский литературный язык вступил в новую (после Карамзина) полосу линяния. Однако эти черноземные, даже навозные языковые пласты (в России, по-видимому, уже нет непечатных слов) идут на сложную барочную лепку. Влияние символизма не прошло даром для этих примитивистов. Народный «сказ» ведет в школу Ремизова, а потребность в «остраннении»[12] повествования заставляет некоторых (Пильняк) заимствовать даже форму симфоний Андрея Белого. Мучительный, выкрученный, патетический стиль не говорит, а кричит о зареве вчерашних пожаров. У многих русских писателей все еще прыгают в глазах «кровавые мальчики».

Почти все они кажутся, или желают казаться, совершенными аморалистами. Как на современном портрете, человеческое лицо значит не больше кошки или кухонной посуды. Лишь у немногих (Леонов, Федин[13]), просвечивает нечто от старой русской жалости к человеку. Большинство не уступает в жестокости Стендалю или Флоберу.

Слабость новой литературы очевидна: в ее бесформенности, безмерности, бесстильности. Но за всем этим стоит огромная сила, еще не высвободившаяся от власти стихий, но начавшая завоевание новой земли.

Ни малейшего сравнения с литературой не выдерживает новый театр. Он представляется нам очень интересным, но совершенно беспочвенным. Вернее, социальную почву его нужно искать в ночных московских кабаре эпохи военного коммунизма, где поэты, чекисты и воры объединялись на кокаине. Содержание нового зрелища сводится к жестокому гротеску. Режиссер довольствуется превращением человека в реквизит, а театра в блестящий цирк. С изгнанием слова, театр становится чисто декоративным искусством, но с большим динамизмом движения. Исторически, гротескный театр отражает кровавый бред 1918–1919 гг. в гурманском преломлении эстетов.

Театр Мейерхольда ставит перед нами вопрос: как возможно возрождение эстетства в революционной России? Выкорчевывая религию и буржуазную мораль, почему советские цензоры

останавливаются перед снобистской эстетикой. Один из напрашивающихся ответов состоит в том, что в такой эстетике видят средство разрушения морали. Но это приводит нас к дальнейшему вопросу об отношении большевизма к морали и значении имморализма в современной русской культуре.

Самое старое поколение большевиков — девятидесятники — были релятивистами в теоретических вопросах морали и аскетами в личной жизни, продолжая полувековую традицию русской интеллигенции. Но уже поколение 1900-х гг. воспитывалось в атмосфере анархического индивидуализма: ранний Горький, воскрешенный Писарев, Ницше и Гамсун, Андреев и Пшибышевский, журнал «Правда». Соседство с декадентами, иной раз довольно близкое в 1905 году, привило многим марксистам изрядную долю примитивного эстетизма. Парикмахерское выражение его мы наблюдаем в Луначарском. Но за ним стоит ряд дам, ныне сановниц, и более скромных и более заслуженных перед художественной культурой России. Этой именно группе мы и обязаны сохранением русских дворцов и музеев. Однако стоящее за этим «консерваторством» мироощущение гораздо менее невинно. Оно оказало и продолжает оказывать большое, чаще всего разлагающее влияние на русскую молодежь пореволюционного времени. Определить его кратко можно так: это базаровщина, пропущенная сквозь брюсовщину.

1917 год сорвал с разрушенных гнезд массу авантюристов, искавших в революции сильных ощущений. Первые перебежчики из интеллигенции на службу новым господам были чаще всего люди без чести и совести. Все это создавало в годы гражданской войны остро пахнущий букет имморализма на верхах советского общества. Общаясь с продажными декадентами и жуирами, разлагались и недавние аскеты. Да и человеческая природа не выносит больших кровопусканий без наркотиков. Идейные чекисты неизбежно ищут забвения в кокаине, разврате или эстетике. Много страшнее, когда эстетический (или голый) имморализм захватывает свежие, здоровые слои революционной молодежи. Но это явление позднейших лет.

С концом героической эпопеи революции, тысячи бойцов оказываются выброшенными на мель. Напившись свежей крови, они не желают «питаться падалью» добродетельного строительства. Годы идут, и это строительство постепенно

разоблачается, как грандиозный блеф. Начинается полоса советских буден, невыносимая для молодых умов, жаждущих подвига. Отсюда разочарованность нового поколения, приводящая к культу официально попираемой личности. Возрождается анархический индивидуализм, вообще характерный для послереволюционных эпох. Из русских прецедентов прежде всего напрашивается Арцыбашевский Санин[14], выразивший «огарочные» настроения молодежи после 1905 года.

Девятидесятники, особенно девятидесятницы, первые забили тревогу. Начались поиски новой, пролетарской этики, долженствующей заменить этику христианскую. Эти теоретические потуги, конечно, обречены на неудачу. Но нельзя закрывать глаза на то, что в новой жизни довольно здоровых сил, которые ведут не без успеха борьбу с моральным разложением. Читая о половом бесстыдстве молодежи — тема излюбленная и советскими романистами — мы склонны обобщать эти явления. Они отвратительны, но едва ли типичны. Рядом со слабыми выродками растут здоровые и сильные юноши, которые умеют работать и понимают смысл общественной дисциплины. Революция создала не один имморализм, но и некоторые основы для новой этики; не пролетарской, но коллективистической. Это этика полувоенного типа: в ней много родственного скаутизму, и красные пионеры, в сущности, несут скаутское знамя, социально окрашенное. Служение обществу — в частности, своему коллективу — заменяет личное рыцарство. Жертва и здесь является краеугольным камнем. Пионер должен помогать слабым, женщине на улице, измученной лошади, пожарному, но и милиционеру при исполнении его обязанностей. И эти требования не остаются мертвой буквой. Быть может, в этой пионерской среде только и горит в России социальный идеализм. Уже в комсомольстве к нему примешиваются (если не преобладают) личные, карьерные мотивы; в этом же возрасте происходят кризисы миросозерцания, опустошающие душу, но и очищающие ее. Среди взрослых коммунистов в настоящие годы принципиальные люди встречаются в виде исключения. Чем больше революция идет на убыль, тем слабеет сопротивление коллективистической этики разлагающим началам. Мы имели бы основание прийти в ужас за народ и его будущее, если бы революционным идеализмом исчерпывались духовные ресурсы

нации. По счастью, это не так. «Новая культура» не покрывает всех живых сил, которыми спасается Россия. Эти силы – вне культуры, их источники бегут из подземной глубины, и шум этих вод заглушает в России нестройный стук молотков в руках строителей Вавилонской башни.

3. Церковь

В настоящих очерках социально-публицистического характера нет места для изучения идей и духовных реальностей. Реальности эти появляются в них лишь постольку, поскольку облекаются в общественно-организованную форму: социальной группы, класса, партии. Известно, какую огромную социально-формирующую силу представляет религия. История христианских обществ не может быть построена без истории Церкви. Для классических эпох христианской культуры общество и Церковь совпадают. Однако, в эпохи упадка социальное значение Церкви сильно суживается. Историю XVIII и XIX столетий можно писать, отвлекаясь от христианских церквей и сект. Оказалось возможным и историю разложения императорской России схематически чертить без изображения церковного быта XIX века. Быть может, это было некоторым упущением. Картина дворянского упадка могла бы быть дополнена очерком церковного оскудения. Мы увидели бы приниженность духовенства, угодливых и честолюбивых иерархов, сельских священников, погрязших в пьянстве и любостяжании, распущенных монахов: во всей России едва ли удалось бы насчитать десятка два обителей, в которых теплилась духовная жизнь. Для религиозного взора это наблюдение открывает многое: из подробности общей картины оно может стать ключом, объясняющим целое. Именно здесь, в религиозном центре иссякали духовные силы нации. Но эту связь не легко показать убедительно для всех. Зато для всех явственно совершается возрождение Церкви в очистительном горниле революции.

Один убедительный факт делает невозможным обойти Церковь в любом изображении русской революции (как возможно обойти ее в кратком очерке французской): о Церковь разбились в России волны разрушительных сил. Из всех организованных сил старой России Церковь одна устояла под напором больше-

виков. Церковь сделалась центром кристаллизации духовных антикоммунистических сил, ни малейшим образом не связывая себя с контрреволюцией или со старой Россией. И то, и другое требует объяснений.

Если бы Церковь была столь же слаба в России, как в старой Франции, большевики, конечно, не задумались бы поступить с ней по методу якобинцев: закрыть все храмы и расстрелять священников. В недостатке решимости или ненависти к христианству их подозревать не приходится. Они терпят культ потому, что рабочие и крестьяне в нем нуждаются и не позволят отнять его. С другой стороны, несомненно, революция вызвала широкий отход от Церкви, или охлаждение к ней. Однако это охлаждение было далеким от прямой ненависти. Народ стал религиозным минималистом, скептиком, если угодно, только не богоборцем, каким хотела бы его сделать коммунистическая партия. Народ допустил вскрытие мощей без всякого протеста, народ допустил, хотя и с протестом, ограбление храмов, но он не допускает их полного закрытия. Он по прежнему крестит в них своих детей и отпевает покойников: в деревне даже гражданские браки большая редкость. Этот минимальный ритуализм уживается с рационалистическим разложением религиозного сознания, о котором мы говорили выше.

Почему народ не пережил активной ненависти к Церкви, подобно передовой интеллигенции? Нужно думать, что грехи духовенства не были столь тяжки в народных глазах, чтобы поставить попа на одну доску с барином. Средний тип русского священника, в своей убогой простоте, обезоруживал народное сердце. Народ не уважал духовенства, но не питал к нему злобы. Встречались среди священников и праведники, которые примиряли ожесточенных. Праведники были, конечно, во всех сословиях. Но барин – бессребреник и филантроп – оставался чужд народу в своем духовном облике и потому подозрителен. А христианская святость была насквозь понятна и обаятельна. Впрочем, Церковь была дорога не служением пастыря, а красотою обряда, с которым сросся кровно народный быт.

Вот общий фон, на котором развертывалась драма русской Церкви. Тяжек ее первый акт – режим террора и острого гонения, в который была сразу поставлена Церковь октябрьской революцией. Кадры ее членов и активных деятелей сильно по-

редели. «Церковники» – это уже не народ, а группа, лишенная всенародной поддержки и сочувствия. Заседания Московского собора заглушаются громом гражданской войны. Из кого же состоит эта поредевшая, но сплоченная церковная среда, ведущая борьбу за Церковь? Разумеется, ядро ее составляют люди консервативного православного склада, для которых Церковь не только религиозная, но и национальная святыня. Большинство их не примирилось с горечью утраты Помазанника, и в своем противодействии революции не делало различия между февралем и октябрем. Многие надеялись, что Церковь объединит все живые, т. е. национальные силы и спасет Россию. Эта надежда заставляла льнуть к Церкви и людей, чуждых ее догматам, отвыкшим от ее уставов. События, казалось, предназначали русскую Церковь для активной борьбы с революцией. Но Церковь не пошла по этому пути. После первых колебаний (начало 1918 г.), она решительно вышла из политической борьбы.

Патриарх Тихон стал символом аполитической Церкви, и его отказ благословить белые армии (лето 1918 г.) – знаком нового дня. Его позицию, столь трудную для многих активно-патриотических церковников, невозможно объяснить оппортунизмом. Служение Церкви в годы террора было само по себе исповедничеством, которое для тысяч и тысяч стало подлинным мученичеством. Явилось ли у патриарха и окружавших его вождей Церкви тогда уже сознание обреченности белого дела? Мы не знаем. Это могло бы быть не столько политическим расчетом, сколько внутренней интуицией, прозрением в сущность еще неясных событий. Состояние народной души было скорее открыто для иерархов и пастырей, чем для увлеченных идеей интеллигентов. Но все это соображения, лишенные глубины. Истинный смысл отрицательной тактики (аполитизма) Церкви – в положительной духовной жизни, в ней раскрывающейся. В громах апокалиптических событий, обрушившихся на русскую землю, в этой, казалось, финальной катастрофе, перегорали все земные, часто слишком земные узы, соединявшие Церковь с обществом и государством вчерашнего дня. России может не быть, но вечен Христос. Сегодняшний день может быть последним днем истории: войдем в себя. Церковь аскетически и мученически отрекалась от России, слагая с себя печаль о ее земном теле. То, что заместило национальное

сознание Церкви в годы революции, была святость. Ее необычайный расцвет в смертные годы, — такой ответ на вызов революции был возможен, разумеется, лишь потому, что русская Церковь не растратила живущих в ней потенций святости. Несмотря на видимую упадочность XIX века, традиция святости не прерывается в Церкви, и можно даже наблюдать к концу века нарастание этих внутренних, мистических сил. Несомненно подготовлялось возрождение церковной жизни, хотя оно ничем еще не сказывалось в ее иерархическом и бытовом строе. Понадобилась революция, т. е. последнее отчаяние, чтобы вывести святость из затвора кельи на широкую арену Церкви и мира.

Революция была мечом, разделяющим — живое от мертвого. В тех же семьях, в тех же условиях жизни одни ожесточались или оподлялись в животной борьбе за существование, другие достигали высокого просветления. Мы все знаем этих униженных и оскорбленных, которые находили силу простить врагам, нередко признавали заслуженность и справедливость самого своего падения. Сколь многие, в итоге пустой и легкомысленной жизни, находили в себе силы, подобно последнему русскому царю, умереть с мужеством и достоинством христианина. Люди этого типа, а не политики определили судьбу русской Церкви в годы революции. Политики, пытавшиеся взяться за церковный руль, погибли в гражданской войне или ушли из России; оставшиеся в ней духовно выросли и смирились. Целые годы продолжалось это очищение Церкви кровью мучеников и аскетическим пребыванием во внутренней пустыне. То, чего не успел сделать палач ЧК, доделал Тучков[1] из ГПУ, вытягивая из Церкви старорежимные соки в «обновленчество», в «живоцерковство». В этом расколе добросовестно запутались и люди демократического склада, обманутые лукавой диалектикой революции, подобно сменовеховцам и евразийцам. Но основную массу обновленческого духовенства составили «попы», которые больше всего на свете боялись мученических венцов и не могли вынести тяжести разрыва с государством. Если не царская, то хоть революционная, но власть, — эти люди не могли жить без политического заслона. С уходом их аполитизм Церкви закреплен окончательно.

Для этих первых лет аскетического очищения Церкви характерно возвращение к ней значительной части интеллигенции.

С отходом от Церкви народных масс это проникновение в нее нового слоя, ранее чуждого ей, заметно окрасило ее состав. В городах это бросалось в глаза при первом взгляде на молящуюся толпу, переполнявшую храмы. Разнообразны были мотивы, определявшие обращение блудного сына. Мы уже говорили о политиках. Для многих, потерявших все на свете, в беспросветном отчаянии и одиночестве, Церковь была единственным прибежищем. В пошлости и гаме революционной улицы удивительной красотой звучало торжественное тысячелетнее слово и византийский обряд, уводящий из царства красных флагов. Но не из раздавленных калек, не из опустошенных эстетов слагалось новое церковное общество. Обращение интеллигенции, т. е. части ее, было естественным завершением мощного движения русской культуры конца XIX и начала XX века. Школа Достоевского и Вл. Соловьева владела умами последнего предреволюционного поколения. Символизм в лице самых мудрых своих провидцев подводил к порогу Церкви. Гром революции лишь ускорил неизбежную развязку. В 1918 и следующих годах ряд профессоров, писателей и поэтов принимают священство. Другие отдают свои силы Церкви в Богословском Институте (Петроград), на церковной кафедре, теперь открытой для мирян, в тайных кружках и братствах. Новые люди принадлежали в недавнем прошлом к самым различным политическим партиям. И ныне они отличаются направлениями религиозной мысли. Преобладают мистические настроения и идеи (имяславчество[2]); апокалиптика упраздняет социальные и национальные проблемы. Повышенная страстность, радикализм в постановке вопросов и жизненном их решении заметно отделяют эту группу неофитов от спокойной сдержанности наследственного духовенства: так Волгу долго окрашивают в свой цвет Камские воды. Интеллигентский радикализм иногда заставляет этих людей, переступающих порог Церкви, приносить изуверские жертвы. Не редкость — полное отрицание культуры, проповедь мистического нигилизма. Эти настроения особенно опасны в виду стремительного падения старой культуры и трудности сохранения ее уровня. Есть люди, которые уже ничего не читают, кроме Добротолюбия. Но другие приносят в Церковь свою науку, свое искусство, ища освятить в ней свое творчество. В Церкви происходит огромное накопление куль-

турных сил, лишь насильственно обреченных на молчание. Но легальная культура представляет лишь малый сектор духовной жизни России. В подпольной борьбе христианства с безбожием все преимущества культурного вооружения на стороне Церкви.

Конечно, церковь не вобрала в себя всей старой интеллигенции. Процесс оцерковления ее замедлился через несколько лет и, кажется, остановился. Разделение прошло здесь, главным образом, по моральной линии. Но нельзя отрицать, что и страх духовной реакции, т. е. мистико-эсхатологических идей удерживает многих на пороге. Даже среди интеллигенции церковники – это меньшинство, но меньшинство сильное, подвижническое, жаждущее завоеваний.

Выход из подполья патриаршей церкви с освобождением патриарха (1923), знаменует начало церковной экспансии. Период аскетического сосредоточения собрал и дисциплинировал огромные силы, которые теперь отчасти устремляются на завоевание мира. Проблема России, не погибшей, но погибающей, опять становится в центре религиозного зрения. Но спасение ее мыслится не на политических путях. Отвоевание масс у антихриста, новое крещение Руси – вот поставленная цель, которая объясняет политику преемников почившего патриарха: их тягу к легальности.

Среди новой демократии, среди студенческой молодежи религиозные искания заметны давно. С первых лет революции в религиозных кружках встречаются коммунисты, бывшие или даже настоящие, которые ищут духовного осмысления своей работы. Марксизм явно не может быть духовной пищей. Обыкновенно к концу университетских лет молодежь разочаровывается в нем. Большинство – чтобы отдаться потоку буржуазных настроений и практическому завоеванию жизни; меньшинство – чтобы искать нового идеала. Среди молодежи, отдавшейся науке, аспирантов на кафедры, особенно много христиан. Но не требуется большого научного аппарата, чтобы разобраться в безграмотном хламе антирелигиозной литературы. Новое поколение мало интеллектуально. Оно решает вопросы веры нравственной интуицией. Борьба идет не между верой и разумом, но между двумя верами. И здесь обаяние мученической Церкви вырывает чистые сердца и воли из власти лживой, духовно разжиревшей коммунистической секты.

За молодежью – рабочие. Среди рабочих петроградских окраин и в годы революционного угара митрополит Вениамин[3] пользовался большой популярностью, – как в Москве патриарх Тихон. Это было, конечно, меньшинство – люди семейного, традиционного уклада, особенно связанные с деревенской родиной. Но за последние годы церковные настроения среди рабочих растут. Они уже кое-где на скудные гроши строят храмы, преодолевая страшное сопротивление храморазрушителей. Возвращаясь в Церковь, рабочий опережает крестьянина. Он несчастнее других. У него нет уже никаких политических или социальных надежд. С другой стороны, его нервная, беспокойная душевная организация более способна к идеалистическому подъему. Без идеалов он не может жить, и падает на дно, не поддерживаемый бытовым и хозяйственным укладом жизни. Отсюда это соединение разгула и жертвенности, разврата и религиозности в одной и той же среде, характеризующее современное состояние рабочего класса в России.

И, наконец, в самое последнее время, поскольку можно судить отсюда, религиозное возрождение захватывает и деревню. В народных низах, в деревне, как и в городе, у Церкви есть соперник, в лице баптизма и вообще рационалистического сектантства, сильно выросшего в России. Сектанты имели перед православным духовенством преимущество старых гонений и, следовательно, морального авторитета. Они умели соединять свой пламенный евангелизм с социальным радикализмом, искренним в их среде, в отличие от скомпрометированных морально обновленцев. Они опередили Церковь в христианизации народных масс. Но, постепенно, и Церковь выходит на народную ниву.

Это медленный процесс, и мы присутствуем при самом его начале. Два течения: рационализация народного сознания и его христианизация – протекают одновременно и параллельно. Это значит, в глубинах происходит жестокая борьба миросозерцаний – самое важное из того, что совершается в России.

Борьбу эту нельзя рассматривать, как продолжение борьбы старого с новым. Христианство – не старое, но вечное, а «новое», против чего оно ведет борьбу – уже слишком старо и обветшало. Нельзя думать, что успехи Церкви в России равнозначны с победами старой культуры. У Церкви нет оснований

отрицать техническую или физическую направленность новой культуры. Молодежь, становясь религиозной, не перестает интересоваться спортом и машиной. Даже церковные организации молодежи, о которых доходят глухие слухи, должны считаться с этими настроениями умов. Церковь, порвавшая мучительно с кровной для нее традицией православного царства, не станет защищать интеллектуальных или эстетических идеалов XIX века — ей чуждых. Пока еще рано говорить о творчестве церковной культуры в России. Для этой работы у Церкви нет ни внешних, ни внутренних возможностей. Она живет первичным религиозным актом, по ту сторону всякой культуры. Но этот акт заключает в себе огромную динамическую энергию, источник всякого творчества. Из этого резервуара духовных сил будут питаться все живые направления русской культуры. Именно все — а не одно из них. Победа Церкви не обеспечивает торжества консервативных или прогрессивных начал в культуре. Она обеспечивает жизнь, т. е. творческую глубину самой культуры. К этому можно прибавить лишь одно. Церковь не знает прерывов в своем росте, и каждый прошлый день сохраняется ею для вечности. Поэтому она воссоздает непрерывно единство прошлого и настоящего, и в этом смысле является в России единственной носительницей духовного преемства, — тем ковчегом, на котором спасается все живое (но только живое) в потопе революции.

P. S. Сегодняшний день

Предыдущие очерки писались в то время (1928–1929 гг.), когда Россия, только что оставившая за собой передышку НЭПа, готовилась ввергнуться в новую катастрофу. Автор должен признаться, что его, как и многих других, эта катастрофа застала врасплох. Он недооценил всех революционных возможностей большевизма. «Загнивание» партии в эпоху НЭПа казалось окончательным. Вопрос шел лишь о формах перерождения мнимо-социалистической России в Россию крестьянско-буржуазную. Отсюда известный оптимизм в оценке революционных разрушений и свежих побегов «Новой России». Многое из того, что расцветало тогда, обещая мощную, здоровую жизнь, безжалостно растоптано, вырвано с корнем. Россия опять односто-

ронним актом власти превращена в лагерь гражданской войны. Все бедствия военного коммунизма налицо: голод в городах, свирепый террор, истребление интеллигенции. Не видно лишь одного: врага, против которого вздыблена коммунистическая Россия.

То, что происходит в России, едва поддается разумному объяснению. Но лишний раз, влекомые роком, мы убеждаемся, как узок светлый круг исторического сознания. Бессознательное, бредовое окружает его со всех сторон, и революция – один из люков, откуда темные воды Ахеронта затопляют солнечные нивы земли.

По-видимому, Сталин и Троцкий оказались единственными из стаи Ленина, которые не пожелали гнить. Их не прельщало превращение в демократических министров или в национальных героев революционной России. Они одни предпочли бы смерть бесславию термидора[1]. Троцкий, актер революции, воспитанный на подмостках 1793 года, живет ради своего монумента в социалистической Европе. Он хочет войти в историю, как вождь второй погибшей коммуны. Сталин слишком ограничен, чтобы видеть неизбежность гибели. Секрет, разоблаченный Беседовским[2], объясняет все: Сталин единственный человек, который верит в мировую революцию. Мистика большевистской партии, традиции ленинского централизма, страх открыть кремлевским переворотом шлюзы народной стихии – заставляют разумных и сильных людей из «старой гвардии» беспрекословно идти за маньяком, самым крепким из всех. Политическая структура революции в этом отношении сходна со структурой самодержавия: они обе допускают возможность безумия власти и возлагают на народ ответственность за ее безумие.

Самое поразительное – то, что новое разрушение проходит под лозунгом индустриальной реконструкции России. Имя новой гражданской войны – «пятилетка». Почему же для постройки заводов понадобились гекатомбы человеческих жизней?

Отчасти ключ к этому парадоксальному явлению лежит в самой психологии большевизма. Рожденная войной и революцией, эта формация не пригодна к деловой работе. Чтобы вдохновить ее, каждое дело должно предстать в виде разрушительной задачи: истребления классового врага. Каждая отрасль

государственной работы становится для нее осмысленной, как новый фронт. Но и по существу, задача индустриализации России для Сталина не имеет самостоятельного (экономического) значения: это лишь псевдоним ее пролетаризации. Индустриализировать Россию всего быстрее можно было бы в союзе с нэпманской буржуазией и технической интеллигенцией. Но как раз истребление этих классов является реальной целью пятилетки. Отсюда парадокс ее: техническая стройка сопровождается расстрелами инженеров, заведомо невинных и лояльных. Сталин хочет снова переплавить социальную форму России, уже охваченной буржуазным перерождением. Пролетарский по имени СССР должен действительно стать страной пролетариата. Отсюда государственная промышленность приобретает самодовлеющую ценность. Из средства удовлетворения народных нужд она становится паразитом, питающимся на счет народных, т. е. крестьянских сил. Большевики, конечно, стремятся к снижению себестоимости. Но самая высокая себестоимость не лишает в их глазах смысла производства: ибо смысл этот не экономический, а социальный — в последнем счете военно-идеологический. Каждый завод в СССР является чем-то вроде военного поселения, нового источника военно-революционных сил. Считаясь с мистикой революции, можно было бы сравнить новые «гиганты» индустрии, воздвигаемые в России, с монастырями. Это одновременно и храмы новой религии и колонии аскетов, новой, совершенной породы людей. Какой смысл говорить о доходности монастырей? Как в древней Руси, к ним приписаны «села». Безбожная молитва пролетариата оплачивается потом вновь закрепощенной деревни. Против деревни оказалось направленным, вопреки схемам технических авторов пятилетки, ее главное жало.

Сейчас в России происходит не завершение октябрьской революции, а новая революция, которая хочет ликвидировать для деревни последствия Октября. 1929–1930 год — попытка восстания против крестьянства, освобожденного в 1917 году. Сталин понял (в этом и только в этом — логика с ним), что крестьянство медленно разлагает, рассасывает, обессиливает партию; что это единственная сила национальной России, перед которой остановился коммунизм. Не важно, какими путями он пришел к этой бесспорной истине. Завещанная ему про-

грамма троцкистов, растущие трудности выкачивания хлеба у крестьян в связи с бездонными прорехами индустриальной пятилетки – шаг за шагом привели его к новой, грандиозной задаче. Задача эта совсем просто формулируется так: уничтожить около 100 миллионов русского крестьянства, истребив физически миллионы «кулаков» и заменив свободный труд в деревне земельным пролетариатом государственных «хлебных фабрик». Никогда еще столь дерзкая мысль не воплощалась в волю государственного деятеля. Hic incipit dementia[3]. Но, может быть, никогда еще ни один правитель не наследовал такой сверхчеловеческой власти.

Как вождь революции, Сталин возглавляет дьявольскую энергию фантастического и фанатического меньшинства, овладевшего силами великого народа. Как правитель России, Сталин является преемником царей московских и императоров всероссийских, с их капиталом восточной покорности 150 миллионов подданных, не раз испытанным в былых революциях с высоты престола. Новая революция Сталина есть классическая форма русской революции сверху, имеющая формальную аналогию с революцией Петра и материальную – с революцией Грозного. В отличие от первого Октября, не массовые волнения выносят наверх безумный порыв диктатора. Революция против народа совершается силою новой опричнины: нагнанных из города чиновников, красных преторианцев ГПУ, да кое-каких подонков деревенской голытьбы. Впрочем, нельзя отрицать и участия «советской общественности». Рабочие «бригадиры», как в 1918–1919 гг. помогают экспроприации деревни, раздувая классовую ненависть между трудовым народом города и деревни. На фабрике роль погонщиков и жандармов играет комсомол, которому приходится затыкать дыры и колхозного строительства. Дети еще геройствуют в СССР. Пятилетка проводится в атмосфере шовинистического угара. Задача «догнать и перегнать Америку» сопровождается общей милитаризацией промышленности и населения. Провокационные слухи о войне и разжигаемая ненависть к Европе растрачивают для коммунистического строительства накопленный капитал революционного патриотизма. Но характерно, сравнительно с героической эпохой 1918–1920 гг., возросшее влияние комсомола. Не партия, не пролетариат, а новая «смена», выгнанная в фанатическом

парнике советской школы, выносит пятилетку на своих плечах, – вернее, нервах. Дети замерзали в Царицыне (Сталинграде), остекляннивая в зимнюю стужу не поспевший к сроку завод. Это сообщает пятилетке характер крестового похода детей. Во времена Иннокентия III[4] детские походы крестоносцев свидетельствовали о том, что крестоносная идея еще не умерла, но что она уже умирает.

Пятилетка есть азартная ставка на нервы. Ни ограбление деревни, ни немецкие займы сами по себе не могут обеспечить ее успех. Молох индустрии требует человеческих и притом вольных жертв. Но техническая удача пятилетки лишь ставит вопрос о новом костре для поддержания непрерывного горения революционных сил: будь ли то вторая промышленная пятилетка или война. Остановка означает выдыхание, буржуазное перерождение, новый НЭП. Коммунизм может жить лишь в постоянной войне, как саламандра в огне. Истощение горючего, т.е. революционного энтузиазма в последних (т. е. самых юных) слоях будет означать перерождение революционного деспотизма в деспотизм полицейский. Тогда духовные факторы все будут работать против коммунизма.

Пока коммунизму удалось одержать еще ряд побед — над Россией. Самая страшная — закрепощение крестьянства, с переходом половины его в класс государственных, колхозных батраков. Сколько бы ни было преувеличений в показном колхозном строительстве, ясно, что государство сломило хозяйственную волю крестьянства. Крестьянин истребляет свой скот и бросает личное хозяйство, чтобы спасти свою жизнь от фискальной опричнины. Этот акт отчаяния деклассирует его, вырывает из тысячелетней социальной почвы и делает его, в социальном смысле, совершенно бездомным. Сегодня батрак — завтра бандит. Глубоко подкопан и минирован весь гранитный фундамент, на котором стояла Россия — и большевистская также. Сейчас мы не можем и предвидеть, что сулит это в будущем.

Вторая окончательная победа большевиков — над совестью старой интеллигенции. Ряд показательных процессов инженеров, экономистов, меньшевиков показали, что террор сломил всякую волю к защите чести и достоинства, не говоря уже о политическом сопротивлении. С этой стороны тирании не угрожает никакой опасности.

Такую же победу над совестью власть одержала и в той среде, где ей до сего дня оказывалось самое стойкое сопротивление: в лице официального представителя патриаршей церкви. Голос митр. Сергия[5] присоединился к хору академиков, инженеров и меньшевиков, готовых подписывать все, что угодно власти. Однако, победа над верхами иерархии еще не означает победы над церковью. Расколы в патриаршей церкви и широкое недовольство митр. Сергием среди его собственной паствы показывают, что моральное сознание церковных кругов не сломлено. В подполье и ссылке, и в недолгом страстном служении священники и епископы всегда гонимой Церкви хранят твердость исповедания истины, возвышенной над всеми политическими злобами дня.

Однако, едва ли победитель удовлетворится надолго своими достижениями. Начало пятилетки совпало, не случайно, с массовым закрытием церквей. Впервые отчетливо вырисовалась в России опасность полного прекращения культа. «Безбожники» формулировали эту программу, как требование своей пятилетки. Темп ее осуществления заметно снизился за последний год, но угроза висит над Россией.

И становится страшно: удастся ли? То есть не «построить социализм», а разрушить все живые силы народа, обратить его в рабство, без хозяйственной воли, без быта, без Церкви, без России. Сейчас решается судьба России — быть может, на столетия. Что сильнее в душе народной: вековая инерция покорности, обездушенная с утратой вековой веры, или новое, свободное самосознание, выкованное революцией и ныне во имя революции разрушаемое?

Будем верить в Россию. Иначе стоит ли жить?

Проблемы будущей России

1. Предпосылки

Какой смысл имеет ставить проблемы завтрашнего дня, когда основная проблема сегодняшнего дня не решена? Но в том-то и дело, что сегодняшний день требует решения, превышающего средние человеческие силы. Мы в эмиграции не имеем и данных для этого решения. К сожалению, наша позиция по отношению к центральной проблеме — борьбы с большевизмом — остается, в существенном, выжидательной. Лишь в очень слабой мере мы можем пока помочь русскому народу в его горячечных судорогах. Сегодня — царство непредвиденного, стихийного, иррационального. Не нам отсюда организовать хаос.

Но завтрашний день поставит перед Россией ясные и четкие задачи, уже сейчас воочию зримые, для решения которых потребуются организованные усилия целой нации. Не нужно быть гением, чтобы работать по строительству новой России. Уже сейчас мы можем, мы должны воспитывать себя и молодое поколение для этого национального дела.

И еще одно: экскурсы в будущее, быть может, не бесполезны и для борьбы сегодняшнего дня. Живучесть большевиков, конечно, зависит от того, что Россия не видит людей, которые могут сменить их. Но еще и от того, что Россия не видит той ясной программы, во имя которой надо свергать большевиков. Туманность после-большевистского «завтра» парализует энергию «сегодня». И если нам не дано знать, кто придет после большевиков, то мы можем гадать о том, что придет. Здесь гадать — значит хотеть, хотеть — значит строить, и это отнимает у гадания элемент производительности и безответ-

ственности. Четко формулировать программу национального дела, объединить на ней мыслящих патриотов — это значит нанести фантастической твердыне III Интернационала очень серьезный удар.

Разумеется, элемент гипотетичности остается в этих построениях. Он вносится, прежде всего, основной неясностью — в организации власти. Чисто политические элементы программы будут подвержены наибольшим колебаниям. Русская национальная программа допускает несколько политических вариантов. При всем желании дать большее, мы можем здесь предложить лишь один из этих мыслимых вариантов. И мне хотелось бы с самого начала предотвратить естественные недоразумения, которые могут возникнуть по поводу предлагаемых здесь схем будущего. Что это — прогнозы или программы? Желаемая мной или только угадываемая Россия будущего?

На это следует ответить: ни то, ни другое. Можно было бы легко построить более говорящий сердцу, пленительный образ России, поднять его, как хоругвь, чтобы умирать за него, — зная, что прекрасное никогда не осуществится до конца в этом мире. Но я зову не умирать, а строить, для строителей нужен план, а не видение. Другими словами, я стараюсь делать поправку на материал, на средства, на силы каменщиков. И сама идея здания дана мне не в вечности, а в сегодняшнем дне истории. Это один из меняющихся в истории ликов России, который может быть осуществлен завтра. Он минимален, меряя его сверхвременным мерилом призвания России. И все же он максимален, как maximum, могущий воплотиться в наш исторический день. Вот почему это не прогноз, ибо в прогнозе неизбежно считаться с неудачами, с блужданиями. Мы достаточно искушены опытом, чтобы не поддаваться оптимизму. Русская история — трагическая вещь. Не было времени, когда бы она катилась по гладким дорогам, не сворачивая в ухабы и трясины. Будет ли иначе с завтрашнего дня? Основная, недоказуемая предпосылка этих построений — разумная и честная власть. Можем ли мы, пережившие стольких безумных или слепых правителей, рассчитывать непременно на удачу? Нельзя быть уверенным, но позволительно надеяться. Безумные или корыстные вожди могут сильно осложнить работу, заставить нас колесить, возвращаться назад, переделывать по несколько раз исторические

задания России, но им не изменить ее магистрали. Правда, они могут калечить, мучить, губить Россию, каждый по-своему, но спасти ее из катастрофы большевизма дано для всех одинаково. Царь из дома Романовых, диктатор из отрезвевших большевиков или демократический вождь — должны будут вести страну по одному пути, если хотят слушать голос истории. Сбиться с него, колесить по оврагам, увязнуть в болоте — тысяча возможностей, огромный выбор для фантастов и доктринеров. Но национальная дорога одна.

Чтобы найти ее, нет надобности читать «по звездам», по которым ориентировались в сумерках самодержавия звездочеты русской интеллигенции. Ныне земля залита ярким солнцем, беспощадным солнцем правды, обнажающим все морщины и извилины почвы. Вернемся на землю, с сыновней любовью приникнем к ней, будем слушать голоса земли. Слушать землю и видеть землю, изучать ее. Почвоведение — самая современная наука в России.

Отныне русская идея — лишь перевод на ясный язык смертных невнятных шепотов Геи, подымающихся из недр земли. Конец гигантомахии! Развенчивается легкодумная Афина, рожденная из головы Зевса. Мы возвращаемся к святилищу Деметры, милостивой, хлебообильной Элевсинской царицы.

В переводе на язык прозы, это значит: мы объявляем беспощадную борьбу доктринерам и максималистам, чьим бы именем они ни прикрывались. Всякий максималист есть убийца. Мы смотрим не на восторженные глаза, а на руки, залитые кровью. Сейчас развелось немало людей, соблазненных легким успехом большевизма, которые не прочь сменить в седле Сталина и хлестать измученную лошадь по глазам и шпорить до кишок окровавленные бока, пока она не издохнет. Эти люди преступники или сумасшедшие. Пора перестать сумасшедшим (распутинцам, ленинцам) управлять Россией. Это первая предпосылка, на которой должны объединиться все.

Наше забвение прошлого, утрата русской традиции так велики, что найдется немало людей, которые именно безумие считают национальной традицией России, предоставляя презрительно разум в удел мещанскому Западу. Историческая память этих людей не восходит далее ста лет назад. Революция отбрасывала в прошлое свою тень вплоть до 30-х годов, и ее призрачными

зарницами освещался сумрак столетия. Нам не нужно ни звезд, ни зарниц, ни даже зорь. Уже взошло солнце.

Русский народ всегда был трезвым, мудрым народом, в спокойном мужестве своем возлюбившим выше всего простоту. Но это значит, что он призван к классическому творчеству. Недаром он создал Пушкина. Классический век России только начинается.

Откуда придут рабочие завтрашнего дня, не важно. В национальной России найдется место для вчерашних монархистов, демократов, социалистов, но каждому придется принести покаяние. Внутреннее покаяние, беспощадный суд над собой, рассекающий надвое кровоточащую ткань миросозерцания. Не измена требуется, не смена вех, одних на другие. Мы видим сейчас немало таких обращенных или оборотней, о которых нельзя не сказать: «И было последнее зло горше первого». Перед судом земли, перед голосом истории мы должны проверить весь наличный состав наших идей, наших идеалов, судом русской революции судить их. Важнее перемены идей перерождение духа, при котором идеи теряют не принадлежащее им царственное значение. В своих правах восстанавливаются опыт, совесть, разум и историческая интуиция.

Не много тех, которые достойны войти в Землю Обетованную – в поколении, вышедшем из Египта. Скольким из нас придется быть ворчливым зрителем при стройке новой России, путаться под ногами рабочих, больно ушибаться – и, может быть, оставить обретенную родину для нового, уже вольного изгнания. Но годы изгнания, невыносимо долгие, даны нам для того, чтобы изгладить память о Египте, чтобы забыть – кому о чесноке, кому о котлах с мясом, чтобы стать новыми людьми, Израилем.

Наши надежды и расчеты – на тех, кто остались, на то, что осталось в России, и на тех и на то, что родилось по великом исходе, созрело и окрепло в огне революции, в неслыханных страданиях утвердило свою правду. Какими же силами, социальными и духовными, располагает будущий архитектор?

Социальные силы – материал стройки:

1. Прежде всего, разумеется, крестьянство, вековечный работник, державший Московское царство и Петербургскую империю, ныне – главный враг коммунизма, о который должен разбиться его девятый вал.

2. Над ним, на его упорном, но пассивном хребте — новая демократия, созданная революцией, предприимчивая, властная, завоевавшая себе «командные высоты» в армии, в управлении, в школе.

3. Наконец, питающаяся из этих двух источников, пока еще слабая, без конца истребляемая, но воскресающая и в будущем все растущая, все более определяющая собой народную жизнь «буржуазия», торгово-промышленный класс.

Духовные силы — капитал строителя.

1. Мощное национальное чувство, которым сейчас живет вся Россия минус партия — даже не партия, а головка подпольщиков.

2. Хозяйственный голод, голод к разумному, расчетливому, т. е. экономическому труду, разбуженный в деревне и широких слоях города, — отрицательно обостряемый всяким нажимом государственного социализма.

3. Капитал знаний и технических навыков, все еще значительный, которым располагают недорезанные кадры старой интеллигенции.

4. Голод к знанию, охвативший массы, особенно юные поколения.

5. Возрождение религиозного чувства в духовной элите, принадлежавшей ко всем классам общества.

Капитал не малый, с которым можно отважиться на грандиозное предприятие с верой в успех, с надеждой преодолеть препятствия.

Препятствий тоже не мало. Их можно усматривать, как в целых общественных группах, так и в духовных болезнях революционной России.

1. Национальное возрождение России найдет своих врагов прежде всего в идейных элементах коммунистической партии и комсомола, которые не могут быть истреблены и не все согласятся продать свою шпагу.

2. В некоторых слоях пролетариата, который будет жалеть не о материальных (не существующих), но о моральных завоеваниях революции: о привилегиях красного дворянства.

3. В бандитизме, который будет рекрутироваться из голодных, из беспризорных, из партизан гражданской войны: белых крестьянских банд настоящего времени и красных банд эпохи контрреволюции.

4. В тех народах России, которые ставят или поставят своей целью отделение от нее.

Духовные сопротивления, быть может, еще более значительны:

1. Иммморализм, воспитанный гражданской войной, рабством диктатуры и евангелием коммунизма. Иммморализм гражданский и политический – малодушие, забитость и предательство в остатках старой России, хищничество, жестокость, разгул в новой демократии, расшатанность семьи и оголенность пола, особенно в среде молодежи, алкоголизм рабочих и т. д.

2. Безграничное невежество новых хозяев жизни.

3. Отравленность ядами атеистической и марксистской «культуры» всех новых слоев и поколений, прикасающихся к культуре вообще.

Препятствия велики, но не непреодолимы. Опираясь на творческие силы новой России, с помощью Божией, можно приниматься за работу.

2. Хозяйство

Не политические проблемы будут волновать освобожденную Россию. Политическая горячка революции и новое рабство, вышедшее из ее недр, надолго убили и в массах, и в интеллигенции вкус к чистой политике. Россия примет всякую власть, которая придет на смену большевиков, не справляясь о ее правовых титулах. Единственное, чего она ждет от правителей, – это выполнение очередного национального дела. Теперь более, чем когда-либо, содержание властвования доминирует над формой власти.

Перед всякой русской властью во всей остроте встанут две проблемы: хозяйственная и национальная. Под знаком их Россия будет жить десятилетия. И если вторая, несомненно, сразу же приобретает грозный характер, логически первая ей предшествует. Большевистская диктатура – прежде всего диктатура социальная, т. е. экономическая. Вся невыносимая тяжесть русской жизни упирается в экономику ленинизма. Первое – может быть, единственное, – о чем томится вся Россия, это экономическое освобождение.

Как чистое отрицание, как разделка государственного социализма, как восстановление собственности, свободы труда

и капитала, экономическая задача необычайно проста. Она решается в декларативном порядке. Сама жизнь, сама хозяйственная стихия, бурно освобожденная от оков, залечивает раны коммунизма, быстро повышая уровень благосостояния. Краткий опыт с НЭПом в 1923 году блестяще показал это. Вот почему, сколько бы ошибок ни было совершено в первый период восстановления русского народного хозяйства, какие бы оргии хищений и растрат ни происходили, ничто не задержит экономического возрождения России. Однако, лучше заранее предвидеть эти ошибки и избежать их, особенно если они могут иметь опасные — национальные и социальные — последствия.

В сельском хозяйстве есть программные предпосылки, разделяемые всеми. Это невозможность реставрации помещичьей собственности и необходимость прочного закрепления земли за крестьянством. Будущая власть обсудит исключения из первого принципа. Здесь встанут вопросы об усадьбах и усадебных землях, о мелких владениях, — наконец, о совхозах, под маской которых паразитируют остатки былых экономий. Нет никаких экономических препятствий к частичному возвращению бывших владельцев в этих, строго ограниченных, случаях. Огромное и все перевешивающее препятствие — в социальном самосознании крестьянства, которое боится даже тени помещика. Ни одна разумная власть теперь не рискнула бы подорвать свою популярность этой скромной мерой социального обеспечения бывшего владельческого класса. Однако время смягчает старые раны. Новые жгут больнее. Вопрос о том, заставит ли, и через сколько времени, новое рабство колхозов забыть о старом крепостничестве.

Серьезнее затруднение, поставленное самим колхозным движением. В районах, захваченных им, — а где гарантия, что им не будет захвачена вся Россия? — сметены все межи, поставлен крест над черным переделом 1917 года. Кому возвращать десоциализированные земли колхозов? Сколько хозяев уже расстреляно, сколько семейств вымрет с голода! Предстоит новый передел — на основе наличных хозяйственных сил и потребностей. Быть может, новый передел не везде пройдет гладко. Но думается, что государству лучше в него не вмешиваться. Лучше санкционировать торопливую, не всегда справедливую

крестьянскую дележку, чем спускаться во львиный ров растревоженной, обозленной деревни. Урок 1917 года всем памятен.

Вопрос о формах крестьянского владения распадается на два вопроса: по отношению к государству и по отношению к старой общине. Реальное значение имеет последний. Об общине еще будет много споров в новой России. Но было бы опасно, если бы к решению этого старого вопроса мы подходили с нашей современной реакцией на коммунизм. И здесь лучшая политика — поменьше политики. Чем больше государство будет считаться с пестротой местных условий, с изменчивостью крестьянских настроений, тем лучше. Общинное и подворное хозяйство могут и должны сосуществовать друг с другом. Жизнь произведет свой отбор. Вероятно, опыт насильственного коммунизма необычайно поднимет идеал личного, собственнического хозяйства. Но было бы опасно — хотя бы в формах П. А. Столыпина — форсировать этот процесс. Столь же, разумеется, опасно, ради химеры уравнительного обеспечения, искусственно покровительствовать деревенскому коллективизму.

Вопрос о национализации земли есть, в сущности, вопрос о правовом титуле государственного вмешательства. Если не на другой день после революции, то в будущем государственное вмешательство в земельные отношения сделается неизбежным. Быть может, придется ограничивать maximum землевладения, во всяком случае — организовывать внутреннюю колонизацию, переселения. Во всех этих мероприятиях принцип верховной собственности государства, в правовой психологии народа, облегчает регулирование земельных отношений. Но, конечно, современное мощное государство не нуждается в титуле собственности, чтобы обеспечить себе свободу аграрного законодательства. В конечном счете, вопрос о сохранении национализации земли решится в зависимости от силы психологической, собственнической реакции на коммунизм. Свобода мобилизации земли должна быть обеспечена во всяком случае, в любых юридических формах.

Все прошлое столетие русская интеллигенция, как и крестьянство, были заняты проблемой распределения. Отныне на первый план выдвигается производство. Призрак помещичьего земельного фонда перестает отвлекать хозяйственное воображение от реальных источников народного богатства. Русская

аграрная проблема становится проблемой агрономической. Большевики своими судорожными, часто карикатурными жестами намечают будущее русского хозяйства. Интенсификация земледелия, с одной стороны, с другой – на широких просторах степной полосы – продвижение машин, грандиозные оросительные предприятия, государственная селекция, опыты новых культур – словом, полная рационализация сельского хозяйства. Приходится смиренно сознаться, что Микула Селянинович никогда не умел хозяйничать, и русское земледелие было непроизводительной растратой человеческой рабочей силы. Революция уничтожила психологические препятствия к рациональному хозяйству (традиционализм быта, этика равенства, социальная зависть) и освободила скованные хозяйственные силы народа.

Технический переворот в земледелии, вероятно, «освободит» также большое число занятых на земле рук. Аграрное перенаселение и сейчас становится весьма грозной проблемой России. Ее решение дается лишь в общей системе народного хозяйства, т. е. в развитии его индустриального сектора.

Вопросы, связанные с индустрией, являются гораздо более сложными, сравнительно с аграрными. Национализация фабрик означает совсем не то, что национализация земли. Это действительное государственное хозяйство, не имеющее в себе ничего утопического и связанное с весьма старыми традициями русского меркантилизма. Беда лишь в том, что главная масса этой государственной продукции бездоходна и питается паразитически за счет крестьянского и частного труда. Необходимость ее денационализации принадлежит к общепризнанным положениям, даже в социалистическом лагере. Но, во-первых, нельзя утверждать, чтобы решительно все государственное хозяйство было бездоходно, или чтобы бездоходное ныне, под надзором ВСНХ[1], оно не могло давать дохода при иной, более хозяйственной системе. Это голословное утверждение опровергается всем нашим прошлым. Если дорожить экономической мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную жизнь страны, то нельзя, увлекаясь духом антикоммунистической реакции, разделывать все сделанное, разбазарить, раздарить или продать с торгов все государственное достояние России. Здесь национальный интерес ограничивает чисто экономическую логику. Тщательное изучение работы каждого

предприятия, каждой отрасли должно определить их судьбу. Как общий принцип, государство отдает лишь то, с чем оно само не в силах справиться. Конечно, это будет львиная доля захваченного, но отсюда далеко еще до принципа общей денационализации. Именно как принцип, ее не допустит русское народное сознание. Широкие массы в России, несомненно, рассматривают национализацию промышленности, как положительное завоевание революции. Баланс государственного хозяйства им неизвестен, но государство понятнее, дороже капитала или частного предпринимательства.

Во-вторых, денационализация предприятий ни в коем случае не означает их реституции[2], как акта восстановления справедливости. Не может быть и речи о возвращении «украденного». Государство не ворует, и конфискации революционного правительства в такой же мере легальны, как, скажем, захват удельных и боярских вотчин московским великим князем. Реституция одной категории собственности (промышленной), при невозможности реституции собственности земельной, денежной или движимой, ощущалась бы, как новая несправедливость. Вся Россия потеряла так много, ее жертвы — прежде всего кровью — так несоизмеримы с материальными убытками, что предъявление счетов нации было бы актом национально позорным.

Начавшееся в эпоху пятилетки судорожное индустриальное строительство создает много технических ценностей, по отношению к которым не может быть и поставлен вопрос о реституции.

Но, конечно, денационализация не может вылиться в продажу с публичного торга. Промышленное или торговое предприятие есть личное, творческое дело. Сплошь и рядом оно не способно пережить своего творца. Во всяком случае, оно требует глубокого знания, личной связи, иногда жертвенной, организатора с созданным им делом. Столько путей сбыта, столько кредитных возможностей держится исключительно на личном влиянии. Россия помнит и гордится родами многих талантливейших организаторов, без которых едва ли удастся восстановить разрушенное.

Беда лишь в том, что, в большинстве случаев, их представители лишены капиталов и своими силами не смогут поднять

бездоходного дела. Прилив капиталов возможен лишь из-за границы. Государству предстоит найти сложные пути, чтобы осуществить сотрудничество русской инициативы и организации с международным капиталом. Вне охранительной национальной политики, русская промышленность и торговля будут захвачены иностранцами. России грозит участь колониальной страны. Многие считают это неизбежным. Мы этого не думаем. Нерастраченная государственная мощь огромной страны может лечь внушительно на чашку весов, перевесив и бедность и техническую отсталость. Тяга иностранного капитала в Россию велика; даже большевикам удается эксплуатировать неосторожных концессионеров. Национальная Россия может обеспечить западным капиталистам солидную прибыль, и в то же время сохранить за собой руководство народным хозяйством. В формах ли смешанных русско-иностранных обществ под государственным контролем, или иначе – это дело специалистов. Была бы лишь воля отстоять национальное достояние. Не с чисто хозяйственной, но с национальной точки зрения, либеральная экономическая политика была бы в России опасна. Даже переход от государственной монополии внешней торговли требует постепенности. Государство должно сохранить в своих руках значительные возможности хозяйственного регулирования. Это «завоевание революции» переживет большевиков – отнюдь не по доктринерски-социалистическим мотивам. Оно обусловливается современной слабостью, чтобы не сказать больше, русского промышленного класса. Его малосилие в прошлом объясняет протекционистскую политику империи. Его разгром в революции делает разумный протекционизм неизбежным.

Есть и другая сфера индустриальных отношений, в которой государственное вмешательство необходимо. Это область отношений между трудом и капиталом, весьма острых и чувствительных в послереволюционную эпоху. Несомненно, со стороны освобожденного капитала, как и крестьянства и всего общества в целом, будет оказываться огромное давление на рабочий класс: слишком естественно желание раздавить, унизить вчерашнего «диктатора». С другой стороны, диктатор этот не скоро позабудет хмель своего призрачного царствования. Не в материальных утратах дело; самая грубая капиталистическая эксплуатация, конечно, обеспечит рабочему высший уровень

жизни, нежели коммунистическая. Особенно при благоприятной индустриальной конъюнктуре, которая открывается в эпоху хозяйственного восстановления. Но обостренное, избалованное классовое самосознание будет чрезвычайно чутко ко всякому моральному и политическому унижению. Вероятно, рабочий встретит без особого энтузиазма падение коммунистической власти. Как ни тяжела сейчас его жизнь, он опасается худшего от контрреволюции. Вот почему государство должно облегчить ему трудность переходного времени. Отменив пролетарское дворянство, государство не должно допускать нового крепостничества на фабрике. Хорошо, если бы оказалось возможным сохранить большевистский Кодекс законов о труде. Освобожденная Россия должна показать своему мятежному сыну, что для нее нет пасынков. Как многое для русского будущего зависит от этих первых лет! Удастся ли направить рабочее движение, законную профессиональную и политическую акцию рабочего класса по национальному руслу, – или русский рабочий через одно поколение снова вернется в лоно III (или IV) Интернационала? Английский или французский путь откроется для него, зависит в значительной мере от нашего поколения. Сейчас есть шанс, и шанс не малый: свежая память коммунистического рая. Современное поколение рабочих вряд ли пожелает вернуться в него. Ну, а следующее? Историческая память так коротка. Скоро революция окрасится в легендарные, героические цвета великих воспоминаний. Тяжесть жизни, невыносимая атмосфера злобы, тоски и предательства уйдет в безвозвратное. Останется яркий лозунг, красный флаг, серп и молот. Палачам 1793 года Франция через столетие воздвигает памятники. Она начала героизировать их уже через 40 лет.

Нельзя забывать, что изолированное существование нации уже невозможно. Сейчас красная Москва оказывает огромное воздействие на сознание европейского пролетариата. В будущем это соотношение изменится в обратную сторону. Несомненно, что послевоенная Европа все более зависит в своей политической жизни от рабочих партий и их вождей. Социальный вопрос не то что поставлен, а уже практически решается. Быть может, будущий историк назовет наше время эпохой социализации. У России свои пути, но два столетия теснейшей общей жизни с Западом не могут окончиться полным духовным разрывом.

Будем ковать железо, пока горячо. Роль государства в воспитании рабочего класса весьма ограничена. Главное выпадает на долю интеллигенции. Это мы должны приобщить красных варваров к русской национальной культуре, показать им, что они не безродные, что они вступают в наследство великих отцов. Что Россия – им, и они – России. Но, разумеется, эта проповедь будет действенна лишь в том случае, если одновременно удастся удовлетворить материальные потребности, обеспечить необходимый досуг для духовной работы. Если рабочий не будет чувствовать себя парием в новой России.

Как ни важен в России рабочий вопрос, нужно помнить, что есть вопрос еще более важный – не о рабочем, а о предпринимателе: о воссоздании и развитии класса предпринимателей, без которых немыслимо экономическое – думаю и культурное – возрождение России. И здесь, как в сельском хозяйстве, проблема производства доминирует над распределением. Россия поставлена историей перед необходимостью предельного напряжения своих производительных сил. Наше время подобно петровскому. Большевизм бесконечно углубил экономический ров между Россией и Западом, образовавшийся в XIX веке. Засыпать эту пропасть необходимо во что бы то ни стало. Иначе Россия должна отказаться от великодержавства – уйти в Азию, примириться с положением колониальной страны.

Чуткость большевиков (впрочем, связанная с их доктриной) сказалась в обостренном внимании к проблемам техники и индустрии. Разрушители русской промышленности, они мечтают продолжать дело Витте, окарикатурив его до сталинской пятилетки. Возвращаясь к реальной политике, будем говорить лучше о «пятидесятилетке». В таких границах времени индустриализация России перестает быть химерой. Разумеется, мы не помышляем о превращении русского мужика в фабричного рабочего, России – в Англию. Естественные условия и богатство страны, все наше прошлое – предопределяют аграрный тип России. Но Россия может и должна перерабатывать свое сырье. Россия может добиться экономической независимости от Запада. Россия должна обеспечить снабжение своей армии на случай войны. По природе, по географическому размаху России, она призвана стать независимым хозяйственным миром. Экономическая автаркия[3], которая является вредной утопией

для мелких государств, для России вполне достижима. Америка – хозяйственный организм, наиболее близкий России, несмотря на полярную разницу хозяйственной психологии.

Но хозяйственная психология не есть раз навсегда данная величина. В каких-то трудно определимых границах национального типа, она допускает широкую амплитуду колебаний. Германия начала XX века кажется, по сравнению в началом XIX, совершенно иной страной.

Экономическое несчастье России – в том, что она не знала развитого, организованного городского ремесла, сколько-нибудь влиятельного в народной жизни. Национальное русское ремесло – кустарное, подсобное при крестьянском хозяйстве. В новом русском городе XVIII–XIX века, как в Польше, немец и еврей – наиболее заметные представители ремесленного труда. Вот почему молодой русский капитализм не может воспользоваться вековыми навыками технической школы, профессиональной этики, корпоративного самосознания. Эксплуататорский и спекулятивный характер – болезнь его молодости. Однако, не следует впадать в панику по этому поводу. Русский капитал имеет глубокие, если не ремесленные, то торговые корни. На торговле строилась жизнь вечевых республик, – новгородские земли половина Руси. Великорусский тип, в наибольшей чистоте сохранившийся в верхнем и среднем Поволжье (ярославец, костромич) – тип не столько пахаря, сколько бойкого промышленника и торговца. Не чуждый, а почвенный, глубоко национальный характер носит поэтому промышленный подъем Поволжья, московского района, Сибири последних десятилетий. И большевистская деревня все время выделяет из себя торговую и предпринимательскую аристократию.

Дворянское презрение к торговле, интеллигентское гнушание ею, несомненно, являлись сильным психологическим тормозом, отвлекавшим от производительного труда самых даровитых сынов крестьянства. Этот тормоз снят. Более того, марксизм в России развил особый пафос техники, свойственный крупнокапиталистическому миру. Ленинизм практически воспитывает в России работников капиталистического накопления. Огромный интерес к хозяйственным и техническим проблемам, которыми живет сейчас русская молодежь – драгоценный залог хозяйственного возрождения России. Из со-

единения технического романтизма новой интеллигенции со стихийной экономической энергией деревни рождается ток высокого напряжения, та атмосфера, в которой сложится тип нового национального предпринимателя.

Рождение нового класса, а главное, его моральное и духовное воспитание требуют определенных творческих усилий национальной мысли. Нельзя предоставить стихии выработку нового господина русской жизни, успокоившись на том, что процесс «первоначального накопления» всегда жестокое и грязное дело. Если русскому капитализму не хватало до сих пор моральной дисциплины, то одной из причин этого являлось отсутствие морального «зерцала», кодекса чести, выработанного, напр., западным средневековым купцом. Русская интеллигенция отказывалась понять разницу между торговлей и спекуляцией, между эксплуатацией и предпринимательством. Что удивительного, если сами представители торговли и промышленности легко теряли сознание этой разницы? За дворянские столетия Империи, при упадке сословного сознания купечества, и народ отвык видеть в нем передовую силу земли, какой оно выступало некогда на земских соборах. И народ приучился видеть в хозяйственном организаторе кулака, толстосума, мироеда. Отсюда популярность объявленного большевиками похода на «буржуя». Отсюда трудность усвоения буржуазной экономической азбуки даже в жестокой школе коммунизма. Народ, в общем, готов признать элементарный, мелкий капитал, еще не оторвавшийся от трудовой основы, но понимание функций крупного капитала ему еще не доступно. Здесь необходима большая работа экономического просвещения. И не только экономического. Пора, наконец, исправить историческую несправедливость и подвергнуть переоценке моральное значение хозяйства. Замечательно, что почвенная русская литература любила останавливаться на купеческом быте — именно, как быте народном: Лесков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И большая, дворянская литература, томясь по положительном герое, искала его в надуманных Штольцах и Соломиных. Литературная надуманность их ничуть не говорит против национальности этого духовного склада. Конечно, новая Россия возродит его не в патриархальном кафтане XVII века, а в костюме американского покроя. Духовный тип, сложившийся на кальвинистических дрожжах,

пересадить на православную почву – довольно сложная задача. Но она разрешима, в порядке не стилизации, а творческого усилия. Можно прибавить, что на русской почве этизация капиталистического предпринимательства естественнее и легче, чем на почве католической, романской Европы.

Возражают: «С вашей реставрацией капитализма вы опоздали. На Западе он уже духовно обескровлен. Запад живет уже под знаком социализма». Согласимся – для Запада. Но разве это не общий, печальный закон новейшей русской жизни, что ей приходится дважды проходить основные фазы европейской истории: первый раз отраженно, синхронистически, второй – внутренне и органически – столетием позже? Революция затянулась в России от Радищева до Ленина. Романтизм, едва отразившийся на Жуковском, полнее всего звучит в А. Белом и Блоке. Даже национальное возрождение, слишком слабо намеченное после 1812 года (считая и Погодина, и славянофилов), по настоящему расцветает лишь к XX веку. Если нашему поколению выпало дело Дантонов[4] и братьев Гримм[5] одновременно, то почему бы не дать и нового издания Адама Смита[6]?

Разумеется, с поправками на социализм и вековой опыт Европы. Разумеется, не в столь победном и антихристианском стиле, как в классической Англии времен Диккенса. Будем стараться найти здесь свое русское слово. Ведь и национальная идея утратила на Западе большую долю своего творческого смысла. И парламентаризм порядком поизносился. Русское творчество – в том, чтобы брать не последнее слово уже дряхлеющей идеи, а ее глубокое историческое содержание: найти для нее формы, соответствующие духу времени и духу нации.

3. Национальная проблема

Узел хозяйственных вопросов развязывается в России самою жизнью. Он будет разрешен даже при самом пассивном отношении общества и власти. Плохо разрешен, но разрешен. Ибо главное условие его решения – свобода. Не то с проблемой национальностей.

При насильственном свержении большевистской диктатуры Россию, несомненно, ждет взрыв национальных восстаний. Ряд народностей потребуют отделения от России, и свой счет ком-

мунистам превратят в счет русскому народу. Первая же русская национальная власть должна будет начать с собирания России. При медленном изживании диктатуры рост или оформление сепаратистских стремлений будет сопровождать каждый поворот развинчивающегося пресса. Слишком много накопилось под этим прессом задушенных национальных сил. Освобождение их является угрозой самому бытию России.

Русские патриоты имеют основание с тревогой смотреть на будущее. Быть может, революция еще не дала нам испить до дна чаши национального унижения. На этот раз вопрос ставится о том, будет ли существовать Россия, как империя, как государственный союз народов, или она вернется к исходному племенному единству в старомосковских границах Великороссии.

Многие не видят опасности, не верят в нее. Я могу указать симптомы. Самый тревожный — мистически значительный — забвение имени России. Все знают, что прикрывающие ее четыре буквы СССР не содержат и намека на ее имя, что эта государственная формация мыслима в любой части света: в Восточной Азии, в Южной Америке. В Зарубежье, которое призвано хранить память о России, возникают течения, группы, которые стирают ее имя: не Россия, а «Союз народов Восточной Европы»; не Россия, а «Евразия». Одни интернационалисты, которым ничего не говорят русские национальные традиции; другие вчерашние патриоты, которые отрекаются от самого существенного завета этой традиции — от противостояния Исламу, от противления Чингисхану, — чтобы создать совершенно новую, вымышленную страну своих грез. О чем говорят эти факты? О том, что Россия становится географическим и этнографическим пространством, бессодержательным, как бы пустым, которое может быть заполнено любой государственной формой. В обоих случаях Россия мыслится национальной пустыней, многообещающей областью для основания государственных утопий.

Можно отмахнуться от этих симптомов, усматривая в них лишь новые болезни интеллигентской мысли, — к тому же не проникшие в Россию. Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздирающих тело России. За четырнадцать лет революции зародились, развились, окрепли десятки национальных сознаний в ее расслабевшем теле. Иные

из них приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет слой полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Под покровом интернационального коммунизма, в рядах самой коммунистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести в куски историческое тело России. Казанским татарам, конечно, уйти некуда. Они могут лишь мечтать о Казани, как столице Евразии (хотя и здесь уже появились адепты пантуранизма[1]). Но Украина, Грузия (в лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам Ислама.

С дальнего востока наступает Япония, вскоре начнет наступать Китай. И тут мы с удивлением узнаем, что сибиряки, чистокровные великороссы-сибиряки, тоже имеют зуб против России, тоже мечтают о Сибирской Республике — легкой добыче Японии. Революция, укрепив национальное самосознание всех народов, объявила контрреволюционными лишь национальные чувства господствовавшей вчера народности. Многие с удивлением узнают сейчас, что великороссов в СССР числится всего 54%. И это слабое большинство сейчас же становится меньшинством, когда мы мысленно прилагаем к России оторвавшиеся от нее западные области. Мы как-то проморгали тот факт, что величайшая империя Европы и Азии строилась национальным меньшинством, которое свою культуру и свою государственную волю налагало на целый разноплеменный материк. Мы говорим со справедливой гордостью, что эта гегемония России почти для всех (впрочем, не западных) ее народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская. Но подрастающие дети, усыновленные нами, не хотят знать вскормившей их школы, и тянутся кто куда — к западу и к востоку, к Польше, Турции или к интернациональному геометрическому месту — т. е. к духовному небытию.

Поразительно: среди стольких шумных, крикливых голосов один великоросс не подает признаков жизни. Он жалуется на все: на голод, бесправие, тьму, только одного не ведает, к одному глух: к опасности, угрожающей его национальному бытию.

Вдумываясь в причину этого странного омертвения, мы начинаем отдавать себе отчет в том, насколько глубок корень болез-

ни. В ней одинаково повинны три главнейшие силы, составлявшие русское общество в эпоху империи: так называемый народ, так называемая интеллигенция и власть. Для интеллигенции русской, т. е. для господствовавшего западнического крыла, национальная идея была отвратительна своей исторической связью с самодержавной властью. Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциации насилия или официальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством. Но что сделали с ней наследники славянофилов? Русская национальная идея, вдохновлявшая некогда Аксаковых, Киреевских, Достоевского, в последние десятилетия необычайно огрубела. Эпигоны славянофильства совершенно забыли о положительном, творческом ее содержании. Они были загипнотизированы голой силой, за которой упустили нравственную идею. Национализм русский выражался, главным образом, в бесцельной травле малых народностей, в ущемлении их законных духовных потребностей, создавая России все новых и новых врагов. И, наконец, народ — народ, который столько веков с героическим терпением держал на своей спине тяжесть империи, вдруг отказался защищать ее. Если нужно назвать один факт, — один, но основной, из многих слагаемых русской революции, — то вот он: на третий год мировой войны, русский народ потерял силы и терпение и отказался защищать Россию. Не только потерял понимание целей войны (едва ли он понимал их и раньше), но потерял сознание нужности России. Ему уже ничего не жаль: ни Белоруссии, ни Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят, кто хочет. «Мы рязанские». Таков итог векового выветривания национального сознания. Несомненно, что в Московской Руси народ национальным сознанием обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы его исторические песни. Он ясно ощущает и тело русской земли и ее врагов. Ее исторические судьбы, слившиеся для него с религиозным призванием, были ясны и понятны. В Петровской империи народ уже не понимает ничего. Самые географические пределы ее стали недоступны его воображению. А международная политика, ее сложность, чуждость ее задач прекрасно выразились в одной солдатской песне XVIII века:

Пишет, пишет король Прусский
Государыне Французской
Мекленбургское письмо...

Крепостное рабство, воздвигшее стену между народом и государством, заменившее для народа национальный долг частным хозяйственным игом, завершило разложение политического сознания. Уже крестьянские бунты в Отечественную войну 1812 года были грозным предвестником. Религиозная идея православного царя могла подвинуть народ на величайшие жертвы, на чудеса пассивного героизма. Но государственный смысл этих жертв был ему недоступен. Падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской. Русский народ распался, распылился на зернышки деревенских мирков, из которых чужая сила, властная и жестокая, могла строить любое государство, в своем стиле и вкусе.

К этим разлагающим силам присоединилось медленное действие одного исторического явления, протекавшего помимо сознания и воли людей, и почти ускользнувшего от нашего внимания. Я имею в виду отлив сил, материальных и духовных, от великорусского центра на окраины Империи. За XIX век росли и богатели, наполнялись пришлым населением Новороссия, Кавказ, Сибирь. И вместе с тем крестьянство центральных губерний разорялось, вырождалось духовно и заставляло экономистов говорить об «оскудении центра». Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала. Самое тревожное заключалось в том, что параллельно с хозяйственным процессом шел отлив и духовных сил от старых центров русской жизни. Легче всего следить за этим явлением по литературе. Если составить литературную карту России, отмечая на ней родины писателей или места действия их произведений (романов), то мы поразимся, как слабо будет представлен на этой карте русский север, все Замосковье — тот край, что создал великорусское государство, что хранит в себе живую память «Святой Руси».

Русская классическая литература XIX века — литература черноземного края, лишь с XVI–XVII веков отвоеванного у степных кочевников. Тамбовские, Пензенские, Орловские поля для нас стали самыми русскими в России. Но как бедны

эти места историческими воспоминаниями! Это деревянная, соломенная Русь, в ней ежегодные пожары сметают скудную память о прошлом. Здесь всего скорее исчезают старые обычаи, песни, костюмы. Здесь нет этнографического сопротивления разлагающим модам городской цивилизации. С начала XX века литература русская бросает и черноземный край, оскудевший вместе с упадком дворянского землевладения. Выдвигается Новороссийская окраина, Крым, Кавказ, нижнее Поволжье. Одесса создает целую литературную школу.

До сих пор мы говорили об опасностях. Что можно противопоставить им, кроме нашей веры в Россию? Есть объективные факты, точки опоры для нашей национальной работы — правда, не более, чем точки опоры, ибо без работы, скажу больше — без подвига — России нам не спасти.

Вот эти всем известные факты. Россия не Австрия и не старая Турция, где малая численно нация командовала над чужеродным большинством. И если Россия, с культурным ростом малых народностей, не может быть национальным монолитом, подобным Франции или Германии, то у великороссов есть все же гораздо более мощный этнический базис, чем у австрийских немцев. Во-вторых, эта народность не только не уступает культурно другим, подвластным (случай Турции), но является носительницей единственной великой культуры на территории государства. Остальные культуры, переживающие сейчас эру шовинистического угара — говоря совершенно объективно — являются явлениями провинциального порядка, в большинстве случаев, и вызванными к жизни оплодотворяющим воздействием культуры русской. В-третьих, национальная политика старой России тяжкая для западных, культурных (ныне оторвавшихся) ее окраин, — для Польши, для Финляндии, — была, в общем, справедлива, благодетельна на Востоке. Восток легко примирился с властью Белого царя, который не ломал насильственно его старины, не оскорблял его веры и давал ему место в просторном русском доме. (Из оставшихся в России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших кровных братьев — малороссов или украинцев, — и это самый болезненный вопрос новой России).

В четвертых, большинство народов, населяющих Россию, как островки в русском море, не могут существовать отдельно от нее; другие, отделившись, неминуемо погибнут, поглощен-

ные соседями. Там, где, как на Кавказе, живут десятки племен, раздираемых взаимной враждой, только справедливая рука суперарбитра может предотвратить кровавый взрыв, в котором будут уничтожены все ростки новой национальной жизни. Что касается Украины, то для нее роковым является соседство Польши, с которой ее связывают вековые исторические цепи. Украине объективно придется выбрать между Польшей и Россией, и отчасти от нас зависит, чтобы выбор был сделан не против старой общей родины. И, наконец, в-пятых, за нас действуют еще старые экономические связи, создающие из бывшей Империи, из нынешней СССР, единый хозяйственный организм. Разрыв его, конечно, возможен (пример, та же Австрия), но мучителен для всех участников хозяйственного общения. Силы экономической инерции действуют в пользу России.

Сумеем ли мы воспользоваться этими благоприятными шансами, это зависит уже от нас, т. е., прежде всего от новых поколений, которые вступают в жизнь там, в Советской России и, в меньшей степени, здесь, в изгнании.

Удачное решение русской проблемы предполагает два ряда условий: политических и моральных.

Создание гибких и твердых юридических форм, которые выразили бы одновременно единство и многоплеменность России, является трудной, но вполне разрешимой задачей. Одну из объективных трудностей ее составляет чрезвычайное различие культурных уровней народов России, которое не допускает равенства их политических состояний. В этом факте должны найти свое ограничение все доктринерские попытки построения России, как законченной и симметричной федерации (конфедерации). В Державе Российской мыслимы все оттенки взаимоотношений, начиная от областного самоуправления, национальной автономии, кончая чисто федеративной связью. Не в конституциях Европы — скорее в системе Римской Империи, в эпоху ее многовекового созидания — может найти свои аналогии современная Россия. Одно несомненно. Двух или трехвековая эра бюрократического централизма миновала. Если мы хотим сохранить империю, то должны перестать смотреть на нее, как на Русь. Россия, Русь, Великороссия не совпадающие, а концентрические величины, каждая из которых должна получить свои идейные (и территориальные) границы.

Структура СССР является черновым наброском будущей карты России. Уже нельзя отказаться от ее основного принципа: национального построения России. Но за пределами этнографической карты, в самой системе большевистского децентрализма, как и большевистского централизма, все остается спорным. Эта система дразнит малые народы несбыточно-декларативной независимостью, на деле осуществляя диктатуру Москвы. Возможно ли дальнейшее функционирование этой системы при устранении нелегальной диктатуры партии, — это большой вопрос. С другой стороны, большевики, ревнивые к военным и финансовым основам своей власти, совершенно не заинтересованы в защите русской культуры. Они предают ее на каждом шагу, вознаграждая приманкой русофобства ограбленные и терроризированные окраины. Национальная Россия не может допустить подавления русской культуры в своих рубежах (государственный язык, школа), но она, может быть, сумеет шире провести пределы экономического самоуправления. В одном, но самом важном пункте система СССР не пригодна для России. В ней нет места Руси, как единству трех основных племен русского народа. Великороссия просто приравнена к Руси ценою отрыва от последней (в самостоятельные нации) Украйны и Белоруссии. И в этом заложены корни тяжких конфликтов.

Действительно, проблема Украйны является самой трудной в ряду национальных проблем будущей России. Не разрешить ее — значит погибнуть, — т. е. перестать быть Россией. Мы присутствуем при бурном и чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении нового украинского сознания, в сущности, новой нации. Она еще не родилась окончательно, и ее судьбы еще не определены. Убить ее невозможно, но можно работать над тем, чтобы ее самосознание утверждало себя, как особую форму русского самосознания. Южнорусское (малорусское) племя было первым создателем русского государства, заложило основы нашей национальной культуры и само себя всегда именовало русским (до конца XIX века). Настаивая на этом, мы, русские, правильнее выражаем историческую идею украинофильства, чем современные самостийники, предающие свой народ и его традицию его историческим врагам. Ближе мы, несомненно, и к национальному сознанию народных масс Украйны, чем по-

лонофильские или германофильские круги ее интеллигенции. И однако, мы, в качестве великороссов, грешим невежеством и невниманием к южнорусской традиции, за Москвой теряем истинное ощущение Руси, а в настоящем просто недооцениваем грозного факта украинского отталкивания от нас.

В этом мощном антимосковском историческом потоке мы обязаны различать два течения: вмещающееся и не вмещающееся в границы Руси. С последним борьба до конца. Первое подлежит национальной рецепции[2]. В державе Российской малоросс не может быть обижен или унижен в своем национальном сознании перед татарином или грузином. Напротив, его национальное самоутверждение, с его символами и с исторической памятью (Мазепа[3]!), должно быть воспринято державным сознанием той нации (русской), которой принадлежит, волею судьбы, культурная гегемония в Империи.

В отличие от грозной остроты украинского вопроса, вопрос еврейский, по нашему разумению, не имеет рокового значения для России. С отделением Польши, процент еврейского населения в России чрезвычайно понизился и не превышает национального еврейского коэффициента стран Западной Европы. Современная острота еврейского вопроса в России заключается в неестественном удушении русской буржуазии и русской интеллигенции. Поэтому еврейский вопрос (для России) разрешается в общерусском хозяйственном и культурном возрождении. Разумеется, еврейский вопрос для евреев сохраняет всю свою мучительность. Это вечный вопрос о смысле и возможности еврейского национального сознания и еврейской культуры в пределах христианского мира. Вопрос, имеющий огромную историческую и религиозную глубину, но выходящий совершенно из границ послереволюционного устройства России.

Не будем останавливаться здесь на конкретных юридических формах национального строительства России. Это тема чрезвычайно трудная и ответственная. Лишь опыт жизни, связанный с тяжкими ошибками и суровым раскаянием, может воплотить в действительность чаемое свободное единство России. Здесь я коснусь лишь духовной стороны нашей работы, — той, которая по преимуществу выпадает на долю интеллигенции. Говоря кратко: эта задача в том, чтобы будить в себе, растить и осмыслять, прояснять национальное сознание.

Наша эпоха уже не знает бессознательно-органической стихии народа. Эти источники культуры почти иссякли, эта «земля» перепахана и выпахана и русский народ вступил в полосу рационализма, верит в книжку, в печатное слово, формирует (или уродует) свой облик с детских лет в школе, в обстановке искусственной культуры. Оттого так безмерно вырастает влияние интеллигенции (даже низшей по качеству, даже журналистики); оттого-то удаются и воплощаются в историческую жизнь новые, «умышленные», созданные интеллигенцией народы. Интеллигенция творит эти народы, так сказать, «по памяти»: собирая, оживляя давно умершие исторические воспоминания, воскрешая этнографический быт. Если школа и газета, с одной стороны, оказываются проводниками нивелирующей, разлагающей, космополитической культуры, то они же могут служить и уже служат орудием культуры творческой, национальной. Мы должны лишь выйти из своей беспечности и взять пример с кипучей и страстной работы малых народов, работы их интеллигенции, из ничего, или почти из ничего кующей национальные традиции. Наша традиция богата и славна, но она запылилась, потускнела в сознании последних поколений. Для одних затмилась обаянием Запада, для других – официальным и ложным образом России, для которого в искусстве – и не только в искусстве – типичен псевдорусский стиль Александра III. Мы должны изучать Россию, любовно вглядываться в ее черты, вырывать в ее земле закопанные клады.

Наше национальное сознание должно быть сложным, в соответствии со сложной проблематикой новой России (примитив губителен!). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским.

Я говорю здесь, обращаясь, преимущественно к великороссам. Для малороссов или украинцев, не потерявших сознания своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское.

После всего, сказанного выше, ясна повелительная необходимость оживления, воскрешения Великороссии. Всякий взгляд в прошлое России, всякое паломничество в историю приводит нас в Великороссию, на ее север, где и поныне белеют стены великих монастырей, хранящих дивной красоты росписи, бого-

словское «умозрение в красках», где в лесной глуши сохраняются и старинная утварь, и старинные поверья, и даже былинная поэзия. Старые города (Углич, Вологда), древние монастыри (Кириллов, Ферапонтов) должны стать национальными музеями, центрами научно-художественных экскурсий для всей России. Работа изучения святой древности, ведущаяся и в большевистской России, должна продолжаться с неослабевающей ревностью, вовлекая, захватывая своим энтузиазмом все народы России. Пусть русский север станет «страной святых чудес», священной землей, подобно древней Греции или средневековой Италии, зовущей пилигримов со всех концов мира. Для русских и христиан эта земля чудес вдвойне священна: почти каждая волость ее хранит память о подвижнике, спасавшемся в лесном безмолвии, о воине Сергиевской рати, молитвами державшей и спасавшей страдальческую Русь.

Но русский Север не только музей, не только священное кладбище. По счастью, жизнь не покинула его. Его население — не многочисленное — крепко, трудолюбиво и зажиточно. Перед ним большие экономические возможности. Белое море и его промыслы обещают возрождение целому краю при научном использовании его богатств. Московский промышленный район (здесь Ярославль, Кострома) устоял в испытании революции. На этой земле «святая Русь», седая старина бок о бок соседит с современными мануфактурами, рабочие поселки — с обителями учеников преп. Сергия, своим соседством вызывая часто ощущение болезненного противоречия, но вместе с тем конкретно ставя перед нами насущную задачу нашего будущего: одухотворение технической природы современности.

От великорусского — к русскому. Это, прежде всего, проблема Украины. Ее судьба во многом зависит от того, будем ли мы (т. е. великороссы) сознавать ее близость или отталкиваться от нее, как от чего-то чужого. В последнем случае, мы неизбежно ее потеряем. Мы должны признать и непрестанно ощущать своими не только киевские летописи и мозаики киевских церквей, но и украинское барокко, столь привившееся в Москве, и киевскую Академию, воспитавшую русскую церковь, и Шевченко за то, что у него есть общего с Гоголем, и украинскую песню, младшую сестру песни великорусской. Эта задача — привить малорусские традиции в общерусскую культуру — прежде всего

выпадает на долю южнорусских уроженцев, сохранивших верность России и любовь к Украине. Отдавая свои творческие силы Великороссии, мы должны уделить и Малой (древней матери нашей) России частицу сердца и понимания ее особого культурно-исторического пути. В борьбе с политическим самостийничеством, в обороне русской идеи и русского дела на Украине нельзя смешивать русское дело с великорусским и глушить ростки тоже русской (т. е. малорусской) культуры. Та же самая русская идея на севере требует от нас некоторого сужения, краеведческого, областнического углубления, на юге – расширения, выхода за границу привычных нам великорусских форм.

В охране единства Великой и Малой России одной из самых прочных связей между ними была и остается вера. Пусть разъединяет язык, разъединяет память и имя Москвы – соединяют Киевские святыни и монастыри северной Руси. До тех пор, пока не сделан непоправимый шаг, и народ малорусский не ввергнут в унию или другую форму католицизирующего христианства, мы не утратим нашего братства. Разрываемые националистическими (и в то же время вульгарно-западническими) потоками идей, мы должны соединяться в религиозном возрождении. И сейчас подлинно живые религиозные силы Украины от русской церкви себя не отделяют.

От русского – к российскому. Россия не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не умеем примириться. Если не примиримся, – т. е. с многоголосностью, а не с нестройностью, – то и останемся в одной Великороссии, т. е. России существовать не будет. Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что задача империи, т. е. сверхнационального государства, – разрешима. Более того, когда мир, устав от кровавого хаоса мелко-племенной чересполосицы, встоскуется о единстве, как предпосылке великой культуры, Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, не под гнетом, а под водительством великой нации. Задача политиков – найти гибкие, но твердые формы этой связи, обеспечивающие каждой народности свободу развития в меру сил и зрелости. Задача

культурных работников, каждого русского, — в том, чтобы расширить свое русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит, воскресить в нем, в какой-то мере, духовный облик всех народов России. То, что в них ценно, что вечно, что может найти место в системе вселенской культуры. Всякое дело, творимое малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово должны вложиться в русскую славу, в дело России. В наш век национальные самолюбия значат порою больше национальных интересов. Пусть каждый маленький народ, т. е. его интеллигенция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с национальным сознанием русского (великоросса), но и находит у него помощь и содействие своему национально-культурному делу. Было бы вреднейшей ошибкой презрительно отмахнуться от этих шовинистических интеллигенций и через головы их разговаривать с народом. Многие думают у нас сыграть на экономических интересах масс против «искусственных» национальных претензий интеллигенции. Рано или поздно народ весь будет интеллигенцией, и презрение к его духовным потребностям отомстит за себя. В титуле московских царей и императоров всероссийских развертывался длинный свиток народов, подвластных их державе. Многоплеменность, многозвучность России и не умаляла, но повышала ее славу. Национальное сознание новых народов Европы в этом отношении не разделяет гордости монархов, но Россия не может равняться с Францией или Германией; у нее особое призвание, Россия — не нация, но целый мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, материкового, она погибнет, как Россия.

Духовным притяжением для народов была и останется русская культура. Через нее они приобщаются к мировой цивилизации. Так это было в Петербургский период Империи, так это должно остаться. Если юношество малых народов России будет учиться не в Москве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, оно не останется с нами. На русскую интеллигенцию ложится тяжкая ответственность: не сдать своих культурных высот, идти неустанно, без отдыха, все к новым и новым достижениям. Уже не только для себя, для удовлетворения культурной жажды или профессиональных интересов, но и для национального дела России. Здесь не важна сама по себе культурная отрасль,

профессия – России нужны ученые и техники, учителя и воины. Для всех один закон: квалификация, ее непрерывный рост в труде и подвижничестве. Если великороссы составляют 54% России, то русская интеллигенция должна выполнять не 54%, а гораздо более общероссийской культурной работы, чтобы сохранить за собой бесспорное водительство.

Так национальная проблема России упирается в проблему культурную. Но это не отнимает у нее специфического своеобразия. Ключ к ее решению заложен в дальнейшем развитии русского национального сознания. Сумеет ли оно расшириться в сознание российское и углубиться в великорусское, оставшись русским? Две опасности угрожают бытию России. С одной стороны, шовинизм, т. е. национальный максимализм, малых народов. С другой, шовинизм и политическая темнота господствующего народа. Чтобы Россию не разнесли на части центробежные силы, она должна иметь живой, мощный, культурно царствующий центр, – великорусское сердце своего тела, – и волю русского народа во что бы то ни стало отстоять свое и имперское единство. Но великоросс, утративший сознание своих сил и возможностей, объявивший войну чужеплеменной половине России, рискует погибнуть под ее развалинами. Трудно сказать, что губительнее: национальная mania grandiosa[4] или национальный Minderwertigkeitscomplex[5]. Против обеих болезней одно лекарство: разумная культура русского национального сознания.

4. Политическая проблема

а) Диктатура.

Вся проблематичность конструкции власти в будущей России вытекает из неясности ликвидационных процессов революции. Та сила, которая сыграет наиболее активную роль в свержении коммунистической диктатуры, несомненно, сохранит надолго руководящее значение в судьбах страны. Выйдут ли ликвидаторы из недр самой партии, проведя «спуск на тормозах» и сохранив символику Октября? Закончится ли дело всероссийским погромом большевиков и попутчиков? Вмешаются ли международные силы, а через их голову – в случае войны – белая эмиг-

рация? Все эти различные решения кризиса до известной степени предопределяют различные системы пореволюционной власти. Впрочем, не единообразно и не длительно. Партийная диктатура перерождается в личную, установленная для Европы демократическая монархия, весьма вероятно, переродится в абсолютизм.

За хаосом бури историческая интуиция может прозревать формы наиболее устойчивые и наиболее соответствующие народному сознанию сегодняшнего дня. Интуиция, конечно, обманывает. В прорехи рвущейся социальной ткани глядится собственная политическая воля, не очищенная от страстей. Это неизбежно. Но горький опыт разбитых иллюзий, но страдания родины требуют самоотречения. Там, где разуму ясен голос необходимости, перед ним склоняется мечта. Для тех, кто не может привести свою совесть в согласие с необходимостью, долг требует отказа от политической борьбы.

Наиболее общей чертой в наших гаданиях о будущем является предпосылка неизбежности диктатуры. Одни желали бы увековечить эту форму, видя в ней последнее слово политической мудрости. Другие стремятся свести ее к minimum'у во времени и функциях. На чем основана эта общая, нередко молчаливая предпосылка?

Было время, когда идея диктатуры вызывалась призраком — или реальностью — анархии. Пока народ праздновал свою «дикую волю», казалось нужна была железная рука, чтобы ввести в берега его половодье. Но эта рука нашлась не там, где ее ждали. Ленин был злым смирителем народной воли. С тех пор народ показывает такую степень покорности, которая приводит в отчаяние всех друзей порядка. Конечно, анархия еще возможна — в случае насильственной развязки. Но не на ней строятся расчеты диктатуры. Они строятся теперь именно на этой безграничной покорности народа.

За 14 лет народ явил разительные доказательства бессилия защищать свою волю и свое право. Он не пошевелил пальцем, чтобы защитить избранное им Учредительное Собрание. 14 лет он пассивно смотрит, как воля его фальсифицируется в избирательной системе Советов, позволяя говорить от своего имени проходимцам или запуганным шкурникам. Он живет в режиме неслыханного террора, едва ли сознавая исключительность

этого положения. Он дает энергичному меньшинству мять себя, как глину, вить из себя веревки.

Эта пассивность масс не может не искушать людей, одаренных волей к власти и лишенных правового сознания. Она делает диктатуру неизбежной. Значит ли это, что она ее оправдывает? До известной степени, да. Если власть не может опираться в своей самозащите на правовое чувство нации, она вынуждена опереться на силу. Иначе она будет сметена первым же авантюристом, достаточно бессовестным, чтобы поставить свою похоть выше права. Другими словами, в этом случае почти стирается различие в методах управления между властью легальной и властью тиранической, и ее социальная природа выразится именно в методах управления, а не в правовых фикциях. И демократия[1] сейчас в России возможна лишь с методами диктатуры.

Диктатура в России вызывается теми же причинами, которые делали необходимым в течение столетий самодержавие. Революция изменила здесь многое, но изменила недостаточно. Интеллектуальному росту народного сознания не соответствует уровень общественно-морального воспитания. Здесь большевики оказываются воспитателями и развратителями одновременно. Искушая призывом к общественности, провоцируя социальную активность, они убивают ее в создаваемой ими атмосфере предательства, трусости, шкурничества. Поколение, 14 лет пресмыкающееся перед ЧК, никогда не будет свободным. Свобода может быть лишь надеждой его детей.

Быть может, в царской России массы представляли еще более удобную почву для деспотизма. Но в царской России была влиятельная прослойка интеллигенции, которая держала в своих руках прессу, самоуправление, общественное мнение; держала под угрозой саму власть. И эта интеллигенция была одушевлена почти религиозным пафосом свободы. В новой России класс полуинтеллигенции стал более многочисленным и еще более влиятельным. Но он перестал понимать, что такое свобода. Самое страшное, что произошло в России — это не истребление миллионов жизней и огромных материальных ценностей, — это вытравление чувства свободы. От Радищева до Керенского три или четыре поколения политической борьбы — все пошло насмарку. Мы вернулись, политически, — в обстановку XVII века.

Что более всего поражает нас в молодежи, приезжающей из России? Ее неспособность ценить свободу. С недоумением или презрением смотрит она на европейские правительства, которые, вместо того, чтобы душить по тюрьмам своих врагов, предоставляют к их услугам газеты, улицу, партийные организации. О чем мечтает она, ненавидя большевиков? О том, чтобы заменить их более пригодными людьми, марксизм — научной философией или истинной религией. Свобода и для врагов кажется ей бессмыслицей. Но эта молодежь, ее идеалы — будущее России. У свободы в России, вне малого круга старой интеллигенции, нет никаких защитников.

Есть один — в сущности только один — факт, который причинную необходимость диктатуры может превратить в необходимость целесообразную. Это спутанный узел национальных проблем. Русскому народу придется еще многие годы вести отчаянную борьбу за сохранение единства России. В этой борьбе победа возможна лишь при сохранении внутреннего единства нации. Вот почему Россия не может в ближайшие годы позволить себе роскошь свободной политической борьбы, которая, на ее еще горячей почве, всегда рискует превратиться в междоусобие.

Итак, диктатура. Это значит, что власть в России будет принадлежать лицу или группе лиц, которые будут править ею фактически независимо от выражений народной воли (хотя учитывая ее и, может быть, даже облекаясь в ее легальные формы). Это лицо или лица будут указаны самим исходом борьбы за власть, устраняющим всех побежденных конкурентов. Они не могут быть предуказаны, избраны, предложены стране. Здесь почти все принадлежит историческому счастью, року или Провидению. Как монархия ставит судьбу государства в зависимость от случайностей рождения или наследственности в пределах одного рода, так революция ставит народ перед случайностью гениальных или бездарных вождей, от которых зависит его судьба.

По своей структуре диктатура может быть единоличной, партийной или монархической. Оставляя вопрос о монархии до следующей главы, рассмотрим диктатуру партийную.

Если под ней разуметь диктатуру коммунистической партии, то продолжение ее в России, и при изменившихся социальных

тенденциях, вполне возможно. Это будет, впрочем, уже псевдокоммунистическая партия, для которой ее выцветшие лозунги будут становиться все большей помехой. Должен настать день, когда они будут, наконец, убраны, и маскарад окончится. Но еще задолго до этого момента партийная диктатура превратится в единоличную. Может быть, этот момент уже наступил в России. Все показывает, что партия уже износилась, как самостоятельная политическая форма, хотя функционирует, как политический аппарат.

Но сейчас речь идет о другой возможности: о новой партии, о национальной партии, которая сменит коммунистов, сохранив их политическую систему. Это проект русского фашизма, с наибольшей яркостью выдвинутый евразийством.

Фашистский проект нам представляется наиболее утопическим и наиболее вредным вариантом русской диктатуры. Всюду, где удается фашизм, он побеждает, как революция, несущая бурную пену радикальных и реакционных страстей. Огромное народное волнение, потребность коренной ломки являются предпосылками фашизма. У него с коммунизмом слишком много общих корней. В фашизме, в его организациях молодежи, изживает себя та же самая буйная, тираническая активность, что и в русском комсомоле. Возможно ли раздуть догорающий пепел революции в новый пожар? Ввергнуть в новую революцию страну, едва живую от четырнадцатилетней революционной горячки? Это противоречило бы всем предпосылкам народной психологии. Не только масса, но и активное меньшинство уже выдыхается, уже просит покоя, тянется к личной жизни. Оно может поддержать деспотическую власть, но не власть революционную, без передышки играющую на нервах. Не власть идеологов. Довольно политграмоты, довольно агитпросветов. Для России сейчас это кушанье столь же питательно, как касторовое масло. Но для нее сейчас оно было бы и самым вредным политическим блюдом. Власть идеологов означала бы новое удушение русского творчества. Клин не всегда вышибается клином, и после марксистского отравления отрава евразийская или иная, в лошадиных дозах, в государственном масштабе, могла бы просто прикончить русскую культуру. Совершенно безотносительно к проценту содержащейся в ней истины, если бы даже этот процент был доступен вычислению. Сам факт ого-

сударствления мысли, науки, искусства означает их медленную смерть – поскольку речь идет о высших видах творчества, а не о декоративных или утилитарных его разновидностях.

Но и единоличная диктатура может иметь самое различное политическое и социальное содержание. Его социальное содержание довольно однозначно определяется самыми противоположными течениями современной России. Но ее политическое лицо? Станет ли она мостом к монархии или к демократии, или же будет стремиться увековечить себя, как политическую форму?

Благо России – как мы его понимаем – в том, чтобы грядущая диктатура имела демократическое содержание. Это значит, поставила бы своей целью привести народ к демократии. Будет ли она действовать с соблюдением демократической легальности, не важно. Это, может быть, и нежелательно, ибо легальность покупается ценою лицемерного извращения института. Лучше не устраивать выборов, чем подтасовывать их, лучше не иметь парламента, чем иметь подкупленный парламент. Демократический характер диктатуры в том, что ее цель (как римской легальной диктатуры) – сделать себя ненужной. Она должна готовиться к будущему, когда сможет передать власть народу. Но горе ей, если она швырнет эту власть в пространство, и не найдется рук, способных ее принять. Это значит, власть достанется новому диктатору, достаточно жадному до нее или нафанатизированному идеей, который не отдаст ее никому добровольно. Тогда изживание диктатуры потребует новой революции.

б) Монархия или республика?

С известной точки зрения, мы будем правы, утверждая, что этот вопрос для современной России лишен актуальности. Принципиально он интересует лишь немногих доктринеров – или рыцарей идеи. В котле революции перекипели вековые политические страсти. Современное поколение в России примет всякую власть, которая обеспечит ей минимум свободы – не политической, а гражданской: бытовой, хозяйственной, культурной. Если бы чудом России свалилась с неба монархия, обеспечившая ей этот минимум, она, вероятно, не встретила

бы сопротивления. Честные люди всех оттенков политической мысли объединились бы с ней для сотрудничества в общем национальном деле. Продолжая рассуждать теоретически, можно указать даже на некоторые преимущества, связанные с монархической формой именно для пореволюционной России.

Прежде всего, монархия облегчила бы, бесспорно, труднейшую задачу построения Российского Союза. Народы менее подозрительно относятся к чужеземной династии, чем к гегемонии чужого народа. Самолюбия окраинных патриотов, которые оскорбляются зависимостью от Петербурга или Москвы, могли бы скорее примириться с великим князем Киевским или ханом Азербайджанским. Сама династия, в личных интересах, могла бы легче освободиться от ограниченного шовинизма господствующей народности, чем демократические политики, вышедшие из среды этой народности. Династия всегда менее национальна, чем народ. Династии новой Европы, вообще, отличаются большей долей космополитизма. Габсбургам было легче понять национальные требования эпохи, чем немецким националистам Вены или Тироля.

Другое преимущество монархии для России заключалось бы в ее возможной культурной роли: центра кристаллизации культурного меньшинства. В том демократическом разливе, который грозит затопить в России все культурные высоты, независимая монархия могла бы сделаться спасительным островком не только для родовой, но и для духовной аристократии. Многие формы культуры были бы спасены, как формы роскоши, необходимой для монархического престижа. Возникшие из придворных потребностей Эрмитаж и балет вновь укрылись бы при дворе от угрожающего духа времени. У дворцового ведомства могли бы найтись деньги не только на содержание конюшен, но и на пенсии для поэтов.

Но все это мечты – во вкусе XVIII века. В России XX они неизбежно обернутся вредной или комической утопией. Это станет ясным, если мы будем рассматривать не монархию, как абстрактную форму, а народ, как носителя монархического сознания, и династию, воплощающую монархический принцип.

Быстрое и почти бесследное исчезновение монархической идеи является одним из самых разительных фактов революции. Россия не имела своей Вандеи[1]. Ни одно из антиболь-

шевистских движений, возглавляемых монархистами, не решилось поднять открыто монархического знамени. Даже обычные в первые годы, нелестные для революции сравнения николаевской свинины с ленинской кониной окончательно замолкли со времени НЭПа. О монархии просто забыли, она оказалась никому не нужной, ее идея совершенно пустой. В России есть еще, конечно, немногие монархисты по убеждениям, но почти никто из них не сохранил веры в близкое торжество своих идей. Даже церковь поспешила отмежеваться от монархии, с которой была связана тысячелетиями. Но монархия не может жить без монархического сознания. В этом ее коренное отличие от республики, которая возможна и без республиканцев. В самом деле, власть одного человека или одной семьи над народом настолько противоречит современному рациональному понятию о государстве и вместе с тем природе власти, как реальной силы, что может питаться только мистическим чувством или глубоким уважением к традиции. Современные монархии легко гибнут, но с трудом строятся. Их шаткие постройки держатся уже не на выветрившейся мистике, а на расчете политиков, эксплуатирующих еще не растраченный фонд традиции.

Современная Россия – страна воинствующих рационалистов или безбожников. Традиции сметены в ней так радикально, как, может быть, еще ни одной революцией в мире. Революция обнажила тот психологический склад в народной душе, который определяется «простотой», как высшим критерием ценности. Все мы знаем этот чисто русский критерий в применении к искусству, к этике. С «простотой» прекрасно вяжется мужицкая республика, возглавляемая Калининым, но никак не вяжется мистика «помазанного» или наследственного царя.

С другой стороны, династия. Говорить серьезно о монархии в России – это значит говорить о реставрации Романовых. За годы революционных войн ни одно имя не завладело настолько народным воображением, чтобы на нем можно было основать надежды новой династии. Только Ульянов мог бы, если бы хотел, начать новую династию в России. Безличность революционной эпопеи, отсутствие кандидатов в русские Наполеоны связаны именно с этой стихией «простоты», которая раскрывается в русской революции. Ни один герой не выдер-

жал бы мужицкой усмешки. Ни один красный командир не посмел разрядиться, как Муссолини, в золото и петушиные перья. Русская революция органически не способна дать Наполеона. Остаются Бурбоны[2].

Но Бурбоны – т. е. Романовы – это уже не безразличная политическая форма. Это имя – можно утверждать с полной определенностью – ненавистно огромному большинству русского народа. Два последних царствования крепко связали династию с дворянством и сословным строем. Вся ненавистная народу классовая пирамида упиралась в эту верхушку. Народ, который веками старался отделить царя от боярства, перестал делать это различие. Не республиканская ненависть к «тирану», а мужицкая ненависть к барину делает невозможным для него возвращение «первого дворянина» на трон.

Народ столетиями лелеял царскую легенду, в жертву которой были принесены гекатомбы русской интеллигенции. Теперь выросло поколение, воспитанное уже на другой, антицарской легенде. При полном отсутствии исторического образования, современный юноша плохо отличает век Иоанна Грозного от времени Николая II. Он искренне убежден, что рубить головы собственной рукой составляло ежедневное развлечение русских самодержцев. С эпохой Романовых связались все темные, жестокие воспоминания русского прошлого. Никто из молодого поколения не допускает, чтобы в России при царях было легче или лучше жить. Народ – и старики и молодежь – не хотят Романовых, потому что не хотят возвращения старого. Старая династия – символ реставрации.

И это уже не просто предрассудок, воспитанный новой, антиисторической легендой. Это здоровая, реальная оценка действительности.

С чем бы могли явиться Романовы в Россию? На кого опереться? Допустим, что будущий император не лишен сознания потребностей эпохи, что он лично думает не о реставрации, а о примирении разделенных революцией классов. Но при непопулярности монархической идеи, он вынужден будет окружить себя старыми слугами, доказавшими свою верность былым самодержцам. Возвращение монарха означает прежде всего возвращение монархистов. И не новых, покаявшихся поклонников свободы и права, а стопроцентных, не изменивших

белому — вернее, черному — знамени. Худшие традиции Александра III и Николая II, которые лелеются в этой среде, будут вынесены на свет Божий из подполья эмиграции. И царь волей или неволей должен будет им покориться. Дворянская социальная реставрация будет неизбежным последствием реставрации политической. Только древняя монархия, сильная нерастраченным авторитетом, может вести политику социальных реформ, может опираться на демократию. Последыши обречены жить и умереть с своим классом. Краткие годы реставрации, доставшиеся им чудом или иностранными штыками, они употребят для подготовки новой революции — хотя бы для нее пришлось преодолеть ту силу политической инерции, которой до сих пор не удается пробить Сталину.

Младороссы[3] — политические мечтатели, исходящие из веры в славянофильский монархический идеал русского народа. Не они, и не Струве, а Марков II[4] будет править Россией именем царя. Эта перспектива, в связи с вековой антикультурной традицией Романовых, не сулит особенных благ ни Эрмитажу, ни русской интеллигенции. На пенсии могут рассчитывать лишь сановные жертвы революции, а из поэтов — новые Демьяны Бедные.

Так монархия из нейтральной политической формы становится — как монархия Романовых — огромной политической опасностью для России.

Все, что делает монархию невозможной, укрепляет республику. Республика существует. Это составляет ее огромное преимущество в стране, взволнованной социальной борьбой, но лишенной политических страстей. Республика не требует ломки в народном сознании. С ней молодежь, не знавшая другого строя. За нее дух простоты, владеющий ныне народной душой. Дух трезвости, расчетливости, хозяйственности, с одной стороны, дух эгалитарности с другой, — все, что составляет моральную атмосферу новой России, — говорит за республику. И это даже при отсутствии настоящего республиканского пафоса. В комплексе идей и символов русской революции, чисто политическая идея играла второстепенную роль. Марксизм не мог создать никакой идеологической порфиры для народовластия. Он сам подрывал его мистику, борясь с идеей народной воли.

Эта духовная прореха может оказаться опасной в другом поколении, более чутком к духовным основам жизни и более восприимчивом к политической мечте. Рационалистическая концепция республики, как удобнейшей формы демократии, делает ее идеологически слабой в столкновении с мистикой монархической власти. Но рационализм не связан с республикой, как мистика – с монархией. Погружаясь в историческую традицию, создавая духовные основы демократии, будущие поколения могут найти для народовластия религиозное освящение – в Библии, в русском прошлом. Отработанный, изжитый в Европе пафос Contrat social[5] должен быть заменен пафосом соборности Божьей воли, которая говорит в истории столь же гласом народа, как и устами царей. Историческое воспитание должно фиксировать внимание на героических республиканских идеалах Греции и Рима, на гвельфских[6] средневековых идеалах демократии (Флоренция), на православном народоправстве Новгорода. Тогда республика сделается не пустой формой, не меньшим злом, а положительным идеалом, освобожденным от пошлого утилитаризма, несущим в себе всю полноту цветения национальной религиозной культуры.

в) Советская система.

Переживет ли советская система, т. е. государственный строй СССР, падение коммунистической диктатуры? Содержатся ли в нем здоровые ростки грядущей национальной России?

По этому поводу мнения антибольшевистской эмиграции разделились. Защитники (хотя бы и условные) советского строя находятся, как в фашистском, так и в демократическом лагере.

Два веских возражения делаются защитникам советов: 1) невозможность функционирования советов без партии, их направляющей; 2) уже совершившееся вырождение советов в результате террористического режима.

Эти возражения были бы решающими, если бы речь шла о том, чтобы сделать советы полноправными органами народной воли на другой день после падения диктатуры. В действительности, вопрос лишь в том, сможет ли их использовать грядущая власть, сменяющая коммунистическую, и в интересах ли демократической ликвидации революции сохранение и развитие советской системы.

На эти вопросы мы отвечаем утвердительно. Прежде всего, в интересах революционного консерватизма, т. е. охраны новой России от старорежимной реставрации – оставить, по возможности, неприкосновенным основной план ее здания. Оно, конечно, нуждается в перестройке. Но за отправный пункт должно быть взято существующее, а не прошлое и не воображаемое. В том пестром комплексе самого передового и самого отсталого, что делает строй современной России похожим на костюм арлекина, мы еще не в силах разобраться, не в силах судить справедливо. Мы склонны к огульному отрицанию. Только опыт длительной работы, в условиях свободной критики, может показать достоинства и недостатки системы. Сохраним непрерывность учреждений, если не хотим завалить страну новыми обломками.

Взять за основу учреждения старой России или демократические учреждения 1917 года невозможно уже потому, что социальные предпосылки их вырваны с корнем. В частности, непосредственное осуществление демократии в России 1931 года представляет несравненно большие трудности, чем в России 1917. За четырнадцать лет выкорчеваны полувековые традиции земского и городского самоуправления, уничтожена политическая интеллигенция, которая могла (могла ли?) влить новые народные силы в готовые демократические меха. Вымерло чувство свободы, скомпрометирована идея независимого представительства. Отсутствуют политические партии, без которых невозможно функционирование демократии старого типа и которые несовместимы с режимом диктатуры.

Напротив, оживление советов, превращение их в органы, если не народной воли, то народного мнения, не заключает в себе ничего невозможного. Для этого достаточно обеспечения минимальной свободы выборов и некоторых поправок к избирательной системе.

Основные трудности русской демократической проблемы сводятся к отстутствию в России достаточно мощных средних классов, которые, дорожа сами политической свободой и самоуправлением, воспитывали бы массы к свободе. Те учреждения, которые называются в Европе демократическими, созданы не демократией, а цензовой буржуазией. Привычки политической свободы, поскольку они не являются остатками феодальных

вольностей, воспитаны свободой трудовой и хозяйственной. Массы восприняли эти дворянско-буржуазные начала свободы, вместе с языком, вместе с культурой, не покупая их кровью, почти не ценя их значения, сплошь и рядом предавая их. Массы боролись за хлеб и за власть, т. е. за участие во власти, за расширение pays legal[1] – за равенство, не за свободу. Везде в истории, где массы выступали не как наследники, а как упредившие свое время соперники буржуазии, устанавливался режим деспотии: Пизистратов, Цезарей, Медичи, Наполеонов. В России – царей московских и Ленина.

Но республика буржуазии, т. е. цензовая, в России невозможна: и по отсутствию цензовых элементов, и по отсутствию уважения к собственности. По той же причине невозможен ценз образования, даже ценз грамотности, ибо дух уравнительного опрощения в России враждебен умственной аристократии еще в большей мере, чем аристократии денег или чинов. И вот здесь-то ценз профессиональной годности, сводящийся к цензу государственного служения, является началом аристократической кристаллизации в аморфной анархо-демократической массе.

Основная идея советской системы роднит ее с новейшими синдикалистскими или профессиональными теориями представительства на Западе: это идея избирательного права, как политической функции, стоящей в зависимости от социального качества, социального служения лица. Не прирожденное, но приобретенное, социальное право, соответствующее новому победоносному началу труда. Социально значимый труд есть труд квалифицированный, а не животно-мускульная затрата энергии. Отсюда новая социальная дифференциация, которую несет с собою трудовое начало. Не равнокачествен труд, и не равно его значение для государства.

В этой системе не должно быть «лишенцев», принудительных врагов государства. Другими словами, избирательное право должно быть всеобщим: в этом первый корректив к советской системе. Другим явилось бы уничтожение «явности» выборов, как грубого политического давления на избирателей. Но косвенность и неравенство, характеризующие эту систему, остаются.

Косвенность выборов, связанная с их куриальностью[2], создает ограниченные и органические избирательные корпорации,

в которых только и возможна сознательная избирательная процедура в современной России. Нельзя требовать от полуграмотного, рассеянного на огромном пространстве населения сознательного выбора между кандидатами политических партий, лично ему неизвестными. Единственно возможная в условиях России косвенная система[3] обладает и бесспорными преимуществами. Она одна делает выбор по личным качествам, а не по партийным ярлыкам. Она делает состав представительства более независимым от избирательных комитетов и более соответствующим народным настроениям. При ней каждая группа населения может дать государству своих лучших людей, специалистов в своей области, может быть, узких, но чуждых доктринерству профессиональных политиков.

Неравенство, неравноценность голосов органически присущи советской или корпоративной системе. Никакие поправки на статистическую пропорциональность не могут уничтожить этого ее, молчаливо подразумеваемого, свойства. Никогда голос Академии Наук не может быть приравнен к одной фабрике или сельской общине. Это присущее системе неравенство большевики использовали в интересах подавления крестьянства пролетариатом. В будущем пролетариат уступит руководящую роль квалифицированной служилой интеллигенции. Это будет достигнуто путем изменений цифровых соотношений между представительством отдельных курий, которые происходят почти незаметно и не имеют одиозности цензовых ограничений. В будущем неустойчивость этих цифровых отношений открывает возможность легальной борьбы за демократию, в смысле усиления влияния низовых рабочих союзов и крестьянских групп. Вся соль, вся содержательность политической истории Запада в XIX столетии заключается в расширении цензовых рамок в направлении к всеобщему и равному избирательному праву. Без этой школы политической борьбы, без этого движения политическим лозунгом масс (как в 1848 г.) неизбежно становится непосредственный захват власти — диктатура пролетариата или Императора. С другой стороны, лишь в этой школе борьбы массы усваивают политическую культуру буржуазии и в некоторых, все расширяющихся слоях своих достигают понимания природы государства.

В России 90% населения состоит из крестьянства, государственное сознание которого еще проблематично. Никогда

крестьянство одно не создавало государства и не руководило им. Но, конечно, без его консервативного, хотя бы сдерживающего влияния ни одна власть не может управлять Россией. Ему должна принадлежать почетная, но не преобладающая роль в составе представительства. Слабый в России город, слабая в городе профессиональная интеллигенция должны быть выделены, подняты, противопоставлены бесформенной и темной «земле». Только на них может опереться государство и представляющая его власть.

Разумеется, в шаблонной демократии интеллигенция (в силу партийной привилегии) получает фактически преобладание над массой. Но эта интеллигенция профессиональных политиков, ораторов и журналистов — не та интеллигенция, в которой всего более нуждается государство. Кроме того, и процесс выделения этой правящей интеллигенции в «демократии» сводится к перманентной гражданской борьбе, несовместимой с режимом диктатуры.

Конечно, и диктатура могла бы позволить себе роскошь демократической конституции — при условии лжи, возведенной в систему. В таком виде демократия осуществляется на Балканах, в Южной Америке, — такой она может быть и в России. Однако развращающее влияние политической лжи разлагает не только политическую систему, компрометируя в данном случае демократию; она убивает политическую честность вообще, обессмысливая в конце концов патриотизм и государственное сознание. Явный деспотизм предпочтительнее фикции свободы.

Неопределенность, гибкость советской системы делает ее способной к дальнейшему развитию. Без государственных переворотов, путем простого изменения в соотношении избирательных корпораций, государство может получать более высокое и работоспособное представительство. Это сообщает советскому опыту России огромное значение для судеб мировой демократии. — Кризис современной демократической системы ни для кого не является тайной. Единственным спасением от угрожающего миру цезаризма является глубокое внутреннее ее преобразование. От способности к трудовому перерождению зависит будущее демократии. Демократию нельзя отождествлять с ее буржуазным развитием на Западе. Советская система

может оказаться новой формой демократии, удовлетворяющей рабочее, трудовое общество будущего.

Может быть, этот опыт не выдержит испытания времени. Тогда советская система уступит место иной. Но нельзя заранее отказываться от испытания новых политических форм, которое сделано возможным русской революцией.

Мы не принадлежим к числу тех утопистов, которые думают, что России, в силу ее социальной отсталости, выпало на долю решить социальный вопрос, непосильный для Запада. Но, по-видимому, постановки вопросов, проектов решений, интуиции новых форм – мир вправе ждать от русской трагедии.

Если в первое время почин эксперимента и руководство им принадлежит диктатуре, то наступает момент – и тем скорее, чем лучше диктатура выполнит свою миссию, – когда советы, опираясь на опыт низового свободного самоуправления, на профессиональные организации масс, смогут взять на себя тяжесть национальной ответственности. Тогда советы – уже не представительство, а власть. Диктатура исчезает, вольно или невольно, очищая место новой демократии.

Вся социальная структура России, самый склад морально-общественного сознания народа, огромная разрушительная энергия русской революции, по-видимому, не оставляют сомнения в том, что будущая великая Россия может быть лишь страной великой демократии.

г) Традиция и революция.

Возрождение России зависит от того, удастся ли преодолеть глубокий раскол в народном сознании, образованный доктриной и фактом революции. Новое сознание должно воспринять и слить в себе все жизненное и ценное в старой и новой идее России. Это задача ныне живущего и вступающего в жизнь поколения, это задача первой национальной русской власти.

Но не будем обольщать себя иллюзией. Страна, пережившая революцию и от нее ведущая свое новое бытие, не может долго (столетиями) обрести утраченное единство. Старая жизнь не умирает совершенно, ибо живет вечно в памятниках национальной культуры. Печать художественного благородства, лежащая на этой культуре, великодушная патина времени

преображает и старое зло в «вечное золото» легенды. Легенда убитой красоты и правды сопровождает новую жизнь, вышедшую из революции, потускневшей, опошленной самим фактом победы. Победа, как известно – самое трудное испытание для идеи. Противоречия, которые вскроет в себе новая действительность, отвращение, даже ненависть, которые она (как всякая действительность) будет рождать в самых чутких, в самых нервных современниках, обеспечивает возрождение не только утопизма революционного, но и утопизма реакционно-романтического. Последний преимущественно соблазнителен для носителей высшей культуры, влюбленных в прошлое. Завоевание реакцией самых ответственных духовных постов нации – обычный удел общества, вышедшего из революции. Такова судьба Франции. Вот уже полтора века продолжается тяжба вокруг «Великой» революции. За малыми реставрациями и революциями XIX века надо вглядеться в борьбу идей, доселе безнадежно разделяющих Францию. Два враждующих стана определяют сами себя именами, которые стоят в заголовке этой главы. «Традиция» и «революция» – традиция, которая революционизирует, революция, которая охраняет, – ныне, как 100 лет тому назад, ведут смертельную войну за душу Франции. Точнее было бы говорить о двух традициях: традиции революции и традиции реакции. И в наш исторический час на весах духа перевес, несомненно, склоняется на чашку последней традиции.

Это духовное междоусобие, которое в каждом поколении готово вспыхнуть новой гражданской войной, подтачивает силы нации. Вместо плодотворной борьбы идей, воздвигаются непроницаемые перегородки между ними, со спертым воздухом внутри, с культом окостенелых предрассудков. Грозит ли России та же судьба?

Старая Россия оказалась менее живуча, нежели старая Франция. Социальные корни дворянства подрезаны как будто навсегда. Тургеневская усадьба едва ли когда-нибудь воскреснет. Но неистребима живая память о былом величии и славе. Не умрет Пушкин, а с ним очарование Александровской и Екатерининской эпохи. Надо надеяться, останутся дворцы Петергофа, Царского Села, красноречивые, но и лживые свидетели императорской славы. И для нее настанет время реабилитации.

На фоне слишком простой и деловой жизни, грубоватой повседневности, технических достижений – утонувшая империя с каждым годом будет подниматься со дна царско-сельских озер. В этот императорский Китеж будут жадно глядеться тысячи юношей, мечтающих о небывалой России. Одни ли малокровные потомки старых родов, для которых фамильная история сплетена неразрывно с историей России? Но Борисов-Мусатов был сыном полупролетария. Уже теперь можно изредка встретить на фабрике и в деревне романтиков прошлого, девушек, которые за чтением Пушкина и Толстого ощущают себя не крепостной рабой, а Татьяной, Наташей, Китти. XIX век еще не так опасен для республики. Но XVIII может ее убить. Что же сказать о XVII? Старая славянофильская легенда о народном царе может воскреснуть с возрождением церковности и романтикой православного быта. Конечно, реализация этой мечты быстро убьет ее. Но в ожидании республика будет страдать тем органическим пороком, который пока обеспечивает ее стойкость в нашем поколении: она существует. Это делает ее почти безоружной перед призраком. Вот почему борьба между революцией и традицией неизбежна – борьба серьезная, жестокая, длительная. Она может стать главным духовным содержанием русского 20 столетия. Если эта борьба не будет выраждаться в заговоры и полицейский террор, она может оплодотворить русскую мысль и культуру. Подготовить и углубить грядущий народный синтез.

Что может революция противопоставить призраку своего врага? Я говорю не о жизненных удобствах, о практической годности режима, но о его идеологическом освящении, о его культурном помазании.

На первый взгляд, очень немногое. Революция слишком юное и не очень талантливое дитя старой России. Вклад революционной идеи в великую русскую культуру мало заметен. Не остается ничего от народников 60 и 70-х годов, от демократических передвижников. В сущности, адвокатами революции будут только Герцен и Некрасов. Быть может, еще Глеб Успенский. Традиция будет опираться на Гоголя, Достоевского, Леонтьева. Разумеется, не без натяжек. Но все же остается фактом, что самые мощные умы XIX века прошли мимо революционной эпопеи интеллигенции. И революция

не построила своих дворцов. На каком же языке она будет говорить грядущим поколениям?

Революционная эпопея должна говорить сама за себя, в огоенности своего нравственного подвига. При всей культурной бедности революционного стана, он один хранил в упадочной России XIX века дух героического подвижничества. Зрелище этой неравной борьбы, революционный Плутарх, революционные святцы — долго будут воспитывать общественно-патриотическое сознание русского юношества: конечно, при условии абстракции от содержания революционных доктрин, стоявших в кричащем противоречии с мученическим подвигом и идеалом. Наша великолепная реакция — даже в Достоевском и Леонтьеве — всегда несла в себе разлагающее семя морального порока. В борьбе с победоносной революцией, она представляла партию декаданса против моральной чистоты и против жизненного христианства. Имморализм реакционной «традиции» XIX и XX веков обесценивает ее воспитательное значение для будущей России.

Но революция не только святцы декабристов и народовольцев. Революция это также безумие и злодейство большевиков. Из песни слова не выкинешь; России, как и Франции, придется принять или отвергнуть революцию целиком.

Сейчас, в разгаре борьбы, можно и должно противополагать февраль октябрю. Для будущего это противоположение бессмысленно. Французский радикал уже не судит тяжбу жирондистов и монтаньяров[1]. Спор Робеспьера с Дантоном интересует лишь узкий круг историков. Так и будущая Россия будет стоять на распутье между Лениным и царем.

В свете большевизма в русской революционной традиции вскрылись глубокие противоречия: Герцен и Бакунин, Лавров и Нечаев, народники и марксисты. Начав политическую чистку, нельзя нигде остановиться. Даже в Герцене, даже в Лаврове можно разглядеть большевистскую гримасу. Как русская монархия влачит на своих плечах опричнину, бироновщину и позор последнего царствования, так революция не сможет сбросить бремени Нечаева и Ленина. Это бремя морально чрезвычайно отяготительно. Но романтика революции всегда будет уравновешивать романтику старинных усадеб. Злодейства нашей эпохи будут восприниматься так, как они должны восприни-

маться: как историческая трагедия, героем которой является народ. Злодеяниям нет места в житиях святых, но без них немыслим Плутарх, немыслим Шекспир. Если для морального чувства народовольцы могут оправдать русскую революцию, то для исторического воображения ее реабилитация дана лишь красной эпопеей ее победы.

Но и с праведностью народовольцев и с кровавым заревом Октября, революции, т. е. ее идее, трудно уравновесить традицию, понятую, как консервативную идею всей тысячелетней истории России. Столетие – против тысячелетия всегда осуждено, как дерзкий бунт, беспочвенный и бесполезный.

Революция должна расширить свое содержание, вобрать в себя maximum ценностей, созданных национальной историей, чтобы выдержать длительное состязание с традицией. Спор идет о том, какая идея окажется более емкой, более гибкой, чтобы охватить национальное содержание русской культуры. Подобно двум божественным началам манихейской космогонии, борьба двух идей состоит не столько в отражении, в исключении, в истреблении вражеских ценностей, сколько в их захвате, пленении, ассимиляции. Если для монархиста дело идет о том, чтобы надеть на революционера императорскую ливрею, сделать из революции побочный продукт имперской культуры, то для революции важно наложить свою печать на саму монархию, отметить революционным помазанием все творческое в наследии царей. Предстоит длительная борьба за тело Патрокла. Русская интеллигенция всегда притязала на революционное осмысление дела Петра. Нетрудно отвоевать для нее, – т. е. для идеи просвещения – XVIII век, «дней Александровых прекрасное начало». Остальное, т. е. сумерки империи (и здесь еще предметом спора может быть «эпоха великих реформ») можно предоставить врагу. Нужно выбирать между Николаем I и Герценом, между Александром II и Народной Волей.

Для революции гораздо существеннее продвинуть свои рубежи вглубь прошлого, освободить русскую традицию от оков Карамзинской монархической схемы. Национальный канон, установленный в XIX веке, явно себя исчерпал. Его эвристическая и конструктивная ценность ничтожна. Он давно уже звучит фальшью, и труд русской исторической науки

подорвал, искрошил старую национальную схему. Новой, революционной схемы не создано. Материалы для нее – груды камней – собраны поколениями русских историков. Но нет архитектора, нет плана, нет идеи. Революционная мысль, в плену у скудных либерально-материалистических идей, не имела вкуса к древней России, молчаливо уступая ее, как безобразную руину, своим врагам. Исключения – Костомаров, Щапов[2] – были редки. А между тем задача нового свободного построения государства Российского, в котором пришлось бы несколько потесниться московскому двухвековому царству, чтобы дать больше места и простора пятивековой феодально-вечевой Руси, – эта задача диктуется и органическим ростом исторической науки и самой историей России. Вполне мыслима новая национальная схема, которая оказалась бы менее тенденциозной, менее узкой, нежели схема Карамзинская, и в которую факт русской революции вошел бы не как непредвиденная катастрофа, а как отрицание отрицания, восстановляющее древнюю правду.

Ясно, что для этого предстоит полное перерождение доктринального наследия революции, ибо завещанные ее героями доктрины не годятся ни на какое национальное строительство. Однако, национализация революции – факт уже совершившийся в недрах России. Необходимые идейные выводы из него будут сделаны, вероятно, не скоро, но они должны быть сделаны. Русское прошлое, русская культура откроются лишь для того, у кого есть глаза на духовные основы этой культуры, этого национального прошлого. Эта культура, это прошлое – плоть и цветение христианства. Без внутреннего приобщения христианству невозможно никакое истолкование русской национальной идеи. Без этого крещения революционная идея может одерживать еще интернациональные победы, но она будет всегда бита «традицией» на поле национального матча. Это поражение означает, рано или поздно, гибель революции и ее идеи. Бессильный, не существующий сегодня, ее противник будет крепнуть с каждым новым успехом национального сознания. Лишь христианизация вольнолюбивого и демократического идеала спасает его национальную ценность, как примирение с Церковью делает прочными и даже незыблемыми основы нового республиканского строя.

5. Организация культуры

Преувеличенные надежды и мрачные предчувствия связываются с завтрашним днем русской культуры. Переоцениваются и разрушительные силы революции и ее творческие силы. Революция – половодье, смывающее культурные насаждения и постройки: но половодье оплодотворяет – в Египте – илом и влагой засохшую землю. Революция – водопад, на динамической энергии которого спекулируют мечтатели: но забывают, что это не постоянная энергия Ниагары, а краткая бурливость потока, который завтра оставит после себя стоячие болота и мелкие воды заливных займищ. Послереволюционная Россия – богатая почва, жаждущая семени, но бедная естественными источниками энергии.

Мы говорим, конечно, лишь об энергии духовной культуры. Только здесь может идти речь об обмелении. Для хозяйственников и техников силы найдутся. Найдутся они, можно верить, и для чисто духовного (внекультурного) творчества, обладающего способностью постоянного самовоспроизведения. Но тема духовной культуры ставит особые проблемы – для России всегда мучительные. Как духовная культура, она движется приливами подземных вод, лишь отчасти и редко связанных с надземным неистовством стихий. Как культура, она всегда хозяйство: строй, лад, согласие – над хаосом и стихией. Она всегда аполлонична, хотя бы все подлинно ценное в ней притекало из откровений ночных мистерий. Пьяный богом дикарь не творит культуры: он убивает бога и ест его плоть. Для культуры существенны: творческая аскеза, учительство, предание, иерархия. Учительство и ученичество возможны лишь при различии уровней и уважении к нему. Действительно осуществленное – или мнимо утверждаемое – духовное равенство делает невозможным движение: движение вод зависит от разницы уровней.

Русская интеллигенция считала чем-то ненормальным строительство новой русской культуры, которое начиналось с Академии Наук и через полтора века пришло к народной школе. Но другого пути не бывает. Запад тоже начинал с академий, только академия его создавалась еще при Карле Великом. Большевизм сознательно поставил своей задачей нивелирование культуры,

и в этом преуспел, как ни в чем. Подъем народных масс сопровождался закрытием для них источников высшей культуры. В мире еще не было опыта подобного обезглавливания целой нации.

Это ставит перед русским национальным возрождением совершенно особую задачу, обозначаемую нами, как организация культуры. Сама постановка этой задачи требует оправдания.

Если под культурой понимать высшие формы духовной деятельности нации, то a priori можно оспаривать законность такой темы. Слишком много развелось нынче охотников организовывать культуру. Большевики ведь ничем иным не занимаются, как организацией пролетарской культуры. Какая, собственно, разница между организацией культуры и ее удушением?

Культура, как высшая форма творчества, прежде всего нуждается в свободе. Единство национальной культуры слагается из бессознательно ориентированного потока индивидуальных энергий, в котором каждое противоречие имеет свою ценность. Если организация означает планомерность, или хотя бы воспитание, то по отношению к высшим формам творчества хочется сказать: поменьше воспитания!

Как в сфере хозяйства, так и в сфере культуры ликвидация коммунизма есть прежде всего освобождение.

И однако проблема организации существует. Ее необходимость вытекать из двух основных и трагических фактов большевистской диктатуры: 1) уничтожения старого образованного класса в России и 2) искусственной выгонки целого поколения в марксистском парнике. Организация русской культуры означает поэтому: 1) воссоздание культурного слоя и 2) выпрямление духовного вывиха целой нации.

Конечно, об уничтожении интеллигенции можно говорить лишь с большой осторожностью. Что характерно для революции, так это экстенсификация культуры, приобщение к ней масс «от станка и от сохи». Такая буйная демократизация сама по себе несет опасность: резкого снижения уровня, измельчания духовных вод. Эта опасность удесятеряется сознательным и планомерным истреблением дворянства и буржуазии, которые были естественным резервуаром пополнения интеллигенции. Старые кадры редеют, на смену им приходит новый тип: практически ориентированный варвар-специалист, относящийся с презрением к высшим культурным благам.

Не одна цензура повинна в оскудении русской научной литературы, но и отсутствие читателя, делающее невозможным серьезное издательское дело.

В России образовался тонкий слой, созданный НЭПом, который имеет материальные возможности поддерживать высшие формы культуры: обучается в университете «бесцельным» наукам, покупает книги по искусству, составляет публику концертных зал. Личные вкусы влекут его по преимуществу к западным (или восточным) космополитическим блюдам. Переводный роман его любимое чтение. Духовно, он является воплощением скептицизма, безразборчиво гутирующего[1] все экзотическое, но естественно отталкиваемого цельной, органической силой веры. Для русского духовного возрождения этот духовный тип таит большие опасности. До сформирования почвенной русской буржуазии, этот класс мог бы оказаться единственным носителем высшей культуры. Во всяком случае, он может определить русский либерализм и русское западничество. Уже сейчас он явился питательной средой для развития самой значительной в России литературно-критической школы – формалистов. Другими словами, столь существенная для национального возрождения отрасль культуры, как изучение национальной словесности, может быть потеряна для русского дела.

Кажется, ликвидация НЭПа ликвидирует и этот поверхностный культурный слой. При всей его духовной бессодержательности, он мог вынести на себе продукцию тех тонких и сложных форм, без которых немыслимо духовное народное хозяйство. С его отмиранием нищета становится вопиющей; впрочем, исчезновение его может быть только временным.

Что сулит все это для русского будущего? Предоставленная самой себе, Россия – «новая Америка» – может обернуться безбрежным Пошехоньем, раскинувшимся на одну шестую часть света, с островками богемной культуры берлинских и парижских кафе.

Есть сила в России – и сила огромная, – от которой можно, казалось бы, ожидать почина в организации культуры. Эта сила – православная церковь. Она объединяет теперь в своей ограде высоко квалифицированное культурное меньшинство, жаждущее творческого выражения православия. Однако, мы

не думаем, чтобы русская церковь уже в ближайшие годы могла поднять на себе всю русскую культуру. Для этого у нее, прежде всего, мало и материальных возможностей. Но гораздо важнее то, что в процессе русского религиозного возрождения вопросы духовной жизни занимают и будут занимать первенствующее место, сравнительно с периферическими вопросами религиозно-культурного творчества. Радикализм возвращающейся в церковь интеллигенции – новая фаза старого русского радикализма – в соприкосновении с упадочническим обскурантизмом старой церковности – создают неблагоприятные условия для православного творчества. Революционная эпоха резко обрывает русский православный ренессанс начала XX века. Лишь следующее церковное поколение, свободное от революционного шока, сможет найти в себе душевное спокойствие, вкус и досуг для культурной работы.

Остается государство, на которое вторично, как в XVIII веке, выпадает задача воссоздания русского культурного слоя. Конечно, и государство не может идти в разрез с общим потоком народной жизни. Оно получает в наследство от большевизма две задачи: удовлетворение разбуженного культурного голода народных масс и организацию технической культуры, столь необходимой для восстановления национального хозяйства. Мы не останавливаемся на этих задачах, потому что они самоочевидны. Они будут выполняться «самотеком», не требуя особых творческих усилий. Для многих ими и исчерпывается русская пореволюционная культура. Такой, думается будет внешний показной фас России: России официальной, России демократической, России-Америки. И однако государство обязано взять на себя и третью задачу – ибо кроме него взять ее некому – сохранения высших форм национальной культуры. Трудность заключается в том, что здесь придется преодолеть немалое сопротивление со стороны низов. Для русского крестьянина, даже для рабочего непонятна ценность Эрмитажа, государственных театров... В голодные годы продажа картинных галерей была очень популярным низовым лозунгом. Будущее государство русское должно будет поставить перед культурным народничеством великодержавное призвание России, имеющее свое единственное оправдание, как и всякое великодержавие, во вселенском значении русской культуры.

Первая задача организации пореволюционной культуры – воссоздание культурного слоя в России – разрешима лишь через школу. Но общая народная школа, открытая революцией для низов, долго еще не сможет подняться над уровнем рабочего техникума. Для обеспечения непрерывной работы в области духовной культуры необходимо воссоздание разрушенной системы гуманитарного воспитания и гуманитарных наук. В университете это означает восстановление историко-филологического и юридического факультетов, в строе народного образования – гуманитарной классической школы. Классическая школа была непопулярна в России, и ее широкое воскрешение будет непонятно, да и не нужно для демократии. Более того, оно будет вредно, как вредна была толстовская школа, профанировавшая утонченную культуру гуманизма. Классическая школа в России, еще в большей мере, чем на Западе, должна быть школой элиты, рассадником культурного меньшинства, которым творится национальная, зиждущая на исторической традиции культура.

Эта элита не может быть уже ни сословной, ни классово-цензовой. Единственным исходом было бы создание привилегированной (в смысле академическом), обеспеченной государственными стипендиями классической школы для избранных, лучших учеников народных школ. Через них интеллектуальный отбор демократии, с заметной прослойкой старой и служилой интеллигенции, явился бы питомником университета. Таких школ Россия может создать очень немного, на первых порах, может быть, всего две: по одной в Москве и Петербурге. Иначе неизбежно снижение качества, растворение в пошехонском море.

Наша задача сейчас создать небольшой, но мощный, прекрасно вооруженный штаб для завоевания Пошехонья. Разжижить, обескровить первый призыв – значит подорвать его творческую активность, – в конечном счете, и его педагогическое влияние. В первых школах воспитываются не народные учителя, а учителя учителей. Лишь второе или третье поколения донесут плоды новой гуманитарной школы до деревенских изб.

Много споров вызовет характер этой новой гуманитарной школы. Здесь столкнутся все течения, разделяющие ныне русское национальное сознание. Вопрос о направлении школы

непосредственно отражает всю проблематику русской историософии. Вне спора остается национальная традиция: в истории, литературе, искусстве. Спорной – ее вселенская ориентированность: греческая, латинская или восточная. По нашему глубокому убеждению, греческая школа является единственно верной русской идее. Наше христианство, наше средневековье ответвляется от греческого ствола, как католический мир от Рима. Платон живет в русской философской мысли, доселе определяя ее, а приоткрывшаяся нам глубина до-сократовской Греции волнует созвучием древнеславянской душе. Живой, неотвлеченной может быть в России лишь школа, построенная на Эсхиле и Платоне, с просветами в Византию и классиков христианской патристики. Латинский мир не исключается совершенно, но получает приличествующее ему вторичное значение. Проблемы Востока, столь важные в грядущих судьбах России, находят свое освещение на уроках землеведения и истории, но проект евразийцев извратить русскую идею путем ориентализации школы должен быть отвергнут.

Общая народная школа сохранит сообщенный ей революцией реально-технический характер, с заменой идеологических элементов материализма и марксизма основами национального воспитания. Их сочетание с реальной программой представляет новое задание для русской педагогической мысли, доселе строившей национальное воспитание лишь на гуманитарной основе. Вопрос о религиозном воспитании гораздо сложнее. Бесспорно, школа должна предоставить для него возможности, но сама еще не может быть на нем построена. Этому препятствует, как отсутствие религиозно мыслящего учительства, так и глубокий религиозный кризис народного сознания.

Гуманитарная средняя школа питает гуманитарные факультеты. Университет системой экзаменов замыкается от захлестывающего варварства, системой стипендий (положительная сторона советского Вуза) обеспечивает приток в высшую школу из демократических низов и остатков старой интеллигенции.

От университетских кадров к организации преподавания: здесь возникает в новой постановке национальный вопрос. Чрезвычайно велик соблазн использовать университет для национализации культуры. Большевики принципиально отрицают за высшей школой значение лаборатории чистого знания,

оставляя за ней лишь педагогические и социально-технические функции. Фактически, путем понижения уровня, им удалось в значительной мере изгнать науку из университета. Необходимость широкой чистки личного состава в оставшемся после большевиков хозяйстве сама по себе может соблазнить к заполнению кафедр стопроцентными патриотами. Современная доктрина: «Наука делается в Главнауке, а Вузы лишь популяризируют ее», может найти очень много последователей в национальной России. Послевоенное поколение не понимает смысла культуры, и политическая благонадежность может очень легко заменить ученые степени. Отсюда угроза науке, как служению истине, угроза культуре, как сложному многоединству.

Против этой опасности должна возвысить голос вся культурная элита страны. Политические разногласия не должны мешать образованию единого культурного фронта. Ясно, что в политической борьбе, в эпоху переворотов, фельдфебель в университете, то черный, то красный, но всегда по существу тот же самый, не щадит ничего. Но и никакие юридические, никакие конституционные гарантии не спасут от него, если не будет создано независимого голоса «элиты». Свободная наука может попираться и диктатурой, и демократией, может попираться и самими учеными под флагом автономии. Только культура может спасти культуру. Только реакция стыда и негодования может помешать власти заполнить своими креатурами все ответственные посты в организации национальной культуры.

Разумеется, идея национальной культуры требует учреждения и государственной оплаты определенных кафедр, может быть, и несуществующих с точки зрения международной. Но мировая республика ученых существует лишь как федерация национальных организмов, и Rossica[2] представляет особый научный мир, недостаточно признанный в старой, на Запад ориентированной России. Установление границ и распорядка этого мира есть задание самой русской науки и не может быть предвосхищено государством.

Следует определенно сказать: государство не призвано к высшему руководству в творчестве национальной культуры — хотя бы потому, что само содержание этой культуры не подлежит его ведению. Это содержание всегда остается не данным, а

искомым, ибо национальная культура не есть завещанный предками мертвый капитал, а живая творческая сила, создающая новое, еще не бывалое, еще не расцененное. Какими критериями располагает государство для определения того, что национально, и что относится к культуре? Живая национальная идея в своем росте нередко впитывает в себя то, что вчера казалось антинациональным. И то, что вчера казалось апробированной культурой, сегодня — в мусорном ящике. В высших вопросах духа призвано решать лишь избранное меньшинство. Но и оно не обладает непогрешимостью, и его communis opinio[3] вырабатывается в процессе борьбы и общих исканий. Настоящая свобода возможна при условии уважения к этому меньшинству и самоограничения меньшинства.

Но, оставляя за государством лишь роль технического организатора культуры, на кого возложить выполнение необходимой послереволюционной задачи, которую мы определили, как «выпрямление духовного вывиха нации»?

Мы стоим перед фактом духовного искалечения народа, искусственно питаемого фальсифицированными продуктами или определенными ядами. Предоставить лечение времени? Но это все равно, что предоставить времени воспитание беспризорных. «Время» движется, как старинный дилижанс, по сравнению с темпами нашего века. Исторические сроки России отмерены строго и скупо. Мы не можем ждать.

Задача воспитания — национального, культурного — народных масс сама собой падает на плечи русской интеллигенции, т. е. свободно организованных культурных сил нации. Даже большевизм, обладающий всею мощью государственного аппарата, свой аппарат агитации создает отдельно от него — в партии, в «Союзе безбожников» и проч. В этой полусвободной «советской общественности» заключается огромное преимущество коммунизма, по сравнению с классической неуклюжестью полицейского государства. Но лишь отказ от монополии культурной работы обеспечивает общественным организациям необходимую им внутреннюю свободу.

Должна быть создана «Лига русской культуры», как свободный союз, поставивший себе целью пропаганду русской идеи в массах. Именно «Лига», а не государственная полиция может осуществить ликвидацию духовного наследия большевизма. Но

борьба с марксизмом, с привычками классового мышления – является лишь отрицательной ее стороной. Положительные задачи Лиги – в изучении России, историческом, художественном, этнографическом, в постановке перед массами русских проблем, в воспитании культурной национальной традиции. Эта Лига должна объединить разрозненную деятельность разбросанных по всем уголкам России «краеведческих» обществ, собрать культурных одиночек, еще не расплющенных большевистским молотом. Она обеспечит провинцию разъездными лекторскими силами, дешевой народной литературой, поможет организации народных университетов и вообще дела внешкольного образования. Она поставит в центре издание органов, объединяющих всю эту национальную педагогическую работу.

Необходимым условием работоспособности Лиги должен быть широкий идеологический фронт ее. Все национально годное для строительства новой России должно найти место в ее рядах. Это значит, что она должна сохранить нейтралитет по отношению ко всем острым политическим проблемам. Если это не удастся, если различные течения русской мысли будут пытаться создавать свои самостоятельные аппараты для организации русской культуры, то это будет означать срыв гражданского мира, столь насущно необходимого после революции, и вместе с тем – для государства – необходимость рокового выбора между разными схемами национальной мысли.

Для государства, говорим мы, ибо Лига (или Лиги), в послереволюционных условиях, может работать лишь в тесном сотрудничестве с государством и с материальной его помощью. Духовным источником ее должен явиться свободный национальный подъем, вольное горение русской идеи. Но в разоренной, социально обезличенной России, в этом эгалитарном царстве нищих только государство обладает экономической силой, необходимой для всякой крупной организации. Возможные силы частного капитала, естественный питомник меценатства, на первых порах лишены национального лица. Вот почему (и это одно из многих оснований) интеллигенция должна отказаться от старой брезгливости к тому, что связано с государством. Государство есть форма народной воли, русской воли. Служба ему, жалованье его несравненно почетнее службы

и жалованья капитала, да еще иностранного. А вне государства жалует лишь капитал. Интеллигенция должна вернуться к традиции XVIII века, чтобы вместе с государством нести почетную службу на фронте народного просвещения.

И однако, сказанное выше о непригодности государства к организации культуры остается в силе. Таким образом создается жизненное противоречие: государство, поддерживая материально национальную работу интеллигенции, не имеет права вмешиваться в нее по существу. Таково, действительно, идеальное решение, которое требует большого самоограничения обеих сторон: для государства – отказа от идеологических притязаний, от всякой идеократии, софократии[4] и прочих видов лжетеократии; для интеллигенции – установления широкого идейного фронта и величайшей осторожности (воздержания) по отношению к чисто политическим и социальным задачам государства.

«Лига русской культуры» призвана к выполнению того национального дела, которое в странах фашистской диктатуры (или в идеологии евразийства) выпадает на долю партии или «отбора». Не стать партией, сохранить должную дистанцию от государства, при лояльной верности ему – это значит спасти свободу культуры. Дело это требует большого такта и жертв, к которым мы не приучены историей. Переработка всего духовного облика интеллигенции для этого необходима. Если ее не будет, Россия будет сменять одну «идеократию» на другую, проматывая последние рубли своего культурного достояния.

Если удастся сохранить свободу, то будущее русской культуры нам не представляется мрачным. Можно верить в природную талантливость, в нерастраченность сил великого народа. Революция впервые эти силы актуализирует в небывалом размере. Сама огромность вовлеченных в культурное движение масс создает исключительные условия качественного отбора. Нужно помнить лишь одно: в экономии сегодняшнего дня первоочередной задачей является не дальнейшее накопление сырого культурного материала, а воспитание меньшинства, способного его переработать. В организации культуры национальная задача параллельна задаче хозяйственной: там воссоздание и воспитание класса предпринимателей, здесь воссоздание, на новых духовных началах, русской интеллигенции.

6. Церковь

О Церкви в новой России можно говорить в двух планах. Рассматриваемая извне, это частная тема — тема об отношении государства к православным культовым организациям. Взятая изнутри, т. е. по существу, это тема безмерная, тема вселенская, в которой скрыто решение и всемирно-исторических судеб России. Минимализм и максимализм одинаково уместны в отношении к церковной проблеме. И, что особенно значительно, — между обеими установками нет зияния: это единственная сфера реальности, где малое, земное, человеческое соединяется с величайшим, небесным и божественным. Поэтому лишь здесь дано преодоление старого русского противоречия: между бескрылой практичностью и утопической беспочвенностью.

а) Государство и церковь.

Еще не закончено трагическое развертывание революции. Еще мы не знаем, где остановится ее богоборческая ярость. Будут ли закрыты все храмы в России и уничтожен публичный культ, как это намечено пятилеткой «безбожников»? Или экономизм большевиков возьмет верх над их изуверской теологией и заставит их остановиться перед тем, перед чем не отступили чистые теологи якобинского руссоизма.

До сих пор можно лишь констатировать: 1) Революции удалось оторвать от религии широкие массы, воспитав религиозный индифферентизм в большинстве и выковав активное богоборчество в ничтожном численно, но весьма энергичном меньшинстве. 2) Революции не удалось уничтожить православной церкви, которая в гонениях проявила большую духовную силу и способность к творческому возрождению. 3) Революции удалось расколоть православную церковь на несколько — около десятка — организаций, при наличии многомиллионного и растущего сектантского движения в народных низах. Этого достаточно, чтобы сделать невозможной — разумно и серьезно — в пореволюционной России государственную церковь. Лишь политическая реставрация могла бы произвести этот эксперимент, одинаково роковой и для церкви и для государства. Внутренний религиозный опыт, выстраданный русской

церковью, заставляет ее дорожить свободой от государства. Этот принцип, еще недавно бывший лишь доктриной либеральной богословской школы, теперь завоевал признание в мистическом сердце церковности. Еще на периферии, и притом либеральной периферии (парадокс истории) сказываются соблазны огосударствления церкви: ее перекраски в защитные революционные цвета. Но путь патриарха Тихона – т. е. основное русло православной церковности – пролегает посредине между староверием православного самодержавия и обновленчески-сергианским оппортунизмом революционной синодальности. Нет сомнения, что прекращение религиозного террора и связанных с ним искушений (банька 40 мучеников[1]) будет означать победу «аполитической» церкви.

Перед этой церковью открывается эпоха трудов и подвигов. Медленное завоевание народных масс потребует серьезной научной культуры и совершенной перестройки пастырского миссионерского аппарата. Раскаленные добела мистические энергии ждут новых форм церковно-социального служения: новых братских и орденских организаций социального монашества. Наконец, изживание расколов возможно лишь в опыте истинной соборности, предполагающей большую широту духовных течений, поскольку они не разрушают единства церкви и ее православного исповедания. Мистики и рационалисты, реакционеры-романтики и либералы-модернисты могут и должны вести свою борьбу на паперти общего храма. Только литургическое общение спасет от образования новых, как мистических, так и рационалистических сект, слагающихся уже на основе богословской культуры и потому более опасных для церковного единства. Без государственного принуждения, привычного в течение веков, и без монархического папизма, строение церковного единства представляет постоянную и трудную задачу, настоящий подвиг соборности, к которому призвано ныне русское православие.

От нового государства церковь вправе ждать лишь признания ее свободы. Значит ли это, что и отношения выльются непременно в классическую форму «отделения церкви от государства»? Эта формула может покрывать самое разнообразное содержание: от скрытого или открытого гонения на церковь (Франция, СССР) до тесного сотрудничества (Америка). В России

нет политической почвы для антиклерикализма. Православие уже доказало, вопреки 1600-летней традиции, свою способность примиряться со всевозможными формами власти. С другой стороны, всякая власть, дорожащая национальной культурой, не может отталкивать церковь — в России хранительницу самых чистых и глубоких национальных традиций. Отсюда основания надеяться, что свобода церкви в грядущей России не будет свободой изгоев и изгнанников. Государство имеет возможность, не изменяя своей религиозной нейтральности, оказывать церкви серьезную поддержку: путем обеспечения религиозного (факультативного) преподавания в школе — для всех исповеданий, — путем материальных затрат на содержание храмов, признанных исторической и художественной ценностью, без профанирующего обращения их в музеи. От дальнейшего на первых порах лучше отказаться: субсидии обязывают и связывают. Церковь, политически лояльная по отношению к государству, должна сохранить перед ним независимость своего нравственного суда.

Здесь открываются пути для медленного, молекулярного срастания православной церкви с тканью нового демократического общества. Священники-кооператоры и деятели профессионального движения, епископы-ученые заполнят ров между церковью и миром. Россия приучится видеть в рядах церкви лучшие кадры своей интеллигенции. И Церковь благословит народ трудящихся и его власть, как благословляет она всякую плоть человеческую, и всякую душу, не противящуюся Христу. Ее высшим удовлетворением будет видеть своих сынов правителями России, мужественно исповедующими свою личную веру, задолго до того, как крест осенит Россию, и купол Церкви покроет ее культуру.

б) Церковь и Россия.

Россия без креста, Россия — географическое место борьбы религий и сект, — ни один православный человек не примирится с этим. То, что кажется нормальным в самой ненормальной из цивилизаций — вавилонское смешение языков — для нас нестерпимое уродство, тяжелый недуг вырождения. Мы жаждем целостного единства жизни и творчества. Нас мучит мечта о

всенародном действии, о внехрамовой литургии, которая творится царственным священством христианской нации. Мы видим ангела русской церкви в разодранных ризах, безутешного о погибшей красоте, и спасение остатков не примирит нас с отступничеством избранного народа.

Послереволюционная Россия – отяжелевшая, грубая, вся в алчности земного хлеба и в гордости земного могущества – Россия тракторов и пушек не может быть страной великой культуры. Сейчас бессмысленны мечты о перевале за исполинский хребет XIX века. Русский XIX век надолго останется непревзойденной вершиной нашего классицизма. Толстой, Достоевский, даже Пушкин были голосом христианского тысячелетия. За их личной гениальностью стоял углубленный и просветленный христианством гений народа. Так ощутима крестьянская (= христианская!) деревня за графом-мужиком Толстым и монастырь за грешным Достоевским. Не в занятии сельскохозяйственным трудом и не в близости к земле-природе смысл народничества, как религиозной категории. Смысл его в народном массиве, хранящем память о древней правде и красоте. Европа этот массив давно разрушила, и крестьянин обернулся в ней «аграрием». В России он разрушен с революцией. Теперь у нас нет «народа», как нет интеллигенции. Остались «хлеборобы», «работники земли и леса», забывшие все начисто, tabula rasa для сельскохозяйственной арифметики.

Где, откуда на этой убогой земле подняться национальному гению? Не заменит его и изощренность мастерства, искушенность культурной традиции, чем живет Запад: Россия порвала все традиции, кроме традиции презрения к мастерству.

В России есть лишь один центр для духовного собирания народа. Есть сердце России, и пока оно не перестало биться, нельзя говорить о смерти нации. В Церкви, сжавшейся, сдавленной в темной, подземной темнице, сохранились огромные, еще небывалые духовные силы. Они ждут своей актуализации. Придет пора, когда эта актуализация предстанет для них не в личном подвижничестве, а во всенародном служении. Это будет началом воскресения России.

Потеря «христианского народа» имеет и свое положительное значение. Благочестивая старушка перестает быть идеальной представительницей православного мирянства. Вместе с ней

отпадает и бесхитростная установка на темноту. Христианство снова становится — как в Киеве и в Москве, как в Византии и в Риме — религией духовной аристократии. Творящие культуру слои освящают ее в купели мистерий, и оттуда воды ее текут до самой глубины народной жизни. Восстанавливается истинная иерархия духовного творчества нации. Вместе с прекращением рокового разрыва между «духовной жизнью» и «духовной культурой» создаются предпосылки для оцерковления культуры.

Оцерковление культуры — эта наша христианская утопия, которую мы противополагаем всевозможным утопиям современности. Все остальные утопии реализуются в ней.

Оцерковление для нас — не подчинение внешнему авторитету Церкви. Оно есть осуществление религиозно-культурного единства, при котором Церковь не противостоит культуре, но творит ее в своих недрах. Это понятие не отрицательно-ограничивающее, но творчески-положительное. Его предпосылкой является не только признание миром религиозной правды Церкви, но и пробуждение в Церкви творчески-культурных сил. В этой утопии находят свое утоление и тоска художника по едином монументальном стиле, немыслимом вне религиозной цельности, и тоска ученого по синтезе рассыпающейся груды наукообразных конструкций. Лишь в этой утопии вавилонская башня культуры становится храмом, оправдывающим свое священное имя (Bab-El). Купол святой Софии, как земное небо, спускается на исполинские столпы вселенского храма. А вокруг храма уже видны очертания нового града — христианской общественности.

Два недуга, которыми больно человечество — иные думают, смертельно — ненависть классов и ненависть наций — принципиально разрешимы лишь на почве христианства. Не капитализм, т. е. анархия личного произвола, и не коммунизм, т. е. деспотия общества, а искомое и трудно определимое равновесие личных и коллективных хозяйственных воль. Кто же будет арбитром между личностью и государством? Нельзя сомневаться, что одним из существенных факторов решения социального вопроса является психологическая установка — на личность и общество одновременно. Но лишь в христианстве возможно парадоксальное равенство: часть = целому. И лишь в православии — о, конечно, в возможности — даны предпосыл-

ки соборной общественности. Достоевский был прав, говоря, что Церковь – это наш русский социализм, – прав, в смысле предвидения грядущего. Тщетно многие обращаются к современной России за решением социальной проблемы: для этого в ней отсутствуют и материальные и моральные предпосылки. Но невозможное сегодня отодвигается в будущее. Из обломков коммунистической и капиталистической стройки медленно воздвигнутся стены христианского града.

Современное язычество с его самодовлением национальных культур делает невозможным сожительство и сотрудничество народов. Война в христианстве – по крайней мере, война между христианскими народами – всегда остается делом грешным и постыдным. В нашу историческую эпоху – на другой день после мировой войны – раздался явственно голос христианских церквей о давно утраченном единстве. Но католичество, в самом имени своем несущее обетование единства, не может осуществить единства в свободе. Православие оказывается и здесь центральным материком христианского мира. Между ним и протестантизмом уже устанавливается единство, если не веры, то любви. Православие уже не хочет уступать протестантизму духовной свободы, но показывает ему возможность духовной общественности. Проблема соединения церквей необычайно трудна, но сближение церквей, практическое единение христианства становится в порядок дня.

За расколами христианского мира встает во всей своей остроте великий спор между Востоком и Западом. Восток, начавший в наших глазах эпопею своих освободительных революций, скоро вступит в эру завоевательной экспансии. Россия, его ближайшая соседка, Россия, насыщенная восточными влияниями, становится призванной посредницей между Азией и Европой. Она имеет все основания смотреть с сочувствием на освободительное движение великих древних народов. Она может обильно и без вреда для себя черпать в сокровищнице их культуры. Но она не предаст христианства и духовного первородства эллинства, которым она усыновлена. Если христианству, освобожденному от позорной связи с колониальными злодеяниями белой расы, суждено вырваться из роковых границ грекоримского мира, то православие, конечно, всего ближе миру Востока. Византия так много впитала в себя этого Востока,

задолго до вторичной ориентиализации Московского царства. Древняя славянская мечта об Индии — мечта русских былин и сказок — осуществится не в виде новой, третьей по счету Индийской империи, а в виде новой индийской Церкви, в которой воскреснет почти угасшее христианство ап. Фомы. В свете нового возрождения — возрождения Востока, — не мечтой, а точным историческим фактом становится центральное положение России в мире. В наше время неслыханных исторических унижений, пред лицом национального отступничества России, снова раздаются голоса о ее христианском призвании. Мессианская идея — ветхозаветно-реакционная — не имеет права на бытие в христианстве. В православии особенно раскрывается идея христианского призвания всех народов и их соборного единства, исключающего подчинение: и Риму, и Царьграду, и Москве. Но остается объективная истина особой тяжести служения, возложенного на Россию, и — в прошлом — щедрости ее даров. Нельзя только забывать об отступничестве России и вытекающей из него утрате харизм. Лишь через длительное очищение, через суровую аскезу смирения (мессианство — гордыня) лежит путь к земле обетованной. Лишь с этим условием чаемая нами утопия перестает быть мечтательной и вредной.

И в самой смелой из утопий нельзя забывать об иерархии состояний, о годах духовного роста. Оцерковление культуры, к которому мы стремимся, многие именуют православной теократией. В понятии теократии на первый план выдвигается идея христианского государства или христианской власти. И вот здесь необходимо сказать со всей решительностью и силой: да, государство подлежит оцерковлению, но государство есть последнее, что подлежит ему. Из всех культурных сфер государство столь тяжко насыщено грехом, столь несомненно несет на себе печать основателя-Каина, что реальная христианизация его встречает наибольшие трудности. Мнимая же или словесно символическая его христианизация, ощущается современной христианской совестью — более чуткой, чем совесть предков — как невыносимое лицемерие. Нет более страшной мысли, чем та, что Христос, распинаемый в России большевиками, будет распинаться в ней православным царем. Дело не в том, что христианская теократия предполагает невозможное состояние безгрешности. Но она во всяком случае предполагает такую ие-

рархию ценностей, при которой все земное подчиняется Царству Божию. Совершенно ясно, что душа человека, его мысль, его творчество, его трудовая жизнь должны прежде получить помазание Церкви, — лишь тогда будет благословен и его меч, которого он не может обнажить в порядке природном без страсти и злобы.

Но в плане утопии, в которой нет счета ни поколениям, ни векам, можно мыслить — и должно мыслить — христианскую Россию, Россию правды и свободы, которая достойна быть увенчана православным венцом. Незачем думать, что этим венцом может быть лишь царская корона. Если грядущая Россия будет страной народовластия, то она найдет церковные формы его освящения. Как древний Израиль, как православный Новгород, Россия может осуществить народную теократию. Всенародность государственного служения раскроет себя, как выражение церковной соборности. Весь народ будет увенчан и помазан в лице своих вождей и судий. Но здесь порог, у которого останавливается и самая смелая из утопий.

Падение советской власти

Над книгой С. Дмитриевского

«Советские портреты» С. Дмитриевского[1] должны составить эпоху в зарубежной политической литературе. Впервые раздвинулись перед нами кремлевские стены, и мы увидели актеров русской революционной трагедии в их подлинный рост. Под маской героев С. Дмитриевский показал нам деловитых «сановников», уже страдающих от ожирения, но уверенных в своих силах, способных, волевых, но живущих в мире ведомственных дел, подобно министрам старого режима. Спрашиваешь себя, да какую же роль играет марксистская догматика в работе этих дельцов, столь трезво учитывающих и обстановку, и человеческий материал? Порой начинает казаться, что эта роль соответствует православной и славянофильской идеологии, которая когда-то могла вполне искренне заполнять сознание сановников самодержавия, мало отражаясь на текущей бюрократической работе. Как и тогда, основное направление этой работы предопределено историей. Там – охранение империи, здесь – охранение ленинской революции, которое оказывается возможным лишь на путях ее дальнейшего углубления. Читая очерки Дмитриевского, скорбно убеждаешься, как сильно мы грешим, переоценивая процесс коммунистического вырождения. Будь сталинцы людьми термидора, насколько безболезненнее проходил бы спуск революции. К великому несчастью России, она управляется не жуликами. Слово «идеалист» еще менее к ним подходит. Но, может быть, правильнее всего было бы назвать их идеологическими дельцами. А эта порода всего опаснее. Из книги Дмитриевского мы неожи-

данно узнаем, что все «молодые» вожди сталинской эпохи — с довоенным партийным стажем. Пусть это самые последние призывные года старой гвардии, но до сих пор еще бывшие подпольщики правят Россией. Характерно указание, что в бытовом обиходе Кремля и в моральных вопросах партийцев старые большевички из ленинской эмиграции — авторитет, с которым все считаются. И это несмотря на политическое поражение всех ленинских соратников! Партия все еще сохраняет свою сектоподобную монолитность, которой не разрушил режим личной деспотии Сталина.

Впечатление огромной силы власти, еще не растраченной к 15-му году революции, выносишь из этой книги, — впечатление дополняемое изображением чудовищной организации ГПУ. Распыленное, деморализованное страхом и голодом население, и над ним несколько миллионов властвующих, подчиненных строгой иерархии партии и ее вождей, — картина, от которой сжимается сердце за русский народ и его будущее.

Сам автор от пессимизма весьма далек. Железная машина власти изображается им с большим пафосом: автор, очевидно, принадлежит к очень распространенному ныне типу людей, которым импонирует всякая власть. В предисловии он с неожиданным для вчерашнего большевика восторгом рисует царскую власть в России. Аракчеев и Победоносцев принадлежат к числу его героев. Но С. Дмитриевский, конечно, враг коммунизма. Он верит в национальную Россию, в ее освобождение от коммунистического ига. В статье своей в № 3 «Утверждений» он призывает зарубежную молодежь к активной борьбе за свержение власти, к образованию национально-революционной партии. Кажется, мы присутствуем при образовании нового типа — несомненно, «пореволюционного» — активизма в эмиграции. До сих пор эмигрантский активизм был уделом ископаемой политической формации. Безумное геройство слепцов, если не могло нанести России существенного вреда, то все же отдаляло, в меру слабых их сил, ее освобождение. Новая национально-революционная партия еще не сложилась. Она еще может отлиться в разные формы. Хотим надеяться, что она не поддастся соблазну «социальной монархии» Дмитриевского или младороссов. Но, помимо верно найденной политической программы, успех ее будет зависеть от правильно избранной

тактики. Быть может, даже в большей мере от тактики, — ибо для разработки программ будет еще время — в России.

Не думаю, чтобы тактический путь для самого Дмитриевского уже определился. Но его книга дает много данных для уяснения политического пути России.

Было бы слишком смело сказать, что этот путь ясен для нас. Россия все еще скрыта отсюда в грозовых тучах. Все, что мы можем, это отдать себе отчет в направлении еле видимых дорог. Выбор между ними, связанный с большим риском, дело личной ответственности. Мы хотели бы установить лишь известные необходимые предпосылки для тактического самоопределения всякого нового активизма. Само собой разумеется, что эту политическую разведку автор предпринимает на свой страх и риск, снимая с близкого круга «Нового Града» ответственность за предлагаемые им оценки и перспективы.

Старые понятия, которыми оперируют до сих пор зарубежные тактики, явно непригодны и вносят путаницу. С одной стороны, это классическая «революция-эволюция», с другой «народ и большевики», или «народ и власть».

Стало как-то уже неловко, после стольких разъяснений, настаивать на том, что эволюция и революция не исключают друг друга. Что революционный взрыв может быть завершением эволюционного процесса, а эволюционный процесс, при достаточной углубленности, может означать, по своему социальному смыслу, настоящую революцию. И что такое революционный взрыв: всенародное восстание? военный бунт? дворцовый переворот? Все эти возможные завершения или этапы борьбы не исключают друг друга. В современном состоянии политической омертвелости России едва ли и время спорить о конкретных политических лозунгах. То обострение диктатуры, которое придал ей Сталин, ее обратная «эволюция» к единодержавию как будто оставляет мало надежд на постепенность спуска. Трагическая судьба России вообще не обещает «тихого и мирного жития». Ее пажити и нивы все еще обильно поливаются кровью, не становясь от этого, увы, более тучными. Если под эволюционизмом понимать благодушный оптимизм, то для него сейчас нет места. Рожденный «нэпом», эволюционизм умер естественной смертью. Но еще раньше его и безнадежно умер его противник — классический революционаризм «Борьбы за

Россию», сущность которого — в отождествлении антибольшевистской революции со старыми формами революционной борьбы против самодержавия. Почему этот примитив старой студенческой «Дубинушки» не годится для нашего времени, это выяснится тотчас же, как только мы перейдем ко второй тактической антитезе: «народ и власть».

Что такое народ в современной России и что такое власть — или большевики? Как ни упростилось классовое строение общества в России после революции, как ни естественно для всякого диктаториального режима углублять разрыв между властвующими и подвластными, — все же это противоположение в строе СССР наталкивается на большие трудности. В России сейчас существуют следующие крупные социальные группы: партия, советская бюрократия, армия, комсомол, пролетариат, крестьянство, не считая слабых, побежденных или подавленных в конец обломков старой интеллигенции, духовенства и буржуазии. В этой схеме бесспорно лишь положение партии и крестьянства (власть и народ). Но где место рабочего класса — с одной стороны, экономически эксплуатируемого, с другой привилегированного и постоянно питающего правящий слой? Что такое советская бюрократия, или служилая интеллигенция, верхние слои которой совпадают с партией, а масса является и молотом и наковальней одновременно? Народ или власть — красная армия? Комсомол? Для всех этих групп характерно двустороннее насилие, пронизывающее всю социальную жизнь. Каждая из них является правящей и управляемой, палачом и жертвой одновременно. Точнее, раздел устанавливается по линии личной активности или личной бессовестности. Хищные успевают уменьшить давление на себя сверху и расширить за счет низов поле своей активности. Только слабые не умеют переключить поражающего их разряда тиранической воли. Но слабые и не идут в счет. Даже в крестьянстве возникают, по личным и случайным признакам, группировки — ячейки, коллективы бедноты, советский аппарат, — которые успевают на время схватить в свои руки топор диктатуры. Даже среди в конец раздавленных представителей истребляемых классов — старой интеллигенции и духовенства — предательство, связь с ГПУ облегчает для многих этот уход из «стана погибающих». Иные академики или вожди

церковных обновленцев явно приобщаются харизме революционной власти.

Именно этой социальной структурой диктатуры объясняется ее необыкновенная живучесть. Властители и подвластные не разделены никакой резкой чертой. Сама принадлежность к партии не означает непереходимой черты, ибо наивно думать, что в партии собраны одни марксисты и ученики Ленина. Переход или падение по ту сторону черты возможны для каждого, в любую минуту. Правда, для большинства ценою низости: лжи, подхалимства, предательства. Но в России — социально-активной — на 15-й год революции низость считается ни во что. Вот почему в России так трудно представить себе восстание «народа» против «власти», даже отвлекаясь от страшной сети ГПУ, делающей невозможной организацию массового действия. Всегда возможны стихийные вспышки масс, крестьян и рабочих, доведенных до отчаяния голодом и грабежом. Но разрозненные восстания эти неизменно подавляются или успокаиваются, и никогда не поднимаются над конкретной злобой дня до политического антисоветского движения.

Значит, безнадежность? Длительное гниение России, ее духовная и политическая смерть?

Нет, ибо этот пессимистический вывод вытекает с необходимостью лишь из неизжитых революционных иллюзий. Нужно помнить, что контрреволюция, или, точнее, спуск революции совершается по совершенно другим законам, чем подъем революции, или ее взрыв.

Контрреволюцию делает не народ, а вынесенные на гребень революции новые сильные классы. Волны народных движений на ущербе революции скорее стимулируют и ускоряют, чем определяют процесс образования новой власти. Это не доктринерское обобщение из французской истории. Это опыт самой русской действительности. Давно уже массы в России не пробуждаются из состояния политической пассивности, и единственные революционные (контрреволюционные) движения, которые мы имеем возможность наблюдать, выходят из недр самой коммунистической партии: троцкисты, Сырцов, Рютин[2]...

В эпоху Нэпа могло казаться, что движение возьмет в свои руки новая буржуазия, опирающаяся на крестьянство. Тогда мог представляться естественным буржуазный спуск русской

революции. Сталин вовремя парировал эту опасность. Уничтожение буржуазии и крестьянства — частно-хозяйственного сектора страны — и составляет политический смысл пятилетки. Но уничтожение буржуазии означает разбухание государства, ибо строительство социализма в России есть строительство государственного капитализма. Аппарат государства, могущественная бюрократия вырастает на месте исчезающих частнохозяйственных сил, и предъявляет свои права.

Активная, правящая Россия наших дней слагается, под режимом личного самодержавия, из трех социальных групп: партии, советского аппарата и комсомола. Эти три группы теснейшим образом связаны между собой. Комсомол пополняет ряды партии и бюрократии. В советском аппарате все ответственные посты заняты коммунистами. И тем не менее эти группы различны по своей духовной и общественной установке. Их возможное расхождение реально и означает «падение советской власти».

Психологически резче всего черта, отделяющая молодежь от партии и советского аппарата. По одну сторону идеалисты, по другую — дельцы. Идеализм советской молодежи нельзя понимать, конечно, в моральном смысле, хотя некоторые весьма высокие моральные качества в ней присутствуют: мужество, дисциплина, преданность «общему делу». Эти качества, связанные с отрицанием личной чистоты, правдивости и человечности, создают скорее военный тип общественного служения. Идеализм же комсомола выражается всего сильнее властью идеи над сознанием, зачарованностью, заполненностью этой идеей вплоть до потери личной мысли и личной совести. Как бы ни было велико число беспринципных карьеристов в комсомоле, в России это сейчас единственный слой, являющийся носителем «идеократического» сознания.

Мы предполагаем, что в партии процесс выдыхания революционного энтузиазма уже завершился. Книга Дмитриевского подтверждает уже не новый диагноз. Это не значит, конечно, что партия не верит в революцию и социализм, но для большинства ее членов революция и социализм уже слились с охраной достигнутого. Они могли бы сказать, да и говорят почти дословно: «Революция — это мы», наша партия, наша власть. Социализм — наше хозяйство. Ударение явно падает на «наше»

и «мы». Само содержание хозяйственной политики может меняться, но дело социализма и революции не погибло, пока у власти стоим «мы». «Мы» в Кремле и красный флаг над Кремлем – для них самое реальное содержание революции.

Но не противоречит ли сам размах сталинского террора, воскрешение традиций революционного коммунизма – этой предпосылке оппортунистического перерождения партии? Нет, ибо жестокость борьбы с целым классом, с крестьянством, составляющий смысл нового сталинского режима, только подчеркивает тот факт, что борьба ведется за самосохранение партии, не желающей растворяться в мелкобуржуазном русском море. Оппортунизм партии – коллективный, а не личный оппортунизм.

Те же самые партийцы, становясь во главе государственного, «советского» аппарата, начинают увлекаться совершенно иным потоком жизни. Интересы дела мало-помалу уже превалируют над директивами партии. Для красного директора, поставленного во главе фабрики, поднятие ее производства становится самой жизненной задачей. В борьбе за уровень он сближается с беспартийными членами, он проходит трезвую хозяйственную школу опыта и начинает проклинать идеологические директивы центра, убийственные для его дела. Командир красной армии, занятый боеспособностью своих солдат, вместе с ними возмущается колхозным террором в деревне, подрывающим революционный патриотизм крестьянской молодежи. Командир, директор, культурный работник служат, волей не волей, России и ее национальным задачам, даже тогда, когда боятся произнести эти запретные слова. Пусть не Россия, а СССР, пусть не отечество просто, а социалистическое, но оно давно уже оттеснило в сознании задачи мировой революции. В России все (т. е. все активисты) говорят о социальной революции, ждут ее, но насколько отношение к ней изменилось по сравнению с первым романтическим бредом октября! Тогда для мировой революции жгли Россию, теперь от революции ждут прибыли для России: помощи технической, помощи военной. Интернационал СССР теперь в значительной мере стал формой русского империализма.

Основной стержень книги С. Дмитриевского – в остром противопоставлении двух типов на верхах правящего класса:

марксиста – революционера и государственника – строителя. Мы не в состоянии проверить точность его индивидуальных характеристик. Возможно, в них много преувеличений, перерисовок и даже личных счетов. Но основной водораздел, думается, намечен правильно. Ясны и вытекающие отсюда политические выводы.

Противоречие национальных и партийных задач, обостряясь, является источником внутренней борьбы в партии, неизбежно подкапывающей диктатуру. В этой борьбе обе правящие группы опираются на разные слои населения. Государственники на хозяйственные слои: на технических спецов, рабочих и крестьян. Революционеры на полицейский аппарат и – комсомол.

В самом деле, комсомол сейчас единственная идейная сила, питающая революцию. До сего времени на молодежь опирались все левые уклонисты, т. е. доктринеры, жаждущие раздувать потухающий костер. Это естественно. Молодежь наиболее оторвана от жизни, наиболее доступна радикальной доктрине – в единственно возможной ныне форме революционного марксизма. Марксизм все еще соблазняет ее логической прямолинейностью своих конструкций, беспощадностью своих жизненных приложений. Насиловать жизнь, ломать ее во имя стройки будущего социалистического рая – это дело ей по вкусу и по плечу. В этом она продолжает старую русскую традицию, абсурдно обостренную падением культурного уровня.

Молодежь представляет сейчас в России большую силу. Благодаря быстрой изнашиваемости людей в революции, благодаря сознательному удалению из жизни старых поколений, связанных с дореволюционным прошлым, перед комсомолом открываются широкие дороги в жизнь. Молодежь занимает ответственные посты. И пока жизнь не успела перемолоть ее доктринерства, она во всю насилует и разрушает жизнь. В этом «педократическом» характере русской революции, между прочим, таится другое объяснение ее затяжного процесса.

Доктринеры против практиков, молодежь против «стариков», комсомол против России. Между государственниками и комсомольцами еще не раскололась, но раскалывается партия, сохраняющая свое видимое единство, быть может, лишь благодаря режиму личного самодержавия.

Из этого анализа мы делаем следующий политический вывод. Всякая реалистическая национальная политика должна делать ставку на государственные и культурные силы Советской России, и свои удары направлять против носителей революционно-марксистской идеологии. Вся программа национального активизма должна быть построена, исходя из этой предпосылки. Расчет политической акции должен исходить не из смутного понятия «народа», а из реальных общественных групп в России, в которых мы видим носителей нового национального сознания.

С этой «классовой» точки зрения следует произвести смотр всем политическим течениям эмиграции. Тогда окажется, что большинство их реально, не на словах, делает ставку на доживающих в России представителей старой интеллигенции: левой или правой, в зависимости от своих собственных настроений. Непрекращающееся бегство из России представителей этой интеллигенции поддерживает в эмиграции опасную иллюзию своей связи с Россией — какой Россией? Нахождение общего языка со своими бывшими друзьями не искупает отрыва от России новой, пореволюционной, единственно активной и чреватой будущим.

Некоторые из наших течений связаны с реальными классами страны, но классами бессильными, являющимися сейчас объектом, а не субъектом истории. Таковы принципиально классовые партии «Крестьянской России»[3] и социалдемократов-меньшевиков. Влиятельная в эмиграции группа читателей «Последних Новостей» (которую я бы отличал от Р. Д. объединения[4]), в сущности ориентируется на русского нэпмана, ныне выведенного из строя.

Большинство пореволюционных течений явно ориентируется на российский комсомол. Ставка делается на его духовное и идеологическое перерождение. Перерождение это, в религиозном и национальном стиле, должно направить огромную энергию молодой России на дело национального возрождения.

Мы не отрицаем возможности идейного перерождения комсомола. Более того, на длительном отрезке времени, оно представляется совершенно неизбежным. Марксизм, особенно в его ленинско-сталинской транскрипции, настолько противоречит человеческой природе, настолько убийственно-ядовит для всех

духовных и душевных потребностей личности, что реакция против него во всяком живом организме рано или поздно наступит. Ставка на молодежь не бессмысленна. Как ставка на реальную силу, она входит в орбиту реалистической политики. Но она чревата опасностями для будущей России.

Никакие перевороты в сознании, никакое новое идейное содержание не может исправить основного психологического вывиха этого слоя: его отвлеченности, доктринерства, максимализма, жестокой насильственности по отношению к жизни и живой социальной плоти. Легко можно себе представить русскую революционную молодежь фашистской, сектантской, баптистской... но во всех своих идеологических аватарах[5] она остается непригодной для строительства России. Лишь отказ от примата идеологии (что совместимо с самой глубокой религиозной верой и с самой горячей любовью к России) сделает русскую молодежь социально годной силой. Но тогда она естественно займет место в рядах учеников, сотрудников, подлинной «смены» более зрелого и практически опытного поколения строителей.

Ставка на комсомол уместна для поклонников «идеократии», которые желали бы под новым знаменем увековечить революционный процесс в России: для всех любителей восторженного бреда, горячечного румянца и аракчеевского творчества. Всем, кто любит живую Россию, а не только русскую идею, концом революции должно мыслить конец педократии.

Новая активистская тактика эмиграции должна строиться в расчете на государственные элементы России и реальные интересы народных масс, которые ими представлены. Это не означает снижения нашего слова и дела до уровня пособников и подголосков российских партийных уклонов. Мы можем найти общий язык со служилой интеллигенцией, с советскими работниками, но не станем и искать его — с коммунистами, хотя бы оппозиционерами. И потом другое. Лишь здесь мы можем открыто защищать дело России. Там ее интересы находят двусмысленное и слабое выражение.

Если искать исторических аналогий, Россия нуждается сейчас в «Колоколе» Герцена или в «Освобождении» Струве[6], а не в новом издании «Революционной России». И «Колокол», и «Освобождение» были рассчитаны не столько на разрушительные,

сколько на творческие силы России. Они искали их в вольной и служилой интеллигенции, которая интересы родины ставила выше политической, хотя бы и трижды праведной ненависти. Пассивизм? Но Струве защищал и цареубийство! Их отличие от левых революционеров было лишь в том, что освобождение России представлялось им не как мистическое крушение «старого мира», а как отвоевание у власти прав и свобод. Падение самодержавия не означало истребления династии и всего правящего слоя. Так и падение советской власти означает не истребление созданного революцией правящего класса, а его капитуляцию перед национальными задачами страны. Неспособные к преодолению ленинизма погибнут. Оставшиеся будут выполнять веления России.

«Новый Град», № 5, Париж, 1932

Социальный вопрос и свобода

Социальный вопрос сохраняет для нас все ту же остроту, какую он имел для XIX века. Для современного общества это загадка сфинкса, не разрешить которой — значит погибнуть. Однако, со времени войны постановка его совершенно изменилась. Это изменение так значительно, что человек, социальное сознание которого воспитано в обстановке начала XX века, рискует ничего не понять в социальной современности. Во всяком случае ему надо переучиваться с азов.

Прежде всего, социализм (берем это слово в его самом широком значении) утратил весь привкус утопичности и максимализма, который превращал его в «музыку будущего». Социализм есть самый практический, очередной и неотложный вопрос современности. В эру социализма мы уже вступили, не заметив этого, как не сразу замечает путник в горах надвинувшегося на него облака. В самом деле, момент «социальной революции», грань, отделяющая буржуазное общество от пролетарского, в сознании социалистов совпадал с «завоеванием» ими политической власти. Этот момент давно уже позади нас — с тех пор, как социалисты управляют или управляли государствами половины Европы. Правда, их появление у власти почти ни в чем не отразилось на экономическом строе. Но это уже связано с огромными трудностями социального преобразования общества — трудностями, впервые открывшимися для самих социалистов. По крайней мере, в одном величайшем государстве Европы, где правят люди, свободные от этических и разумных предпосылок, социализм осуществляется всерьез вот уже

14-й год, и не один десяток миллионов людей пали жертвой этого социального эксперимента.

Вторая особенность современного социального вопроса — в том, что он по содержанию своему уже не совпадает с вопросом рабочим. Все общество в целом страдает от потрясений разладившегося хозяйственного механизма. Есть общественные группы, которые оказались беззащитнее перед кризисом, чем пролетариат. Благодаря мощи своих политических и экономических организаций, рабочий класс во многих странах застраховал себя от безработицы государственной помощью. Пролетариат уже перестал быть последним из обездоленных. Но широкие слои интеллигенции, ремесленников и крестьянства совершенно беспомощны перед бедой. И, наконец, «молнии разят самые высокие вершины». Каждый биржевой крах влечет за собою ряд самоубийств среди вчерашних властителей мира. В Америке уже открываются убежища для разорившихся миллионеров. В современных экономических бурях никто не может почитать себя в безопасности.

Если для рабочего класса социализм по-прежнему может представляться делом справедливости, и пафос равенства (ненависть к неравенству) определяет его классовую борьбу, то для интеллигенции и других слоев, вовлеченных в социальное движение, дело идет не о равенстве и даже не о справедливости, — а о существовании. Поскольку движение получает объективную идеологическую санкцию, оно находит ее не в классовом интересе, но и не в этическом требовании, а в государственной необходимости. И в этом третья существенная черта нового «социализма». Так условимся называть в дальнейшем антибуржуазные движения нашего времени, враждебные пролетарскому социализму: фашизм, национальный социализм и проч.

Старый социализм мог глубоко скрывать свое этическое жало — отчасти из целомудрия, отчасти по недомыслию или желчности темперамента. Его гуманитарная основа сохранялась даже в марксизме. В извращенно-отрицательных реакциях — ненависти и злобы — догорал зажженный гуманистами 30-х годов костер сострадания и ненавидящей любви. Революционный социализм вырастает из тех же слоев сердца, что «Бедные Люди» Достоевского или «Отверженные» Гюго. Его упадочная линия развития ведет через сострадание — справедливость — интерес.

Но до наших дней приток интеллигенции в социалистические партии был бы немыслим, если бы в социализме не сохранялся – пусть самый слабый – запах выдыхающейся эссенции романтических 30-х годов.

Новый «социализм» начисто свободен не только от романтизма, но и от морализма вообще. Отправляясь не от защиты угнетенных, а от сохранения общества в целом, он проникнут пафосом не справедливости, а организации. Современное общество кажется ему не то что корыстным, тираническим, жестоким, но прежде всего плохо организованным. От анархии буржуазного общества он обращается не к идеальной анархии будущего, а к порядку и мощи реального, национального государства. Это государство давно уже крепнет, вместе с упадком либерализма. Война сделала его на время почти всемогущим. Свобода, жизнь всех граждан, хозяйственный строй, представлявшийся мистически неприкосновенным, оказались на годы в неограниченной власти государства. Воспоминание о днях этого героического деспотизма вдохновляет ныне, в эпоху буржуазного бессилия, перед лицом все новых грозных кризисов. Война дала почувствовать мощь организации и обаяние мощи. Пафос борьбы и победы, державший в напряжении сотни миллионов людей, действительно оказывается выражением воли к мощи: Wille zur Macht[1]. Само по себе начало организации, как порядка, может быть упоительно для прусского чиновника или для голландского лавочника. Но не ему, не этому началу консервативного порядка вдохновить выкормленное кровью поколение. Лишь в соединении с соблазном мощи организация увлекает новых революционеров. Новый социальный идеал оказывается родственным идеалу техническому, как бы социальной транскрипцией техники: социальным конструктивизмом. Новый человек хочет строить новый город из огромных глыб человеческих масс, и государство представляется для его сожженной совести, для его оскудевшего разума единственным и при том безграничным источником энергии. Оно должно поставить на службу себе все силы и способности человека, сковать все классы цепью социального долга и разрешить, наконец, проблему разумного хозяйства и всеобщей обеспеченности.

В последней войне государство прикрывало свое абстрактно-идеальное начало живой национальной плотью. Люди умирали

не за государство, а за родину. Небывалый в истории разлив национальных страстей был порождением войны. Нация оказалась сильнее класса, сильнее религии. Нация все еще полна обаянием бессознательно-творческих энергий, в ней живущих, дорогих красотой и правдой все еще не до конца омертвевших стихий народной души. И новые социальные строители эксплуатируют романтические чувства, без которых все еще не может обойтись человечество: только социальный романтизм уступил место национальному. Для многих деятелей движения национализм является не приправой необходимой демагогии, а подлинной его природой. Во всяком случае, он единственный идеальный его стержень, соответствующий моральным двигателям старого социализма.

Государство и нация доселе (в конце XIX – начале XX в.) принадлежали к консервативным ценностям политики. Новый «социализм», вдохновляясь ими, показывает свое антиреволюционное происхождение. Действительно, встреча его со старым социализмом на поле социальной программы вторична и онтологически случайна. В одном акте стремятся выразить себя противоположные энергии духа. Новый социализм есть последнее слово социальной реакции. Нельзя говорить о консерватизме движения, стремящегося ниспровергнуть существующий, капиталистический строй. И, хотя слово «реакция» многозначно, его можно употреблять для характеристики всех сил, которые в новое время, принципиально и радикально, восстали на мир идей, породивших Великую Революцию или порожденных ею. Для этого идейного комплекса, для всего существенного и пребывающего в нем есть одно объемлющее слово: свобода, а отрицанием свободы определяется природа реакции.

В наше время умышленно не желают понимать значения слова «свобода» и требуют его строгого определения. Строгое определение свободы встречает большие философские трудности, а отсюда заключают с поспешным торжеством о пустоте и бессодержательности самой идеи. Как будто бы легко определять «любовь» или «родину», или даже «нацию». И будто бы нужно сперва найти определение нации или отечества, чтобы умереть за них. Еще не совсем сошло в могилу то поколение – поколения – которое умело умирать за свободу, как за вели-

чайшую святыню, не спрашивая ее философских определений. Вера не тождественна с богословием. Существенно не содержание свободы, а вера в свободу или пафос свободы. К тому же в политической жизни речь идет не о метафизической, а о социальной свободе: об уменьшении зависимости, о возрастании самоопределения личности по отношению к обществу и прежде всего к государству; таким образом свобода получает достаточно определенное содержание. Правда, это содержание должно быть еще более уточнено, чтобы получить деловую пригодность в политической работе нашего времени.

Когда-то, особенно в середине XIX века, консерваторы любили противополагать свободе порядок: не власть, не мощь, как биологически-эстетическую ценность, а именно порядок. Любопытно, что с того времени (1848 г.) буржуазия чувствует себя на стороне порядка, хотя социализм, и старый и новый, не перестает упрекать ее в анархизме. Старый «порядок» и новая «организация», казалось бы, чрезвычайно близки по своему значению. Однако порядок выражает более статическую, данную сторону социальной организации; организация в современном смысле – творчество нового порядка. Но и порядок и его организация суть силы, ограничивающие свободу, частично или целиком отрицающие ее.

Действительно, всякое социальное строительство совершается за счет свободы личностей, урезывая, умаляя ее. Всякий закон, всякий устав, образование каждой, хотя бы совершенно свободной, корпорации означает отказ (или принуждение к отказу) личности от некоторой доли ее прав. Личная свобода есть материя, из которой шьется всякая социальная одежда. Запас этой материи не может быть неистощимым: он расходуется и не пополняется ничем. Это значит, предел всякой общественной организации есть всеобщее рабство. Противоположный, низший предел организации есть полная социальная нагота, анархия, свободная и жестокая борьба всех против всех. Между этими двумя границами совершается колебание социальных приливов и отливов. Средневековье знало широкую свободу личностей (феодальных) и групп (корпораций) – правда, на фоне массовой несвободы сервов. Абсолютная монархия нового времени подчинила буйную феодальную свободу всеобщему порядку. Окостенелая стеснительность этого порядка вызвала

взрыв буржуазного освобождения, пытавшегося построить жизнь на свободной игре сил. Ныне государство, питаемое социальной идеей, собирается положить конец этой свободе и восстановить свой, столь недавно поколебленный абсолютизм. В Италии и России оно утверждает себя с такой беспощадностью, как ни одна тирания времен Возрождения, оставляя позади себя даже крепостную империю Диоклетиана и Константина. Фашистское государство Италии представляется более зрелым и зловещим в своем холодном демонизме, чем остервенелое безумие коммунизма. Коммунизм в России живет еще бессознательным отголоском Великой Революции. Утверждая себя как диктатуру класса, обреченного на уничтожение в процессе революции, он сам признает свою переходность и временность. Фашизм сознает себя Империей, которая хочет быть вечной, как Рим. И коммунизм, и фашизм выходят далеко за грани только экономической или социальной реконструкции общества. Для фашизма эта задача даже явственно оказывается на втором плане. Но они оба стремятся к полному овладению человеческой личностью, к совершенному использованию ее в интересах государства. Работник, солдат, производитель — вот все, что остается от человека. Государство не оставляет ни одного угла в его жилище, ни одного угла в его душе вне своего контроля и своей «организации». Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание — все становится функцией государства. Личность теряет до конца свое достоинство, свое отличие от животного. Для государства-зверя политика становится человеческой отраслью животноводства. Ясно, что такое самосознание государства несовместимо с христианством. В явной или скрытой форме война христианству объявлена в коммунистической России, в фашистской Италии, в гитлеровской Германии. Лишь русские эмигрантские варианты национального социализма любят рядиться в православные цвета. Впрочем, православие их при этом неизбежно теряет христианское содержание, превращаясь в национально-бытовой, полуязыческий ритуализм.

Какие силы в мире противостоят этому натиску универсального деспотизма, на страже свободы? В течение полутора веков свобода во всех ее аспектах — как свобода политическая, эконо-

мическая и духовная — была связана с судьбой одного класса — буржуазии. Ее гегемония в современном обществе сообщает ему характер самого свободного из когда-либо существовавших на земле. По-видимому, это не было случайностью. Не раз в истории торжество буржуазии было отмечено расцветом свободы: в демократиях Греции, в средневековых коммунах, в вечевых народоправствах Руси. В виду различия духовных основ этих культур, объединяющее их свободолюбие буржуазии следует объяснить ее своеобразной ролью в общественно-хозяйственной жизни. Буржуазия несет с собой начало личной инициативы, сознательного расчета, свободной и личной организации производства. Пусть иногда она не отказывается от помощи и привилегий государства. В основном она держится на вере в собственные усилия экономически-творческой личности. Буржуазия проникнута известным недоверием к государству, к его вмешательству во все жизненные сферы. Она придерживается государственного минимализма. Защищая прежде всего свою свободу хозяина, свободу хозяйственного творчества, она психологически приходит к признанию свободы вообще: свободы гражданина, свободы разума и совести. Есть одна сфера духовной свободы, которая совершенно непосредственно связана с буржуазным сознанием: это свобода мысли. Мысль для буржуа есть непременное и постоянное условие его собственного хозяйствования: строгая, аналитическая и синтетическая, вполне наукообразная мысль, которая отличает рационализм буржуазной экономики от других, традиционных и социально-связанных хозяйственных форм. Творческая психология капитализма сродни психологии науки. Буржуа всегда поддерживает критическую пытливость ученого, и XIX век, губительный для многих отраслей духовной культуры, оказался исключительно счастливым для научного творчества. Но дух науки — это дух свободы.

Буржуазия европейских обществ пережила очень сложную и бурную историю. В процессе ее буржуазное обоснование свободы меняло свою идеологию. В начале новых столетий это обоснование имеет строго христианский характер. Первый капиталист проявляется перед нами в облике сурового протестанта. Пуританин, он протестует против роскоши и легкомыслия католически-дворянского «света», он замыкается в своей семье, противополагая ее, как свой «замок», государству. Его нравственный

идеал построен на верности и честности, строгости к себе и другим. Это мораль долга, ветхозаветная по своей религиозной природе и охотно облекающаяся в библейские одежды. За свою веру, за свое «истинное» христианство, в его личном духовном понимании, буржуа готов идти в изгнание и на смерть. Свобода, за которую он борется, есть прежде всего свобода христианина — Freiheit eines Christenmenschen[2] — противополагаемая им государству и его религиозному принуждению.

За этой ранней, англосаксонской формацией буржуазии следует вторая, континентальная, преимущественно французская, торжество которой связано с циклом европейских революций. Ее религия уже потеряла христианский характер. Это религия гуманизма, в оптимистической транскрипции XVIII века. Ученики Руссо и Бентама[3] верят в мудрость природы и благость человека. Свобода является простым выводом из предпосылки натуральной гармонии. Из свободной игры личных сил создается общее счастье. Поменьше организации; законы — цепи. Долг совпадает с торжеством личной воли. Здесь революционные романтики и сухие утилитаристы (Гюго и Бентам) стоят на общей почве: дают разно окрашенные, но по существу тождественные обоснования буржуазной свободы.

В наши дни от этого гуманитарного оптимизма почти не осталось и следов. В странах его былого господства его сменил скептицизм, отрицающий возможность познания абсолютной истины. Скептицизм сделался основой буржуазного сознания во Франции, где он продолжает старую классическую и аристократическую традицию. Строящаяся на нем культура носит явно упадочный характер. В этой фазе буржуазия наследует имморализм дворянского возрождения. Свобода, которой попрежнему дорожит буржуазия, имеет для нее двоякий смысл: возможность более удобного наслаждения жизнью и нестесненного упражнения интеллекта. Свобода мотивируется в наши дни чаще всего невозможностью познания истины и вместе с тем интересом (и полезностью) ее исканий. Свобода ученого защищается буржуазным неверием, как свобода художника — буржуазной похотливостью. Это не мешает науке и искусству нашего времени — отнюдь не буржуазным — быть творческими, в высшей мере, нежели творчество предыдущего поколения: содержать в себе более духовных, даже религиозных ценно-

стей. Нередко социальная функция духовной деятельности совершенно не соответствует ее внутренней ценности. В эпоху абсолютной монархии искусство было формой придворной роскоши. Наука и в наше время обслуживает прежде всего профессиональные потребности.

Остается фактом, что никогда в мире свобода, даже свобода высшей духовной деятельности не была более уважаема, лучше защищена, нежели в век буржуазного скептицизма. Но эта защита не прочна. Более того, буржуазия компрометирует свободу своим покровительством. Есть все основания опасаться, что социальное падение буржуазии повлечет за собой и падение свободы. Уже сейчас самая сильная ненависть к свободе питается справедливым отвращением к природе современного буржуа. Свобода должна найти для себя более прочное обоснование, нежели буржуазный скептицизм. Иначе она будет сметена тем или иным фанатизмом, который идет ему на смену. Скептицизм есть жизненная установка умирающих классов.

Однако, не следует забывать, что духовная упадочность характеризует буржуазию главным образом романской Европы: ту, которая пришла к власти вместе с Революцией. Англосаксонский, отчасти германский мир еще хранит веру реформации, и его христианство обладает большою жизненной активностью. Кальвинистическая буржуазия в немалых слоях своих имеет чувство социальной ответственности и, перед лицом настоящего кризиса, ищет выхода, хочет участвовать в поисках общественного строя.

И еще: когда мы произносим свой окончательный суд над буржуазией, нужно помнить все ее великое и героическое прошлое: века борьбы за свободу и достоинство человеческой личности, самоотверженный подвиг исследования мира, трагические искания целостного мировоззрения, — все, над чем занесен сейчас топор варвара. Буржуазия не была создательницей гуманизма, но судьбой своей она поставлена на страже его. Она связана с ним общим грехом, и вместе с ним живет под угрозой кошмарной расплаты.

Свобода имеет в современном мире, кроме буржуазии, еще одного защитника: партии старого «демократического» социализма. Его прошлое, самое рождение его, казалось, не пред-

назначало его к этой роли. Противник буржуазии, привыкший превращать отрицания в утверждения, социализм, исторически и логически, должен был защищать начало организации против свободы. Вместе с Лассалем[4] он издевался над либеральным пониманием государства, как «ночного сторожа». Он совершил немало грехов против политической свободы в середине XIX века. Это он содействовал — не только косвенно, но и прямо, рабочим голосованием, — установлению II Империи во Франции. Он вместе с Марксом и русскими народниками первого призыва отрицал всеобщее избирательное право и политическую демократию. Но времена изменились, и социализм давно уже стал синонимом европейской демократии. В самом рождении своем социализм несет печать двойственности. Как отрицание буржуазии и революции, приведшей ее к власти, он с самого начала имел в себе черты авторитарного мировоззрения. Таков социализм Сен-Симона[5]. Таков социализм всех утопий, многие из которых (Мор[6], Кампанелла[7]) восходят к традициям абсолютизма. Таков социализм многих реакционеров XIX века, Родбертуса[8] и Рескина[9] — правда, лишенный актуального значения. Но исторически социализм сформировался, как левый фланг революционного движения. Еще в 40-х годах социалисты сражались плечом к плечу с буржуазными демократами. Веяние Великой Революции колыхало красное знамя. Ставя ударение на равенстве, социалисты не отвергали и свободы. Далекие от отрицания революции, они лишь хотели сделать из нее последние выводы: равенство — экономическое; свобода — для всех. Это сглаживало антилиберальные шипы социализма, помогало его буржуазному перевоспитанию.

Что касается Маркса, то он стоит посредине между революционным и реакционным течениями социализма. Он, несомненно, глубоко ненавидел идейное содержание буржуазной революции: свободу, равенство и братство. Но столь же несомненно, он принимал ее разрушительное дело. При всем теоретическом конструктивизме своего ума, Маркс не интересовался строительством жизни. Он не удосужился хотя бы намекнуть на то, как будет выглядеть осуществленный социализм. Разрушение — точнее, построение мощных машин для разрушения — было единственным смыслом его жизни. Поскольку ненависть к личности и свободе в нем доминирует, его психический тип

приближается к типу реакционера. Да и в своих непринужденных личных оценках он всегда предпочитал деятелей реакции либералам. Его ученикам пришлось много потрудиться, чтобы отмыть черную краску с портрета учителя.

Лассалеанцы духовно победили в лагере немецкого социализма и превратили партию социального переворота в партию социальной демократии. Германская партия, в свою очередь, на своих дрожжах подняла весь европейский социализм. В настоящее время он оказывается почти тождественным с европейской демократией. Исчезновение либеральных партий в Англии и Германии показывает, что социализм впитал в себя все содержание буржуазной демократии – без экономического либерализма, конечно, отвергнутого жизнью. Замечательно, что новейшие определения демократии – ее природы и ее идеи – странным образом отправляются не от власти народа, но от ценности личности. Но личность и ее свобода составляют метафизическое основание либерализма. Это значит, что под демократией в настоящее время понимают либерализм, имя которого скомпрометировано устарелой экономической доктриной. Как ни странно сказать, но либерализм, социально окрашенный, составляет главное содержание и современного социализма. Вот почему либеральная буржуазия Европы охотно поддерживает социалистические правительства: ей при этом почти не приходится приносить жертв. Подобно тому, как буржуазия получила в наследство от дворянства сознание личного достоинства и общую культуру, так пролетариат делается наследником буржуазной культуры и свободы.

Однако, это наследие буржуазии далеко не безвредно для социализма. Чего стоит одна прививка буржуазного миросозерцания! Это настоящая отрава, которая вошла в тело социализма – с самого его рождения. Если дворянство привило буржуазии дух Вольтера, то буржуазия пролетариату – догматический материализм. Отсюда вырастает мелкая и даже пошлая система жизненных и нравственных ценностей, которая воспитывает в рабочем, едва остывшем от революционного пыла, гедонизм мелкого буржуа. Материальный подъем рабочего класса составляет громадную заслугу социального движения XIX века. Однако, оборотной стороной ее является выветривание социального идеала. По мере того, как рабочий входит в мир интересов

буржуазного общества, участвует в его управлении и защите, он все менее думает о его переустройстве. Все силы социализма в Германии направлены на защиту республики, в Англии – на управление мировой Империей в духе национального либерализма. Это великие и достойные задачи. Но во Франции уже социализм представляет просто отряд радикализма, занятого травлей кюре и борьбой за парламентские кресла. Гипертрофия политики замечается всюду: и это в то время, когда значение политических проблем во всем мире отходит назад перед проблемами экономическими. Демократический социализм сейчас нигде не имеет продуманной и глубокой социальной программы. Ему нечего противопоставить соблазнительным демагогическим лозунгам гитлеровцев и коммунистов.

Эта социальная немощь лишь отчасти объясняется «остепенением» старого социализма, пониманием всей трудности социальной проблемы. Отсутствие настойчивых исканий, постоянного упора в этой области свидетельствует об общем буржуазном перерождении.

Социальный консерватизм старого социализма объясняет успех коммунизма в рабочей среде Европы. Коммунизм один ставит социализм в порядок дня и обещает быстрое и легкое его завоевание. Как идеологическое явление, коммунизм не представляет ничего нового. Это уцелевший обломок левого социализма, повторяющего допотопный марксизм 40-х годов. Однако, торжество его в России сообщает ему новую и опасную определенность. Оставим в стороне чисто русскую природу большевизма и вглядимся в его европейское лицо. Ленин стоит ближе всех к Марксу «Коммунистического Манифеста». Но оставленную Марксом бессодержательную формулу диктатуры пролетариата он заполняет определенным содержанием: полицейским абсолютизмом рабочего государства. Тем самым черная краска снова густо ложится на красный портрет Маркса. От революционного фашизма коммунизм отделяет лишь классовая рабочая структура государства и – до времени, или по видимости – вненациональный характер государства. Влияние Москвы в революционной Европе, подражательность западных учеников не сулит ничего доброго в случае переворота. После Ленина пролетарская революция в Европе означает политическую и духовную реакцию.

Так два социальных стана стоят друг против друга: черно-красное знамя социальной революции и бледно-розовое – социального порядка и свободы. Победа первого означает построение рабочей или внеклассовой деспотии с подавлением духовной культуры и медленным угасанием культуры вообще. Победа второго не обещает выхода из тупика. Не разрешившая экономической проблемы Европа идет от кризиса к кризису, к обнищанию и упадку. Но лишь в этом стане, хотя слабыми руками и устаревшим сознанием, готовы защищать свободу.

Где же выход? Где та сила, третья между двумя противниками, которая способна начать творческое возрождение? Которая означала бы не свободу против строительства, и не революцию против свободы, а свободное строительство?

Из анализа разрушительных идей нашего времени уже вытекает структура творческой идеи-силы: она должна соединить в себе утверждение свободы и утверждение организации. Как возможно это, если организация покупается за счет свободы? Очевидно, путем самоограничения свободы. Но для того, чтобы это самоограничение свободы было действительно свободным актом, а не стыдливой формой насилия, в свободе должны быть определены разные уровни глубины или разные степени онтологической реальности. Утверждая себя на последней глубине, в подлинной реальности своего бытия, свобода может и должна ограничить некоторые свои обнаружения: во вне, в быту, в жизненно-хозяйственном порядке. Во имя чего? Во имя уважения к свободе других людей, их жизни, их достоинству, их спасению. Экономический строй капиталистического общества уничтожает реальную свободу масс, свободу их духовной жизни, даже свободу их труда ради проблематической хозяйственной свободы немногих.

Экономическая свобода приводит, в масштабе целого общества, к своему собственному отрицанию. Она и должна быть ограничена подобно тому, как неизбежно ограничивается, в процессе осложнения цивилизации, свобода внешнего быта: постройки жилищ, движения по улицам и дорогам, даже шумов и звуков. Теоретически это давно и всеми признано. Но жизнь требует не маленьких жертв, не фискальных и полицейских ограничений, а широкого и смелого плана социальной реформы.

Подобно тому, как в наши дни строятся по плану новые города, города-сады, так же должен быть создан и осуществлен план нового общественного града. Но, чтобы с самого начала новый град не сделался гигантской тюрьмой, в основу его учредительной хартии должна быть положена неприкосновенность духовной свободы личности. И не только выражена в букве хартии, но и воплощена во всем стиле творимой культуры. Опасность действительно велика. Для огромного большинства человечества хозяйственная деятельность есть единственная форма культурной активности. Утрата хозяйственной свободы может повлечь за собою закрепощение и других, более глубоких сфер жизни. Нет государства более могущественного, нежели то, которое держит в своих руках источники материального существования. Большие духовные силы должны быть противопоставлены ему, чтобы защитить духовный мир человека. Под духовным миром мы понимаем не только глубину личной совести или мысли, по отношению к которым не властно никакое внешнее принуждение, но и социальную сферу духа — культуру, которая возможна лишь как свободная гармония личных творческих актов. Перед культурой, т. е. перед выражением мысли и художественно-этической воли должно остановиться общество со своим организационным планом. Преступна сама идея организации культуры.

Между миром духовной культуры — сферой личной свободы — и миром хозяйственного и технического быта — сферой общественной организации — лежит промежуточная сфера политики. Политическая свобода не имеет той непосредственной ценности, как свобода культурная. Ее объем, т. е. зависимость гражданина от государства, колеблется в зависимости от разных исторических необходимостей или случайностей. Права гражданина не подлежат столь точному и принципиальному определению, как права человека. Глубокая экономическая перестройка общества не может не повлечь за собой изменения всего политического строя. Трудовое общество, весьма вероятно, найдет для себя новые формы демократии, отличные от общества буржуазного. Это особая, сложная тема, которой не стоит затрагивать попутно. Однако, вот что необходимо подчеркнуть со всею решительностью: не может быть свободы культуры там, где ничем не ограждены права гражданина.

Самодержавное государство – все равно, монархия или демократия – не способно остановиться перед кругом духовной свободы. Прежде всего потому, что отсутствуют точные грани между политикой и культурой. Правительство, пользующееся монополией прессы или хотя бы цензурой политической печати, не замедлит распространить эту монополию или цензуру на научную, философскую, религиозную мысль. Опыт современных диктатур достаточно показателен. С другой стороны, нельзя безнаказанно унижать и саму природу политической активности. Но политика неотъемлема от социальной природы человека: она тесно сращена с социальной этикой. Политика – не только борьба за интересы, права или привилегии, но и за общественные идеалы. Отмирание политики для огромной массы человечества означает отмирание социального сознания вообще. Культуры, построенные на отрицании общегражданской политики – царства Востока или Россия обнаруживают огромные провалы в своей иерархии ценностей. Обидно, когда политические страсти отнимают слишком много духовной энергии. Но опыт учит, что умирание политических страстей постепенно ведет к угасанию и высших культурных энергий: к духовному застою и «органической» окаменелости.

Возвратимся на минуту к самой низшей – экономической – культурной сфере. Даже здесь полное, 100 процентное убийство свободы означает убийство самой хозяйственной жизни. Без творчества, т. е. без некоторой свободы работника и организатора не может быть ни технического прогресса, ни даже сохранения достигнутого уровня. Если опыт коммунизма имеет какое-нибудь значение для мира, не только для России, то именно, как опытное доказательство невозможности абсолютного огосударствления хозяйства. Государство вампир, эксплуатирующее нищих рабов, – такова, думается, не только русская, но и мировая схема «интегрального» социализма. Свобода должна быть существенным ингредиентом в социализации производства. Государство не может быть единственным субъектом хозяйства. Да и вопрос еще: государство ли возьмет на себя задачу хозяйственной организации или другие органы общественности: синдикаты, кооперативы, муниципальные союзы? Этот вопрос, или комплекс вопросов, и составляет главное содержание социальной проблемы нашего времени.

Не индивидуализм и не этатизм в хозяйстве, а неизвестное, искомое сочетание личных и общественных сил — такова тема истинного «социализма».

Градуация[10] свободы в хозяйственной жизни, градуация ее во всей культуре, в соответствии с подлинной иерархией ценностей — таково задание нового града, не новой утопии, а насущнейшего, практического дела современности.

Но осуществимо ли оно? Не является ли утопией сама вера в возможность разрешения современного социального конфликта? Мы этого не знаем. Даже, если бы мы и знали (т. е. предполагали) это, долг требует напряжения всех сил для предотвращения гибели. Но кто может сказать, что он знает неотвратимость рокового конца? Нынешнее положение Европы очень мрачно, и, по-видимому, ухудшается с каждым годом. Но два социальных стана, на которые она распалась, стан свободы и стан организации, сохраняют приблизительное равновесие сил. Каждый из них защищает социальную идею большого силового напряжения. В мире не до конца иссякли идеалистические энергии. Горе в их разделенности, в ложном (ибо слишком однородном) сочетании сил. Необходимо новое переключение сил, новая перегруппировка элементов. Такое переключение мировых сил возможно. Оно не раз происходило в истории, всякий раз сопровождая рождение новой великой идеи. Идея — огромная сила в истории — конечно, не всякая, не случайная, но соответствующая исторической необходимости или долженствованию. Рождение фашизма на наших глазах было последним историческим чудом идеологического порядка. Фашизм не связан ни с одним определенным классом, ни с одной из старых социальных сил. Но дав возможность кристаллизации большой исторической идеи, выразившей почти всеобщую потребность — идеи национальной организации, — он стал силой, высшей всех классов и самого государства. Старый социализм сам был примером власти идеи. Он не столько вырастал из классовой борьбы пролетариата, сколько сам создавал ее; более того, создал самый пролетариат, как класс. Ослабление социализма в наше время, время его большого численного роста, связано именно с упадком его идейной напряженности. Силы, которые он вел за собой, за знаменем социальной организации, отливают от него в черно-красный стан фашизма.

Новая идея – свободного строительства, – которой жаждет погибающий мир, может оказаться бессильной и безжизненной, если ее принять рассудочно, как компромисс или синтез двух сил. Ненавидящие друг друга силы не примут компромисса. Миром управляют страсти, а не рассудочные соображения. И невозможен искусственный синтез противоборствующих органических сил, как невозможен, например, духовный синтез Франции и Германии. Но идея свободного строительства или вольного строя может явиться не отвлеченной, а органической, поскольку она рождается из целостной религиозной глубины. Не в создании новой религии – бессмысленное начинание! – и не в ожидании ее откровения – надежда на реализацию идеи. Эта религия существует. Она вечна. В христианстве – и только в нем – утверждается одновременно абсолютная ценность личности и абсолютная ценность соборного соединения личностей. Это достаточно выяснено русской богословской школой. Именно в ней показаны и возможности социального приложения конкретной идеи Церкви. Правда, мы знаем также, что эти драгоценные социальные выводы до сих пор не были сделаны. Из последней духовной свободы не вытекала ни свобода культуры, ни свобода гражданственности. Да и положительная социальная активность Церкви сильно упала за последние века. Однако именно теперь Церковь начинает выходить из векового социального «паралича». Это факт бесспорный для всякого, даже антицерковного наблюдателя мировой жизни. И – факт еще более значительный: новая общественная активность христианских церквей не имеет никакого привкуса реакции, как в XIX или XVIII веках. В недрах христианства рождается новое социальное сознание. Всего ярче оно в англиканстве и некоторых течениях кальвинистического протестантизма. Особенно сильны новые течения в христианской молодежи всех исповеданий. Молодежь – это завтрашний день истории. Если судить по ее настроениям о завтрашнем дне, то три силы борются за господство в мире: фашизм, коммунизм и социальное христианство. Социальное беспокойство живет и в католичестве, живет и в православии. Пусть православная молодежь русской эмиграции соблазняется фашизмом. В самом православии заложено всего более основ для свободной общественности, хотя исторические условия чрезвычайно затрудняют ее актуализацию. – Малое

облачко на горизонте. Но такое облачко несло когда-то для Илии[11] обетование благодатных гроз, пролившихся дождями над измученной от засухи землей.

Когда христианство явит себя миру, как сила общественная, его малое, но крепкое верой ядро сделается центром притяжения и кристаллизации всех живых в мире и творческих сил. Произойдет великая перегруппировка. В первую очередь призваны к положительному творчеству социалистические силы, ныне лавирующие бездейственно между либерализмом и коммунизмом. Зарождение религиозных групп в социализме — явление очень значительное и новое. Еще более значительно то, что религиозные группы в социализме проявляют всего более социальной (в отличие от политической) активности. Это указывает направление исторической магистрали. Среди буржуазии, особенно христианской, найдутся группы, способные поставить общественное или национальное спасение выше классовых интересов. Интеллигенция по природе и социальной чуткости своей должна идти за мощной и творческой идеей. Новая, третья социальная сила, подобно фашизму, не может быть классовой, но всенародной. И, подобно социализму, она не может быть только национальной. Для христианской совести, как и для современного хозяйства, земной шар уже стал единым живым телом.

Будет ли так, мы не знаем. И это хорошо, что мы не знаем, что будущее скрыто от нас. Человечество всегда может погибнуть. И погибнуть оно может на разных путях: в коммунизме, в фашизме или в буржуазном разложении. Но спастись оно может только в христианстве.

«Современные Записки», № 47, Париж, 1931

Что такое социализм?

Социальная проблема в XIX веке поставлена социализмом. Было время, когда социализм представлял понятие определенное. Предмет ужаса и отвращения для одних, религиозной преданности и веры для других, он сохранял устойчивое содержание. Его движущим мотивом было отрицание капиталистической эксплуатации во имя социального равенства. Его экономической формулой — для огромного большинства его течений — была национализация или обобществление: иначе, отмена частной собственности на средства производства. Но уже в конце XIX века это определение едва ли приложимо к реформистским течениям социализма. Можно сказать лишь, что оно сохранило и для них регулятивный, идеальный смысл. Для нашего времени это определение никуда не годится. В сущности, лишь коммунизм остается верным ему. Вот почему так трудно каждому ответить по совести на вопрос: социалист ли я? Оказывается возможным для иных социальных мыслителей говорить о совершившейся гибели социализма (в смысле указанного определения). Но эта гибель доктринального социализма есть творческая гибель. Если социализм умирает, то сама жизнь социализируется. Доктрина изменяется именно потому, что торжествует практика. Это торжество, впрочем, — нерадостное торжество. В кровавом борении, в мучительных судорогах человечество рождается к новой жизни. Муки родов так похожи на агонию смерти. И смерть, действительно, стоит у дверей, чтобы войти, если творческие силы жизни ослабеют в борьбе с началами разложения. Наше поколение не знает, и

до конца не узнает, живем ли мы в начале социалистической эры или в конце цивилизации – второй европейской, первой мировой цивилизации.

Социализм в XIX веке пережил три стадии: утопическую, революционную, реформистскую. Из них, как это ни странно, наиболее тяжкое поражение претерпел недавно победоносный реформизм. Революционный социализм, разбитый теоретически, торжествует в России. – Большевизм это реакция марксизма 40-х годов. – В Европе глубокий кризис революционизирует массы и заставляет многих смотреть с надеждой на красную Москву. В случае длительного разложения капиталистического общества победа революционных сил весьма вероятна. Но реформизм, сильный числом, организованностью, воспитанностью своих кадров, оказывается несоответствующим революционной ситуации. В течение десятилетий он приспособлялся к цветущему капитализму, внедряя в него рабочую демократию, борясь за повышение ее уровня жизни внутри данной экономической среды. Не ломая себе голову над проблемой коренного преобразования общества, он оказался застигнутым врасплох катастрофой. Крах капитализма наступил слишком неожиданно для социалистов, и они встречают его безоружными. Не старому реформизму справиться с революционным социализмом (коммунизмом) нашего времени. На это может надеяться только социализм конструктивный, ставящий, подобно ему, своей задачей глубокое, коренное преобразование общества. Его путь лежит не через разрушение буржуазного мира, а через взращение, развитие и оформление тех ростков новой жизни, которые уже пробиваются в старой. В час своей реализации, социализм распадается на ряд частных проблем, ранее исчезавших в неопределенности интегрального символа. Каждая из этих проблем в отдельности уже поставлена, уже частично решается в капиталистическом обществе. Решение любой из них еще не содержит ничего в строгом и точном смысле социалистического. В своей совокупности однако они создают общество совершенно нового типа, еще небывалого в истории мира, за которым можно оставить имя социалистического, при всей многозначности своей освященное традицией рабочего движения и пафосом нравственной идеи.

Обращаемся к рассмотрению этих частных проблем социализма.

1. Рациональная организация хозяйства

Начало рационализации, т. е. расчетливого, планового построения хозяйства, свойственно капитализму с его зарождения. Зомбарт[1] усматривал в рационализме саму душу этой экономической системы. Но, с отмены меркантилистской экономики и до последних десятилетий XIX века, рационализация ограничивалась пределами индивидуального хозяйства. На рынках, как национальных, так и международных, господствовала стихия конкуренции. Однако вот уже несколько десятилетий, как принцип laissez faire[2] сделался экономически невозможным, и капитализм стал на путь организации. Мощное движение трестирования и картелирования, охватившее ведущие страны (Америку и Германию), указывает на новые экономические тенденции. В настоящее время наивным анахронизмом было бы отождествление капитализма с режимом личного хозяйства, построенного на свободе. Личное начало торжествует еще в немногих организаторах, «королях» или «капитанах» индустрии: для большинства предпринимателей свобода хозяйствования в значительной мере уже утрачена. Все растущая зависимость индустрии от финансового капитала (банков) превращает ее уже окончательно в безличный объект действия посторонних ей и равнодушных к ее целям денежных — зачастую тоже безличных — сил. Но это спонтанное движение к самоорганизации капитализма, не завершенное, лишь обостряет экономические конфликты — уже не между отдельными предпринимателями, а между могущественными корпорациями. Быстрое сужение и исчезновение некапиталистических рынков (колоний) делает борьбу гигантов ожесточенной — и безнадежной. Капитализм стоит перед задачей — не доктринерски, а жизненно поставленной в его собственных недрах — задачей завершения организационного процесса.

Неслыханный по размерам и длительный мировой кризис «перепроизводства» и безработицы делает задачу реконструкции неотложной. Она совершается, или должна совершаться, — не во имя справедливости, а во имя существования. Буржуазные и социалистические экономисты почти все сходятся в признании «планового» начала в хозяйстве.

Два основных вопроса, чрезвычайно трудных практически, но теоретически вполне ясных вытекают из этого признания.

I. Кто будет планировать, регулировать или организовывать хозяйство?

II. В каких пределах личное начало в хозяйстве сохраняется новой экономической организацией?

Первый вопрос – о субъекте хозяйственной организации, второй – о ее границах.

На первый вопрос жизнь выдвигает четыре проекта решений:

1. Международный капитал.
2. Революционный пролетариат.
3. Национальное государство.
4. Международное объединение государств.

Теоретически мыслимо, в результате борьбы капиталистических картелей и банковских групп, их мировое объединение, которое диктует свою волю всем государствам и классам. В дальнейшем эта эволюция, продолженная по прямой линии, могла бы привести к единому мировому рабовладельческому хозяйству, с превращением всего трудового населения в бесправных подданных своих неограниченных владык. Эта зловещая утопия навыворот мелькала в социальных романах Уэльса. В эпоху могущества индустриальных королей она могла импонировать людям, одаренным фантазией. Ныне, пред лицом кризиса, капитализм обнаружил удивительную слабость и отсутствие воли к власти. Международная акция бирж и банков не вышла из совершенно элементарных попыток. В сущности, современный капитал, в состоянии растерянности и пессимизма, сам ищет спасения в государственном вмешательстве, отказываясь, ради обеспечения, от призрачной своей свободы.

Революционный пролетариат, т. е. коммунистическая партия, организует хозяйство в России, и готов взяться за это дело в мировом масштабе. Отвлекаясь от особо инфернальных форм русского опыта, что можно возразить против его перенесения в мировой план? Говоря кратко: в лице революционных вождей за дело хозяйственной организации берутся люди, чуждые хозяйственному процессу, органически неспособные понять его природу и движимые, по существу, не экономическим мотивом, а классовой ненавистью. Отсюда разрушительные последствия

их хозяйствования необычайно глубоки, а конструктивные достижения ничтожны. Социальный террор и падение производительности – неизменные последствия социальной революции. Однако, мы уже знаем, что социальная революция не утопия, а грозная возможность. Это постоянное memento[3] для современного общества, неотступно напоминающее ему о срочности социальной реорганизации. Fata nolentem trahunt[4].

Действительный спор возможен лишь между национальным и интернациональным государственным субъектом организации. В этом споре все реальные преимущества на стороне национального государства. Оно существует, оно сильнее, чем когда-либо, оно само берется за экономические функции. Италия и Германия, в разных формах, идут по этому пути. Международная организация еще не создана, и усилия благородных идеалистов и практических политиков к ее созданию разбиваются «жизнью», т. е. стихией национальных страстей. Однако, национальное решение социальной проблемы, окружая государства замкнутыми стенами запретительных тарифов, суживая донельзя международный обмен, во много раз усиливает опасность войны. Решение оказывается мнимым. Война срывает все результаты организационной работы, ввергая мир в хаос, из которого один исход: пролетарская революция. Здесь экономическая проблематика показывает свою ограниченность. При всем могуществе экономических сил в наш «материалистический» век, они оказываются подчиненными силам политическим: интересы страстям, классовые ненависти национальным. Вот почему ключ к решению социальной проблемы нашего времени – в ограничении национального суверенитета. Какая-то комбинация национального государственного капитализма и постепенно построяемого мирового хозяйственного плана дает решение современному и будущему кризисам и позволяет безбоязненно развивать производительные силы народов, не обрекая их на голод от изобилия, на безработицу от роста производства.

Второй вопрос – о границах организации, т. е. о сохранении личного начала, – решается только опытом, и, как можно предвидеть, не однозначно для разных стран и разных хозяйственных отраслей. Здесь, как в артиллерийском прицеле: перелет, недолет, попадение в цель. Перелет – это сплошная

национализация или, вообще, социализация хозяйства. Не только большевистская Россия, но и послевоенная Германия богаты отрицательным опытом национализации. Это отвод «интегрального» социализма в смысле XIX века. Личное начало в хозяйстве должно быть сохранено, но ограничено. Собственность приобретает функциональный характер – сочетания личных прав и общественных обязанностей. Благодаря созданию новой науки «рационализации», наряду со старой технологией, не только техническая, но и административная сторона предприятия могут отделяться от хозяйствующего субъекта. Вопрос о рынках решается в высших корпоративно-государственных инстанциях. Следовательно, на долю хозяйствующего владельца остается приспособление самостоятельной технической единицы к общественному заданию. Поскольку здесь остается место для творчества, остается и хозяин. Всецело сохраняется его роль в создании новых предприятий и новых хозяйственных форм.

Все эти проблемы, не имеющие ничего общего с утопиями прошлого века, уже решаются экономистами и практиками Европы. Им посвящена огромная научная литература. Главное препятствие для практических опытов и удовлетворительной их постановки – не в экономике, а в политике послевоенной Европы. Полное или частичное проведение их создает строй, который называется государственным или «связанным» капитализмом.

2. Социальное обеспечение

Идеей рационализации хозяйства жил главным образом марксистский социализм, идеей социального обеспечения – социализм гуманитарный и христианский. К сожалению, христианский социализм до последнего времени жил исключительно этой идеей, забывая об организационных и культурных элементах социальной проблемы. В ней заложена вечная, непререкаемая правда, неотделимая от христианства. Величайший грех – не накормить голодного, и, если существует социальный грех, – а с точки зрения социального реализма нельзя этого оспаривать, – то и общество в целом обязано накормить своих голодных членов. Для современного нравственного сознания

смерть человека от голода ощущается, как преступление. Можно было бы вотировать закон, наказывающий полицейского комиссара, в районе которого это общественное преступление имело место. Это не имеет ничего общего с утопией. Несколько лет тому назад могло казаться, что эта задача – по крайней мере, в одной стране Европы – почти решена. При государственном страховании от старости, безработицы и широких мерах социального обеспечения, Англия, некогда классическая страна пауперизма, почти уже не знала настоящей нищеты. Проблема, над которой мучилось христианское человечество почти два тысячелетия, которая объявлялась неразрешимой, проблема голода и пауперизма – казалось, разрешена в пределах капиталистического строя.

Современный кризис разрушил эти оптимистические ожидания. При тридцати миллионах безработных в мире их обеспечение становится невозможным или весьма трудным. Это обеспечение хронических безработных стало для Англии серьезной угрозой, подорвало ее финансовые силы и обострило ее общий кризис. Но то, что невозможно при анархическом капитализме, вполне достижимо при «связанном». Прекращение безработицы – результат планового хозяйства – уничтожает главный источник нищеты. С остальными может справиться современная социальная техника, достигшая уже высокого совершенства (социальная помощь в Америке).

Проблематика связана здесь лишь с вопросом о пределах обеспечения. Легкость даровой жизни, вполне возможная при современном накоплении ценностей, может развращать людей и отбивать охоту к труду. Нечто подобное уже наблюдали в Англии. Социальная помощь должна носить преимущественно трудовой характер и там, где общество встречается с порочной или злой волей, ограничиваться минимумом. Но подобно тому, как смертная казнь недопустима для современной совести, так же безнравственна и угроза голодной смертью, как средство трудового воспитания. Конечно, социальное обеспечение понижает энергию борьбы за жизнь. Но наше общество не страдает от недостатка этой энергии. Понижение корыстных мотивов к труду не угрожает техническому строю, страдающему от избытка человеческого труда. Опасности социального обеспечения должны парироваться социальным воспитанием.

3. Социальная демократия

Рационально организованное хозяйственное общество, обеспечивающее от нищеты своих членов — это еще не социализм. Можно представить себе его даже в рамках очень сурового классового строя: могущественная капиталистическая каста, полновластно распоряжающаяся судьбой бесправного пролетариата. Это, конечно, голая возможность. Линии жизни пока ведут в другую сторону. Где различие между государственным капитализмом и государственным социализмом? В эпоху НЭПа в Советской России много спорили, какое из двух определений соответствует действительности. Трудность ответа заключается в том, что граница проходит не по чисто экономическим признакам. Это граница социальная. Мы обозначаем ее несколько неопределенным термином «социальной демократии». В соединении с плановостью хозяйства социальная демократия и образует реальное содержание социализма — за вычетом его утопических мотивов. Другое имя ему — трудовое общество.

Трудовым общество становится тогда, когда трудящиеся классы — работники в широком смысле слова — приобретают в нем господствующее положение. Лишь одной из предпосылок его является перераспределение общественного дохода: повышение заработной платы и понижение (абсолютное и относительное) прибыли. В хозяйстве, работающем на неопределенный рынок, конкуренция отсталых стран кладет предел повышению заработной платы. В замкнутом — народном или мировом — хозяйстве повышение доли работника в общественном доходе ограничено лишь ростом производительных сил. Но повышение его доли означает снижение прибыли. Фискальная политика государства с другого конца обрезывает накопление чудовищных состояний и содействует образованию нового социального единства. Экономическое равенство не является целью ни социализма, ни политики трудовых классов. Но сближение социальных полюсов до возможности некоего общего бытового стиля — необходимая предпосылка трудовой демократии.

Однако, главная революция происходит в общественном сознании. Ее смысл в том, что труд становится мерилом соци-

альных ценностей и ложится в основу социальной иерархии. Если в феодальном и патриархальном обществе аристократия основывала свое право на землевладении (и военной доблести), в капиталистическом — на денежной собственности (и таланте), то в рабочем создается аристократия, основанная на труде (и творчестве). Одна и та же ценность — например, художественное творчество — в современном обществе котируется, как капитал, приносящий проценты (вроде нефтяных месторождений), в трудовом — как творческая работа. Сейчас заработная плата рассматривается, как товарная цена за продажу рабочей силы. В будущем, возможно, сама прибыль будет оцениваться, как форма трудового вознаграждения за руководство хозяйственной организацией.

Социальная демократия начинается в трудовом процессе — и начинается уже в наши дни. Рабочий коллектив принимает на себя все возрастающую долю ответственности за управление и организацию фабрики. Администрация становится конституционной, ограниченной, уже теперь, вмешательством рабочих союзов. Рядом с конституционными ячейками частных и государственных или муниципальных предприятий возможно развитие чисто республиканских — т. е. кооперативных. В рациональной конкуренции будет испытана хозяйственная пригодность личных, коллективных и государственных форм организации. Но права трудящихся, в смысле известного самоуправления заводского мира, его права на самодисциплину — сохраняются везде. Где этого нет, там не может быть социальной демократии. В коммунизме уничтожена демократия не только политическая, но и социальная.

Где завершение производственной демократии? Здесь мы вступаем в область гаданий, предчувствий — и утопий. Можно представить себе, по аналогии с политической демократией, экономическое общество, построенное снизу вверх, из сочетания автономных кооперативных объединений. Частное предпринимательство мыслится окончательно вымершим, но групповое отчасти занимает его место. В теориях, родственных прудонизму[5], который переживает в настоящее время некоторое, пока еще довольно скромное, возрождение, государство по возможности элиминируется из трудового процесса. Тем самым устраняется опасность экономического

деспотизма государства, всегда связанная с государственным социализмом. Перед единственным хозяином — государством — личность трудящегося беззащитнее, чем перед частным предпринимателем. Но уничтожение хозяйствующего государства не развязывает ли вновь частную стихию, не возвращает ли нас обратно в мир экономической анархии? Если капиталисты или частные компании будут заменены производительными кооперациями, обладающими той же хозяйственной свободой, это не подвинет ни на шаг хозяйственную организацию мира. Борьба кооперативов не менее страшна, чем борьба личных предпринимателей.

Очевидно, единство мирового (или национального) хозяйства должно быть совершенно незыблемым прежде, чем можно будет подумать о его децентрализации. Политическая децентрализация современных демократий стала возможна лишь на почве крепкого централизма, выработанного абсолютизмом. Между средневековым и современным парламентом не даром лежит век Тюдоров. Современные политические самоуправления возможны лишь внутри бесспорного государственного суверенитета. Так, думается, должен быть прочно обеспечен и хозяйственный суверенитет, чтобы сделать возможной внутри него автономию свободных производительных ассоциаций. Это кладет предел социальной демократии для нашей эпохи. Во всяком случае здесь поставлена экономическая проблема более или менее далекого будущего.

Но уже сейчас социальная демократия сталкивается с политической в различном понимании гражданства и связанном с этим построении государства. Трудовой процесс, особенно современный, соединяет трудящихся в могущественные корпорации. Лишь в них личность работника преодолевает свою социальную немощь и обретает сознание своего социального достоинства. Лишь через них пока она активно влияет на государство и преобразуемый им социальный строй. Политические партии со своими традициями, укоренившимся консерватизмом борьбы, слишком далеки от производственного процесса, и в эпоху, когда производственные проблемы заслоняют все поле зрения, должны уступить место профессиональным организациям в руководстве социальным преобразованием. Профессиональные экономические связи в такую эпоху оказываются

для рабочего сильнее территориальных – его избирательного округа – и политических – его партии. Все это объясняет рост корпоративной идеи в государственном праве нашего времени. По-видимому, социальная демократия осуществит себя в государстве в формах синдикализма. Но остается вопросом, сохранятся ли, наряду с синдикальным строем, остатки старого политического государства – двойственность парламента – или нет. В первом случае мы получаем сложную социальную структуру, напоминающую Флоренцию на рубеже XIV века. Сложность не есть противопоказание. Ограничимся указанием проблемы для будущего.

Корпоративное общество, разумеется, столь же далеко от совершенного равновесия, как и общество политическое. Лишь деспотия обеспечивает надолго (иногда на тысячелетия) социальное равновесие. Упрек в гармонизации, может быть, одно из самых сильных обвинений, какие могут быть выдвинуты против общественного строя. Гармонизация означает застой и медленный декаданс, ибо жизнь движется противоречиями. Противоречия интересов между профессиональными корпорациями являются движущим элементом внутри корпоративного общества. Борьба классов и партий современного мира продолжается в социалистическом – борьбой профессий. Рабочему сознанию совершенно чуждо понятие о профессиональном равенстве. Даже в коммунистической России аристократическое первородство металлиста перед текстильщиком никем не оспаривается. Целые профессии будут подниматься наверх и падать, вместе с колебанием их социального значения и сдвигами в духовной иерархии ценностей.

Материальное равенство не может быть целью трудовой демократии – ни между профессиями, ни, тем более, внутри их. Каждый мастер стремится к совершенству и требует вознаграждения, соответствующего труду и качеству труда. Часовая, поденная плата годится для пролетария или чиновника, ненавидящего свой труд. Квалификация труда есть основа социальной иерархии. Начало равенства признается, как равенство старта, т. е. равенство начальных возможностей. В конце концов, существенное в нем – общность воспитания. Но неравенство, справедливое в известных границах, перерастая их, разрушает социальное общение. Оно не должно приводить к

непереходимой черте различного общественного быта. Общий стиль быта является непременным условием общения и построяемого на нем братства. Лишь патриархальное общество удовлетворяло некогда этому требованию. Возвращение к общности быта есть необходимое условие социальной демократии, и вместе с тем возрождения социально-жизненного христианства.

Серьезнейшая проблема социальной демократии – положение работников духовного труда. Какова будет роль и значение интеллигенции: ученых, художников, священников? Весьма серьезна опасность, – и современность, не только в России, не оставляет места оптимизму, – что победоносный физический труд даст волю своему злопамятству и, подобно Толстому в известной сказке, признает мозоли единственным критерием труда. Психологически эта реакция почти неизбежна. Она обещает социальную деградацию интеллигенции и временное помрачение культуры. Мы не можем простить Флорентийской трудовой республике, что Данте принужден был вступить в цех аптекарей, чтобы получить политические права: в республике не было цеха поэтов. Однако сама победа рабочего исцеляет его от классового мракобесия. Современная техника все более требует от рабочего не мускульного, а мозгового усилия. Раб машины превращается в ее господина. Мозоли сходят с его рук. Инженер, а не чернорабочий – представляет тип работника в «технологическом процессе» нашего времени. Не интеллигенция поглощается пролетариатом, а пролетариат поглощается интеллигенцией. Таковы технические тенденции культуры. Пролетариат есть обреченное на смерть порождение капиталистического века. Трудовая интеллигенция заменяет его и воскрешает традиции средневекового ремесла-искусства. Равенство общего образования, с другого конца, стирает остатки былого антагонизма работников духовного и мускульного труда.

Однако, все это еще не обещает работникам духовной культуры подобающего им первенства в общественной иерархии. Они не создают материальных ценностей, и, пока производство материальных благ поглощает внимание общества, пока технология является теологией масс, нечего и думать о восстановлении должного духовного строя. Но материальный голод

утолен. Безграничная продуктивность современной машины сама по себе обесценивает материальные блага: только редкое ценно. Тогда создаются предпосылки для коренного перерождения всего строя человеческих потребностей и интересов. Повышение фондов бескорыстных ценностей – науки, искусства, религии, – само по себе поднимет уважение к искателям истины, строителям идеальных форм, учителям духовной жизни. Но это вводит уже нас в круг чисто духовных проблем, связанных с трудовым обществом, которые требуют отдельного рассмотрения.

«Новый Град», № 3, Париж, 1932

Основы христианской демократии

Современное церковное сознание гораздо легче раскрывается для идеи социальной, чем для идеи демократической. В противоположность XIX веку, когда социализм был пугалом для христиан всех исповеданий, неустанно обличаемой ересью, в наши дни примирение христианства с социализмом совершается с чрезвычайной легкостью. Большинство русских так называемых пореволюционных течений возникают на почве социального православия. Стоило поблекнуть миражу капиталистической долговечности, и стало сразу явным, как глубоко социализм укоренен в христианстве: в Евангелии, в апостольских общинах, в древней церкви, в самом монашестве, в социальном служении средневековой, как западной, так и русской церкви. Выясняется окончательно, что социализм есть блудный сын христианства, ныне возвращающийся — по крайней мере, отчасти — в дом отчий.

Но радость этого возвращения омрачается одним обстоятельством. Тельцом, закалываемым на семейном торжестве, оказывается свобода и демократия. В самом социализме обнаружилась двойственность его происхождения: контрреволюционная генеалогия его (от Сен-Симона) утверждает себя против революционной (Бабефа[1]).

Смешавшиеся в Марксе две крови восстали ныне друг на друга. И к воцерковлению стремится социализм черный, а не красный. Ненависть к свободе, которой он одержим, находит отклик в древнем аскетическом и авторитарном отрицании свободы, которое гнездится во всех темных углах и закоулках

старого христианского дома. Для блудного сына, по-видимому, естественно, каясь, проклинать свою «постылую свободу». Но что если в отрицании ее сказывается не одно покаяние, но и отрыжка тех рожков, которыми он так долго питался в не очень чистоплотном обществе? Свобода чужда не только для иных аскетов, свобода чужда и для свиней.

В настоящей статье мы делаем попытку поставить вопрос о том, совместимы ли свобода и демократия с христианством. Вопрос этот для западного христианства давно решен. Для протестантизма уже тем фактом, что он сам является отцом современной свободы и демократии, выкованных в революционной борьбе кальвинизма за свободу веры и за царство народа Божия. В католичестве предпосылки для положительного ответа даны в средневековье, в вековой борьбе церкви против монархий с их тенденцией к абсолютизму, в народном характере средневековой церкви. Эпоха абсолютизма, длившаяся три столетия, связала крепко римский католицизм с системой абсолютных монархий. Но падение их расчистило путь древней гвельфской идее. Вместе с возрождением томизма[2], современное католичество — пусть не очень решительно — становится на защиту свободы (перед лицом государства) и демократии (перед лицом тирании). Настоящей и мучительной проблемой свобода (и демократия) остается для православия. Пусть либеральная мысль XIX столетия — от Хомякова и до Соловьева — боролась за освоение этой идеи православием. Ее аргументация отправлялась не от православного предания, а от отвлеченных начал. В этих началах противники видели (и с полным правом) выражение западно-христианского церковного опыта. Против пересадки его на православную почву протестовали и протестуют самые горячие и самые глубокие умы, воспитанные в восточной традиции. Связь Иоанна Кронштадского с Союзом Русского Народа не легко вытравить из исторической памяти. Достоевский, Победоносцев, Леонтьев, Розанов... Рядом с такими противниками демократии слишком бледными и хилыми кажутся зачастую ее православные защитники. В настоящее время, когда демократия терпит крушение в большей части европейского мира, ее защита для православного богослова и социолога делается особенно трудной. Общие предпосылки христианского общежития, которыми жил

XIX век, перестают быть убедительными для наших современников. Те, кто верит, как новоградцы[3], в их божественное происхождение, обязываются к новой апологии вечных истин. Наша принадлежность к восточной традиции христианства — для одних по исповеданию, для других по России и русской идее — создает необходимость ставить эту апологию на почву православной традиции.

В дальнейшем мы делаем попытку наметить тот путь (один из путей), на котором такая апология возможна. Теории православного демократического государства еще не существует. Разработка ее должна исходить из существующей (еще не умершей) теории православного царства. Говоря о демократии (как выше о социализме), мы имеем в виду не конкретный политический строй Европы XIX столетия, а те вечные начала, на которые опираются эти — быть может, исторически изжитые — формы демократии, и на которые могут опираться неоформленные демократии будущего. Для европейской демократии, как преемницы либерализма, существенен, в отличие от демократий античных, не монизм, а дуализм основных начал. Эти начала суть: власть народа и свобода личности.

Православие полторы тысячи лет жило в органической, более того, — сакральной связи с царской властью и нередко подвергалось искушению догматизировать эту власть. Не только для митрополита Антония (Храповицкого), но и для Владимира Соловьева царство есть вечная религиозная категория, подобная священству. Что само царство в Византии приобретало некоторые священнические функции (вероучительную и каноническую власть), это совершенно бесспорно. Было бы неосторожно выводить эти религиозные функции царской власти из сакраментального акта помазания. Преемники Константина веками правили христианским миром, определяли догматы, ставили патриархов без всякого помазания. Древнейшие известные нам помазания византийских царей относятся к IX веку. Но уже при Юстиниане (VI век) отношения церкви и государства отлились в отчетливую, классическую форму.

Не христианство создало царскую власть в империи: оно нашло ее существующей. Эта власть глубоко коренилась в языческих религиозных верованиях: в культе героев, в обожествле-

нии бессмертного начала человека (его «гения»), в обожествлении самого государства. Формы бюрократического деспотизма, в которые отлилась римская империя, сами по себе чужды греко-римскому духу: они пришли с Востока, в результате резкой ориентализации Империи. Двойное язычество соединилось, чтобы создать ту человекобожескую власть Кесаря, которая столько веков гнала церковь. Для автора Апокалипсиса Римская Империя является царством Зверя и Блудницы. В своем социально-политическом строе, даже в нравственных основах своей политики империя Константина ничем не отличается от империи Диоклетиана. Целый ряд языческих сакральных форм культа Кесаря продолжают жить в Византии в сочетании с литургическими формами христианства. Как же оказалось возможным христианское помазание «Зверя» и даже культ его?

Один из возможных ответов гласил бы: императорская власть, подобно другим заветам эллинизма христианству, есть провиденциальное установление: таков греческий язык Нового Завета, философия Платона, литургика мистерий и т. д. Серьезное возражение против этой теории заключается в том, что рост императорской власти в Империи является следствием (и, конечно, защитой против) упадочных социальных процессов, обозначающихся с I века нашей эры. Экономическое обеднение, гибель городского самоуправления, закрепощение крестьянства и других сословий, возврат к натуральному хозяйству, падение гражданского патриотизма и гибель личной свободы — такова социальная обстановка, в которой развиваются, как императорская власть, так и христианская церковь. Одним из роковых обстоятельств в истории христианства является то, что юность его совпала с дряхлостью древнего мира, и что старческие недуги эллинизма отравляли церковное общество. Печать декаданса не могла не лечь особенно на социальную этику христианства. Деспотизм государства освящался наряду с рабством, с домостроем семьи, со всеми формами социального гнета. Западная Церковь с самого начала средних веков освободилась от этого тяжкого груза социальной традиции Рима. Восточная в Византии никогда не могла освободиться от него совершенно, в России — после острой византизации XVI столетия — освобождается постепенно лишь под животворным веянием гуманизма XVIII века. Нет, эллинистический

корень монархии — плохая опора для оправдания православного царства.

К счастью, у этого царства есть иной корень — в Ветхом Завете. Все социальные элементы христианства завещаны ему не эллинизмом, а иудаизмом. В пророчестве Израиля задана вечная тема социального христианства, в книгах Судий и Царств — его политическая тема. Не подлежит сомнению, что в известный период истории Израиля царская идея сливалась с идеей мессианской. Грядущий Мессия — Царь Израилев, из дома Давидова, воссоздатель былой славы, осуществитель правды. Отблеск мессианского величия падал на всех давидидов, на предков Мессии, заставляя предчувствовать в каждом из них божественные возможности. Отсюда трудность для нас точного определения лица мессианских псалмов. «Не прикасайся помазаннику Моему»... К кому относятся эти слова, столь прочно связавшиеся в наших ушах с носителем русской императорской власти? К преемникам Давида, а через их голову к чаемому Мессии — или к самому Мессии и, отраженно лишь, к его предкам? И то, и другое справедливо. Неприглядна и исторически неудачна история еврейских царств. Два великих имени — Давида и Соломона — должны искупить грехи и слабости всех потомков. Пророческий, неподкупный суд Израиля обнажает беспощадно все больные места национальной истории. Но на всю ее падает отраженный свет грядущего преображения. Каждый правнук Давидов призван быть помазанником Божиим, носителем правды, спасителем народа. Его корона скована не из реального золота власти и силы, а из чаяний и символов. Это они сообщают его человеческой немощи божественное величие.

Нельзя забывать, что царство в истории Израиля было лишь одной из форм теократии — и с точки зрения теократии — не самой удачной. До царей боговластие осуществлялось через судий, после царей — через жречество — священство. Библия недвусмысленно показывает, что царство явилось, как уступка духу времени и языческому окружению Израиля. «Поставь над нfми царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Книга Царств (1, 8), не скрывает, как тяжка была в очах пророка и в очах Божиих эта измена непосредственной теократии: «Не тебя они отвергли, но Меня, чтобы Я не царствовал над ними». Царство Божие полнее осуществлялось в первобытном племенном

строе Израиля, когда государственное служение несли харизматические вожди народа: пророки и судии. Судия и есть библейское имя харизматического народного вождя: вынесенный на гребень волны посланничеством Божиим и историческим часом, он, совершив свое деяние, возвращается в лоно народа, из которого вышел. Отсутствие народного избрания препятствует говорить о демократическом характере судей и их власти. Их народный характер несомненен: замените пророческое призвание правовым законом и за Гедеоном и Иеффаем, вы увидите Цинцината и Камилла[4], возвращающихся после спасения отечества к своему плугу.

Нередко видели в монархии высшее торжество личного начала, и потому наиболее соответствующую христианству форму власти. Как раз наоборот. Монархия, т. е. наследственная власть, означает первенство крови, родового (языческого) начала над личным призванием, которое говорит всего сильнее – не в ропоте народной толпы, – но в дерзании народного вождя.

За сменой исторических форм власти остается единственный несомненный герой религиозной драмы – сам Израиль, живой народ, возлюбленный Божий, в своих подвигах и падениях, в верности и изменах, призванный к рождению Мессии. Сам народ этот, как и его цари, является субъектом мессианских обетований: это он призван царствовать над языками, это он Помазанник Божий. Все равно, как осуществляет он в государстве свое призвание: народ – царь, обладающий, рядом с пророчеством и священством, особой харизмой власти.

В Новом Завете Церковь унаследовала обетования Израиля: в ней продолжаются древнее священство и пророчество – продолжается и царство. В римском ли кесаре? Но уже в послании (1.2, 9) апостола Петра все христиане именуются: «род избранный, царственное священство». Было время – исторически необходимое и оправданное – когда народ христианский отдал римскому кесарю свои царственные права. Но возмужав, он сам берет на себя венец и бремя царского служения. Христианская демократия есть не безцарствие, но царство народа Божия. Демократическая теория народного суверенитета, разливающая суверенитет между всеми личностями, составляющими народ, является секуляризованным

отражением той же идеи. Демократия в Европе долго говорила христианским языком — в коммунах средневековья, в республиках реформации, прежде, чем заговорить на языке Руссо. Но и в речах Руссо можно узнать дух женевской теократии Кальвина. В православии, столь связанном с византинизмом, на русской земле создавались христианские демократии Новгорода, Пскова, Вятки. Их сакральная порфира (по крайней мере, в Новгороде) была не менее пышной, чем у царей московских. Не разрывать эту порфиру должна демократия, но надеть на свои плечи. Иконоборчество демократии XIX века есть явление духовного распада, которое не предвещает ей ничего доброго. Это продукт общего разложения религиозной культуры. Напрасно думать, что монархия имеет какие-то преимущества перед ней. Напротив, лоскутья пурпура, вшитые в современный пиджак (конституционный монарх Запада) или в офицерский мундир (Романовых и Гогенцоллернов) оскорбляют своей безвкусицей более, чем пиджачное собрание парламента. Но наша эпоха требует символов, требует литургического преображения жизни. У большевиков и у гитлеровцев равно бродят сакральные страсти. Должны они проснуться и в демократии. Таким сакральным одеянием может быть для нее только символ всеобщего царства, который не мыслим без возрождения истинной харизмы власти.

Харизма власти, разлитая по всему социальному телу, собирается в сгущениях силовых точек: в каждой группе людей есть природные вожди, которые умеют руководить, которым приятно повиноваться. Это дарования личные; они чрезвычайно редко передаются по наследству, и не покупаются вместе с социальными привилегиями. Порок монархических и аристократических обществ состоит именно в обезличении власти, отвлечении ее от личного дара. Смысл и призвание демократии — в освобождении личной харизмы власти, а вовсе не в ее обезглавлении и растворении в коллективе. Чем может помянуть себя в истории демократия? Именами Перикла, Гракхов, Вашингтона... Но безличной остается Венецианская аристократическая республика, безличным может остаться и Византийское священное царство. Когда демократия перестает быть формой отбора природных вождей, это свидетельствует о ее болезни. Болезнь может привести ее к смерти, т. е. замене

личного начала власти – началом наследственным или механическим. Современная демократия Запада явно больна этой болезнью: она перестает давать вождей. Но призвание вождей говорит в наше время сильнее, чем когда-либо, и массы идут за ними. Явное указание на порок системы, которая внутри себя не дает простора для природных вождей.

Кто же является в христианской демократии носителем харизмы власти? И весь народ (Израиль), и каждый гражданин – носитель царственного священства, – и выдвигаемые народом вожди (судии).

Попробуем сопоставить порядок царства с порядком священства – с тем, в котором (синекдохически[5]) иногда видят все содержание Церкви. Идеал православного строя священства называется соборностью. В каком отношении находится начало соборности к демократии?

Если под демократией понимать механическую систему, построенную на числе и равенстве социальных атомов (продукт XVIII века), то соборность есть коренное ее отрицание. Но она содержит в себе начала истинной демократии, в христианском ее смысле. Разумеется, в истории соборность церковная осуществляется весьма несовершенно: в этом отношении она едва ли удачливее политической демократии. Но посмотрим на ее принципы, как они сложились в цветущую эпоху церкви – в ее священном праве.

Бесспорное отличие священства от царства – в примате для первого сакраментального начала, начала священной традиции, апостольского преемства. Не помазанный царь (Юстиниан[6]) есть царь, не рукоположенный священник не священник вовсе. И тем не менее, одно идущее сверху вниз иерархическое начало (римско-католический принцип) не образует еще православной соборности: оно нуждается и в иной санкции – народной воли. «Аксиос»[7] народа – слабый остаток древнего избирательного начала. Ни один епископ не может быть навязан пастве против ее воли, но должен быть избран ею. Иерархическая коллегия – соепископы – сохраняют лишь право отвода недостойных. Но принцип, формулированный каноническим правом, весьма недалек от принципа политической демократии: «Тот, кто должен управлять всеми, должен быть и выбран всеми». Соборность священства не знает общего природного равенства; она пред-

полагает скорее природную и благодатную иерархию. Но эта иерархия не может быть насильственной; она должна находить себя и устанавливаться свободно. И никто из принадлежащих к церкви не исключается из осуществления этого права: участия в поставлении священной иерархии.

Идеал соборности есть организм любви — по образу идеального семейного или дружеского общения — где повинующиеся повинуются свободно, где властвующие не властвуют, но служат всем и находят основу своего служения в общем признании.

Есть некоторое противоречие в том, что православие, столь враждебное монархическому (папскому) началу в церкви, как несовместимому с соборностью, не только благословляло (что вполне законно), но часто и готово было догматизировать монархию в государстве. Славянофилы пытались найти разрешение противоречия в признании греховного начала всякой государственной власти. Освобождение от греха власти всего церковного народа (кроме одного лица) облегчало всеобщую совесть. Область мира оказывалась отделенной целой пропастью от сферы церкви. Но в этом было недостойное умаление харизмы власти. На что помазывает церковь царя? Разве на грех? Нет, но на подвиг и служение — не свободные от греха. Культ царской власти противоречит этой теории царства, как «козла отпущения» за грехи народа. Остается другое, более простое, историческое объяснение. Церковь сама строила священство — на началах соборности, и нашла данным выросшее на языческом корню царство, которого не могла преобразовать, а стремилась лишь подчинить своему влиянию. Но если бы ей пришлось, как на Западе, в средние века, строить новую власть из развалин старого мира, можно ли сомневаться, что — при наличии необходимых предпосылок культуры — она строила бы его на началах соборности, т. е. на началах христианской демократии?

Начало соборности означает органическое равновесие личности и общества. Оно само по себе уже обеспечивает личность от поглощения коллективом, которое угрожает ей в царстве чистой, языческой демократии. Демократия соборная, или христианская двуцентрична. Для нее парадоксальным образом целое равно части. Стремление современной

европейской демократии связать себя с защитой личности — наследие либерализма — представляет секулярное отражение христианского идеала общества. Может быть, даже неуместно говорить об отражении там, где имеет место прямая генетическая связь: современные демократии в их секуляризованных формах происходят, как уже было сказано, от христианских демократий реформации.

Не следует думать, что защита личности и ее свободы есть дело одного протестантизма. Древняя церковь умела защищать духовную свободу личности перед лицом языческого или еретического государства. Долгие века «православного» царства несколько притупили сознание границ государства, но они всегда полагались. И положены они были раз навсегда самим Основоположником христианства, который разделил область Кесареву и область Божию. По разному проводилась в истории эта граница, но она проводилась и в Византии, как и на Западе, по линии раздела тела и духа, религиозной и материальной культуры. Между чистой духовностью и чистой телесностью лежат огромные средние пласты душевности: права, быта, социальной культуры. Это сфера сотрудничества или борьбы двух владык.

Крещение кесаря и номинальное включение царства в Церковь нисколько не меняет (слегка лишь — и опасно — его смягчая) этого основного дуализма. Внутри церкви остаются раздельными сферы царства, священства и пророчества. Но эта тройственность становится двойственностью благодаря тому, что царство в гораздо более слабой мере поддается реальному оцерковлению. В этой сфере борьба с демоническими силами слишком часто оканчивается рабствованием у них, и зависимость от жестокой закономерности природного мира не преодолевается никогда. Поэтому граница между царством и церковью (а не только между царством и священством) проходит всегда очень четко и в христианском государстве. Но эта граница всегда подвижна.

В самом деле, идеал христианского общежития — растворение его в Царстве Божием, когда Бог будет всем во всем. Это значит, нет вещи — сколь бы материальной или низменной она ни казалась, — которая не допускала бы одухотворения, включения ее в Царство Божие — кроме того, что подлежит

уничтожению. И, поскольку можно говорить о прогрессе в христианском смысле, т. е. о движении к Царству Божию, он состоит в сужении власти Кесаря, т. е. с политической точки зрения, в расширении сферы свободы за счет сферы власти.

В истории обычно отношение царства Божия и царства кесаря представлялось, как отношение конкретной, социальной церкви к государству, или, еще уже, священства к царству. В церкви, как священнической организации, Царство Божие находит свое земное, хотя бы символическое, воплощение. Но если Бог обитает не только в храме, но и в каждой христианской личности, то каждая личность в своей изначальной глубине, в своем святая святых является престолом Божией славы. В последней глубине свобода человека совпадает со свободой Бога. Христианское творчество человека раскрывается, или должно раскрываться, по образу пророчества.

Вот почему христианин, отстаивая перед государством свою свободу – не только молиться, но и мыслить, творить, устанавливать нравственные связи с миром людей, – борется не только за свою собственную свободу (как либерал-индивидуалист), но и за власть Бога в мире, за Царство Божие. Все творчество человека должно быть посвящено Богу, и это посвящение начинается с высших форм его. Кесарю еще принадлежит динарий, т. е. хозяйство, образцом которого динарий является. Кесарю принадлежит материальный меч, т. е. власть и право защиты от внешнего и внутреннего насилия. Но ему не принадлежит власть над духом. Он может требовать подати и службы – труда и крови, но не может требовать ни молитв, ни од, ни вдохновений, ни трактатов. Идеократия есть грубая форма идолослужения, принудительное почитание государства-зверя. Все политические свободы современной демократии суть производные (в историческом и догматическом смысле) из этой основной свободы – духа, как сферы, Богу посвященной. Не следует презирать и низших областей свободы – ибо здесь даны кесарем признанные гарантии свободы высшей. За свободой печати стоит свобода мысли и свобода художества, и за ними свобода молитвы и литургии. Деспотизм, топчущий низшие, нередко низменные пажити свободы, скоро посягнет и на самые драгоценные цветы ее. Наполеон надел намордник не только на журналистов. При нем французская литература

почти не существовала, а глава церкви сидел в заточении. Но будем помнить, что источник всяких свобод личности не в ее несуществующем суверенитете и не в той или иной организации власти. Не от царства – хотя бы демократического – ждать ей свободы. Не в царстве, и не в священстве, но в пророчестве она рождается: в самой свободной сфере Царства Божия. И это сознание, вдохновляющее нас к защите свободы, должно охранять ее достоинство. Свобода не игрушка и не комфорт, даже не счастье: но долг и жертва, служение – часто суровое, – очищение от всякого идолопоклонства, – вдохновение, послушное высшей воле.

«Новый Град», № 8, Париж, 1934

Наша демократия

Не нужно быть пророком, чтобы видеть, что парламентарная демократия в Европе доживает последние дни. Страна за страной отрываются от демократического берега и бросаются в темные волны диктатуры в поисках совершенно неведомого нового строя. В центре Европы Швейцария и Чехословакия, на севере Скандинавские страны с Голландией остаются пока единственными устойчивыми островками демократии. Теперь и Францию нельзя к ним причислить. Но ясно, что, если произойдет обвал Франции, то никому не устоять. Уцелеет, пожалуй, Англия, с ее системой тысячелетней давности — единственная страна, где парламентаризм туземное, а не привозное растение. Может быть, здесь он сумеет приспособиться к новым требованиям жизни, — хотя и в Англии недовольство режимом крепнет, и, даже помимо слегка комических здесь фашистов, растет число приверженцев корпоративной или иной, нового типа, демократии.

Ближайшая, самая поверхностная причина, объясняющая столь легкое и повсеместное крушение демократических режимов, — это их слабость. Демократия нигде не умела защищать себя: она погибает почти без сопротивления. В сущности, эта причина могла бы быть достаточной. Режим гнилой и ненавистный народу может существовать десятилетия, держась на штыках. Зато самый идеальный правопорядок не просуществует и нескольких лет, даже месяцев, будучи беззащитным. Любой бандит имеет больше шансов основать государство, нежели философ. Новейшая история лишний раз подтвердила эту истину.

В политике слабость не только несчастье, но и порок. Не умея защищать себя, власть тем более не в силах осуществлять ответственных решений, вести народ к творчеству новой жизни. Слабость демократии сказалась всего сильнее в послевоенную эпоху, которая воспитала целое поколение на крови, приучив видеть в насилии добродетель. В этом элементарном смысле демократия гибнет в Европе жертвой войны. Это готовы признать все ее защитники, которые пытаются этим фактом смягчить горечь ее утраты: демократия-де слишком хороша для нашего жестокого времени. Она воскреснет, когда мир преодолеет кровавый кошмар войны.

Однако, не одна война убивает демократию. Для нее оказывается смертельным и социальный вопрос, перед которым поставлен современный мир. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы живем уже в эпоху социальной революции, величайшей, какие знало когда-либо человечество. Современному государству поставлены гигантские социальные задачи, не разрешив которых оно гибнет. Огромная ответственность, воля, работоспособность требуются от вождей народа. И в эти дни демократия разоблачает не только свою беззащитность, но и свое безволие.

В Германии, где Гитлер пришел через демократию, она умерла уже раньше естественной смертью. Демократический режим сделался невозможным из-за отсутствия парламентского большинства. Парламентское большинство, которое казалось чем-то естественно-данным, само собою разумеющимся в XIX веке, теперь достигается все с большим трудом. Вне специфически англосаксонской системы двух партий, большинство почти всегда создается лишь коалицией партий, т. е. ценой компромисса.

Но сама обостренность политической борьбы, сама грозность поставленных историей социальных проблем, делает партийное соглашение почти невозможным. Так парламент отказывается служить, когда власть всего нужнее — как насущный хлеб. Не удивительно, что народ ищет и создает ее вне стен парламента.

Исчезновение большинства является результатом партийной системы в обстановке обострившейся политической борьбы. Эта система, непредусмотренная ни в одной из конституций, во Франции прямо враждебная духу якобинской республики сде-

лалась жизненно необходимой для парламентаризма. Без нее политическая машина просто не может быть пущена в ход – мы увидим далее, почему. Но в итоге партийный чиновник или партийный агитатор стал типом парламентария и поставщиком министров. A priori ясно, что для партийной борьбы требуются иные качества, чем управление государством. Красноречие, интриги, верность доктрине создают карьеру партийных вождей. Для государства нужны знание, опыт и свобода от предвзятых мнений. Для большинства партий выборы и выборная борьба исчерпывают круг внепарламентской работы. Но в условиях современности, с ее средствами грубой рекламы и массового «действия», выборы развертываются в грандиозную эпопею лжи и гипнотического одурения масс. Политическая мысль доводится до крайнего примитивизма. Лозунги сталкиваются с лозунгами, подкрепляемые, в лучшем случае, остроумием, в худшем и обычном – клеветою и игрой на низких страстях: классовой, национальной, религиозной злобы. Демагога часто сравнивали с царедворцем. Но царедворцы бывают плохими министрами. Демагог, изучивший искусство льстить народу и вести его к урнам, не может требовать у него жертв и вести на подвиг.

Было время и столь еще близкое, что наше поколение его помнит – когда политик, и именно парламентский политик, был подлинным вождем народа. Отдавая дань демагогии (как министр самодержавного монарха придворному этикету), он умел сохранить верность идее, и служение ей очищало его от грязи партийной борьбы. За идеи (свободы, социализма) шли в тюрьмы, умирали, жертвовали всем. Такие политики могли водительствовать, а не только маневрировать. Но, с одной стороны, вырождение идей, с другой, коррупция, вносимая в политику финансовым капиталом, убили политический идеализм. Тип политика измельчал. Люди культуры, просто порядочные люди все более уходят из политической жизни, предоставляя ее ловким ораторам и сомнительным дельцам. Политика стала делом презренным, парламентарии предметом глумления. Среди них, конечно, есть немало честных людей. Но в честность их не хотят верить, как не верят в честность министров выродившейся монархии. Народ не узнает себя в своих представителях. Нельзя и вообразить, что он станет за-

щищать их своей грудью, когда его избранники подвергнутся насилию. Но без этой готовности парламентский режим невозможен. Он покоится на доверии и на воле народа, и не может держаться на полиции, как монархия — хотя бы в десять раз более упадочная.

Так протекает закат демократии. Народ ушел от нее — даже в тех странах, где она еще существует. Вне ее он ищет своих вождей и избранников. Потому что политика не умерла. Наша эпоха бесконечно далека от политического индифферентизма, и, если чем страдает, то никак не малокровием, а скорее полнокровием политики. К великой социальной проблеме наших дней — один путь: чрез политическую волю, чрез концентрацию всех сил народа в ответственном и уверенном в себе водительстве. И вожди находятся, вожди ведут — куда?

Фашистские диктатуры, в такой же мере, как и коммунистическая, суть органы для социальной революции. Но отвлечемся сейчас от их социальной роли и вглядимся исключительно в их политическую структуру. Могильщики демократии, утверждающие совершенно новый тип государственного властвования, какую политическую форму они несут с собой?

Прежде всего ясно, что, не взирая на абсолютизм их теорий, фашистская форма государства является — по самой природе своей — временной и переходной. Она покоится на неограниченном личном обаянии вождя, который в дисциплинированной партии концентрирует и направляет революционную энергию масс. Но все эти три момента преходящи. Вожди стареют и умирают, партии перерождаются, народы изживают революционную лихорадку и возвращаются к мирному труду. Кто будет вести государство, кто будет выражать «народную волю» в пореволюционную эпоху? Теоретически здесь возможны три случая. Или фашизм есть мост к цезаризму, к наследственной империи, где вчерашняя партия перерождается в бюрократический аппарат. Тогда впереди слишком знакомая полоса абсолютизма с его возможностями технической цивилизации, но с непременным отмиранием политики и, постепенно, всякого динамического напряжения в духовной культуре. — Новая империя Диоклетиана-Константина, как ее провидит Шпенглер. Второй возможный исход — это партия, «отбор», который увековечивает себя в качестве новой аристократии организаторов

труда. Он становится новым классом или даже кастой — быть может, наследственной. В перспективе сначала духовная, а потом, может быть, и физическая деградация масс, порабощенных новым «сверхчеловечеством». — Это одна из утопий Уэльса. И, наконец, остается третья возможность — демократической эволюции фашизма. Эта возможность заложена в создаваемой им корпоративной (или советской) системе. Если она окажется достаточно жизненной, то именно она может пережить и заменить сошедшего со сцены вождя и выродившийся партийный отбор. Но корпорация строится снизу, это форма организации и самоуправления трудящихся масс. Сама из себя она способна создавать и квалифицированный отбор и вождей — необходимые, по Аристотелю, аристократический и монархический моменты всякого, и демократического государства. Тогда фашизм будет лишь переходной ступенью к новой, корпоративной или социальной демократии. И это единственный, по нашему убеждению, исход, который спасает европейское человечество — или, по крайней мере, создает социальные условия для спасения — от гражданской смерти.

Мы исходили из предположения об имманентной эволюции фашизма. Если в этот процесс вмешается революционный фактор, он может воздействовать в пользу демократического исхода. И, наконец, у демократии есть еще немалые площади на политической карте Европы и Америки, где она вольна распорядиться своей судьбой: вольна избавить свои народы от горькой чаши тирании и сама выполнить ту задачу, которую — выполнит или нет фашизм, неизвестно, — но которую он провозглашает своим делом. Эта задача двоякая: экономическое преобразование общества и создание новых политических форм социальной демократии. И мы видим, что Америка всерьез и вплотную подошла, по крайней мере, к первой из этих задач. Итак, вопреки очевидности сегодняшнего дня, мы убеждены, что для демократии не все потеряно. Что ей принадлежит будущее. Когда рассеется пыль, окутывающая место стройки, когда уберут леса, новое здание европейского общества — столь же отличное по своему стилю от XIX века, как архитектура Лекорбюзье[1] от классической Chambre des deputes[2] — будет все же новой формой демократического, а не иного государства.

Демократия умерла, да здравствует демократия!

Для большинства, как друзей, так и врагов демократии в наши дни она неразрывно связана с формулами XIX века. Ее защитники и противники берут ее en bloc – так, как она сложилась в буржуазно-парламентарных странах уходящей эпохи. Оттого имя ее стало теперь ненавистным для новых поколений. Партия, которая рискнула бы теперь написать на своем знамени демократию, даже нео-демократию, теряет много шансов на популярность. «Новый Град» не партия, «Новый Град» не популярен, нам нечего терять, и потому мы защищаем демократию.

Но, защищая, прежде всего необходимо определить ее. Что мы считаем постоянным и существенно ценным содержанием этой идеи в изменчивости ее исторических форм? Историк всегда говорит о демократии в ином, более широком смысле, чем политик. Для последнего она явление конца XIX века, для первого она дана в республиках древней Греции и Рима, в средневековых коммунах, в Великом Новгороде – в таких формах, которые имеют мало общего с современным парламентаризмом. Что же такое демократия?

Я отвлекаюсь от чисто социального понимания ее, как строя, действующего в интересах народных масс, низов народа. В этом смысле фашизм и коммунизм, конечно, демократичны, – как, может быть, демократичны по своим тенденциям древне-московское царство и диктатура цезарей. В политической демократии народ является чем-то большим, чем объектом попечения власти. Демократия сама есть власть народа. Источником власти в ней является народная воля. Из этих понятий, смысл которых теперь почти утрачен, надо исходить. Попробуем анализировать понятие власти или воли народа, чтобы найти его политическую сердцевину. Мне думается, что оно содержит две равно необходимые идеи. Первая относится к символу, вторая к социальной действительности. Символ в политике не последняя вещь. Для иных форм, например, для монархии, – это все. Монархия живет исключительно силой иррационального символа. Но и демократия живет ею, и когда мистика символа умерла, вырождается и политическая форма. Этот символ, эта мистика в демократии есть имя народа. В демократии все вершится именем народа, как в Англии именем короля (почему Англия и не может быть чистой демократией).

Народ мыслится живой личностью, более глубокой и мудрой, чем все составляющие его личности — «сыны народа». Его волю, нередко глубоко скрытую, нужно найти и исполнить. Если эта воля может погрешать, то она же несет в себе и возможность искупления. Эта мистика народа, существовавшая в язычестве и в христианстве, у нас всего ярче выражена была славянофилами, которые на зря связывали ее с идеей соборности. Позитивизм к ней слеп и глух. Он пытается «очистить» демократию от ее мистического привкуса, и этим подрубает самые ее корни.

Этой мистики демократии, однако же, недостаточно. Мы знаем, что славянофилы не были демократами, ибо передавали царю всю силу власти. Необходима политическая реализация «народной воли». Как определить ее? Всеобщим голосованием? Плебисцитом? Но плебисцит, устанавливающий империю Наполеона, кладет конец демократии. Римская империя всегда хранила память о своем происхождении из народной воли. Декреты сената и военные пронунциаменто[3], передававшие неограниченную полноту власти новому цезарю, свидетельствуют о демократическом происхождении принципата[4]. Но принципат не демократия. Верно то, что голосования, независимо от их способа и формы, составляют неотъемлемую черту демократической техники власти.

Но суть не в них, а в чем-то, что лежит за ними. Это «что-то» мы могли бы определить, как самоуправляющийся народ. В демократии народ не слагает с себя заботы об «общем деле» — res publica — но весь, в полном составе своих граждан, несет государственное служение и государственную ответственность. Конечно, это служение ложится не на всех в одинаковой мере: не одинакова и та политическая ответственность, которая падает на каждого. Еще важнее подчеркнуть, что самоуправление народа, проведенное последовательно, принимает формы не только государственного народовластия, но и местного, муниципального и профессионально-хозяйственного самоуправления. И последние, частные формы, быть может, для народных масс являются более существенными, чем высокая политика, участие в которой всегда грозит сделаться номинальным для непосвященных. Во всяком случае, лишь на основе частных самоуправлений может строиться политическая власть народа.

Без этой основы демократия ничем не защищена от перерождения в цезаризм. Для демократии существенно, чтобы каждый гражданин в той или иной форме, свободно и активно участвовал в организации и творчестве «народной воли». Номинальное равенство в этом участии (достигаемое счетом голосов) является лишь одной из разновидностей демократического принципа, характеризующей демократию нового времени, но никак не все исторические формы ее.

Среди основоположных ценностей демократии в наше время часто указывают на неотъемлемость личных прав и свобод. В порядке ценностей свобода личности для христианского политика стоит бесспорно на первом месте: она превыше всех политических форм. Но сама она не является политической формой, тем менее связанной непременно с демократией. В нашу эпоху демократия восприняла свободу личности в наследие от буржуазного либерализма, который совсем еще недавно противополагал себя демократии (Токвиль[5]). Но тема свободы — от государства — совершенно иная, чем тема власти — в государстве. Поэтому в дальнейшем мы совершенно отвлекаемся от момента свободы и говорим о демократии лишь в смысле самоуправляющегося народа, именем народа осуществляющего государственную власть.

Современная демократия, дважды рожденная — пуританской революцией в Англии и якобинской во Франции — несет в себе печать неизгладимой двойственности, — хочется сказать, двуличия. Первично-христианское благородство ее глубоко искажено прививкой атеистического материализма XVIII века. В этом отношении она вполне разделяет судьбу свободы. Свобода, рожденная под знаком христианской свободы совести, скрестилась с буржуазной свободой торговли (третья линия родословной ведет к феодальной свободе лица). Экономическая свобода, сделавшаяся невозможной в наше время, психологически скомпрометировала и христианскую свободу совести. Наш долг — христианских свободолюбцев — очистить нашу свободу от сомнительных примесей, размежеваться с буржуазной свободой собственности. Но эта задача стоит перед нами и в отношении демократии. Мы уже пытались установить вечные христианские основы демократии: идею народа Божия, соборно ищущего и осуществляющего Его волю. Не останавливаясь

сейчас на этом идеальном лике демократии, посмотрим, в чем буржуазный рационализм исказил его и как должна его выпрямить чаемая нами новая демократия.

Эти искажения, все вытекающие из атомистического представления об обществе и из борьбы интересов как содержания политики, могут быть сведены к трем основным заблуждениям.

1. Участие во власти есть право и интерес каждой личности. Человеческие особи-индивидуумы, равные в своих правах и функциях, строят государство путем борьбы и соглашений, для защиты своих интересов. Политический индивидуум-гражданин вырывается из всех органических социальных ячеек и групп, в которых протекает его жизнь, и одиноко противостоит государству в выражении своей политической воли. Воля народа есть сумма или арифметическая функция всех частных воль. Отсюда стремление современной демократии к скрупулезному выравниванию шансов (голосов) отдельных воль — что, действительно, достигается всего совершеннее в системе всеобщего, равного и прямого голосования. Но так как очевидно, что все выражения личных воль, по своей дробности и необозримому множеству, не могут быть сведены к единству, то граждане объединяются в территориальные округа, не по общности местных интересов (средневековый принцип), а просто по смежности. Но и ограниченные локально округа все же слишком обширны, чтобы граждане сами могли договориться о кандидатах. Отсюда посредничество партий, которые берут на себя выражение коллективных воль. Без партий современная демократия существовать не может, но партии явно и жестоко искажают выражение индивидуальных воль. Действительно, за исключением немногочисленных членов партийных организаций, остальные граждане лишь в некоторых пунктах разделяют взгляды той партии, за которую они голосуют. Большинство, быть может, раскалывается почти равным отвращением к конкурирующим программам и в конце концов голосуют не за свой политический идеал, а за наименьшее зло. В результате та парадоксальная ситуация, которую мы видим в наши дни. Парламент, вышедший из всеобщего голосования, может вовсе не пользоваться доверием страны — быть одинаково противным большинству граждан, которые, обманутые

посредничеством партии, не видят в нем собрания своих избранников. Попытки исправления территориальной системы представительства введением пропорционального принципа лишь закрепляют господство партийного режима.

2. Представительство народа, его законодательный корпус, должно быть возможно точным отражением интересов и настроений в стране. Политическая карта парламента есть повторение, в уменьшенном масштабе, политической карты страны. Пропорциональная система является идеалом этого соответствия. Но из этого принципа прямо вытекает невозможность построения общей воли – воли народа. Партийное большинство, как мы знаем, есть явление редкое, скорее исключение, чем правило, при развитой партийной дифференциации. Депутаты, связанные своей программой – часто императивным мандатом партии, – не имеют ни воли, ни даже права на соглашение, которое представляется изменой партии и избирателям. Так национальное единство разбивается в куски в угоду борющимся за власть кликам, из которых ни одна не может обеспечить себе победы.

3. Власть, т. е. исполнительная власть, есть приказчик народа. Она должна держаться в строгих рамках данных ей инструкций. Организованное недоверие к власти и самый придирчивый контроль ее считаются добродетелью демократии. В некоторых странах (французского типа) постоянная смена правительства является результатом этого контроля. В итоге у правительства нет ни времени, ни свободы действий ни для одной широкой и ответственной реформы. Текущие дела и борьба за самосохранение исчерпывают энергию политиков, стоящих у власти, как борьба за власть – вождей оппозиции. Оттого-то парламентские режимы оказываются неспособными ни к проведению социальной реформы, ни даже к самозащите от революции.

Всем этим демократическим ересям мы противопоставляем следующие положения, вытекающие из нашего понимания органической демократии.

1. Участие во власти не есть право личности, а ее долг. Власть не пирог, который делится между сотрапезниками, не акционерная компания для общей прибыли. Власть общее дело, требующее общих жертв. Власть народа строится, ис-

ходя из целого, а не из его частей. Народ осуществляет свою волю через посредство своих естественных или создаваемых им органов — групп, из которых слагается социальное тело. Через эти группы личности связаны с государством. Их прямое действие (подобно плебисциту) является исключением. Косвенность выборов (выражение, имеющее смысл лишь с индивидуалистической точки зрения) есть иное выражение того же самого факта, что группы, а не личности являются политическими органами государства. Равенство избирательных голосов не может быть учтено в органической системе и оно не является даже идеалом, ввиду неравенства сил для служения общему делу. Всеобщность голосования остается постулатом социального воспитания, как школа общей жертвенности, общей работы и общей ответственности. Законные интересы личности обеспечиваются при этом ее правами, а не ее властью. Независимо от доли своего политического влияния, она имеет неприкосновенную для государства и общества сферу свободы, — свое святая святых, — у порога которого, как в средневековом иммунитете, останавливается всякий агент государства.

2. Представительство народа есть отбор лучших — мудрых и справедливых — для отыскания и творчества (а не выражения) народной воли. Народная воля не дана непосредственно. В наличности имеется лишь хаос противоречивых мнений и интересов. Построить политический порядок из этого хаоса есть творческая задача, выходящая далеко за пределы компромисса. Всякая политическая проблема (дипломатическая, хозяйственная, административная) есть прежде всего проблема совершенно подобная научной, художественной или технической задаче. Никакой подсчет мнений или их балансирование не приблизит нас к решению задачи, которая дается только творческим усилием. Момент соборования, т. е. сосредоточения общих воль, направленных к единой цели, может быть могущественным фактором, и в нем сила и правда демократии. Но для него должны быть даны непременные условия. Прежде всего, искомое решение до самого конца должно оставаться неизвестным. Ни граждане, посылающие депутатов, ни депутаты, собравшиеся вместе, еще не знают — не должны знать (могут лишь догадываться) об идеальном решении, которое

они примут. Ибо это решение должно сложиться в итоге общей работы. Способность переубеждаться, готовность к отказу от всех своих привычных идей и предрассудков должна быть первой добродетелью народного избранника. Теперь он боится изменить партии и предает народ. В органической демократии единственным, связывающим его мандатом, будет его совесть и его понимание общего блага. Легко видеть, что этому идеалу современный парламент удовлетворяет в меньшей степени, чем даже совет средневекового или абсолютного монарха — Боярская Дума древней Руси или Витанагемот[6] англосаксонских королей.

Из сказанного следует, что выборы должны быть построены не на оценке программ, а личных качеств кандидатов. Лишь общая направленность его идей может быть учтена при выборах. Но выборы на основе личной годности осуществимы лишь в узких группах, связанных общностью жизни и работы, т. е. всего естественнее в группах профессиональных. Партии могут существовать как лиги для пропаганды известных идей. Во всяком случае избранный не может принадлежать ни к какой партии или обязан выйти из партии в момент избрания.

3. Власть есть водительство народа, а не служба приказчика, выполняющего хозяйские указания. Власть получает от народа лишь общие задания, лишь цели для политического действия. В отыскании нужных средств, зависящих от изменчивой политической обстановки, в энергии и также применения этих средств заключается политическое искусство властвования. Ибо власть есть искусство, и талантливый вождь подобен художнику. Всякое дело может быть испорчено неловким выбором средств. Бестактность вождей или стоящих за ними групп может вызвать, например, войну, которой не хотят ни они, ни народ. Раз выбранная из многих возможностей линия поведения должна проводиться последовательно, не считаясь с критикой, которая исходит из совершенно иных предпосылок и не обладает нужной компетентностью. Это значит, что власть должна быть сильной, независимой от Совета законодателей и отдавать отчет в своих действиях лишь по истечении достаточного срока своих полномочий. Создается ли она избранием законодателей или плебисцитом всего народа, это вопрос второстепенный, хотя, при исключении партий из избирательной

борьбы, плебисцит возможен лишь при высокой политической сознательности масс. Современный американский президент или римский консул всего более удовлетворяют идеалу сильной демократической власти. Впрочем и политическое развитие Англии движется в том же направлении.

Таковы общие принципы, которые ложатся в основу «неодемократии». От них до конкретного проекта государства дистанция огромного размера. Она может быть заполнена не теоретическим прожектерством, а политическим опытом. Но этот опыт в самых разнообразных (в том числе и демократических) режимах согласно указывает на то, что формой новой демократии призвана стать демократия корпоративная или синдикальная. Сама по себе база органической демократии может быть различна: родовая, семейно-племенная на заре истории, цеховая в Средние века, территориально-областная в эпоху, когда квартал, деревня, город, область были живыми коллективами. Современный человек из всех социальных связей сохранил и развивает преимущественно связи профессионально-корпоративные. Профессиональная структура является единственным наследником, которому умирающая партийная демократия может передать свое наследство.

Корпоративная демократия еще не родилась, но уже подвергается острой критике. Указывают, что представительство профессий узаконяет борьбу интересов и разлагает государственное единство. В идее, корпорация является представительством не интересов, но призваний, различных форм социального служения. Однако было бы фантастическим идеализмом закрывать глаза на возможность междупрофессиональной борьбы. В известных границах социальная борьба несет в себе условия движения, прогресса. Гармоническое общество невозможно: да оно являло бы картину застоя. Необходимо лишь, чтобы идея целого господствовала над всеми частными идеями. В государстве корпораций идея целого представлена центральной властью и сильная, независимая власть, особенно в первый период нового режима, является необходимостью.

Известный противовес опасностям корпоративного строя может быть найден в дуализме представительства. Вторая палата может быть построена на территориальном начале. Территории не до конца утратили свой органический смысл, и их

представительство, как органов народного самоуправления, избранных на основе всеобщего и равного избирательного права, может дополнить представительство профессий. Если демократическим странам суждено избежать фашистской революции, то их социальная перестройка естественно должна начаться с присоединения к парламенту новой «экономической», корпоративной палаты. Совместное их существование, с неизбежным расширением функций младшей сестры, на опыте покажет силу и слабость новой системы. В Советской России исходным моментом для развития новой демократии является советский строй, который представляет сочетание профессионального и территориального представительств. В этой области все принадлежит эксперименту. Доктринерство корпоративизма может быть так же опасно, как доктринерство парламентаризма.

При этом никак нельзя забывать, что весь смысл корпоративного государства — в осуществлении трудового социального строя. Повторяем сказанное выше: в наше время политика есть функция экономики. Самое остроумное решение политической проблемы бесполезно, если оно не приведет к радикальному пересозданию общественной, прежде всего экономической, жизни. Сила и значение корпораций в политике всецело зависят от той роли, которую они будут играть в хозяйственной жизни народа.

И, наконец, последнее — и самое важное замечание. Не достаточно и социальной революции, чтобы созданный ею социально-политический строй явился органическим в большей мере, чем строй буржуазный. Органичность не прокламируется декретами, не создается революциями. Напротив, революции по существу своему враждебны органике и скорее разрушают все остатки органического быта. Явный порок коммуно-фашизма — в том, что он подменяет внутреннюю органичность новым механизмом, заменяя страшным механическим давлением государства отсутствие внутренних скреп. Нельзя надеяться, что под длительным действием пресса атомы личностей образуют новые органические ткани. Скорее всего, они засохнут и умрут, ставши элементами нового робота — государства, — если новая духовная революция не остановит и не повернет назад механизирующий поток. Дух должен проснуться в человеке.

Из единого духовного центра должна строиться вся его жизнь. Все социальные отношения должны вновь сделаться, как некогда, органами религиозного всеединства, чтобы правда об органическом обществе не превратилась в новую ложь. Фашизм смутно предчувствует эту правду, но — сам последнее порождение механического века — несет в себе новые опасности духу, еще не до конца задохнувшемуся в буржуазном тлении. Только христианство может дать крылья рождающейся социальной демократии и спасти ее, а вместе с ней и всю культуру старой Европы от титанически-шпенглерианского заката.

«Новый Град», № 9, Париж, 1934

О демократии формальной и реальной

Нет слова более многомысленного в наши дни, и которым более злоупотребляли бы в политической борьбе. Под демократией понимают не одну, а, по крайней мере, пять разных вещей, слитных в политическом строе Европы. Можно, вероятно, насчитать и больше элементов в этом политическом сплаве, но с нас достаточно и следующих:

1. Под демократией понимают иногда, и довольно часто, свободу, «формальную свободу», хранимую ею, как драгоценное наследие либерализма, ныне без остатка растворившегося в демократии. Об этом смешении мы пишем в другой статье.

2 Под демократией часто понимают сам принцип правового государства или «благозакония» (по-гречески), в противоположность деспотии и тирании. Действительно, демократия в Европе — единственная форма правового государства, удержавшаяся в XX веке. Подлинная монархия и аристократия рождения или ценза приказали долго жить. Демократическому государству противостоит сейчас принцип насилия и захвата, как основы государства: власти парламента — власть банд, праву голоса — право дубинки и револьвера, скрашенные идеологией.

3. Под демократией понимают — и это есть ее существенное определение — власть народа, или власть масс, или власть большинства, в каких бы юридических формах она ни выражалась. Мы не имеем права отказывать в имени демократии ни древнегреческому полису, ни коммуне средних веков, ни даже разным формам цезаризма. Новый, широкий термин «демотии»[1], предложенный евразийцами, может казаться пригодным для

всего многообразия демократических форм. Но его двусмысленность и даже опасность в том, что он подчеркивает не власть, а только причастность народа власти, позволяя говорить о демократичности одинаково и московского царства, и современного фашизма.

4. Под демократией понимают, наконец, современные формы организации демократических государств, которые мы должны в свою очередь разделить: на парламентаризм, т. е. систему абсолютной зависимости исполнительной власти от народного представительства, что, по существу, является наследием либерального, не демократического государства, и

5. Выборы представительства на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

Скажем прямо: мы считаем вечными и неотменяемыми (т. е. вечно долженствующими быть) первые два начала, без которых всякое государство, не только демократия, являются либо деспотизмом, либо тиранией. И мы защищаем третье начало — народовластия — не как вечное, но как самое совершенное в его исторической обусловленности: для нашей эпохи не подлежащее отмене, но лишь развитию и воспитанию. Последние две исторические формы демократии суть преходящие оболочки ее, подлежащие критике и преодолению.

Обратимся к началу народовластия, как таковому. Мы все понимаем, конечно, теперь — через полтораста лет после Руссо — все трудности понятия «народной воли». В эту сторону направлены две стрелы реакционной критики демократии. Однако это столь неуловимое, столь мало «позитивное» понятие народной воли становится вполне конкретным, жизненным и бесспорным в своей ценности, в крайних точках своей судьбы. Во-первых, отрицательно: когда демократия нарушается грубо, насильственно; когда власть захватывается тираном или бандой; когда народ управляется властью, лишенной его доверия. В гибели своей демократия всего убедительнее показывает свою ценность и свой смысл: власть, ведущая народ, должна от него исходить и к нему обращаться. Положительным образом ценность народовластия и красота его проявляются иногда в большие исторические дни: когда народная воля обретает единство — в одной великой цели, будь то оборона страны или борьба за справедливость, за новые общественные формы. В буд-

ничные дни раскол народной воли, которая является заданием, искомым, а не данным, мешает видеть глубокую правду этой идеи. Между принципом, на котором покоится государство, и реальной властью народа, могут образоваться «ножницы», разрыв. Демократия «формальная» может не совпадать с реальной.

В отличие от «формальной» свободы, я допускаю действительную опасность формализации демократии, т. е. разрыв между правом и социальной действительностью. Формальная демократия может быть издевательством над демократией. Незачем только искать ее прежде всего в парламентаризме. Наиболее яркие и отталкивающие примеры формальной демократии: советская Россия (в ее конституции), гитлеровская Германия, все типы демократического цезаризма (плебисцит). Все или почти все тираны правят именем народа. Но формализация наступает и в демократии правовой, благозаконной. Более того, я убежден, что, если бы не болезнь формализации в правовой демократии, то она не могла бы с такою легкостью срываться в свое вполне формальное, фашистское вырождение. Недомогание демократии начинается тогда, когда массы перестают ощущать ее, как свое государство, свою власть. Холодок по отношению к демократии существует повсюду в демократической Европе, может быть, за исключением Англии: начиная с политического индифферентизма, через презрение к партийному режиму с его вождями, переходя в прямую ненависть к «буржуазной» демократии, как основанной на обмане власти врагов народа. Каковы причины этого тяжкого недуга современной демократии?

Настоящий кризис демократии в Европе имел свой пролог. В 1848 году на протяжении нескольких месяцев развернулась историческая драма, которую мы переживаем вторично в послевоенные десятилетия: торжество и гибель демократии. Герцен, Токвиль и Маркс, свидетели-очевидцы, объяснили нам со всею ясностью смысл происходившего. Народ, ставший политическим господином страны, не может не смотреть на свою власть, как на средство радикально изменить свою жизнь, т. е. прежде всего свое экономическое положение. Властитель Франции — в грязной трущобе, в изнурительном труде, с перспективой умереть на улице в дни безработицы — это противоречие не укладывается в сознании рабочего. Оно, действи-

тельно, представляет верх нелепости. Искушение оказывается непосильным. Обманутый в своих ожиданиях народ начинает ненавидеть тот строй, который представляется ему вопиющей ложью, и идет за насильниками и шарлатанами, которые обещают ему хлеб. Могло казаться, что это разочарование в демократии было грехом юности, свидетельством незрелости масс. Последние десятилетия XIX века воспитали народ в демократическом благоразумии. Но не надо забывать, что это было время грандиозного экономического расцвета и длительного улучшения быта рабочих классов. После войны, с быстрым разложением капитализма, положение народа резко ухудшается. Он с прежним, и законным, нетерпением предъявляет свой счет к демократии.

И тут демократия, в своем аппарате и действии, обнаруживает удивительную медлительность и косность. Оказывается, что вся машина парламентаризма построена в расчете на ограничение власти, на недоверии к власти (королевской) и хорошо работает лишь в нормальное время, когда функции государства сведены к минимуму. Может быть, минимализация государства вообще является идеалом. Общество в сложном расчленении своих органов может взять на себя большинство государственных функций. Но бывают эпохи – войн, революций – когда государство пробуждается к жизни. Необходимость сильной власти, единой воли, ясного водительства чувствуется всеми. Парламентаризм отказывается служить в эпохи кризисов. Но и сам состав народного представительства оказывается непригодным для подлинного представительства народной воли. Давно прошло то время, когда во дворце народа сидели лучшие его сыны, которыми страна гордилась. Это является результатом вырождения партийной системы, которая не de jure, a de facto лежит в основе современного парламентаризма.

Но вырождение народного представительства и опыты построения его на новых, более органических началах – особая и слишком сложная тема. По-видимому, для того, чтобы демократия могла стать политической формой трудового общества, и даже для того, чтобы планировать трудный и опасный переход к новым социальным формам, она должна радикально перестроиться. Она должна вернуть себе доверие масс, прикоснуться к земле, т. е. к органической, хозяйственно-духовной почве народ-

ной жизни, и почерпнуть новые силы в этом прикосновении. Здесь не важны даже отвлеченные преимущества и недостатки избирательных систем. Любая система, вчера полная жизни и содержания, сегодня изнашивается. По разным каналам может направляться таинственный поток народной воли. Для сегодняшнего дня бесспорно: народ не доверяет кандидату партии, который выступает перед ним с демагогическими обещаниями и с плохо прикрытыми лично-карьерными интересами. Во дни борьбы он больше верит своему «делегату», избранному своей мастерской, своим цехом, в котором он видит «своего» по быту и духу, еще не оторвавшегося от станка, еще не деморализованного политической кухней. Отсюда сила «советов» или подобных им организаций, во все революционные времена. Не игнорировать новую силу, но на ней построить, целиком или отчасти, организацию власти — в этом спасение демократии.

«Новая Россия», № 8, Париж, 1936

О свободе формальной и реальной

Статьи Н. А. Бердяева о формальной свободе и демократии всегда имеют свойство вызывать энергичный протест. Протест врагов, вероятно, доставляет ему одно удовольствие. Но протестуют часто и друзья. Это вносит междоусобие в и без того малый стан «персоналистического социализма» – междоусобие, неоправданное действительными расхождениями. Виной этого междоусобия является, в значительной степени, неверная терминология, которой пользуется Н. А. Бердяев, и которая не только затемняет его мысль, но и делает ее опасным инструментом в руках врагов (не коммунистов только, как думает Н. А. Бердяев, но и фашистов).

Я всецело согласен с основной мыслью Н. А. Бердяева о невозможности защиты свободы в наше время на буржуазных позициях. Нельзя бороться с коммунизмом или сталинизмом, открывая двери для буржуазной реставрации. Эту мысль, с моей точки зрения, следовало бы выразить привычной формулой: демократия политическая сейчас может быть спасена лишь в демократии социальной. Противоположность демократии политической и социальной привычна для всех социалистов, воспитанных в традициях XIX века. Ее смысл ясен. Но что значит противопоставление формальной и реальной свободы?

Мне кажется, что в основе его лежит ряд смешений. Первое из них смешение свободы и демократии. В нем повинны почти все теоретики современной демократии, которые включали в ее определение основное содержание либерализма. Н. А. Бердяев берет это смешение у своих противников – и совершенно

напрасно. Свобода и демократия, которые резко противопоставлялись еще в 40-х и 50-х годах прошлого века (ср. Токвиля), примиренные к концу его, начинают снова глубоко расходиться. Фашизм с известным правом может притязать на имя демократии. Это тоже демократия, одна из ее многообразных исторических форм. Но эта демократия враждебна свободе. Останемся пока в границах свободы. Что такое формальная и реальная свобода?

Что такое формальная свобода, мне кажется ясным. Это свобода, гарантированная законом, т. е. государством. Иначе говоря, свобода, ограничивающая само государство, или свобода от государства. Формальная свобода – это то, что делает невозможным или ограничивает этатизм, ненавистный и мне и Н. А. Бердяеву. Значение этого формального юридического момента трудно переоценить в истории политической культуры. Все завоевания народа или угнетенных классов в борьбе с привилегированными обладателями государственной власти начинались с признания формального закона, связывающего сильных, дающего слабым известные, хотя бы слабые, гарантии. Законы дракона[1], первые хартии европейских коммун, феодальные присяги королей, декларации прав европейских конституций – суть обязательства. Они могут нарушаться на каждом шагу, но от этого не становятся мнимыми. Право есть совершенно реальная сфера культуры, не менее реальная, чем хозяйство и быт. Право имеет всегда определяющее, направляющее, формующее значение. Норма, хотя бы нарушаемая, составляет душу культуры. Правила грамматики управляют нашей речью и письмом, как бы часто мы не погрешали против них. Можно надеяться, что социализм не отменит формального или правового начал в государстве, хотя есть основания бояться, что он ослабит их.

С другой стороны, что такое реальная свобода, это вполне не ясно. Она имеет множество значений, которые постоянно смешиваются спорящими об этом, самом жгучем, вопросе наших дней. В высшем метафизическом смысле свобода человека, для христианина, реализуется только в Царстве Божием. Грех и подчиненность законам природы составляют самое реальное и неизбывное рабство человека. Но и спускаясь в низшие сферы, понимая под свободой большую, относительно, возможность

проявления возможностей, способностей и сил человека, мы приходим всегда к противоречивым оценкам. Бытовая свобода в царской России была, бесспорно, выше, чем в Англии или Швейцарии (свобода плевать на улицах, развлекаться, кутить и пр.). Бытовая свобода, вообще, убывает вместе с осложнением культуры, с ростом техники. Убывая в одной сфере, свобода возрастает в другой. От меня зависит, какую свободу я предпочту: свободу писать и читать книги или свободу бить зеркала в кабаке. Вывод таков: нельзя говорить о реальной свободе, не оговорившись, какую именно сферу свободы мы имеем в виду: хозяйственную, бытовую, политическую, интеллектуальную, религиозную.

Н. А. Бердяев пробует дать иное определение различия между формальной и реальной свободой, которое нельзя признать удачным. «Формальной свободой, – говорит он, – называется такая, которая провозглашена, но не реализована на практике». Не говоря уже о том, что свобода провозглашенная всегда реализуется более или менее, и, следовательно, это «или-или» – имеет только теоретическое значение, попробуем приложить это определение свободы к конкретной буржуазной демократии. Действительно ли провозглашенная свобода так и не была реализована? Но какую свободу она провозглашала? Свободу от бедности, от борьбы за существование, от угнетения? Никогда. Формально провозглашены были свобода совести, мысли, слова, собраний (иногда собственности, почти всегда союзов). Была ли осуществлена эта свобода? Я утверждаю: была, в такой мере и объеме, как никогда в истории человечества. Некоторые исключения и непоследовательности, вызванные политической борьбой (положение монашеских орденов во Франции, например), не в счет, ибо абсолютно чистых и безгрешных форм история не знает. Следует спросить себя: составляет ли эта провозглашенная и реализованная свобода благо для человечества, или праздную забаву для политиков, для одного господствующего класса?

У нас с Н. А. Бердяевым не может быть разногласий по этому существенному пункту. Для нас свобода совести и мысли является реальным благом и даже таким, за которое мы отдадим все другие. Что же мы видим? Ни один капиталист не загоняет рабочего в церковь и не мешает ему ходить в нее. Миллионы

протестантов во Франции только со времени буржуазной революции получили право свободного культа. То же относится и к евреям. Реальное ли это благо или нет? Достаточно вспомнить о положении евреев в России, чтобы ответить на этот вопрос. Эта свобода затрагивает каждого человека, последнего из отверженных, ночующих под мостом. Свобода мысли нужна для немногих. В буржуазной Европе она осуществляется с полнотой, раньше небывалой. Свободная мысль, конечно, должна бороться за свое признание и даже выражение: с обществом, с кликами, с рутиной, с конфессиональными группами, — но не с государством, самым могущественным из социальных властителей. И здесь опять — сравнение. В половине Европы, где нет этой «формальной» свободы, жизнь мыслителя трагедия, выражение мысли невозможно, национальная культура глубоко искалечена, и даже равнодушные к ней массы, в последнем счете, несут тяжелый и очень реальный урон. Вознаграждается ли этот урон относительным материальным обеспечением, даже если бы удалось вполне обеспечить его? Конечно, нет. Мы не хотим человеческого муравейника, хотя бы и счастливого. Можно ли сказать, какое благо более реально: кусок хлеба или свобода (формальная) мысли и совести? Это вопрос личного духовного благородства. Благородный человек, к какому бы классу он ни принадлежал, предпочтет свободу и голод. Большинство — сытость и рабство.

Мы — небольшая сейчас кучка людей — думаем, что эта дилемма бесчеловечна. Мы хотим избавить народ от искушения предавать свой дух за «реальную» обеспеченность. Но опасность угрожает с двух сторон: со стороны эксплуататоров духовности, которые переводят свободу на чистую монету, и со стороны масс и их вождей, которые готовы с легкостью растоптать свободу, им непонятную и ненужную, за сытость обеспеченной тюрьмы. Предательство свободы со стороны современного антидемократического социализма не случайно. Ленин несет не только наследство Ивана Грозного (он, конечно, несет его), но и тенденции нашего века. Дело в том, что социализм может быть осуществлен лишь за счет экономической свободы. Эта форма свободы себя явно изжила и является обреченной. Но государство, которое берет на себя уничтожение экономической свободы, на этом не останавливается. Все виды свободы

между собой связаны психологически, хотя и не в порядке необходимости. Я стою, вместе в Н. А. Бердяевым, за разграничение свободы экономической и свободы духовной и политической. Но это задача необычайно трудная. Она оказывается не по плечу полуцивилизованным массам и даже современной культурной молодежи, ненавидящей свободу. Защита свободы становится в эти дни первым долгом всех людей духа и христианской культуры. Именно той свободы, которая существовала и еще существует и подлежит лишь расширению, а не отмене: свободы формальной, свободы юридической, свободы лица от государства и коллектива – в его совести, в его мысли и общественном действии.

Что касается социализма, то я думаю, что он не обещает и не несет никакой особой свободы. Свобода при социализме существует до известной степени вопреки его тенденциям, как лучшее из наследия старого мира. Но социализм несет другое: возможность полноты существования, возможность жизни для широких масс, которая сейчас для них весьма прекрасна. Для них эта полнота жизни является не свободой, но условием для сознательного и благородного принятия свободы. Сама свобода выше существования, выше жизни. Но эта иерархия, доступная для немногих, не дана для исторического человечества. Поэтому решение вопроса о существовании является предпосылкой – одной из предпосылок – решения вопроса о свободе.

«Новая Россия», № 7, Париж, 1936

Христианин в революции

Вокруг слова «революция» давно уже сгустилась атмосфера опасной двусмысленности. Еще марксисты злоупотребляли этим термином, понимая его то в социологическом, то в политическом смысле. В наши дни эта двусмысленность нередко поражает в устах многих представителей христианской молодежи на Западе. Здесь, особенно во Франции, слово революция сейчас звучит обаятельно для людей доброй воли, которые хотят разрушить все мосты между берегом «Нового Града» и буржуазным обществом. Но те же люди, которые заявляют себя революционерами, желают предупредить гражданскую войну, свести до minimum'a элемент насилия в переходный период, хотя и не считают возможным от насилия совершенно отказаться. Революция, говорят они, это не убийства, не казни, не грабежи, революция – положительное дело создания нового общества. И однако в это же самое время в одной стране мира происходит революция, которая именно и означает убийства, казни, грабежи и порабощение народа – во имя создания нового общества. Там заявляют, что других путей к будущему нет, что «революцию не делают в белых перчатках» (последнее, безусловно, верно). Несомненно, что коммунист и молодой католик (или англиканин) понимают революцию в разном смысле. Но сходство имени и символики создают иллюзию душевной и духовной близости. Давно пора внести ясность в этот идейный и психологический хаос. Наш русский, и притом двойной опыт – борьбы с деспотизмом царской и революционной власти – мог бы пригодиться для Запада. К сожалению, национальный опыт,

как и личный, не передается чужестранцам, а русская революционная молодежь, по односторонности и ограниченности своего (антибольшевистского) опыта, менее всего способна к объективности суждения.

Возьмем революцию в самом широком, социологическом смысле слова. Революция – радикальный перелом, переворот отношений, перестройка жизни, реконструкция. В более органическом понимании – это обновление, возрождение, новая жизнь (vita nuova). Все говорят об индустриальной революции в Англии, о революции языка, совершенной Ломоносовым, а после него Карамзиным, о революции нравов, быта в новые столетия истории. Но говорят также о революции, внесенной в мир христианством. Уже в этом словоупотреблении можно почувствовать многообразие оттенков: в революцию мы вкладываем то механический, то органический, то духовный смысл.

С другой стороны, все эти «революционные» процессы отличаются разной степенью остроты: и темпов развертывания во времени, и насильственности разрыва с прошлым. Существенным остается – радикальность обновления, новая жизнь, которая не хочет быть продолжением старой, но кончает с ней, чтобы устремиться в будущее. Возьмем, прежде всего, революцию в этом, самом общем смысле, в применении ко всем сферам культурной и социальной (не политической только) жизни, и спросим себя, каково отношение христианства к такой революции.

Ответ, мне кажется, не допускает сомнений. Обновление, новая жизнь – суть понятия существенно христианские. Это античный мир жил идеей совершенного круга, вечного возвращения и покорности природным законам бытия. Христианство, объявив войну природной жизни, – как зараженной грехом, зовет к совершенно новому, иноприродному порядку бытия: к Царству Божию. И на пороге этого царства встречает требованием покаяния: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». «Покайтесь» – metanoeite – значит, перемените мысли, переродитесь духовно. «Рождение духом», о котором говорит Евангелие от Иоанна, есть более сильное, онтологическое, выражение того же факта. Обращения великих святых – ап. Павла, Августина, стольких аскетов, отрекавшихся от мира, суть свидетельства духовной революции, существенной для

высшего, благороднейшего типа в христианстве. Христианская жизнь начинается с кризиса, но в кризисах она и протекает. Покаяние не однократный акт, но состояние перманентное. Власть греха не побеждается в одном порыве, но требует все новых усилий, все новых отречений. Ошибочно думать, что «обращение» неповторимо: что, вступив в Церковь или в монастырь, святой остается раз навсегда связанным непрерывностью закона, традиции, нового быта. Нет, власть греха сопровождает его и в новых условиях жизни; она оплотевает в быте и делается тяжестью, гирями на крыльях души. Рождается необходимость все новых разрывов, новых бегств: из одного монастыря в другой, из монастыря в пустыню, из пустыни или затвора в мир. Это внешние, видимые черты разрывов. Им соответствуют духовные революции, перемены путей. Эта христианская направленность – вперед и выше! – выражена ап. Павлом в известных словах. «Забывая заднее, простираюсь вперед» (Фил. 3, 13). Мы не упускаем из вида, конечно, что в христианском отречении рвутся паразитарные нити греха, а не ростки новой жизни – Царства Божия. В Царстве Божием нет места революции. Оно уподобляется древу, растущему из семени, или источнику, текущему в жизнь вечную. Говоря о жизни в Царстве, можно употреблять только органические образы. Но в обращенности к миру, эта же самая жизнь требует больших и малых отречений, надрубов и разрывов. Она оставляет за собой кровоточащий след.

Все это охотно признается для личной жизни, но, странное дело, когда заходит речь о социальном обновлении, христиане начинают пятиться, уклоняясь от ответственности и борьбы, иной раз откровенно защищая социальный грех. Люди, лично безупречные и бескорыстные, выступают защитниками зла только потому, что зло, существуя века или тысячелетия, приобрело обаяние традиции. Византия, из всех христианских культур, всего более содействовала освящению социального зла. Она приняла без возражений все социальное наследие языческого мира, и сообщила ему сакральное помазание. На тысячелетия в Греции и на столетия в России – с тех пор (XVI век), как наша родина осознала себя наследницей Византии, под видом церковного предания хранятся «гражданские законы» римской языческой империи. Таковы религиозные корни русского

«черносотенства», из которого до сих пор обозначился лишь один религиозный исход — в пустыню, в аскетическое равнодушие ко всему миру Кесаря. Но такому исходу противостоит положительная социальная активность, благое христианское противление злу — в древней домосковской Руси и на средневековом Западе. А еще глубже в прошлом — социальная традиция раннего христианства и греческих отцов, мессианская проповедь Спасителя и все, никогда не стареющее, содержание пророческого откровения Ветхого Завета. Нет, откровенная религия в Израиле и в Новозаветной Церкви была социальной ранее, чем стала личной; и Царство Божие было прежде царством народа Божия, чем Царством в душе человека.

Должно быть, наконец, установлено равновесие между личной и социальной этикой христианства. Грешно потворствовать своей личной, духовно-телесной природе; но столь же грешно склоняться перед природой общественной. Покаяние обращено не только к личности, но и к обществу, нации, классу, к каждой социальной группе. Покаяние есть призыв к обновлению, к новой жизни — в обществе, как и в отдельной душе. Педагогическая постепенность роста, воспитание в добре на одном конце, — и реформизм, культурная эволюция на другом. Но ни воспитание, ни эволюция не исключают христианской требовательности, жажды целостного обновления, не исключают и порываний к нему, моментов разрыва старых уз греха и бурного творчества новой жизни. Если называть это революцией, то отличие христианского и секулярного сознания в отношении к революции не в том, что первое более консервативно, или умеренно (вернее, как раз наоборот), но в том, что резкость христианского отрицания направлена на существующее зло, а не на критерий добра. Новый мир, долженствующий вырасти из старого, строится на вечных началах, заложенных в человеческом духе и данных в откровении; а не на новых принципах, открытых вчера или сегодня Руссо, Марксом, Лениным. Наша традиционность, наше уважение к Преданию, означает верность традиции добра, а не зла. Мы не зачинатели нового мира, а работники в винограднике Божием, или воины в Его рати, связанные преемственностью поколений и единством животворящего Духа. Христианская переоценка ценностей всегда относится к ценностям относительным, и не посягает на

абсолютные Начала. Нам чужд всякий натуризм, или адамизм[1], желающий «начать с начала» – от зверя или первого человека. Нам чуждо и идолопоклонничество перед новым, как таковым. Новое зло, конечно, хуже старого добра. Если же новое имеет все-таки преимущество перед старым, то лишь в том, что зло, присущее неизбежно старому, обличено и явно для всех, а зло, стремящееся родиться с новым, не ясно и не имеет характера природной неизбывности. В принципе мы не за новое и не за старое, а за вечное. Но вечное не может иначе воплощаться во временном, как в вечном творчестве новых форм (закон временного бытия), в вечном обновлении новых форм, если угодно, – в революции.

Это христианское оправдание революции в ее самом общем духовно-социальном смысле нисколько не предрешает нашего отношения к тому особому социальному феномену, который называется в узком, политическом смысле революцией. Но и здесь необходимы разграничения. Есть революции и революции.

Отличительный характер политического (связанного с государством) сектора культуры – в его особо тяжкой обремененности грехом. В отличие от многих высших (искусство) и низших (хозяйство) сфер культуры, где зло является паразитом, непредусмотренной, хотя и неизбежной заразой, в политике зло – в виде насилия – присуще самой ее природе. Это та сфера культуры, где зло обуздывается средствами зла. Такова трагедия падшего человека, что он не волен уклониться от рокового участия, хотя бы и пассивного, в политическом зле. И, если бесспорно и право христианское оправдание государства и подчинение ему (Рим. 13 и Петр. 2), то столь же оправдано, хотя нередко оспаривается, право христианина на сопротивление государству. В силу того же закона греха, всякая власть способна к вырождению, при котором забвение положительных ее целей или имморализм средств начинают разлагать и отравлять общественную жизнь. Тогда восстание против тиранической или неправедной власти может стать долгом. История полна примеров славных и праведных восстаний: юный Давид, по воле Божией, свергает помазанника Саула, Димитрий Донской и Пожарский поднимаются против законных, хотя и иноземных царей. Сколько современных наций обязаны самим своим государственным существованием революции против тирани-

ческой власти: Швейцария, Голландия, Соединенные Штаты, Бельгия, Италия, Ирландия, Польша. В истории России перевороты 1763 и 1801 гг. начинают самые блестящие царствования. Июльская революция (1830 г.) во Франции дает спасительное и сравнительно легкое разрешение узлу, запутанному старой династией. Для Англии ее бескровная «славная» революция 1688 г. начинает эру мирного и счастливого политического развития.

Но не о таких революциях – восстаниях, переворотах, освободительных войнах – идет речь, когда в наше время ставится вопрос о праве христианина участвовать в революции. Революции нашего времени отличаются особенной насильственностью и жестокостью борьбы. Для них гражданская война не случайный эпизод, а определяющая форма, ибо движущим их началом является борьба классов. Их целью является не смена правительств, или даже политического строя, а радикальная перестройка всей жизни. Их самосознание – максималистично. Они ставят своей целью выкорчевать с корнем все, что напоминает о ненавистном прошлом. Начать новую эру. Быть собственным предком. Первым человеком на земле.

Революции наших дней явно стремятся быть Великими, в том смысле, в каком французская получила это имя. Французская революция долго была единственной в своем роде. Английскую (Civil war) нельзя принимать всерьез. Она ничего не изменила ни в социальном, ни в духовном строе Англии. После Кромвеля жизнь возобновилась с той же точки, где ее преемство было порвано гражданской войной. Лишь русская революция была второй Великой. Что это значит? В чем «величие» этих революций?

Прежде всего, в объеме охваченных движением масс. Русская революция, в особенности, всколыхнула все медвежьи углы – вплоть до тайги, тундры и пустыни. Она вызвала самые низшие слои масс на борьбу за новую жизнь.

Во-вторых, в ожесточенности борьбы, которую ведут не вожаки, не кланы интеллигенции, но сам народ, надвое разделившийся – брат на брата и сын на отца. Следствием этого – необычайное зверство и «величие» злодеяний. Когда встает «Ахеронт»[2], смывая все преграды религии, морали, культуры, он не только страшен, он гнусен.

В-третьих, в глубине и мощности произведенного катаклизма. Вся жизнь перевернута до дна. Кажется, что все корни ее, уходящие в историческую почву, перерезаны. Будущий историк покажет, конечно, переживание прошлого в настоящем, наметит пунктирную линию преемственности. Но основное и самоочевидное впечатление – разрыва.

В-четвертых, в радикализме доктринального отрицания. Чтобы произвести столь «великий» переворот, нужно иметь мощный психологический рычаг. Революционное отрицание должно быть интегральным. Оно направлено одновременно на Бога, на царя и отечество, на дворянство, буржуазию, интеллигенцию и даже на кулачество, т. е. на само крестьянство, на собственность и быт, нацию и семью, на мораль как таковую и на культуру, как буржуазную. Из всеобщего потопа уцелело несколько брошюрок Маркса и Ленина. Извольте на этом построить новую жизнь. И опять-таки через 15–20 лет начнется реставрация разрушенных ценностей. Восстановляется в своих правах родина, семья, культура и т. д. Но прочно ли новое здание? На каком фундаменте оно зиждется?

Из этой социальной феноменологии «великой» революции вытекает, прежде всего, ее основной, принципиальный иммморализм. Он выражается не только в апофеозе зверства, но, что еще хуже, во всеобщем рабстве и лжи. И рабство и ложь суть результаты торжества силы, неизбежного в итоге войны всех против всех. Великая революция, начинающаяся во имя свободы, кончается всеобщим порабощением. Люди, отрекшиеся от старой чести и совести, не имеют духовных сил сопротивления. Ложь становится единственным способом спасать свою шкуру и устраивать свою личную жизнь на развалинах. Под прикрытием пустой и лживой фразы новый хищник старается обеспечить свою берлогу – в ожидании того времени, когда он сможет превратить ее в укрепленный замок нового господствующего класса.

Историк-оптимист, историк-гегельянец (а XIX век знал почти исключительно таких) считает эту жертву революционного поколения неизбежным и оправданным выкупом за новую жизнь. Да, поколение Робеспьера удобрило своей кровью и подлостью почву, на которой поднялась цветущая нива Франции. Все государственное и социальное здание новой Франции создано рево-

люцией. На Франции стоит остановиться. Русская революция еще не создала новой России; будущее еще не видно отчетливо за пылью стройки. Франция единственная страна, на которой можно изучать механизм «великой» революции.

Бесспорно, что французское государство воссоздано революцией и, может быть, крепче, чем оно было при монархии. Но уже здесь, в политической сфере, следует отметить, что механический, бездушный его характер – печать чиновничьего централизма, лишь прикрытого демократической мантией, является прямым наследием деспотизма и рационализма революции (Наполеона). Социальный строй новой Франции еще меньше удовлетворяет нас. Столь типичный для нее мелкий собственник – действительно, созданный революцией – обладает чертами, которые давно уже сделались преградой для всякого социального прогресса. Пресловутая жадность и эгоизм французского крестьянина, потерявшего всякую интимную связь с матерью землей и ушедшего в голое накопление, создали тип земледельца, неслыханный в истории мира. На нем, на этом носителе социальной пирамиды par excellence[3] наслаиваются другие пласты стяжателей, рантье, торговцев, спекулянтов – среди которых производитель, настоящий «капитан индустрии», вовсе не является ведущей социальной фигурой. Паразитарность и антиобщественность составляют основу французского капитализма. Вы скажете, капитализма вообще. Нет, ибо в англосаксонских странах или даже в старой Германии капитализм старался сочетать (с таким же относительным правом, как и феодальное дворянство) присущую ему жестокость эксплуатации с основами традиционной морали: буржуазной честности, дисциплины и даже служения общему благу. Отсюда нравственная крепость англосаксонского общества, столь же, но по иному, буржуазного, как общество французское. Разница в том внутреннем, духовном опустошении, которое революция внесла в буржуазное сознание. Французский стяжатель – безбожник, лишь иногда, в высших слоях, лицемерно прикрывающий свое безбожие католической обрядностью. Для освобожденного, но духовно опустошенного сына «третьего сословия» не осталось другого смысла жизни, как накопление да еще маленькие чувственные удовольствия – стола и постели. Так на наших глазах, за XIX век разлагается и гибнет один из прекраснейших

национальных характеров нового человечества: народ Жанны д'Арк, народ Паскаля. Он еще, к счастью, не погиб и силы сопротивления не иссякли. Но этим сопротивлением он обязан прежде всего тому, что победа Великой Революции и ее миросозерцания не была ни всеобщей, ни бесспорной. Преодоление зла, нанесенного ей, составляет содержание всей духовной культуры новой Франции.

Но с этим преодолением связано новое зло. Революция не кончилась на почве Франции. После столетия баррикад и восстаний, после насильственной смены стольких режимов, она продолжается в душах. Франция и поныне, как в конце XVIII в., распадается на два стана, и главной основой разделения является принятие или отрицание революционного наследства. Политические или социальные программы лишь отдаленно связаны с этим наследством. Оно чисто идеологического или даже теологического порядка. Реальные программы имеют очень мало значения во французской политической жизни. Люди борются за идеи — или за призраки — точнее, против идей или призраков: против «революции» или «реакции», которым не соответствует почти ничего в реальной действительности. Отсюда бесплодие французской политики. Победа левых или правых выражается прежде всего в сведении личных счетов. Борются масоны против клерикалов, борются за Дрейфуса[4] или против Стависского[5]. В итоге борьбы не меняется ничего. Франция продолжает быть одной из самых отсталых стран Европы. Но вся политическая атмосфера отравлена беспричинной ненавистью, корни которой восходят к годам террора. Единство нации оказалось не восстановленным.

Мы не знаем, исцелит ли когда-нибудь Франция свою незаживающую рану или до конца своей земной истории будет сочиться кровью. Во всяком случае, ее судьба не дает никаких оснований для оптимистической историософии «великих» революций.

В противоположность марксистски-гегельянским схемам, которые видят в революции нормальное, закономерное явление общественной жизни, надо сказать: революция (т. е. «великая» революция) есть не только катастрофа, но и тяжелая (излечимая ли?) болезнь нации. Она есть последствие социального склероза, при котором борьба классов и духовных течений

не может найти исхода в относительной победе новых идей или в добром компромиссе. Тогда происходит обвал всего общественного здания. Механичность этого образа в сущности заслоняет трагизм положения. Обвалившееся здание можно выстроить наново и в лучшем стиле. Но можно ли излечить склероз или рак? Нам не известны законы социальной патологии, но опыт показывает, что революция есть не радикальное средство от болезни (ignis sanat), но лишь обостренная форма течения болезни. Она ничего не разрешает, а лишь углубляет болезненный процесс, переводя его из сферы политической или социальной — в сферу духовную, где излечение его становится необычайно трудным и даже сомнительным.

Революция наших дней имеет одно коренное отличие от всех прежде бывших или даже чаемых революций. Оно заключается в том, что это революция социальная, или точнее, конструктивная. Она стремится не столько к разрушению старой несправедливости, сколько к построению нового общества. Ее социальный (а не политический) характер указывает на глубину и всесторонность переворота, которую она несет с собой. Ее конструктивность — на перевес положительных моментов в ней над отрицательными. Доселе революция ставила себе целью освобождение, разрыв цепей, снятие устарелых форм. Положительное творчество новой жизни предоставлялось органическим силам самой жизни. Государственное вмешательство сводилось к minimum'у. Весь смысл буржуазной, хотя бы «великой» революции — в освобождении личности и в предоставлении хозяйственной жизни игре естественных сил. Оптимизм XVIII века ручался за неизбежность гармонии, возникающей из хаоса.

Теперь положение изменилось радикально. Революционер мечтает не о свободе, а о «порядке», конечно, новом, но все-таки порядке: о рациональной организации всей жизни государственной властью. Не исключает ли, в этих условиях, понятие социальной революции внутреннего противоречия?

Мы думаем, что да. Революция, как политический феномен — в смысле «великой» революции — исключает возможность социальной реконструкции — по крайней мере, в том демократическом и народолюбивом смысле, в каком творцы социализма определяют его смысл. Мы думаем — и опыт России подтвер-

ждает это априорное убеждение – что социальная революция уничтожает как раз те условия, материального и духовного порядка, которые необходимы для реконструкции.

Условия материальные. В гражданской войне, неизбежно сопутствующей такой революции, гибнут без счета веками накопленные материальные ценности: заводы, машины, запасы сырья и хлеба, необходимые для восстановления хозяйства. В несколько лет общество опускается до самых первобытных, натуральных условий хозяйствования. Особенно тяжка утрата технических навыков, обученных «кадров», офицеров индустриальной армии. В условиях первобытной, звериной борьбы за существование может возникнуть новое крепостничество, новый феодализм или государственное рабство – скорее, чем социалистическое, т. е. общественное хозяйство.

Условия духовные. Борьба за существование среди голодных людей, разделенных жесточайшей классовой ненавистью, приобретает неслыханную и в буржуазном обществе остроту. В этой обстановке находит свое настоящее воплощение принцип: человек человеку волк. Только насилие может обуздать зверя и заставить его работать. Всякая возможность кооперации, товарищеского труда, социальной демократии разрушена заранее и надолго. Если в подобной обстановке победителем окажется государство, а не класс новых хищников (создателей нового феодализма), то это государство может быть только рабовладельческим. Сколь бы полно ни проводилась им национализация жизни и хозяйства, это не имеет ничего общего с проблемой социальной реконструкции. Проблема именно заключалась в необычайно трудном и тонком сочетании свободы и необходимости, личного и общественного фактора производства. Нужно освободить трудящегося, а не закрепить его государству. Истинное освобождение возможно не сверху, а снизу, вернее сверху и снизу одновременно, как организация вольного сотрудничества в твердых рамках плана, созданных государством. Без наличия одной из посылок – вольного сотрудничества или плановой организации – социальная реконструкция невозможна. СССР не решение, а провал, при всех возможных технических его достижениях. Ибо в СССР убиты самые основы социалистической и даже вообще подлинной социальной жизни.

Если политические проблемы допускают, а иногда требуют разрешения мечом, то социальная проблема наших дней нуждается в социальном мире, как единственной возможной атмосфере для ее решения. Социальная революция есть contradictio in adjecto[6].

Из всего сказанного вытекает непосредственно ряд императивов, определяющих отношение христианина к революции вообще и в частности к революции нашего времени.

а) Прежде всего мы должны стремиться, всеми силами, к постоянному и благому обновлению жизни: к повышению справедливости, человечности, братства, свободы во всех человеческих отношениях — в том числе общественных и государственных. Эта «оптимализация» жизни достигается, как улучшением человеческого материала или этического содержания, заполняющего социальные формы, так и улучшением самих форм. Формы оказывают могущественное («формующее») влияние — положительное или отрицательное — и на образование самой человеческой личности. Пренебрежение к ним означает запущенность и дичание социальной культуры. Социальные формы, до известных пределов, допускают последовательное, эволюционное усовершенствование. Старея и изживая себя окончательно, они требуют замены их совершенно новыми основами социальной жизни. Органическая эпоха прерывается критической — эпохой радикального обновления, перестройки, революции. Мы живем именно в такое время. Работать в целях полного обновления жизни — и не в последних, а в первых рядах строителей, — таков первый социальный долг христианина в эпоху подобную нашей. Укрываться в тылу или даже делать общее дело с защитниками социального зла, под предлогом охраны преданий, значит предавать Христа и дело Его Церкви.

б) В выборе средств мы должны руководствоваться голосом христианской совести. Не считать, что нравственный критерий неприменим к государственному делу, но и не мечтать, что, берясь за него, мы можем сохранить себя в полной чистоте от греха. Все, что мы можем, это стремиться (но серьезно) к минимализации греха. Насилие есть грех. Насилие революции, даже в ее ограниченной форме, как восстания,

переворота, есть тоже грех. Решаться на него следует лишь в том случае, когда можно сказать себе с чистой совестью, что все мирные, законные средства исчерпаны; что тираническая и слепая власть не уйдет, пока не погубит вместе с собой свой народ. Тогда христианин обнажает меч. Но всегда для определенной, ограниченной цели, и притом политической. Мечом не преображают мир, не строят новое общество. Мечом освобождаются от тиранов – и только.

в) Революция в интегральном политическом смысле, как «великая» революция, раскалывающая весь народ в гражданской войне, исключается из числа политических средств. Ее зло превосходит то зло, против которого она направлена. На нее рассчитывать, на ней спекулировать, к ней призывать – преступление. Все сделать, чтобы предотвратить ее – наш долг. Так как, начиная восстание, хотя бы строго ограниченное в целях, никогда нельзя быть уверенным, что оно не приведет к гражданской войне, то это лишний раз обязывает к чрезвычайной осторожности в игре с оружием. Другой маленький практический вывод: не злоупотреблять словом революция, обращаясь к массам. Не оставлять никаких сомнений в том смысле, в каком мы употребляем это слово. Лучше совсем избегать его, чем вызывать предположение, что христианин призывает к гражданской войне.

г) Если революция разразилась, вопреки нашей воле и вопреки нашим усилиям предотвратить ее, то перед фактом гражданской войны христианин свободен принять решения – одно из решений, полных трагизма и не обещающих никакого социального удовлетворения.

Первое из них и, быть может, самое естественное – воздержание от борьбы. Так как исход ее, каков бы он ни был, не сулит ничего доброго, то законно отказаться от участия в пролитии крови и бесчисленных преступлениях, связанных с гражданской войной. Здесь позволительно вспомнить, что общественная жизнь не совпадает с жизнью вообще, что есть много возможностей выполнить свой христианский долг и вне обязанностей гражданина: хотя бы, например, в делах простой человечности, в Красном Кресте при одной или обеих армиях, в той простой жалости к человеку, в которой он всего более нуждается в эти страшные дни. Неизбежный минус этого воз-

держания в том, что, устраняясь от гражданской войны, мы временно выходим из гражданского общества как такового и теряем непосредственное влияние на судьбу нации. Не участвуя в войне, мы не участвуем и в победе, не сулящей, впрочем никаких надежд.

Второе решение — примкнуть к одной из воюющих сторон, в которой видят наименьшее зло (отнюдь не добро). Это решение наиболее трагическое, потому что оно требует участия в несомненных преступлениях ради полезностей сомнительных. Очень часто баланс преимуществ «левой» или «правой» победы колеблется. С ходом борьбы могут исчезнуть и те небольшие преимущества, которые обусловили наш выбор. Относительно выбора стана нельзя сказать почти ничего априорно. Так сложна и неповторима всякая политическая обстановка. Говоря абстрактно, христианину естественнее было бы стать в ряды бойцов революции, поскольку обновление жизни более согласно с христианской этикой, чем ее стабилизация. Но все зависит от характера этого грядущего «обновления», т. е. от программы, миросозерцания и духа борющихся сил. Выбор фронта может, наконец, диктоваться не идейным самоопределением, а кровной близостью — товарищества, класса, среды. Умереть со своими и за своих, разделить общую судьбу — это один из достойных видов смерти. Хуже — остаться живым и среди победителей. Для христианина это значит — всегда идти против течения, умерять проснувшиеся страсти, напоминать о сострадании к врагам, предупреждать о долге — словом, оказаться в числе «внутренних врагов» и стать предметом ненависти для своих же товарищей по оружию.

Третье решение — самое героическое и бесплодное: образовать свой собственный «чистый» фронт подлинно белых рыцарей справедливости, без всякой надежды на успех и победу. Это значит обречь себя гибели, но гибели славной, не на постели и не на эшафоте, а на поле брани против врага или врагов, непременно сильнейших. О таких героях национального освобождения сложена некогда итальянская песня, сохраненная нам Герценом:

Eran trecento, eran giovanni e forti,
E sono morti.[7]

Но у тех была хоть надежда на победу, на будущее своей родины. У нас, в пору «великой» революции, не может быть никаких иллюзий. Кто бы ни победил в борьбе, это будет торжеством злых сил. Людям доброй воли революционного поколения надолго предстоит печальная судьба: остракизма, изгнания, внешнего или внутреннего исключения из гражданской жизни своей родины.

Но и этот печальный исход не означает для христианина неизбежности социального квиетизма. Изгнание — внешнее или внутреннее — из государства не лишает всех средств морального и даже политического влияния. Мысль, слово — тоже оружие, и даже более эффективное, чем пушки и пулеметы. Только результаты их сказываются не скоро. Это тактика дальнего прицела. Давно замечено, что времена реакции часто оказываются самыми плодотворными в жизни идей. В эпоху внешнего бездействия мысль работает с особой остротой и силой. Изгнание выковывает (если не разрушает их окончательно) духовные силы. Весь XIX век Франция в значительной мере питалась запасом идей, выкованных в эмиграции. Для русского XIX века такой школой высокого давления была внутренняя эмиграция Николаевской России. Школа эмиграции, как и школа подполья, имеет свои болезни. Бороться с ними — первый долг нравственной гигиены. Но мы можем быть уверены: мысль и слово, как молитва, не пропадают. Нет ничего невероятного в том, что иная мысль, выношенная годами трудовых скитаний по камням Парижа или бессонными ночами в его мансардах, определит на века судьбу России.

«Новый Град», № 12, Париж, 1937

Любовь и социология

1. Возможно ли до конца разделить мысленно первую и вторую заповедь? Чем больше думаешь, тем это представляется менее осуществимым. Оставляю мистиков, имевших опыт исключительный и по самому существу неизреченный: о качестве его не нам судить. Но что значит для всех нас любовь к Богу? Не послушание Богу, не страх Божий, а именно любовь. Мы не представляем себе Бога иначе, как в образе человеческом: в образе совершенного Человека, Небесного Человека, Царя, Хозяина, Отца, Спасителя, Друга, Возлюбленного... Мысля о Боге, мы сосредотачиваем в нем черты идеального человеческого лица, и не погрешаем, ибо образ человеческий и есть образ Божий. Психологически, мы переносим на Бога наш опыт человеческого общения. Онтологически, мы лишь восходим к первоисточнику; мы углубляем человеческое лицо до его несозданного Первообраза. И здесь предел нашему восхождению к Богу: к Богу, как имманентному миру, как открывшему Себя, Творцу и Искупителю...

Это становится уже совсем ясно, когда наша любовь обращена ко Христу. В Нем невозможно и нечестиво разделять божественное и человеческое. Во Христе воскресшем и прославленном мы продолжаем видеть черты Его земного Лица. Догматический и литургический Лик Его неотделим от Евангелия, любовь к Сыну Божию – от любви к Сыну Человеческому.

Итак, христианская любовь к Богу, во всяком случае, исходит, в духовном опыте своем, от любви к человеку. Но и обратно. Любовь к человеку чиста и оправдана вполне лишь тогда, когда

проявляет в нем образ Божий. Лишь тогда она свободна, или, по крайней мере, освобождается от эгоизма: от похоти в восхищении, от брезгливости в сострадании. Вот что значит подать чашу воды «во имя Мое»: не то, чтобы сознательно иметь в мыслях Христа, но увидеть Его — пусть бессознательно — в лице страдающего или радующегося человека. Заметим мимоходом, что при таком понимании любви, Эрос не отделим от Агапы. Эрос, любовь восхищения, преклонения — любовь к Небесному Лицу человека, любовь к Богу. Агапа, любовь сочувствия, обращена к падшему и страдающему человечеству. Но она тоже начинается, в порядке духовном, с любви к страдающему Богочеловеку, т. е. содружна с Эросом.

Легка и естественна человеческая любовь для сердец простых, не иссушенных одиночеством, сладострастием или безрассудной аскезой. Но мутна эта любовь и не стойка: легко превращается в вожделение, в ненависть, или просто в отвращение. Как все земные чувства, она нуждается в воспитании и очищении. Не об этой аскетике любви мы собираемся вести речь. Мы хотим лишь указать на одну трудность для личной любви, именно ту, которая связана с ее количественным расширением.

2. Наше сердце узко и не может вместить в себя ту любовь, «широкую, как море», о которой говорит поэт: не может, как Бог, обнять всех людей. Сколько человеческих существ мы способны любить бескорыстной (более или менее) любовью, т. е. жертвуя собой для них? Одно, два, три... десять... Каждому дана своя мера естественной любви и, расширяя ее, мы скоро наталкиваемся на ее границы. Заводя новые связи дружбы, мы иногда начинаем чувствовать, что они или тяготят или истощают нас. Еще дальше, и дружба становится чисто словесной: «Ничем не могу помочь Вам, мой друг (!)».

Поскольку дело идет об общении, т. е. об общности жизни, интересов, стремлений, узкий круг друзей нас удовлетворяет. Здесь еще нет места драме. Но как быть с состраданием? Оно ведь не смеет ограничиться замкнутым кругом. Не может пройти мимо хотя бы одного страдающего человека, не совершая греха, — как бы далек ни был этот человек, еретик, чужестранец, самарянин. Но пусть еще это будет один самарянин. Современное, воспитанное Христом сердце не делает различия,

при виде жизненных страданий, между расами, народностями, классами; включает даже животных или, может быть, особенно животных. Но все это до известной количественной меры. Десятый по счету самарянин, попавшийся нам по дороге, имеет очень мало шансов на наше участие. У врачей и сестер милосердия, на войне у всех — сердца быстро черствеют. К тому же человек очень скоро начинает чувствовать свое бессилие против социального или природного зла. Не исчерпать одному моря страданий. На этом пути легко впасть в отчаяние. «Париж» Золя начинается с трагедии аббата Пьера, который, измученный зрелищем страданий бедноты и своим бессилием перед ним, теряет веру в Бога. Совершенно неизбежно сделать шаг, ведущий от личного милосердия к социально организованному. На этот путь Церковь вступила с самого своего рождения. Уже в Иерусалиме апостольская община избирает диаконов с главной целью — следить за справедливым распределением пособий среди вдовиц. Запомним: социальное служение в христианстве есть служение диаконское. И оно причастно харизме священства, не будучи чисто мирским делом.

Во все века существования Церкви социально организованная благотворительность шла рука об руку с личной. Уже древняя Церковь создавала больницы, странноприимные дома, столовые для бедных. В Киево-Печерском монастыре больница была построена раньше каменной церкви. Знаменитые монастыри в древней Руси кормили во время голода тысячи людей. Преп. Иосиф Волоцкий был крупным социальным деятелем, организуя монастырскую благотворительность на рациональных экономических началах и распространяя ее на пределы целого уезда.

Если за последние столетия русская Церковь стала забывать, вольно или невольно, эту часть христианской работы, то у западных христиан как раз в наше время она не только возросла, но приняла чрезвычайно сложные и усовершенствованные формы. В Америке существуют целые университеты (или, во всяком случае, высшие школы), которые учат, теоретически и практически, началам христианской социальной работы.

3. Но здесь нас подстерегает разочарование. Социальная работа, как она практикуется в современных организациях, бесконечно далека от личного акта любви. Когда перед «секре-

тарем» проходят сотни просителей, он едва имеет возможность видеть их лица. Они немедленно распадаются на категории, из которых одни по объективным признакам имеют право на помощь, другие нет. Контрольный обход может проверить правильность сообщаемых сведений: за границы, поставленные законом или уставом, он не выйдет. Дело благотворительности приобрело бюрократический характер. Его можно делать без искры сострадания, с совершенно каменным сердцем, — более того, с презрением к людям-объектам. Да, по правде говоря, сама профессия социального работника, каждый день встречающегося с человеческой низостью и обманом, не содействует развитию человеколюбивых чувств.

Ужасно видеть эту механизацию любви, которая начинает казаться сплошным лицемерием. Примириться с ней невозможно. Выход здесь может быть найден лишь в напряженном духовном бодрствовании, или особой духовной тренировке тех лиц, которые взяли на себя эту иссушающую и опустошающую работу над человеческим страданием. Но сейчас не об этом речь. Вопрос о том, оправдана ли перед судом христианской совести социальная работа — даже в таких формах, которые, по-видимому, исключают наличность любви.

На этот вопрос часто дают отрицательный ответ. Православный пиетизм[1] — т. е. самое распространенное у нас направление — не любит социального во всех видах и разновидностях. Бюрократизация любви кажется ему доведением до абсурда несчастной Марфы. Только личный акт любви — от сердца к сердцу — имеет религиозную ценность. Не расширять нужно любовь, а углублять ее, очищать и возводить к чистой духовности, — такова, думается, господствующая точка зрения. Беда лишь в том, что она противоречит всей практике древней и средневековой Церкви, противоречит идее «диаконского служения». Противоречит, как мы увидим далее, и некоторым основным догматам христианства. В одном лишь пиетизм прав. С точки зрения личного спасения, нельзя оправдать социальной работы. Эта работа может быть иногда положительно вредной для личного совершенства, и в большинстве случаев безразлична для него. Деятель социальной благотворительности в своей работе ничем не отличается от статистика, почтальона или канцелярского чиновника. Спасе-

ние и для него возможно, но не чрез его социальную работу. Все это верно. Но позволительно задать вопрос: возможно ли спасение для тех, кто вполне сознательно, не по недоразумению, а по злой, хотя мнимо-благочестивой воле, эту работу отрицает?

4. Оправдание или даже просто понимание смысла социального дела невозможно с точки зрения личности и ее отношения к Богу. Даже с признанием «ты», как необходимой проекции любви. «Ближний», т. е. «ты», недостаточен для понимания «мы». Пока перед нами только личность, совершенная любовь будет полагаться между лицом и лицом, т. е. между двумя. Чем дальше от этого центра, тем разбавленнее, водянистее, безвкуснее будет любовь — да и может ли быть названо любовью то, что связывает воедино огромные коллективы? Может быть, здесь лучше говорить о солидарности... Надо сделать решительный шаг и повернуть само направление нашего внимания. Попробуем взглянуть на вещи, исходя не из личности, а из социального целого. Кстати сказать, отправление от целого и есть определение социального или социологического. Социальное начинается не там, где дана количественная прогрессия: два человека, три, десять. А там, где дано целое: общество, народ, группа. Было время, еще недавно, когда русская интеллигенция была жадна до всякой социологии и создавала или заимствовала множество социологических систем. Они рушились одна за другой, — последняя сейчас добивается в России. Об этом жалеть не приходится. Но нам нужна христианская социология, — точнее, православная социология, ибо другие христианские исповедания давно имеют свои, — а мы все еще спрашиваем себя: возможна ли она — эта христианская социология? В прошлом, в светской русской школе нашего богословия, мы имеем ряд систем, социологически окрашенных: Хомякова, Федорова, Соловьева. Говорят даже, что вся русская богословская мысль была социальной. Это верно, если иметь в виду одну школу — правда, едва ли не единственно творческую. Но сейчас эта школа под подозрением. Сейчас все истины, ею установленные и ставшие, казалось, азбучными, должны подвергнуться испытанию, переоценке. Что ж, переоценка — дело доброе, нельзя ни на чем успокаиваться, и каждое поколение должно заново завоевывать свою истину.

Не будем спрашивать, что первоначальнее и существеннее; часть или целое, личность или общество? Христианство по ту сторону этого противоположения, ибо оно не рассматривает личность, как часть. И личность и общество суть целые. Но спросим себя, имеет ли общество, как целое, реальное существование. Пиетизм склонен – по крайней мере, практически – отрицать это. Для него реальна лишь личность или личности. Общество есть абстракция. Общественное благо, социальная справедливость – пустые слова. Но тем самым пиетизм разоблачает себя философски, как номинализм[2] – источник всяких ересей. Если общество, класс, нация – только абстракции, то не абстракция ли и Церковь? Хорошо быть пиетистом в протестантском исповедании, особенно в лютеранстве, где Церковь легко растворить в абстракции. Но православный пиетизм содержит в себе внутреннее противоречие.

5. Для православия есть, по крайней мере, одно социальное целое, религиозная реальность которого не подлежит сомнению. Это Церковь. И учение о Церкви лежит в основе христианской социологии.

Церковь не образуется из соединения ее членов и не равна их сумме. Она дана сразу, как целое, в единстве апостолов во Св. Духе в день Пятидесятницы. О ней, действительно, можно сказать, что целое предшествует в ней своим частям, ибо все позднейшие единицы церковного тела, и даже все личности, составляющие ее, обретают свою духовную жизнь в этом целом, в нем родятся – водою и Духом. Достаточно спросить себя: что религиозно важнее или даже первичнее: приход, епархия, поместная церковь, или Церковь вселенская? Ответ не вызывает сомнений. Лишь вселенская Церковь может быть названа Невестой Христовой, лишь к Ней относятся обетования о неодолимости Ее вратами ада. Отдельная община лишь причастна этим обетованиям, и они осуществляются лишь в той мере, в какой она связана с Вселенской Церковью, из нее вырастает. Можно даже сказать, что религиозная реальность церковных организмов убывает по мере сужения их объема, по мере возрастания их видимой конкретности. Приход еще не совсем Церковь (Церковь не может быть без епископа). Епархия – церковный минимум (не имеет собора). Поместная Церковь погрешима (отсутствие вселенских соборов). Чем дальше мы восходим от

личностей и связывающей их видимой, бытовой, — казалось бы, максимально жизненной группы, тем более возрастает духовная глубина и сила. Значит, здесь целое не абстракция, но первореальность. Поэтому-то это целое и именуется Телом (Христовым), т. е. самым конкретным, органическим, что дано нам в опыте. Личность ощущает себя клеткой этого духовного Тела, сохраняя всю свою самобытность и особность. В этом тайна подлинной, богочеловеческой социальности. И личность, которая, по свободному выбору, ткет вокруг себя нити любви, связывающие ее с другими личностями, сразу (одновременно со своим собственным духовным рождением) находит себя в целом — вселенском, прежде чем она может вообразить его себе, или заполнить каким-либо психологическим содержанием. Жить в Церкви вселенской не значит расширять свою любовь до пределов всечеловечества, но сразу и непосредственно ощутить себя в этом божественном всечеловечестве. Даже слово любовь, вполне насыщенное смыслом лишь в общении личностей, мало подходит для опыта этого самосознания личности в целом. Хотя мы говорим о любви к Церкви, как говорят о любви к отечеству или любви к природе, но тут всякий раз подчеркиваются особые эмоциональные отношения. По существу же следует говорить не о любви, а о «жизни в» — жизни в Церкви.

6. Религиозно-социальное значение Церкви — быть богочеловеческим Телом — и есть первичный ее смысл. Все остальное производное. Великая заслуга Хомякова было об этом напомнить. Наше время склонно подчеркивать как раз те стороны Церкви, которые существенны для личного спасения. Инструментально-корыстное отношение к Церкви нередко характеризует те круги, богословие которых хочет быть преимущественно эклезиологическим. «Все для Церкви, — но Церковь для моего спасения».

Возьмем учительное значение Церкви: Церковь, как носительница высшего, непогрешимого авторитета. Если в этом видеть главный смысл земной Церкви, то мы неминуемо должны прийти к Папе. И потом не к Папе, как главе Церкви, а к Папе без всякой Церкви. Ибо всякая множественность, всякая соборность в авторитете ослабляет его. Где множество, там неизбежно разделение, борьба мнений. Там согласие рождается

болезненно, как об этом свидетельствует вся история Церкви. Если бы Христос хотел оставить после Себя на земле носителя Своего непогрешимого авторитета, он поставил бы одного главу человечества, абсолютная власть которого (Папы, калифа?) передавалась бы путем посвящения до конца времен. И никакой Церкви рядом с этим главой не потребовалось бы.

Возьмем ли Церковь, как раздаятельницу таинств, подательницу духовных даров, – аспект более близкий православному христианину. Возникает вопрос: почему икономия таинств, система проводящих благодать каналов связана с социальным институтом? Можно понять природу таинств, исходя из мистического реализма в понимании человеческой природы. Можно понять необходимость вещественного посредничества в воздействии Духа Божественного на дух человеческий, – необходимость слова и обряда. Но остается необъяснимым, почему эта мистерия и этот обряд социальны. Почему одинокая личность не имеет власти на эти сакраментальные действия для стяжания благодати? Ведь магия не социальна. Заклинатель и оккультист для своих, нередко очень сложных обрядов не нуждаются в общине. Казалось бы, Господь, заповедавший молиться в замкнутой горнице, мог открыть каждому человеку личный путь к общению с Ним в одинокой мистерии. Какое облегчение для тысяч пустынножителей! Но нет, лишь Церковь, т. е. лишь община может совершать таинства. Значит, характер Церкви как общины для нее первичнее ее сакраментального служения. «Где два или три во имя Мое» – вот онтологическая тайна Церкви. Церковь есть общение – в любви и Св. Духе – общение, конечно, не просто человеческое, хотя бы основанное на воспоминании об Иисусе и любви к Нему, но общение, в котором Он Сам участвует, которое Он создает, и которое осуществляется Св. Духом. Но это все-таки прежде всего общение, т. е. факт социальный, мистически-социальный. И отсюда проистекает все остальное: и сакраментальная мистика Церкви и ее авторитет.

7. Но скажут: мистическое общение Церкви есть совершенно особая сфера. Между нею и обществом, царством мира сего, нет ничего сходного. В обществе не действуют парадоксальные законы о первенстве целого перед частями, или о равноправии их. Посмотрим, что говорит опыт.

Возьмем не абстрактное общество, возьмем целое, одновременно и конкретное и обширное, к которому мы принадлежим, — по крайней мере, духовно. Возьмем Россию. Что, для нашего сознания, образ России представляется ли только пределом, синтетическим завершением нашего общения со множеством русских людей? Конечно, нет. Нельзя сказать, чтобы мы рождались с готовым образом России, но мы воспитываемся в нем, как в целом, которое дано нам непосредственно в его истории и культуре — прежде чем нам удалось (и так отрывочно!) реализовать его в собственном опыте. Легко ли изъездить всю Россию, изучить быт всех ее народов, их хозяйственные промыслы, их говоры, их фольклор? Все это мы знаем очень несовершенно, но для каждого из нас Россия дана непосредственно, в живом опыте, — дана ближе, кровнее, чем, например, родной город или деревня, или хорошо знакомая семья соседей. Я не говорю, наша собственная семья, потому что семья и нация даны для человека почти в одинаковой конкретности и силе. Россия первее своих областей, своих губерний, своих уездов, своих городов и сел, — первее по существу и в нашем сознании. Россия не только предмет нашей любви, но и источник моральных обязательств, и каких! — жить для нее, умереть за нее. Россия есть для нас совершенный образец идеально-конкретного общества.

Общество дано нам, в истории и в современности, во множестве форм. Национальное государство (Россия) есть лишь одна из этих форм — в наше время самая могущественная. Семья — которая считалась всегда основной ячейкой социальности — сейчас находится повсеместно в состоянии упадка. Но еще недавно она соперничала с нацией в своих правах на личность («Война и Мир»). А мы не совсем забыли и о роде, который некогда и у славян, и у античных народов являлся первоначальной религиозно-социальной группой, создававшей и основы государственности. Достаточно почитать греческие трагедии (родовые трагедии атридов или лабдакидов[3]), чтобы оживить в сознании уже угаснувшее в нас чувство рода. Это группы, построенные на кровном родстве (кроме государства) и потому наиболее органические, — точнее, биологические. Почему-то они убедительнее других для русского православного человека, хотя именно по биологическому своему характеру они

дальше всего от церковной социальности. Но возьмем бытовые или правовые формы союзности: греческий город – полис, русский крестьянский мир. С какой силой – равной современному государству – город и община владеют личностью, требуют от нее соблюдения своих законов, жертвы жизнью! Даже сословия и классы в государстве – не абстракция, а живые социальные образования. Чувство принадлежности к замкнутым группам может определять все социальное поведение. Есть дворянское, «духовное», казачье, купеческое, крестьянское самосознание. Несомненно есть – и без марксистской подсказки – и самосознание рабочее. Поистине бесконечны те формы, которые может принимать «общество» для личности. Полк для военных и в наши дни, как для Николая Ростова, есть та же семья – вернее, античный род, стоящий между личностью и государством. Такими властными и определяющими группами могут быть ордена, особенно тайные, современные организации молодежи, идеологические партии: коммунистические, фашистские, национальные.

Все эти живые и властные социальные группы характеризуются их конкретностью. Это не отвлеченные схемы, не суммы индивидуумов, но духовно-социальные образования, имеющие свое лицо, свои символы, и претендующие каждое на первенство и власть в сознании. Личность не то, чтобы была связана любовью с этими коллективами (можно ли любить свое сословие? не подходящее слово), но живет в них, чувствует, в какой-то мере, их духовную личность как свою. Эти группы разного происхождения. Одни из них кровно-животные, другие глубоко исторические, третьи – рационально-правовые или идеологические. Но ни одну из них мы не можем назвать искусственной, поскольку она имеет достаточно силы, чтобы определять поведение своих членов. То, что мы называем обществом, есть прежде всего понятие, объемлющее все социальные группы. С политической точки зрения, общество чаще всего совпадает с государством. Но так как – мы сейчас увидим – социальные связи перерастают государство – то и общество может выходить за пределы государства.

8. Может ли оно в своем росте совпасть с человечеством? Это большой вопрос и главный предмет спора между людьми национальной и социальной ориентации. Главный упрек,

делаемый социальной этике — в ее абстрактности — имеет в виду именно это всечеловеческое, или космополитическое ее направление. И здесь, надо сознаться, он не лишен справедливости. Да, в настоящее время, единство человеческого рода для большинства из нас является такой абстракцией, хотя и необходимым постулатом религиозной философии культуры. Мы не можем по-настоящему сознавать нашу кровную заинтересованность в том, что происходит, скажем, в Южной Америке или даже в Китае. Хотя... Здесь многое зависит от уровня социально-политического воспитания. Для мировой империи, какова Великобритания, уже нет совершенно чуждых и безразличных пространств на земном шаре. Но и для нас, русских, вопреки всяким славянофильским и евразийским теориям (которые именно здесь доказывают свою несостоятельность), все, что происходит в Европе, не чужое, а свое, кровное. Доказательство — наша страстная реакция на события в Германии, в Чехословакии, в Испании. Вся Европа стала для нас расширенным театром русской гражданской войны. И не только для нас. Существование фашистского Интернационала — парадоксальный факт: Интернационал националистов. Но он убедительнее всего говорит о единстве европейского мира. Чувство международной солидарности идей и интересов в кругах реакционных и националистических сейчас не менее, а, может быть, более сильно, чем в кругах пролетарских и революционных. Несмотря на разъедающий Европу дух националистической ненависти, именно сейчас ее единство сознается сильнее, чем когда-либо, и войны между ее народами, подобно войнам греческих государств или русских удельных княжеств, становятся междоусобными. Единство Европы, конечно, покоится на единстве ее, еще недавно христианской, а в прошлом греко-римской культуры. Россия дважды духовно рождалась в европейскую семью: раз при св. Владимире, вторично при Петре. Может быть, прав проф. В. В. Вейдле[4], который говорит о рождающейся европейской нации, хотя и спорно, явится ли Россия частью этой нации.

Но и за пределами Европы, т. е. христианской семьи народов, для многих из нас, путем приобщения к культуре других миров, возможно расширение своего социального сознания на пути к всечеловеческому. Так искусство и литература Индии, а теперь

отчасти и Китая, сращают мало помалу и эти нехристианские культуры со старым европейским миром. Общечеловеческое единство еще не стало таковым, но приблизилось к нему, как никогда в истории. Это уже не вполне абстракция: ее кости уже облекаются плотью — пока еще хрупкой, но все более отвердевающей.

9. Но каково же отношение всех этих натуральных форм социальной союзности к Церкви? Имеют ли они право на самостоятельное бытие и не являются ли просто языческими пережитками, подлежащими преодолению? Тогда мы имели бы, в идеале, лишь два полюса социальности: христианскую личность — и вселенскую Церковь.

Но не даром в истории, с первых же дней своего существования, Церковь строила свое земное тело в соответствии с данными формами социальности: накладывалась на них, облегала их и давала им, взамен прадедовски-языческого, новое, христианское освящение. Уже апостол говорит о христианской семье, как о домашней Церкви. Еще гонимая, в разладе с государством, Церковь сливает свои «на земле пребывающие» общины-парикии[5] с греко-римским полисом, лишь покрытым, но не уничтоженным мировой империей. Нет епископа без города (но нет и города без епископа) — таков канонический идеал. Позже возникают митрополии, патриархаты, в соответствии с административными делениями Империи. Еще позже поместные национальные Церкви в рамках новых национальных государств. В эпоху общего оцерковления быта почти все формы союзности, — профессиональные, сословные, локальные — приобретают образ церковных братств или, по крайней мере, получают церковное освящение. Это освящение часто бывало поверхностным, не перерабатывало светского, а то и языческого содержания. Но принципиальное значение его огромно. Им общество вводилось в Церковь, как в преддверие Царства Божия. Им указывалось религиозное призвание для всех естественно возникших социальных союзов. Не в разрыве с ними, а внутри их христианская личность должна работать для преображения мира.

Что касается еще не освященных, еще языческих обществ, то их назначение ясно. Они ждут своего часа — для включения в организм христианской союзности — в Церковь. Их ценность —

подобно античной философии или искусству – раскроется вполне только в Церкви, для которой, в ожидании которой, они и существуют. И сейчас они уже выполняют необходимые функции – общественного самосохранения и культурного творчества – и падший мир живет отчасти по законам своего творения, – но раскрытие полного смысла языческой социальности принадлежит будущему: плоды его мы увидим в Царстве Божием. Не следует думать, что одно крещение народа совершает чудесное преображение его социальности. Нет, так называемая христианская культура еще задание и обещание. Действительные осуществления редки, но общий рост, созревание, движение – несомненны.

В этом факте ничего не меняют и отступничества, языческие реакции, в одну из которых мы живем. Вполне секуляризированная социальность существовать не может, как мы видим на примере многих современных демократий. Какая религиозная социальность идет им на смену – христианская или антихристова – это другой вопрос.

Но можно сказать со всею точностью, что основой (метафизической) всякой социальности является Церковь. Одни из социальных форм созревают в Церкви, другие в нее врастают, третьи от нее откалываются, как сухие ветви. Но лишь в ней они получают свое полное значение.

Легко представить себе, конечно, что иерархия социальных форм, как она складывается в языческом или обмирщенном обществе, не совпадает с иерархией, раскрытой в полноте Церкви («исполнение Церкви»). Так государство, самая мощная и верховная из языческих форм, должно утратить в Церкви (в полноте Церкви) свою суверенность. Напротив, единство вселенской Церкви, поскольку оно будет осуществлено, необходимо требует социального единства человечества, как своей земной предпосылки. «Мы христиане – космополиты (граждане мира)» – говорит Василий Великий.

10. Принадлежность личности к любой из социальных групп – не просто внешний факт, определяющий ее бытие. И даже – ее душевное бытие. Социальное сознание личности не исчерпывается ее взглядами, эмоциями, вкусами, стилем поведения. За общественной психологией и эстетикой (в широком смысле) стоит этика – с ее «ты должен». Содержание

личной этики всякого человека – не знаю, насколько: на 3/4 или на 9/10 – социально; а социальная этика – гетерогенна. Это значит, личность смотрит на себя и свое поведение глазами коллектива, к которому принадлежит. Такая зависимость защищает ее от грубых падений (против Десятословия), но она же связывает ее христианскую совесть. Устами коллектива говорит чаще всего языческое или ветхозаветное сознание. Социальная группа, в целом, не может принять Креста Христова и Его кенотических заповедей «блаженства». Поэтому для христианской личности, слишком послушной социальному долгу, семейному, классовому, национальному, существует постоянная опасность – отступничества от Христа.

Но есть и другая, христианская форма социальной этики. В ней личность не от коллектива получает свой нравственный закон, но применяет к нему самому закон Христов: несет этот закон в сферу социального поведения, и не только своего, но и всего коллектива. Возможна ли эта социализация христианской этики? До известной границы, безусловно. Если только мы не будем максимальны в своих требованиях к коллективу. Самопожертвования можно требовать только от себя, а от другого (и от целого) лишь соблюдения того нравственного minimum'a, который может войти во всеобщее сознание. Но что значит само это требование, обращенное к группе? Притязание личности на свои права, на господство своих норм? Нисколько, но лишь отождествление своего нравственного сознания с сознанием коллектива. Ибо есть такая, совершенно реальная вещь, как совесть коллектива, как ответственность коллектива.

Если семья или народ гордятся своим великим человеком, то они также стыдятся или должны стыдиться своих злодеев. Древние очень конкретно ощущали проклятие, лежащее над родом и народом в результате греха (проклятие Алкмеонидов[6]). В Библии повествуется об Израиле, как живой личности, ответственной за свои грехи (грех народа, грех предков). Пророки обличают грехи народа: социальную неправду, национальное богоотступничество, и грозят гневом Божиим не только грешникам, которые лично преступили закон религии, но их потомкам, всему народу. Не иначе смотрела на социальный грех и древняя христианская Церковь, и русская Церковь в цветущую свою пору полного и живого участия в национальной жизни.

Набеги половцев, татарский погром, бедствия Смутного времени рассматривались как наказание за грехи народа, требующие возмездия. Индивидуализм нового времени считает несправедливым такое сверхличное вменение. Но для человека с мало-мальски развитым социальным сознанием нет ничего более естественного. Если мы отвечаем за Пушкина, то отвечаем и за Ленина. Грех моего народа — мой грех, как и честь его — моя честь. Но христианин больше думает о грехе, чем о чести. Призыв к социальному покаянию благочестивее призыва к социальной гордости.

11. Лишь исходя из социальной совести и ответственности, становится понятным социальное служение христианина. На много упреждая расширение его личной любви, сознание социального долга — закона — дано ему непосредственно, как только он почувствовал себя живою частью коллектива. «Ты не должен пройти мимо нищего» — закон личной этики (здесь это закон и любовь одновременно; даже если любви нет, закон остается). «Общество не должно оставлять нищих без помощи». — Это закон жизни социальной, совершенно ясный для Иоанна Златоуста, для Василия Великого, для всех проповедников Древней Руси. Для настоящего времени, на нашем экономическом уровне, этот древний закон гласит несколько иначе: «Общество не должно иметь нищих». Существование нищих позор и грех для моей общины (Швейцария), для моего города (древний полис, средневековая коммуна), для моего народа-государства (Россия, Франция и т. д.). Поэтому я должен делать все, что в моих силах, чтобы в моей общине, в моем народе не было нищих.

Это лишь конкретный пример. Вместо нищеты можно взять любое социальное зло: алкоголизм, проституцию, невежество, экономическую эксплуатацию, политический деспотизм и т. п. Борьба со всеми видами социального зла так же обязательна, как и с грехом личным. Борьба эта принимает самые разнообразные формы — положительные и отрицательные, свободные и принудительные, духовные и политические. Можно действовать примером, убеждением, личным словом или организованной проповедью (пропагандой). Можно создавать свободные союзы для той или иной работы, или вести ее в рамках юридических коллективов: муниципальных, государственных и,

конечно, прежде всего, церковных. Приход — это необходимая ячейка христианской социальной работы. Но в современном мире, где государство почти всемогуще, ни один социальный вопрос не может быть решен без вмешательства государственного: без экономического, школьного, гигиенического и т. д. законодательства. Наконец, если выяснится, что зло имеет свои корни в самых основах экономического или политического строя, в котором мы живем, христианская борьба с ним требует изменения этого строя, замены его более совершенным (относительно совершенным). Христианский социализм — в самом широком и объемлющем смысле этого неопределенного слова — является частью христианского служения.

12. Прежде, чем идти дальше, хотелось бы остановиться, как бы в скобках, на одном странном и роковом противоречии, которое родилось в XIX веке и которое подкапывало и губило нашу культуру. Я говорю о противоречии между национальным и социальным сознанием. Само по себе это противоречие необосновано, ибо нация, конечно, социальная величина. Нация относится к обществу, как часть к целому — правда, самая живая и мощная. Сама возможность конфликта создана тем односторонним направлением, которое национальное сознание получило в XIX веке. Этот национализм XIX века до сих пор господствует среди нас. Поэтому анализ его не труден. Мы знаем, что саму сердцевину его составляет сознание национальной силы, смягченное и углубленное чувством национальной красоты. Опора его — в государстве и культуре, понимаемой прежде всего эстетически. Но ведь и само чувство мощи имеет эстетический аспект. Странным образом национальное чувство XIX века почти потеряло этическое содержание, предпочитая свою эстетику углублять скорее в область биологического, стихийного, подсознательного. Устами П. Б. Струве и его учеников в старой «Русской Мысли» оно сознательно противополагало национальный «эрос» «этосу»[7] и в эросе себя утверждало. Таков же был предвоенный национализм Барреса[8], Киплинга, большинства немецких идеологов. В противоположность ему, социализм любил утверждать себя в космополитизме. Взаимным отрицанием эти направления главным образом и жили. Конечно, если выбирать эрос без этики (язычество) или этику без эроса (отвлеченное христианство), то для христианина не

должно быть колебаний. Однако сама необходимость выбора призрачна. Живое, развитое чувство нации, не оторванное от религиозных корней, всегда включало (ср. древнюю Русь) сознание и долг социальной правды. Сила без правды сама себя осуждает. Национальная культура необходимо выражает себя в справедливых общественных отношениях. С другой стороны, социализм, отрешенный от национального чувства и сделавший ставку на еще младенческое сознание всечеловеческого единства, строил в пустоте. Оторвавшись от живой полноты национальной культуры, он себя обескровил и обессилил. Мировая война оказалась для него смертельной. Новый социализм (даже коммунизм) делает попытки вернуться в лоно нации, где он только и может обрести источник творческих сил. С другой стороны, новый национализм (фашизм) насквозь социален. Национализм французский или русский (эмигрантский) представляют лишь пережитки и обломки прошлого.

Христианское социальное сознание в наше время не может не быть национальным, как не может не быть и сверхнациональным, поскольку оно укоренено во вселенской Церкви.

13. Как ни оправдана, как ни существенно важна для социальной этики социология, она во многом уступает личной, хотя и ограниченной любви. Хотя бы уже в том, что она постулирует долг, дает закон, опирается на справедливость, а не на любовь. Если угодно, любовь присутствует и здесь, как любовь к целому, как живое чувство семьи, родины и т. д. На насколько эта любовь — к коллективной личности — уступает в силе и жизни любви, обращенной к конкретной личности. Наконец, не все коллективы в одинаковой мере могут быть предметом любви: любовь к сословию, к государству (не-национальному) кажется натянутой и часто даже неестественной. Справедливость, нравственный закон могут быть большой социальной силой, могут потрясать сердца (слова пророков, революционных вождей), но им далеко до живой и конкретной любви. Им постоянно угрожает опасность интеллектуализации: направляясь к идеям, они легко засыхают. Сухой, безлюбовный огонь характеризует революционера. Этот огонь часто оказывается только разрушительным. Справедливость может незаконно присвоить себе карающий меч Божий и вместо Царства Божия реализовать предвкушение ада.

Должно быть нечто между личной любовью и сверхличным социальным законом, чтобы опосредствовало и связывало их. Это третье, действительно, существует, и оно-то составляет само сердце христианской социальности. Это заповедь и опыт общения. Общение исходит не от личности, и не от целого, а от ограниченного, но спаянного круга людей, между которыми возможно в полноте взаимное видение и взаимная любовь. Общение начинается с трех и ограничивается лишь пределами духовного видения и любви. Общение не чисто каритативно. Для него существенно не сострадание (которое переживается в акте личного благотворения), а скорее любовное преклонение (эрос), сорадование, радость духовных открытий через посредство содружников, радость узнавания Христа в близких лицах. Для христианского общения, конечно, существенно, что в центре круга стоит Христос. Оно, подобно Церкви, основано на обетовании Христовом – быть там, где двое или трое собраны во имя Его. Но для него существенно преобладание субъективных и человеческих, психологических моментов – любви, узнавания, сотрудничества – над объективными, божественными: благодати, иерархии, таинства. В христианской Церкви общение всегда стремилось утверждать себя, как сферу вольного избрания и свободной избирающей любви, внутри канонического целого. Таким хотел Василий Великий создать свое общежительное монашество, о таком мечтал бл. Августин. Таковы были церковные братства в средневековой церкви. Наше время явно возлюбило эту форму религиозной социальности; никогда не творилось столько братств, столько содружеств, многие из которых не нашли для себя еще никаких законченных форм. Братства для молитвы, братства для проповеди, братства для общих исканий истины, братства общей жизни – ими пронизывается сейчас как христианская, так и не-христианская общественность. Вместе с распадом старых форм общественной союзности, эти общения явно несут с собой возможность нового, органического построения общества. Старые, кровные союзы отмирают. Организации, построенные на экономическом и юридическом основании, не могут заменить их животворного тепла: они бескровны и бездуховны. Новые общения при удаче, при настоящем христианском их развитии, обещают положить основание для нового общества,

очертания которого еле зримы сквозь пыль и обломки социальных революций.

14. Начало религиозного общения, которое связывает личную любовь с жизнью вселенского Тела, поистине центрально в христианстве. Можно сказать, что именно оно составляет то принципиально новое, что принесло христианство в еврейский и языческий мир, что отличает его от всех религий человечества. Общение людей — во Христе — как мистическая тайна, как зерно Царства Божия, это и есть новое Откровение христианства.

Если общение направлено в мир человеческий, и представляет раскрытие второй заповеди, то оно также есть коррелятив и первой: оно окрашивает и христианское Богообщение. В самом деле, из него вытекает значение соборной, церковной молитвы, т. е. литургической жизни. Из него вытекает значение литургии в узком смысле, как Евхаристической службы. Из него вытекает значение Св. Евхаристии, как таинства общения по преимуществу.

Евхаристия, таинство из таинств, живое сердце Церкви, — вечно посылающее Божественную кровь во все Ее члены, недаром носит имя причащения (т. е. общения: communio). В нем совершается наше общение и со Христом, и со всей Его Церковью. Причастные Божественному Телу и Крови, мы причастны друг другу, в них общаемся между собой, становимся единым телом: со всеми, кто где-либо и когда-либо приступает с нами к этой чаше. И прежде всего с теми, кто, видимо, сейчас с нами приступает. Отсюда потребность продлить в земной жизни, за порогом храма, здесь совершившееся общение: за Евхаристией следует агапа. Так понимала эту связь древняя Церковь, переживавшая таинство общения как мессианский брачный пир. Вечери любви были естественным завершением Евхаристии. Но агапы продолжались и в повседневной жизни — если не в общении имуществ, как в Церкви Иерусалимской, — то все же в глубоком общении жизни: любви, взаимности, братстве.

Наше время, социальное по преимуществу, недаром томится по св. Чаше и возрождает агапические трапезы. Есть глубокое, хотя и невидимое сродство между социальными движениями XIX века и в нем же возникшим движением Евхаристическим. В теологии католической и особенно англиканской эта связь

установлена. У нас почин к Евхаристическому движению (частому причащению) исходил от от. Иоанна Кронштадского. Но лишь наше поколение начинает осмысливать его социальное значение. Впрочем еще Н. Федоров раскрыл убедительно социальный смысл литургии. Мы не должны его забывать, не смеем возвращаться к литургическому пиетизму недавнего прошлого. Задача перед нами огромная: не в теории, а в жизни раскрыть социальный смысл литургии, не на словах (уже набивших оскомину), а в подлинной правде «вынести литургию за стены храма».

Это показывает, что социальное христианство имеет не одну этическую сторону; но что этика его может и должна быть ориентирована и литургически, и мистически.

Напоминать ли о том, что она должна утверждаться и догматически? Никто другой, как тот же Н. Федоров, указал на догмат Пресв. Троицы как на онтологическое основание христианской соборности и в Церкви, и в мире. Тайна единства Божественных Лиц есть образ человека, который не может найти своей полноты в одиночестве. Лишь во множестве лиц, соединенных в Боге и в любви, осуществляется исполнение человеческого лица, созданного по образу Божественного Триединства.

«Православное дело», № 1, 1939

О свободе

Много ли сейчас в мире людей, которые любят свободу? Люди, как будто обладающие ею, ее не ценят, как воду, которую пьют, не платя за нее, другие ее ненавидят. Кажется, что все блага в мире, все реформы и усовершенствования и, конечно, все революции покупаются за счет свободы. Давно известно, что для того, чтобы оценить свободу, нужно ее лишиться. Философ и социолог легко докажут, как неопределенно и расплывчато это понятие. Столько различных видов свободы! Столько раз утверждали, что внутренняя свобода не зависит от внешней, что свобода от мира совместима с внешним рабством, и мудрец или святой в тюрьме обладает ею!

Думаю все-таки, что об этом судить должен сам заключенный. Думаю также, что, как бы далек он ни был от внешнего мира, но радость освобождения, первый день на воле — огромное, реальное счастье. Даже если допустить, что в мире не может быть свободы, то есть такая вещь, как освобождение, и освобождение несет в себе особый метафизический или религиозный вкус, который не обманывает. Это как вкус райского яблока на смертных устах в житийных легендах. Он говорит о тайной и глубокой реальности свободы, которая символизируется в нашей жизни, как редкая и чистая радость освобождения.

Но есть и другой опытный путь к свободе, к достижению ее религиозной глубины. Это борьба за свободу, что глубже освобождения. Освобождение может быть понято, как облегчение, как снятие бремени, как радость легкой жизни. Тогда все пропало. Тот, кто возжаждал легкой жизни, тот рано или

поздно продаст свободу. Свобода не легка, легче жить в комфортабельном, упорядоченном, гуманизированном рабстве. Оттого современная буржуазная демократия, избалованная комфортом, гедонистическая по самым основам своей жизни, так легко отказывается от свободы. Она за нее не борется.

Борьба за свободу, в своем духовном содержании, отлична от всякой иной борьбы. Это не борьба за средство к цели, не борьба за одно из благ существования. Она переживается, как борьба за последнюю ценность, ради которой можно и должно отдать все другие — и саму жизнь.

Как будто бессмысленно с позитивной точки зрения. «Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом!». Да, если свобода легкая жизнь, то как можно за нее умирать? Как можно даже трудиться для легкой жизни, брать на себя крестное бремя? Но тут и оказывается, что борясь за свободу, мы боремся за нечто, смысл чего для нас скрыт, что превосходит человека, но вместе с тем является самым глубоким в человеке. Это не важно, в каких земных и даже тривиальных формах представляет человек ту свободу, за которую борется: свобода слова, печати, собраний. Все это символы иной реальности, которая большинством людей ощущается смутно, в мгновения высшего подъема всех духовных сил — между прочим в те, когда идут умирать за свободу.

Русская интеллигенция обладала этим метафизическим чувством свободы, хотя и грешила ее политизацией. Ей казалось, что свободе угрожает только государство, что борьба за свободу есть борьба политическая. Кому не приходилось слышать, особенно в юности, такие разговоры: «Да, Россия будет свободной, жизнь будет прекрасной. Но как скучно будет жить! Не за что бороться».

Как будто самая свободная государственность — скажем, английская — не оставляет места борьбе за свободу. Всюду, где есть общество, где есть коллектив, есть и опасность покушения на свободу и долг защиты свободы. Каждая группа людей, объединенных единством цели и самосознания, стремится подчинить себе личность и заставить служить себе. Школа, редакция, полк, приход — все подвергается искушению рассматривать свой коллективный интерес или честь, как высшее. Правда коллектива в том, что он имеет право на известные

жертвы, труд и служение со стороны своих членов. Но сам он никогда не умеет поставить себе границ. Для него так естественно отождествлять себя с целым, к которому он принадлежит, с идеей, которой служит, и тем предать целое и идею. Университет забывает об истине, приход о вселенской церкви, думая, что истина и церковь это именно он. И во имя этого эгоцентрического отождествления коллектив требует от личности жертвы не только трудом и служением, но и совестью. Тут возникает конфликт, который приводит к борьбе личности с коллективом за ее свободу – не во имя удобств и легкости существования, а как раз во имя ее служения, ее призвания, ее креста.

Эта борьба неизбежна, повсеместна: но она именно и спасает метафизический смысл свободы и очищает коллективное сознание от социальной шелухи. Только ценой таких конфликтов и таких жертв в мире происходит какое-то движение, в мире не умирает свобода.

Возвращаюсь к Англии, которая сумела обеспечить личности максимальную защиту ее прав со стороны государства. Сколько конфликтов между личностью и нацией, сколько напряженной борьбы за свободу! Мы помним в XIX и XX веке имена поэтов, подвергавшихся общественному остракизму, имена богословов, изгонявшихся из университетов. Что же, коллектив прав, защищая себя, личность права, борясь за свободу своей правды. Жизнь идет, как равнодействующая этих сил. Но в этой борьбе правда коллектива – правда социальная, правда личности – религиозная. Все это трюизмы. Но прекрасно, когда старые, как мир, истины засверкают новым светом, по новому переживутся в опыте. Точно пронеслась очистительная гроза. И в дуновении легкого ветра слышен голос Божий: «Где Дух Господень, там свобода».

Да, вот где последнее основание свободы и борьбы за свободу. В послушании высшей правде. Голос Божий слышится, как голос, говорящий из самой глубины совести: отсюда совпадение подлинного и самого реального «я» с этим Божественным зовом. Свободное послушание и свобода.

Многие, утратившие воспоминание о Боге, зовут его голос категорическим императивом или еще иначе. Это не меняет дела. Бог в мире действует под множеством имен и образов.

Но если представить себе, что в мире исчезнет и память о Боге и способность узнавать Его под человеческими именами, тогда никто не будет бороться за свободу. Тогда свобода погибнет.

Мы знаем, что свобода подавлялась и подавляется в мире нередко от имени религии, даже религии христианской. Это грех людей. Это не нарушает той истины, что лишь христианство зажигает настоящую и неугасимую любовь к свободе в сердце людей. И в наши дни, когда свобода гаснет, христиане – для многих неожиданно – оказываются в рядах ее борцов. Пришло время вспомнить одно из забытых имен Божиих. Наш Бог есть Бог Освободитель!

«Господь решит окованные. Господь изводит душу из темницы».

«Новая Россия», № 63, Париж, 1939

Письма о социализме

Казалось бы, военные фронты приковывают все наше внимание. Каждый день мучительно переживаешь норвежскую трагедию[1], думая о том, чья очередь завтра. И тем не менее всякое углубленное внимание к теме войны – а тем более к теме мира – ставит во всей конкретной и жгучей остроте вопрос о социализме. Все мы знаем, прислушиваясь к голосам жизни вокруг нас, что как только замолкнут пушки, социальный вопрос сразу встанет во весь рост. Не дай Бог, если он получит ответ в хорошо нам знакомой форме социальной революции. В этом случае, война, выигранная на полях битв, может быть проиграна на улицах и площадях. Социальная революция – ведь это без всякого сомнения, торжество тоталитаризма, красного, черного, коричневого или какой-либо новой окраски. Враг знает это, и пропаганда является едва ли не самым острым его оружием. Пропаганда эта бросила лозунг: социализм против плутократии[2]. Каков должен быть ответ демократии на этот коварный и искусительный лозунг?

Есть люди, которые думают, что, при создавшемся положении, надо защищать плутократию. Это чистейшее безумие. Дело не в том, что лучше, а что хуже. Плутократия может быть в тысячу раз лучше чистого рабства. Но если массы прониклись уже такой ненавистью к плутократии, что предпочитают ей сознательно или бессознательно – рабство, то защищать плутократию (или капитализм), значит, работать на поражение. Необходимо оторвать уже сейчас идеи свободы и демократии от капиталистического строя, с которым они исторически

связаны, и который историей обречен. Необходимо показать, что демократия несет в своих недрах новый социальный строй, более привлекательный, чем гитлеро-сталинский социализм. Надо уже сейчас готовиться к миру, чтобы мир не захватил нас врасплох. Вожди социалистической демократии должны прежде всех готовиться к ответу, который массы потребуют у них: «Сто лет вы кормили нас обещаниями социализма. Настало время платить по векселям. Что вы понимаете под вашим социализмом?»

В самом деле, что мы понимаем под своим социализмом?

XIX век понимал под социализмом национализацию средств производства. Немногие социалисты в наши дни согласятся принять это определение. Что случилось? Случилось то, что национализация, почти сплошная, проведена в России, и в результате возник тот ад, который охотно называют социализмом его враги, но который нам именовать так не пристало. По несправедливому пристрастию к имени, к старому знамени? Нет. Но по совершенному противоречию этого российского строя замыслу, идее социализма. Национализация была лишь средством для целей социализма. В России, в тоталитарном осуществлении, она оказалась совершенно непригодным средством. Окажется ли она лучше в иных условиях? Во всяком случае, ее нельзя отныне смешивать с идеей социализма, с его «душой», или прозаически, с его целью.

Социализм стал очень спорным, очень запутанным словом. Но в жизни люди дерутся за него и за его антитезу, за экономическую свободу (капитализм). Что же, является ли борьба их простым недоразумением?

Я предлагаю, в порядке дискуссии, некоторые признаки, которые могли бы заменить устарелую «национализацию», не впадая в бессодержательность и банальность. В первую очередь надо назвать —

1. Экономический рационализм. — Социализм есть замысел подчинить хозяйственную стихию человеческому разуму и воле. Иначе говоря, организовать хозяйство, руководимое раньше борьбой и соглашением частных интересов. Спустя сто лет после рождения социализма эта идея его жива, как никогда. Более того, она завоевывает себе общее признание — под именем управляемого или планового хозяйства. Без общественного

вмешательства, это хозяйство приказало бы долго жить, вступив в эру непреходящего кризиса. Если социализм победит не путем социальной революции (то есть коммуно-фашизма), что было бы его духовным поражением, то прежде всего благодаря всеобщей убедительности этой его идеи: порядок против хаоса, разумность против бессмысленности, дисциплина против анархии. Эта сторона социализма созвучна современной технике. Техника из себя самой порождает идею организации, регулирования, технократии. Подобно технике, социализм, так понимаемый, завершает рациональный замысел Ренессанса (Леонардо да Винчи), достигший своих метафизических пределов у великих рационалистов XVII века: Декарта, Спинозы, Лейбница.

Всякая свобода, в том числе и хозяйственная, великое благо. Но всякий порядок есть ограничение свободы. Рост организации, усложнение техники, всегда связаны с лишением свободы. Поэтому социализм, в известной степени, противополагается свободе в плане экономическом. Ставя своей целью освобождение трудящихся, он приходит к ней путем частичного связывания хозяйствующих субъектов, кто бы они ни были.

2. Национализация, как и муниципализация, лишь частности в системе управляемого хозяйства. Это хозяйство включает в себя, как общественные, так и частные предприятия. Рабочему нет интереса менять плюрализм патроната[3] на государственный монизм, от которого нет защиты. Нет для него интереса и в уничтожении прибыли, как таковой, то есть в замене предпринимательства сложной и дорого стоющей бюрократией, хотя, несомненно, прибыль, как и предпринимательство, идут на ущерб в управляемом общественном организме. Если социализм XIX века боролся больше всего с идеей хозяина-собственника, то у нашего времени есть другая, более насущная и трудная проблема: проблема рынка. Вечный кризис проистекает из закрытия (исчерпанности) внешних рынков. Чем заменить их? Как, кому продавать все возрастающую массу товаров? Это главный вопрос современного хозяйства, неразрешимый для капитализма, то есть для рыночного хозяйства, в котором покупательная способность потребителей практически ограничена заработной платой. Ответ, в парадоксальной форме, таков: надо производить не для продажи, а для раздачи даром. Только эта

свобода от суженного рынка дает возможность непрерывного расширения производства. Как осуществить даровое потребление, не развращая масс даровой жизнью и не убивая мотива личной заинтересованности в производстве, это самый трудный вопрос современного социализма. Отвечают на него различно: новой теорией денег (в Англии, в Америке), практикой бесплатных социальных услуг или растущих государственных потребностей, особенно в связи с военными вооружениями, когда государство поглощает все большее количество продуктов для распределения или для уничтожения их. Все опыты социальной реформы в демократиях не удавались потому, что не удавалось разрешить этой основной проблемы замены рынка. Или ее просто не замечают чаще всего социалисты, как Леон Блюм[4] во Франции, – или не умеют с ней справиться (Рузвельт[5], Де Ман[6]). Практические трудности здесь огромны, но они не являются непреодолимыми. Наша эпоха ждет для разрешения их – творческого гения. За отсутствием его, остается тщательная коллективная работа специалистов-практиков, которые должны открыть неизвестное: как обеспечить ход производства, поглощая все растущую долю его внерыночным распределением? Разумеется, эта проблема есть деталь – важнейшая деталь – рационализации хозяйства. Но так как от разрешения ее зависит самое бытие социализма (спасение его от тоталитарной его пародии), то я выделяю эту задачу, как особый признак современного социализма. Назовем его хотя бы так: организация внерыночного распределения. Можно было бы еще сказать: отрыв распределения от производства. Повторяю: здесь больной нерв проблемы, ее «быть или не быть».

3. Решение задачи рационализированного хозяйства само по себе еще не удовлетворяет замыслу социализма, как освобождения трудящихся. Можно мыслить рационализацию произведенной в интересах господствующих классов, как мы читаем это в некоторых утопиях Уэлса и Гексли[7]. Возможно новое рабство в неслыханных формах биологического подавления человека человеком – воспитание низшей породы людей: скотов для работы на господ. Тоталитарное общество может и впрямь осуществить этот «аристократический» идеал. Поэтому для характеристики социализма необходим добавочный и самый важный признак. Я не назову его равенством, которое

невозможно, хотя известное уравнение, во всяком случае – смягчение существующего неравенства, необходимо. Социальный прогресс не достиг еще той ступени, при которой даже и самые острые формы человеческой нужды, отошли бы в прошлое. Принципиально, борьба с «трущобами», с туберкулезом, с беспризорностью детей, даже с безработицей, не заключает в себе ничего социалистического. Социализм продолжает здесь тенденции умирающего свободного (капиталистического) строя. Но, при всех достигнутых успехах, в самых передовых странах не уничтожено трудно определяемое, однако глубокое, психологически несомненное, разделение общества на два (и не больше чем два) класса: мы и они. Может быть, клички «буржуа» и «пролетарий» к ним не подходят, но двух-ярусность нашей культуры остается ее главным недугом. В отличие от всех аристократических культур, капиталистическая демократия не имеет принципиального оправдания классов. Отсюда никогда классовая ненависть не была столь острой, как в наше время, когда расстояния между классами значительно уменьшились.

Заполнение этой пропасти, конечно, разлагается на ряд дифференциальных усилий. Материальный подъем жизненного уровня играет здесь большую роль. Но не он один. Еще более важно сближение культурных уровней. Необходимо действительное осуществление единой всенародной культуры, которая, конечно, не исключает личных неравенств. Но Пастер[8] и студент-первокурсник принадлежат к тому же кругу культуры. Между ними возможно общение. Культурное общество (совпадающее с так называемым «буржуазным») в наши дни, как и во все времена, зиждется на общности культурного минимума у всех его членов. Этот минимум дает воспитание. Вот почему культурная или духовная проблема социализма есть прежде всего проблема воспитания. Все экономические преобразования являются лишь средством для этого идеала. Я предлагаю называть его, вслед за Н. А. Бердяевым, идеалом бесклассового общества.

«Новая Россия», № 84, Париж, 1940

Церковь и социальная правда

1. На вопрос о социальном идеале христианства даются прямо противоположные ответы. С одной стороны, утверждают, что христианство есть религия личного спасения и не имеет ничего общего с вопросом об общественном порядке. Таков взгляд и большинства протестантов и многих современных восточных монахов. С другой стороны, утверждают, что христианство имеет свой общественный идеал, и притом единственный. Но в попытке определить его резко расходятся. Для одних это патриархальная самодержавная монархия, для других – демократия, социализм и коммунизм. Обе точки зрения, несмотря на видимую убедительность их положений, одинаково ложны.

Христианство, как религия абсолютная, не может зависеть в своей этике ни от какого общественного строя. Его идеал так велик, даже недосягаем – «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5, 48), – что ни один общественный строй не может удовлетворить ему. Из этой бесспорной истины делают ошибочный вывод: социальная жизнь безразлична для христианина, и даже больше, – он должен искать своего собственного спасения и не ставить своей задачей спасения других людей. Но знаменитый епископ и проповедник конца IV в. св. Иоанн Златоуст прекрасно показывает несостоятельность этого религиозного эгоизма: «Не будем довольствоваться исканием собственного спасения; это означало бы погубить его. На войне и в строю, если солдат думает только о том, как бы спастись бегством, он губит себя и своих товарищей. Доблестный солдат,

который сражается за других, вместе с другими, спасает и себя самого»... (45 слово на Мф., гл. 54).

Трудно сильнее выразить начало солидарности, товарищества, братства в христианском идеале жизни. Так как общественный строй не безразличен для духовного и морального благополучия людей, т. к. он может или развращать, соблазнять их или воспитывать к добру, то отсюда ясно: социальный строй не может быть безразличен для христианина. К какому же строю он должен стремиться? К такому, где более всего воплощена справедливость и братские начала жизни, где легче всего борьба со злом и где личность поставлена в наиболее благоприятные условия для своего духовного развития.

Это очень неопределенно, но при этой неопределенности мы должны остаться. Всякий исторический строй (монархия, республика, крепостничество, капитализм) может в большей или меньшей степени воплощать справедливость, быть большим добром или меньшим злом, сравнительно с другими формами жизни. Но во всяком строе заложены начала вырождения. Ценность всяких социальных форм зависит прежде всего от наполняющего их нравственного содержания: от того, насколько в них воплощается дух любви, справедливости, свободы. Самые лучшие формы гибнут, когда их покидает оживлявший их дух социального идеализма.

Если нет вечных и абсолютно справедливых общественных учреждений, то есть все же для каждой эпохи и страны относительно справедливые и лучшие учреждения, за которые, со спокойной совестью, может и должен бороться христианин. Церковь не указывает ему этих идеальных учреждений. Их поиски — дело человека, его совести, его свободы. Но в этих поисках общественного идеала совесть человека сама освещается светом христианского идеала. Нужно только уметь слышать голос Христа и голос истории, т. е. слышать голос Христа в изменчивом потоке времени, голос Христа в Его Церкви.

2. Всякая религия имеет свою этику, и всякая этика имеет свое социальное выражение — свою политику и экономику. В христианстве, как в религии всеобъемлющего совершенства, есть место не для одного, а для многих этических направлений, с еще более разнообразными социальными выводами из них.

Но остается общее единство определяющего духа, которое допускает разные формы и степени совершенства, но зато целиком исключает некоторые моральные установки.

Основы всякой христианской этики даны в Евангелии или, шире, в Новом Завете. Даны именно основы, но не законченная система этики. Грядущие поколения Церкви на этих основах будут строить свои системы христианской жизни и нравственности.

Глубокое своеобразие евангельской этики — в том, что ее можно считать и совершенно личной и глубоко социальной. Христос, неся человечеству новую «благую весть» о наступившем «Царстве Божием», не выступает в качестве социального реформатора и законодателя. Он не касается ни одного из общественных и политических учреждений своего времени ни для того, чтобы утвердить, ни для того, чтобы отрицать или исправлять их.

Самый мир мыслится изживающим себя и приближающимся к последней катастрофе — мессианского суда над миром. В противоположность пророкам Израиля, которые выступали в роли социальных реформаторов, — Христос открывает людям бесконечную ценность личности — той «души», которой не стоит весь «мир». Царство Божие — та драгоценная жемчужина, найдя которую, купец продает все, чтобы купить ее. «Ищите же прежде Царства Божия, и правды Его, и это все приложится вам». (Мф. 6, 33).

Приведенные слова Христа — и это основное звучание, тон Евангелия — как будто оправдывают индивидуалистическое понимание христианства. Но, хотя и поныне такое понимание находит своих сторонников, оно не считается с другой половиной истины, заключенной в евангельском откровении. Социальное содержание Евангелием вкладывается в саму глубину личной жизни и в саму природу Царства Божия.

Мало сказать, что христианство учит любви не только к Богу, но и к «ближнему», т. е. к человеку. Христианство есть религия вочеловечившегося Бога, религия Богочеловечества, в которой Бог становится предметом почитания и любви в Его человеческом лице. Человек же, созданный по образу Божию, понимается, как Его живая икона. За его тленной и падшей природой религиозный взор видит живущего в нем Христа: «Так как вы

сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». (Мф. 25, 40).

Но это еще не все. Сама по себе любовь к человеку может и не принимать социальных форм (пример буддизм). Любовь к личности может вести к обособлению от общества (почти всегда — влюбленность). Если любовь соединяет только два «я», хотя бы всякий раз иные, то не образуется еще той живой цепи, из которой может быть соткана общественная ткань. Но в христианстве, именно дано религиозное обоснование общественности. В тайне Троичности указана полнота Божественного совершенства. И в основание земной своей Церкви Христос положил закон: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». (Мф. 18, 20). Лишь в общине, хотя бы самой малой, дана полнота явления Христа в Церкви. Христос был третьим сопутником и сотрапезником в Эммаусе, когда ученики узнали в незнакомце воскресшего Господа по кипению любви: «Не горело ли в нас сердце наше?» (Лк. 24, 32). В Эммаусе чудесно показан подлинный религиозный перво-феномен христианства — усмотрение Христа в любви, соединяющей братство учеников, — то основное религиозное переживание, которое чуждо всяким другим религиям, даже проповедующим любовь, как высшую добродетель. Только в христианстве освященное во Христе человечество становится Его телом. Вкушая Его тело и кровь, Церковь связуется в один живой организм этим общением (причащением) Его тела и крови. Таков мистический смысл Церкви и того таинства (Евхаристии), которое составляет самое сердце Церкви.

Это значит, в христианстве есть социальный догмат, и этот догмат совпадает с учением о Церкви. Поэтому, хотя Евангелие отказывается от определения мирской социальности, оно вносит в мир начало новой социальности, религиозной, которая не может, как закваска в притче Христовой, не сквасить всего теста.

Впрочем, Евангелие не определяет конкретных черт социальной христианской жизни, предоставив это времени и свободному опыту будущей Церкви. Община учеников Христовых — странствующая община апостолов — не могла дать образца для будущего строя Церкви. Они порвали все хозяйственные связи с миром. Вчерашние рыбаки, они лишь изредка, по приказа-

нию Учителя, закидывают сети — для чудесного улова. Они живут, как «птицы небесные», по Его слову, в святой беззаботности, — подаянием, сорванными колосьями, угощением друзей. Иуда носит общую кассу, но не даром на долю Иуды выпала хозяйственная озабоченность — начало, отравляющее сердце.

Для искупления человечества, конечно, не случайно, что Иисус явился людям сыном плотника, и избрал первых своих учеников среди галилейских рыбаков. Здесь, в этой среде, Он нашел самых верных своих учеников, наименее опутанных сетями мира. Почитание Христа-плотника, распространяющееся сейчас в католическом и протестантском мире, имеет, несомненно, большое значение для христианского самосознания работников физического труда. В образе Божественного Плотника они могут найти благословение своему классу и освящение своего труда. Однако, нельзя забывать о том, что, выйдя на мессианскую проповедь, Спаситель отказался от ремесла Иосифа, и требовал от учеников своих бросить отцовские сети. Высшая форма религиозного служения требует отречения и свободы от всякой хозяйственной жизни.

Если Евангелие не определяет конкретных черт братской жизни, то оно все же бросает два луча, предостерегающие от чисто-духовного, «спиритуалистического» понимания социальной этики. Во-первых, сострадающая любовь должна быть направлена не только к душе человека, моего «ближнего», но и к его телу, даже прежде всего к его телу. В своем последнем царственном пришествии Судия-Мессия спрашивает не об исправлении заблудших, а о накормлении голодных, о делах любви — по отношению к больным, странникам, заключенным в темнице. Лишь по отношению к самому себе человек может и должен проявлять аскетическое отречение, или святую беззаботность. То же требование, обращенное к ближнему, напр., требование поста от голодного, обличает жестокость или лицемерие. Противоречием это различие мер оценки кажется лишь с точки зрения аскезы. Но аскеза в христианстве подчинена любви, как основе духовной жизни. В мире любви эта разница мер — для себя и другого — так естественна, что даже не останавливает внимания.

Во-вторых, с идеалом братства несовместимо сосуществование резких социальных противоречий — богатства и бедности,

т. к. оно свидетельствует о небратском, черством отношении к ближнему. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Богатство препятствует спасению и состоянием заботы, развитием алчности, но оно осуждается и независимо от этого внутреннего момента. В притче о богатом и Лазаре не сказано ничего о грехах богача и добродетели нищего. Но богач пировал в то время, как Лазарь лежал у ворот его. В одном этом моменте столь вопиющего неравенства социальной доли заключено осуждение счастливого. Так объясняет его наказание и Авраам: «Ныне он здесь утешается, а ты страдаешь». (Лк. 16, 25). Царство Божие несет с собой мессианское воздаяние, не только личное, но и социальное — согласно древним пророчествам Израиля. Мессия восстанавливает нарушенную на земле справедливость. Вот почему «блаженны нищие» (Лк. 6, 20–21), не только «нищие духом», но и все «плачущие ныне», ибо Мессия приходит их утешить. Бедность ценится в Евангелии не только, или не столько, как аскетическое состояние — свободы, несвязанности, беззаботности, — но как страдание, требующее награды. Было бы превратно понимать эту награду, как только небесное воздаяние. Мессианские обетования имеют и земное значение. Царство Божие имеет в Евангелии по крайней мере тройной смысл: оно в сердце человека, оно в небесной жизни, и оно же в земном Царстве Мессии, пришедшего во славе. Недаром евангелист Лука, столь горячо ощутивший христианский идеал социальной правды, сохранил для нас дивную песнь Богородицы, этот совершенно еврейский мессианский гимн, где вечерняя заря Ветхого Завета встречается с утренней зарей Нового. «Величит душа моя Господа», ибо «Он призрел на смирение рабы Своей» и вместе с тем «отрока своего Израиля». Рабыне и «отроку» (рабу) уготовано «величие» и милость. Бог «низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». (Лк. 1, 52–53). Евангелие не призывает бедных на борьбу с богатыми за свою долю земных благ. Но оно и не объявляет социальных различий незначущими для Царства Божия. Оно обращается к богатым с укором, а к бедным с обетованием утешения и награды в Царстве пришедшего Мессии-Спасителя.

3. Христианская Церковь родилась в Иерусалиме, в маленькой общине учеников, соединенных верою в воскресшего Христа и ожидавших Его возвращения во славе для суда над миром. Каковы были социальные отношения, установившиеся среди первых христиан? Об этом читаем в «Деяниях Апостолов»: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». (4. 32). Мы не погрешим против истины, если назовем этот строй братской жизни, где «все было общее», коммунизмом. Из истории Анании и Сапфиры (гл. 5) можно видеть, что этот коммунизм не был ни интегральным, ни строго принудительным. Каждый мог сохранить для себя часть имения. Этот свободный коммунизм может быть назван коммунизмом любви (Трельч[1]). Он существует между любящими и супругами, во всякой дружной семье, иногда между преданными друзьями. «Любовь не ищет своего» (1 Кор. 13, 5), но ищет общения во всем, в небесном и земном, великом и малом. Коммунистические черты встречаются во всяком союзе, рождающемся из любви.

Другой особенностью иерусалимского коммунизма была, по-видимому, его нехозяйственность, оторванность от труда и производства. Апостолы и их ученики не собирались устраиваться прочно и надолго на этой земле. Их помыслы были устремлены навстречу грядущему Господу. В молитве и энтузиазме ожидания не удивительно, если материальная сторона жизни осталась в пренебрежении.

Две опасности постоянно подстерегают все попытки воплощения коммунизма в истории — как религиозного, так и чисто экономического. Во-первых, всякое ослабление любви (тем более организация без любви) приводит к тирании, ибо коммунизм без любви означает насилие над естественными (не только эгоистическими) потребностями личности. Во-вторых, коммунизм, возможный в потреблении (распределении) благ, обыкновенно разбивается на задаче производства: одно бескорыстное служение обществу не может заменить мотивов интереса и чувства самосохранения. Современный коммунизм в России вскрыл и ту и другую опасность: и деспотизм и бесхозяйственность. Апостольский коммунизм в Иерусалиме, сильный любовью, был экономически слабым и не мог стать образцом для подражания.

Значит ли это, что он был ошибкой? Нет, как не было ошибкой, обманом и ожидание пришествия Господа в апостольском веке. Он был героическим выражением христианского социального идеала, социальным максимализмом, который, несмотря на «неудачу», сохраняет определяющее значение. Совершенный идеал братской христианской жизни есть коммунизм любви. Впоследствии общежительный монастырь повторит, но на основе внешней дисциплины и хозяйственной предусмотрительности, идеал коммунистической христианской жизни.

Иерусалимская община оставила будущей Церкви, помимо неосуществившегося социального идеала, и одно социальное установление, которое сохраняло в течение веков свою жизненность и практическую целесообразность. Это учреждение диаконов, с прямым заданием социального служения. (Де. 6, 1–5). «Служение столов», или служение хлеба обособляется от «служения слова» в особую социально-религиозную функцию. Диаконы древних церквей были социальными служителями общи́ны – ранее, чем стали служителями культа. Такое значение, но уже вместе с литургическим служением, диаконы сохраняли в течение всей христианской древности, а на Западе и в средние века. Мы имеем право сказать, что социальное служение в Церкви есть по преимуществу служение диаконское.

В других христианских церквах, известных по Новому Завету, с коммунизмом мы не встречаемся. Никто из апостолов не посягает ни на политические, ни на социальные основы жизни древнего мира. Рабство, неравенство остаются, но смягчаются любовью. Общие трапезы, так называемые трапезы любви («агапы») собирают верующих, напоминая об общении всех благ, как высшем идеале жизни. Эти трапезы соединяются с Евхаристией, т. е. общением со Христом. Причащение Телу Христову дается вместе с общением людей между собою – в любви и хлебе.

Трапезы любви были не только символическим актом. В древней Церкви общины действительно несли ответственность за социальное зло. Принципиально и фактически бедные содержались на счет церкви. Оттого церковное имущество, которым распоряжался епископ, считалось достоянием бедных. Но самая широкая благотворительность не могла удовлетворить в полноте идеала любви, который сохранял всю свою категорич-

ность: «Ты не должен отказывать нуждающемуся, но все делить с братьями твоими. Не говори, что это твоя собственность, потому что, если вы совместно пользуетесь благами вечными, то тем более преходящими». Так говорит «Учение 12 апостолов», один из древнейших памятников (II в.) христианской письменности.

4. С прекращением гонений перед христианской церковью открывались два пути: или остаться небольшой общиной чистых, ожидающих возвращения Христа для суда над миром, предоставив этот мир его неизбежной гибели, – или идти в мир, чтобы учить и спасать его, чтобы привить ему, что возможно, из недосягаемого христианского идеала, неизбежно снижая этот идеал до уровня мира. Церковь пошла вторым путем – путем снисхождения.

Поставив своей задачей христианизацию греко-римского мира, церковь должна была принять сложившийся в нем социальный, как и политический, строй. Переменить его было не в ее власти, жизнь шла в сторону всеобщего закрепощения, увеличения социальной тяжести, лежащей на низших классах. Церковь могла лишь смягчить эту тяжесть, воздействуя на личность, удерживая от злоупотреблений богатством и силой, внушая милосердие к слабым.

Церковь от своих сильно возросших имуществ продолжала поддерживать бедняков. Но вопиющие неравенства внутри мира, уже христианского, остаются и даже получают свое оправдание. Слагаются теории о том, что богатство и бедность созданы Богом для взаимного дополнения и служения друг другу. Богач спасается, по этой теории, творя милостыню, бедняк – безропотно перенося свою участь.

Но наряду с социальным богословием, имеющим тенденцию относительного оправдания социального зла, как необходимого последствия греха и закона (особенно у бл. Августина), в эпоху «отцов церкви», слышатся и другие, пламенные голоса, предъявляющие миру зеркало Евангелия и по-евангельски судящие мир. Конечно, и эти проповедники любви и братства не ставят своей задачей радикального пересоздания общества, экономически невозможного в то время. Но их требования, обращенные к богатым, так повелительны, что за призывом к

жертвам встает коммунистический идеал раннего христианства. Для христианина нет собственности. Богатство дается ему в управление от Бога, и он обязан пользоваться им в интересах всех своих братьев — всей церкви. Иначе он преступник и похититель «собственного» достояния.

Настоящим социальным апостолом среди греческих отцов церкви был св. Иоанн Златоуст, константинопольский епископ конца IV века. Его обличительные громы против богачей не уступают в резкости социалистам XIX века. Вот образцы: «Богатые удерживают имущество бедных даже тогда, если оно досталось им по наследству от отцов, или если они приобрели его другим способом... Когда мы отказываем в милостыне, мы заслуживаем таких же наказаний, как грабители. Мы так же виновны, как сборщик налогов, который употребил бы общественные деньги на удовлетворение своих собственных желаний». (11 слово о Лазаре, 4).

«Не говори: свое трачу, своим наслаждаюсь. Нет, не своим, а чужим. Именно потому, что ты делаешь из этого бесчеловечное употребление, говоришь: «я имею право тратить на мои личные наслаждения то, что принадлежит мне», потому я и утверждаю, что эти имущества не принадлежат тебе. Они принадлежат сообща тебе и ближним, как солнце, воздух, земля и все остальное» (10 сл. 1 Кор. 3–4).

Проповедник милосердия становится грозным глашатаем мщения, когда представляет возмутительный контраст роскоши и нищеты:

«Какой геенны не заслуживаешь ты, когда — для того, чтобы украсить камни и пол твоего дома или животных, лишенных разума и не понимающих даже, что их украшают, — ты ввергаешь в тысячи бедствий твоего брата?... Ты так заботишься о своей собаке; но этот человек, или лучше сказать, Христос, из-за твоей собаки доведен до крайности голода... Сколько нужно рек огня, чтобы достаточно покарать столь преступную душу!».

Пусть не отводят ссылки на Златоуста указанием на то, что этот социальный пафос был исключительной принадлежностью Иоанна. Восточная церковь, почитающая его едва ли не более всех других своих «отцов», сделала своим и его социальное направление. Но возьмем Василия Великого, второго из

трех ее великих «святителей». Василий вторит Иоанну (вернее, упреждает Иоанна) почти в буквальных совпадениях. Не трудно видеть: это одна и та же этическая и стилистическая школа.

«Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места». (Исаия, 5, 8). «А ты что делаешь? Не изыскиваешь ли тысячу предлогов, чтобы ограбить своего соседа? Его дом, говоришь ты, затемняет мой, он слишком шумен; там бывают бродяги. По тому или иному поводу он его выгоняет, мучит, пока не заставит переселиться... Море знает свои пределы; ночь не переступает положенных ей границ. А жадный не уважает времени, не признает границ... но, подражая огню, на все бросается, все поглощает». (Слово против богатых, 5).

«Кто любостяжатель? Тот, кто не довольствуется достаточным. Кто грабитель? Тот, кто отнимает имущество у других. Не любостяжатель ли ты, не грабитель ли, если обращаешь в свою собственность то, что получил в управление? Тот, кто снимает одежду с человека, называется вором; тот, кто не одевает нагого человека, когда он мог бы это сделать, заслуживает ли другого имени? Голодному принадлежит хлеб, который ты удерживаешь; нагому плащ, который ты хранишь в сундуке; босому обувь, которая гниет у тебя; нуждающемуся серебро, которое ты зарыл. Скольким людям ты мог бы дать, стольких и обижаешь». (Слово 6, 7).

Если иногда может показаться, что Василий Великий слишком идиллически изображает бедность, как подвиг терпения, то вот цитата, показывающая, что он мог смотреть на бедность, как на моральное зло, или как на источник морального зла. — Точка зрения существенно важная для настоящего времени, когда достойная бедность почти вытеснена порочной нищетой.

«Как мне показать твоим глазам страдания бедняка? Оглядывая свое добро, он видит, что нет у него золота и никогда не будет; видит утварь и одежду — такие, какие бывают у бедняков, ценою в несколько оболов. Что дальше? Вот он, наконец, обращает взоры на детей, чтобы вывести их на продажу на рынок и в этом найти спасение от смерти. Представь себе эту борьбу голода и родительского чувства. Голод грозит же-

стокой смертью; но природа удерживает его, убеждая лучше умереть вместе с ними. То бросаясь, то останавливаясь, он, наконец, побежден необходимостью и неумолимой нуждой». (Слово 6, 4).

Замените рабство проституцией, и вся эта социальная картина могла бы быть помещена в первую половину XIX века, в эпоху неограниченной конкуренции и «железного закона» заработной платы.

В обличении социального зла социалисты и даже коммунисты нашего времени не могли превзойти отцов IV века. Даже прудоновское «собственность есть воровство» мы слышим из уст Златоуста и Василия Великого. Чего мы не найдем у них, это призыва к насилию, разжигания классовой ненависти. Возмездие жестокому богачу переносится ими в план загробных мук — которые сохраняли тогда всю полноту реальности и для самих богачей. Единственное земное средство, которое, по условиям времени, они могли и не уставали рекомендовать для уврачевания зла, была милостыня. Скромность этого средства, — впрочем весьма действительного в патриархальных формах хозяйственного быта, — уравновешивается силой ударения, на нем полагаемого. В иерархии религиозных ценностей милостыня у отцов занимает совсем иное место, чем у современных христиан. Послушаем опять Златоуста:

«Милостыня — сердце добродетели... Царица добродетелей, которая быстро возводит людей на самую высоту небес, лучший из адвокатов»... «Девство, пост, лежание на голой земле важны только для того, кто предается им, и никого другого не спасают, милостыня распространяется на всех и объемлет члены Христовы». (6 слово на Тит., 2). «Творить милостыню — дело более великое, чем чудеса». «Накормить голодного Христа — дело более великое, чем воскресить мертвого во имя Иисусово. В первом случае ты являешься благодетелем Христа; во втором Он — твоим... Когда ты творишь чудеса, ты должник Божий, когда милостыню, -- Бог твой должник».

«Каковы бы ни были ваши грехи, милостыня уравновешивает их все».

Сознавая недостаточность этих призывов, Иоанн подходил к самой грани, отделяющей индивидуальное милосердие от социальной реформы. Он не боялся заглядывать и по ту сто-

рону этой грани, переступить которую не давали социальные условия его времени. В одной из своих проповедей, сказанных еще в Антиохии, он рисует нечто вроде социальной утопии:

«Рассмотрим, если угодно, кого больше в городе: бедных или богатых. И какие ни бедные, ни богатые, но занимают среднее место. Десятая часть богатых и десятая часть бедных, не имеющих ничего. Остальные же средние. Разделим на число нуждающихся все население города, и вы увидите, – какой позор! Самые богатые – немногочисленны. Но зажиточных (следующих за ними) много. Бедных гораздо меньше их. Однако, хотя столько есть людей, которые могут накормить голодных, многие идут спать не евши. Не потому, чтобы имущие не могли без труда предоставить им пищу, но по страшной их жестокости и бесчеловечности. Ведь, если бы богатые и зажиточные поделили между собою тех, кто не имеет ни хлеба, ни одежды, то едва ли на 50, или даже на 100 граждан пришелся бы один бедный (?)»... (Слово 66 (67) на Мф. 3).

Арифметические выкладки Златоуста не отличаются ясностью. Но одно несомненно. Он считает существование бедных в Церкви не благом, а позором, и мечтает о возможности не индивидуального, а общественного уничтожения этого зла.

Василий Великий тоже не останавливается на одной милостыни. Но его мысль идет другим путем. Он думает не о борьбе с бедностью только, но об опасности индивидуализма во всей жизни. Возвращаясь к идеалу апостольской общины и продумывая его в понятиях античной философии, он создает идеал религиозно-коммунистического общежития. Василий Великий, учитель всего восточного монашества, в братстве аскетов видит возможность осуществления коммунистической жизни.

«Кто не знает, что человек существо кроткое и общественное, а не одиночное (monasticon) и не дикое? Ничто так не свойственно нашей природе, как общаться друг с другом, нуждаться друг в друге и любить сородичей».

«Во многом полезнее общая жизнь людей, соединенных ради одной цели. Во-первых, никто из нас не довлеет себе и потребностям тела, но в приобретении необходимого мы нуждаемся друг в друге... Божественный Демиург определил нам нуждаться друг в друге, чтобы соединяться друг с другом... «Любовь не ищет своего». «Жизнь же в одиночку имеет одну цель: служе-

ние собственным потребностям. Но это явно противно закону любви».

«В одиночестве человек нелегко познает и свои слабые стороны, не имея уличающих его... И заповеди полнее и легче исполняются живущим вместе, чем одинокими...»

«Так как один человек не способен вместить все духовные дарования, но в меру веры каждого подается Дух, то в общинной жизни особая харизма каждого делается общей для всего содружества... В общинной жизни действенность Св. Духа, сообщенная одному, неизбежно переходит на всех... Живущий сам по себе, может быть, имеет один дар, да и тот делает бесполезным по нерадению, закопав в самом себе... В сожительстве многих он и своим пользуется, умножая его раздачей, и чужие плоды приобретает, как с вои» (Reg. fus. III, 1).

Мы видим, что в основу своего «монашеского» идеала Василий Великий положил общение в любви. Историческое монашество, даже связанное с традицией Василия Великого, в основу своей жизни положило аскезу. Отсюда и в общежительном монастыре начало дисциплины возобладало над началом братского общения. Общежительный монастырь стал по преимуществу школой смирения и добровольно уступил первенство отшельничеству, как героизму аскезы. Тем самым религиозно-социальный смысл киновитства , какой вкладывал в него Василий Великий, остался неосуществленным. Как это ни странно, лишь XIX век поднял заветную идею древнего отца, сдунув пыль веков и с социальной утопии Иоанна Златоуста.

5. Тысячелетие, протекшее от падения Западной Римской Империи (V в.) до падения Восточной, Византийской, – так называемые средние века – было эпохой безраздельного господства христианства, как государственной религии. Казалось бы, что общественный строй этой эпохи должен наиболее полно соответствовать христианским началам жизни. Но вопреки всем охотникам идеализировать прошлое, следует признать, что христианизация жизни никогда не была ни полной, ни глубокой. За всю историю Церковь никогда не была победительницей на земле. Ее отношение к миру сводилось к борьбе, к воспитанию, к компромиссу. Отсюда насквозь проходящая двойственность христианской культуры. Святые и злодеи равно

встречаются и внутри церкви и даже внутри ее избранного, «духовного» круга.

Социальная и политическая жизнь оказалась гораздо более суровой, гораздо менее податливой для христианского воздействия, чем область личной морали. И церковь преимущественно отмежевывала себе индивидуальную сферу — воспитание душ. Однако, влияние христианства сказывалось и на «жесткой», социальной половине жизни, постепенно преобразуя и гуманизируя ее.

Менее всего это удалось в Византии. Здесь церковь получила от древности общество, построенное на рабстве, и государство — на деспотизме. Отрекшись от языческой религии, государство осталось языческим по всем формам быта. Варваризирующее влияние Востока перевешивало облагораживающее влияние церкви. Отказавшись от задачи пересоздания жестокого строя общества, церковь напоминала о милосердии. В своей священной ограде она продолжала нести благотворительную работу, завещанную христианской древностью. В крупных мировых центрах тысячи бедняков содержались на церковные средства. Патриархии и епископства создавали больницы, странноприимные дома и другие формы организованной социальной работы. Такие же учреждения строили в своих стенах крупнейшие монастыри. В смысле учреждений «социального обеспечения» Византия, по-видимому, стояла выше современной ей Западной Европы.

Однако, если мы хотим вполне оценить социальное воздействие греческой церкви, то должны обратиться к житиям ее святых. И тут мы увидим, что наиболее далекие от социального делания, удаляющиеся в пустыню, как Антоний Великий, или поднимающиеся на столп, как Симеон, находили возможным вмешиваться в общественную жизнь, посылая письма, просьбы и угрозы — всегда в интересах бедных, обиженных и слабых, против богатых и властных. Теоретически оправдывая общественный строй империи, церковь стремилась смягчить его в интересах наиболее страдавших в нем групп населения.

На христианском Западе крушение Римской Империи расчистило церкви дорогу к социальному творчеству. Германские государства, возникшие на развалинах империи, были слабы, и церковь помогала их королям строить самые основы госу-

дарственной жизни. Таким путем создалась традиция социальной активности западного христианства. Однако стихийные силы варварского своеволия, буйство первобытных страстей делали христианизацию новокрещенных варваров поверхностной и вводили социальное влияние церкви в довольно узкие границы.

Церковь умеряла произвол сильных и жестоких судей, создавая из своих святилищ «убежища», где все преследуемые могли найти защиту и от государства. Церковь создавала в своих монастырях оазисы мира, молитвы и культурной работы среди постоянной войны и насилия. Наконец, бесспорно, церковь содействовала отмиранию античного рабства и перерождению его в более мягкие формы крепостничества. Освобождение рабов считалось богоугодным делом. Часто на смертном одре, по завещанию, сеньоры отпускали на волю своих рабов, которые оставались сидеть на их землях, обязанные оброком или арендой. Многочисленное население, сосредоточившееся на церковных землях, пользовалось более льготными условиями труда, повинностей и суда. Отсюда тяготение массы свободных и крепостных к церкви, переход их в ряды зависимых от церкви людей. Монастырь раннего средневековья, помимо своей религиозной и культурной роли, как центра просвещения, был крупной хозяйственной единицей, построенной, правда, не на благотворительных и отнюдь не на коммунистических началах, но более благоприятной для трудового населения, чем светское поместье.

История средневековой церкви отличается необыкновенной пестротой. Усилия церковных реформаторов и святых, полных евангельской ревности и горения, встречают сопротивление не только со стороны мира, но и обмирщенных элементов духовенства. В борьбе обыкновенно побеждают начала церковные, но тяжелой ценой.

В позднем средневековье, выросший на почве ремесла и торговли город существенно изменил доселе аграрный феодальный тип западного общества. Церковь пыталась морально облагородить профессиональную жизнь. Она и ранее боролась с ростовщичеством, доводя свою непримиримость до полного запрета процента. Ее правилом были евангельские слова: «Даром получили, даром давайте». В торговой этике

церковь исходила из принципа «справедливой цены» и «приличной положению жизни», считая не только грехом, но и наказуемым преступлением чрезмерную наживу, прибыль полученную без труда, особенно во время голода и других социальных бедствий. И эти принципы не оставались в сфере одной проповеди. Они вошли в средневековое законодательство, ими регулировали свою экономическую политику городские советы и государства.

Средневековое (схоластическое) богословие развивало учение о духовно-органическом строении общества, как единого тела (corpus christianum). При резком проведении иерархического начала неравенства (отчасти под влиянием Аристотеля и античной мысли), богословие стремилось обеспечить за каждым, и самым малым «членом тела», как право на уважение, так и на удовлетворение законных потребностей.

Конечно, жизнь была далека от этой теоретической гармонии. Средние века были эпохой постоянной борьбы противоположных сил, и в этой борьбе католическая церковь, к сожалению, участвовала не только, как сила духовная. Борьба за теократию, т. е. борьба за власть папы над светским обществом, более всего подорвала средневековое христианство. Но невозможно отрицать, что и в самых своих ошибках оно руководилось религиозной социальной идеей.

В древней Руси, несмотря на преобладающее влияние Византии, высокое положение церкви в слабом государстве создавало для социальной работы церкви условия, близкие к западным. Если мы не видим здесь особенно энергичных реформаторских усилий, зато не видим и клерикализма, борьбы за власть духовенства. Социальная проповедь церкви носит более кроткий, воспитательный и евангельский характер. Русское монашество с самого начала получило значение социального служения. Духовничество, проповедь, влияние на мирян было одной из главных задач древнерусских иноков. Беря на себя подвиг поста, молитвы и изможденият тела, для мирян русский подвижник нес преимущественно завет Христовой любви к ближнему. Милостыня для мирян была тем же, чем молитва для монахов. Преп. Кирилл Белоезерский особенно ярко выразил эту мысль в одном из своих посланий князьям: «Понеже, господине, поститися не можете, а молитися ленитеся, ино в

то место, господине, вам милостыня ваш недостаток исполнит». Трудно найти житие древнерусского святого, в котором бы не светилось милосердие, направленное на утешение всех человеческих страданий.

По отношению к сильным мира сего, русские святые всегда являлись ходатаями за бедных и обиженных, иногда грозными обличителями, изредка мстителями за неправду. Как характерно, что в житии кроткого Сергия Радонежского единственное чудо карательного характера совершается святым в наказание богача, отнявшего у бедного крестьянина его единственного борова. Удерживая помещиков от притеснений, судей от лихоимства, русские святые могли иногда, как Кирилл Белоезерский, начертать князю целую программу управления — правда, отнюдь не радикальную, но где упоминалось, наряду с исправлением правосудия и уничтожением кабаков, и отмена пошлин, кроме перевозных, как несправедливых и отяготительных.

Русский монастырь в древности был столько же домом молитвы, сколько институтом социального обеспечения. К нему относится все то, что сказано выше о западном монастыре средневековья. Уже в первом русском монастыре, Киево-Печерском, преп. Феодосий построил больницу. Северные, послемонгольские монастыри были не только опорными точками русской колонизации, центрами притяжения крестьянского населения, но и серьезной помощью для него, в случае голода и нужды. Во времена неурожаев в крупных обителях кормились ежедневно тысячи людей.

Самое главное, однако, не в этом. Главное то, что вероятно, благодаря славянской литургии и славянскому Евангелию, образ Христа и заповеди Его любви глубоко врезались в память и в сердце русского народа. Греша и падая, в своей жестокой и кровавой истории, русский народ не мог расстаться с этим Божественным образом. Он согревал его жизнь, смягчая человеческие отношения жалостью и прощением, уча видеть в бедном и страдающем не только брата, но и самого Христа, томя сердце жаждой иной, светлой жизни, в полноте осуществляющей заветы братской любви.

6. Средневековая культура разлагается в XV столетии и уступает место культуре Возрождения и Реформации, кото-

рая характеризуется торжеством индивидуализма в светской и духовной сфере. Новое время разрывает с традициями социального христианства. Исключительная установка на личность и на ее религиозный — чисто мистический путь почти не оставляет места для религиозной переработки общественного строя. Само влияние религии в сфере культуры слабеет. Религия вынуждена уступить мирским силам одну область за другой: государство, хозяйство, науку, — чтобы оставить за собой только одну недоступную для общества, интимную и глубокую жизнь сердца. В протестантизме это личное направление было принципиальным. Сама идея Церкви, как тела Христова, была в нем поколеблена, если не разрушена совершенно. Но и католицизм, оправившись от ударов, нанесенных ему гуманизмом, утратил в значительной мере свою социальную активность. Индивидуальная мистика характеризует самые крупные католические течения XVI и XVII веков. Потом наступает с XVIII века общий упадок религиозности, выветривание христианства под влиянием просветительной философии и науки.

Вот почему новая хозяйственная сила, капитализм, победоносно распространившийся по Европе с XVI столетия, не встретил со стороны христианской церкви почти никаких этических преград и ограничений. В кальвинистических странах он даже оправдывался религиозно. Хозяйственный индивидуализм ставился в связь с индивидуализмом религиозным. В духовной и материальной сфере господствует борьба за существование и личное спасение. Гибель масс в этой борьбе — печальный и неизбежный закон. Торжествует моральная сила немногих, знак божественной благодати. Пуританство усматривает в богатстве видимое благословение Божие, а в бедности следствие лености, пороков или Божественного наказания. Впервые после полутора тысячи лет христианской истории — церковь принимает сторону богатых против бедных. Прекращаются обличения богатства, и социальная проповедь сводится, главным образом, к проповеди покорности, обращенной к бедным. Милостыня получает смысл маленькой поправки к Богом установленному строю. Христианство новых столетий на Западе становится аристократическим, и высшие классы (дворянство, буржуазия) поручают ему защиту своих привилегий и прав.

Чтобы быть справедливым, нужно признать, что и новое время знало социальную работу христианских церквей. Достаточно указать на активность прихода в протестантских странах, где он несет на себе значительную долю общественной благотворительности, и на некоторые конгрегации католической церкви, ведущие социальную работу, особенно на связанные с именем св. Викентия де Поль[2], каковы «дочери милосердия», послужившие образцом для светского Красного Креста и др. Но вся эта работа кажется совсем ничтожной, если сравнить ее с социальной активностью средневековой церкви или с вопиющими язвами нового капиталистического строя.

Замечательно, что и в православной Руси XVI век был временем ослабления социальной работы церкви, в частности, монастырей. С этого времени монастыри все более превращаются в хозяйственно-культовые учреждения. Суровость военных и государственных задач России сообщает московскому царству чрезвычайно тяжкий для народных масс характер, не умеряемый уже заступничеством церкви. Но только петровская реформа вполне покончила с социальным служением русской церкви. Рядом крутых, насильственных мер с церкви было снято, вместе с ее имуществами и независимостью, всякое попечение об обществе и народе. Ей отведена узкая сфера личного благочестия. Чрез научные и богословские воздействия Запада, протестантская и новокатолическая этика религиозного индивидуализма проникла и в русскую церковь. Углубляясь, религиозное сознание находит себе пищу в индивидуально-аскетической традиции древнего Востока. Таким образом, два индивидуализма: монашеский и протестантский определили социальное или, лучше сказать, антисоциальное направление, господствовавшее в русской церкви до последнего времени.

Новый стиль христианства был изменой и древним, и средневековым его традициям. И наказание не заставило себя ждать. Крушение сперва аристократического, потом капиталистического строя, которое наполняет шумом революций последние полтора века европейской истории, застало церковь в лагере привилегированных, обороняющихся и побеждаемых классов. Отсюда ненависть масс — особенно рабочих — к церкви и христианству в целом ряде стран. До конца XVII века все социальные движения низших классов шли под знаменем хри-

стианства, иногда церковного, иногда сектантского, — но сохраняя религиозный характер. С французской революции впервые социальный идеал, каково бы ни было его именование, — свобода, равенство, социализм, — получает антихристианское, под конец даже атеистическое острие. Сильнейшее движение нашего времени — социализм — во всех главных его направлениях, особенно в России, враждебен христианству и даже всякой религии. В России коммунизм ведет против религии открытую войну. Это плод печальной истории последних столетий и забвения социальных основ христианства.

В современных формах социализма, особенно коммунизма, есть действительно много несовместимого с христианством: материализм, этика классового эгоизма и ненависти, вера в могущество насилия, растворение личности в партийном и классовом коллективе. Однако, если вдуматься в саму основу социальных идей нашего времени, то без труда вскрывается их христианское происхождение. Ни в одной культуре, кроме христианской, никогда не вставал и не мог встать социальный вопрос в нашем смысле слова. Он является практическим выводом из постулата христианского братства.

Изучая раннюю историю социализма, мы, действительно, видим, как он складывался, сто лет тому назад, в 30 и 40 годах прошлого века, во Франции, в среде религиозно экзальтированной и революционно настроенной интеллигенции. Большинство так наз. «утопических» социалистов, Сен-Симон, Фурье[3], Пьер Леру[4], Жорж Санд[5], были людьми романтически-христианских, хотя и не церковных взглядов. К ним навстречу шли люди из католической церкви — священники, как Ламеннэ[6], Лакордер[7] и др. В этой напряженной, мечтательной, но религиозной среде и родился социализм, который Маркс перевел на материалистический язык. Но Маркс нашел готовым социалистический идеал и его этическое обоснование. Он был дан в христианских, хотя бы секулярных кругах. Вне этой данности (по существу христианской), из экономического материализма никак нельзя было бы вывести социалистического идеала.

То, что сделал Маркс с социализмом, было величайшим его изувечением.

Но революционному социализму XIX века, во всяком случае, принадлежит заслуга постановки социальной проблемы. Зна-

чительность, и даже грозность ее, в конце концов, не могли не разбудить их из долгого сна и представителей христианских церквей. С середины XIX века и до наших дней мы наблюдаем все растущее христианское социальное движение, в самых различных формах.

Англия и Америка представляют страны, где социализм и социальная проповедь вообще теснейшим образом связаны с христианством, чего мы не наблюдаем в континентальной Европе. И вне узкой сферы социализма, почти все гуманитарные социальные реформы XIX века в англосаксонских странах проводились под прямым воздействием христианской совести: отмена рабства, рабочее законодательство, смягчение войны и борьба за международную организацию мира. Если в остальной Европе новых столетий влияние христианской совести на общественную жизнь проявлялось скорее скрыто и бессознательно, нередко в прямой вражде против исторического христианства (французская революция, социализм), то в Англии и в Америке связь между христианством и общественной справедливостью до сих пор не порвана.

В православной России не было и нет серьезных организаций и движений социального христианства. Но зато она может указать целый ряд очень значительных явлений в области религиозной мысли. Уже философия славянофилов, первых самобытных русских православных мыслителей, была окрашена социально. В русской общине и в народном самодержавии они утопически искали средств для осуществления социальной правды. В конце XIX века Н. Федоров был тем православным мыслителем, весьма своеобразным и глубоким, для которого социальный вопрос, в смысле практического его решения, стоял в центре исканий и умозрений. В XX веке мы имеем целую школу православной философии, отчасти вышедшую из марксизма, многие представители которой, как С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев пытались отнять у Маркса и вернуть Христу несправедливо отнятое социальное достояние Церкви.

Сейчас в коммунистической России, как и везде, социальное Евангелие Христа борется с черным богословием Маркса. От исхода этой борьбы зависят судьбы мира. Ибо, несмотря на видимое бессилие христианства в потоке событий, только в нем заключены те моральные силы, которые способны строить, а

не разрушать, и строить не тюрьму, а свободное общение личностей. Вне христианства – война классов, война народов, и в перспективе, если удастся избежать кровавого крушения всей культуры – небывалая тирания «социального» государства. В христианстве еще неясны очертания того строя, который должен сменить вырождающийся и хаотический капитализм. Неважно, будет ли он носить имя социалистического или нет. Важно, чтобы он, сохраняя свободу человека, был шагом вперед к достижению вполне недостижимого на земле идеала братства, героическая мечта о котором не умирает в христианстве со дней первой церкви в Иерусалиме.

«Тезисы для православной серии трудов Мирового Совета Церквей», Женева, 1950

Примечания

В V том собрания сочинений Г. П. Федотова вошли его статьи, созданные преимущественно в 30-е годы. Исключение – «Церковь и социальная правда», тезисы, написанные им уже в США в 1949 году, за два года до смерти. В этот том вошла книга «И есть, и будет», которая вышла в Париже в 1932 году. Поначалу Г. П. Федотов публиковал статьи, в которых анализировал причины побед и неудач российских политических сил в революциии 1917 года, а также в Гражданской войне в журнале «Современные записки». Три большие статьи под общим названием «Проблемы будущей России» были опубликованы в трех номерах этого журнала за 1931 год. Но уже через год вышла книга «И есть, и будет» с подзаголовком «Размышления о России и революции.» Эта книга ничуть не устарела – более того, как нельзя современна, поскольку не только среди историков, но и среди мыслящей российской интеллигенции до сих пор не утихают споры о причинах великой трагедии, которая привела к развалу огромной империи, создававшейся в течение четырехсот лет, сначала царями династии Романовых, затем большевиками.

Больше всего мыслителя беспокоило будущее России. Этой проблемой мучились и в Советской России – достаточно вспомнить споры заключенных в романе А. И. Солженицына «В круге первом». Не случайно в этом томе даны статьи Федотова о социализме и демократии. В сегодняшней России, где само понятие социализма безнадежно скомпрометировано 70-летним правлением большевиков, важно очистить это течение политической и экономической мысли от примесей коммунизма. Нынешняя Россия, решительно вставшая на путь капиталистического развития, за последние 20 лет не только не достигла освобождения от коммунистического наваждения, но вновь стоит на грани развала. Отсутствие всенародного покаяния в грехах коммунистического прошлого – основной тормоз развития страны. Об этом постояннно напоминал в своих статьях и книгах Г. П. Федотов. Но он же и указывает на новые пути развития – пути христианской демократии, которые отчетливо проявились в народовластии Новгорода и Пскова.

Приношу благодарность за помощь в работе над томом кандидату богословия В. П. Леге, игумену Игнатию (Крекшину) (Тюбинген), священнику Илье Соловьеву, а также доктору филологических наук Г. М. Прохорову, любезно предоставившему для данного тома портрет Г. П. Федотова работы

парижской художницы Татьяны Муравьевой-Логиновой (1906–1993). Без их деятельной помощи было бы чрезвычайно трудно подготовить это издание.

«И есть, и будет»

Предисловие

[1] псевдоморфоза – кристалл, форма которого не соответствует структуре образовавшего его минерала. Геологический термин, который впервые был применен немецким культурологом и философом Освальдом Шпенглером в его исследовании «Закат Европы» к проблемам цивилизаций. Историческими псевдоморфозами Шпенглер называл «случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот – её родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания». К числу исторических псевдоморфозов Шпенглер относит арабскую культуру и Петровскую Русь. Говоря о двух революциях 1917 года – февральской и октябрьской – Федотов видит в них лишь псевдоморфозу, стремление не к коренной перестройке загнивших форм государственной жизни, а лишь волю к власти.

Когда зашаталась империя?

[1] Захаров Андреян Дмитриевич (1761–1811) – русский архитектор. В 1805 году сменил Чарльза Камерона на посту главного архитектора Адмиралтейства, осуществлявшего градостроительную политику во всех портовых городах России. В 1806 году приступил к полной перестройке старого здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

[2] Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) – генерал от инфантерии, начальник Николаевской академии Генерального штаба.

[3] Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – русский государственный деятель, готовивший по поручению императора Александра I проект государственного преобразования России, воплощенный в жизнь лишь частично. Был секретарем созданного императором Александром Государственного Совета. Попал в опалу. Сначала был губернатором в Пензе, затем с 1819 года генерал-губернатором Сибири.

Дворянство

[1] «быть в “нетех”» – нети – не явившиеся на военную службу в России дворянские дети.

[2] дезетатизация – от «этатизм» – направление общественной мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общественного развития. Дезетатизация – стремление уничтожить государство как организующее начало.

[3] Вигель Филипп Филиппович (1786–1856) – русский мемуарист, знакомый Пушкина, член Арзамасского кружка, автор широко известных и популярных

в XIX веке «Записок» (полное издание в семи частях, М., 1892), которые дают богатейший материал для истории русского быта и нравов первой половины XIX века, характеристики разнообразных деятелей того времени.

[4] Штейн Генрих (1757–1831) – глава прусского правительства в 1807–1808 гг. Провел вместе с К.Гарденбергом ряд реформ, освободивших крестьян и позволившим им выкупать у помещиков часть их наделов. В то же время ввел всеобщую воинскую повинность.

[5] «Гиппократа маска» описанна древнегреческим врачом Гиппократом (ок.460 – ок.370 гг. до н.э.) как признак тяжелых заболеваний органов брюшной полости. Характерные черты – запавшие глаза, заостренный нос, синевато-бледная кожа, поскрытая каплями холодного пота.

[6] атония (греч.) – расслабленность, вялость.

[7] абулия (греч.) – болезненное безволие, отсутствие желание и побуждений к деятельности.

[8] Барановы, Зеленые, Думбадзе – Баранов Александр Андреевич (1746-1819) – мореплаватель, первый главный правитель русских поселений в Америке. Установил торговые связи с Калифорнией, Гавайскими островами и Китаем.Скорее всего, Федотов упоминает Зеленого Александра Павловича (1872–1922) – дворянина, окончившего Морской корпус, участника Первой мировой войны, контр-адмирала, после революции перешедшего на сторону бóльшевиков. Принимал активное участие в военных действиях против Белой армии.

Думбадзе Иван Антонович (1851–1916), государственный деятель, генерал-майор Свиты, градоначальник Ялты, покровитель Союза Русского Народа (СРН). Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и за отличие в сражениях против турок был произведен в поручики. Осенью 1906 года, в разгар революционных беспорядков, когда Ялта была объявлена на положении чрезвычайной охраны, Таврический губернатор В.В.Новицкий передоверил свои права главноначальствующего по Ялте Думбадзе. В этой должности подтвердил репутацию монархиста и твердого, а порой и жесткого офицера. 26 февраля 1907 года с балкона дачи Новикова, находящейся близ Ялты, в проезжавшего в коляске Думбадзе была брошена бомба. Градоначальник был легко контужен, кучер и лошади ранены. Покушавшийся на его жизнь террорист, принадлежавший к одному из «летучих боевых отрядов» партии эсеров, тут же застрелился. Думбадзе приказал солдатам сжечь дачу дотла, выгнав предварительно ее обитателей, но запретил им выносить какое бы то ни было имущество. При этом объяснил, что так будет поступать с каждым домом, в котором будут укрываться террористы. В том же 1907 году Думбадзе был произведен в генерал-майоры. Летом 1916 года по собственному желанию был уволен от должности ялтинского градоначальника.

Бюрократия

[1] Фронда (фр. fronde, букв. «праща») – антиправительственные смуты, происходившие во Франции в 1648–1652 гг. Пращи в ходе этих событий часто использовались парижанами, бившими стёкла в домах приверженцев кардинала

Мазарини. В современный русский язык термин «фронда» (и производные от него «фрондировать», «фрондёр») вошли в значении недовольства существующей властью в стране, которое возникает из желания противоречить и критиковать, но выражается лишь на словах, не подтверждаясь действиями.

[2] «феодальное лето св. Мартина» – в установленный день, чаще всего на св. Мартина (11 ноября), крестьяне поставляли феодалам оброк. Этот период осени называется «бабьим летом» не только у восточных и западных славян. В Италии он назывался «летом святого Мартина».

[3] Писемский Алексей Феофилактович, «Тысяча душ», роман в четырех частях.

[4] Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) – крупный государственный деятель, генерал-фельдмаршал. В 1861–1881 г. военный министр, осуществил проведение системы преобразований в армии, в целом составивших военную реформу. Наиболее значительным среди них было введение всесословной воинской повинности, заменившей рекрутчину. Родом из небогатой дворянской семьи, воспитывался в благородном пансионе при Московском университете, по окончании которого был определен прапорщиком в гвардейскую артиллерию. В 1835 году поступил в старший класс Императорской военной академии, которую блестяще окончил в 1836 году.

Зарудный Сергей Иванович – выдающийся государственный деятель (1821–1887). Происходил из старого, обедневшего украинского дворянского рода. Зарудный окончил курс Харьковского университета кандидатом математических наук. Приехав в Петербург, определился в министерство юстиции. Он стал изучать тогдашние процессы, попутно знакомясь с иностранной юридической литературой, а во время поездок за границу – и с судебной практикой. В 1849 году был назначен юрисконсультом консультации министерства юстиции. По почину стоявшего во главе II отделения графа Блудова в 1852 году был образован особый комитет для составления проекта гражданского судопроизводства. Делопроизводителем был назначен Зарудный.

Начало царствования Александра II раскрыло способности Зарудного; как член комиссии по раскрытию злоупотреблений по интендантству во время Крымской войны, он убедился, в каком ужасном виде находились повсеместно управление и суд. В 1857 году был назначен помощником статс-секретаря Государственного Совета и получил возможность отстаивать необходимость широкой судебной реформы. Отмена крепостного права тоже была осуществлена при участии Зарудного. Как член комиссии, работавшей над организацией мировых учреждений, Зарудный стоял за самоуправление крестьянской общины. Зарудный подготовил доклады, на основании которых 23 октября 1861 г. последовало Высочайшее повеление об образовании при государственной канцелярии комиссии для извлечения «главных основных начал» из прежних проектов графа Блудова. Этим актом снимался запрет на суд присяжных и другие институты европейского судебного права.

Комиссия, душой которой был Зарудный, в полгода исполнила возложенную на нее задачу. В числе этих начал были: полное отделение власти судебной от законодательной и исполнительной, несменяемость судей, са-

мостоятельность адвокатуры, решение уголовных дел судом присяжных, не исключая и дел политических и литературных. Предложение члена комиссии Д.П. Ровинского заменить бессловесных сословных заседателей присяжными было поддержано в особенности Н.А. Буцковским и Зарудным. «Основные Положения» были Высочайше утверждены 29 сентября 1862 года. Зарудный настоял на том, чтобы они были опубликованы. Заканчивая работы по судебной реформе, Зарудный привел в порядок обширное «Дело о преобразовании судебной части в России» (в 74 томах) и передал несколько комплектов «Дела» в петербургские книгохранилища и архивы.

Большую услугу он оказал русской науке и судебной практике, напечатав в 1866 году «Судебные уставы, с рассуждениями, на коих они основаны», ставшие настольной книгой для судебных деятелей. Когда судебная реформа подверглась критике, Зарудный противодействовал, сколько мог, реакционному течению. 1 января 1869 году он был назначен сенатором. В годы вынужденного удаления от практической деятельности Зарудный много занимался научными и литературными работами. В 1869 году издал сравнительно-юридическое исследование «Гражданское Уложение Итальянского королевства и Русские Торговые законы». Отлично зная итальянский язык, он издал в итальянском переводе избранные произведения русских поэтов. В 1879 году издал перевод книги Беккариа «О преступлениях и наказаниях», с интересными примечаниями, затем перевод «Ада» Данте, с оригинальными толкованиями каждой песни. Зарудный умер на пути в Ниццу, где и похоронен.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — известный судебный деятель и писатель. Родился в Санкт-Петербурге. Учился в немецком училище святой Анны и во второй санкт-петербургской гимназии. Поступил в 1861 году в Санкт-Петербургский университет по математическому отделению, в 1862 году перешел на юридический факультет Московского университета, окончил курс со степенью кандидата. Поступил на службу сначала в государственном контроле, потом в военном министерстве. С введением судебной реформы Кони перешел в санкт-петербургскую судебную палату помощником секретаря, а в 1867 году — в Москву, секретарем прокурора московской судебной палаты Ровинского. В 1871 году назначен прокурором санкт-петербургского окружного суда. В 1877 году стал председателем санкт-петербургского окружного суда, а в 1881 году — председателем гражданского департамента санкт-петербургской судебной палаты. В 1885 году — обер-прокурором кассационного департамента Сената, в 1891 году — сенатором.

Кони пережил на важных судебных постах первое тридцатилетие судебных преобразований и был свидетелем тех изменений, которые совершались за это время. Русскому обществу Кони был известен как оратор. Переполненные залы судебных заседаний по делам, рассматривавшимися с его участием, стечение многочисленной публики и успех его судебных речей, когда они появлялись в печати. Обширная, не ограничивающаяся специальной областью знаний, эрудиция, при счастливой памяти, давала ему обильный материал, которым он умел пользоваться как художник слова.

С 1894 по 1899 год Кони участвовал в комиссии для пересмотра судебных уставов, отстаивая в своих особых мнениях их основные начала, ратуя за

несменяемость судей, за упразднение судебной власти земских начальников, за невозможность передачи полиции следственных функций. В 1900 году перешел из уголовного кассационного департамента в общее собрание Сената. В том же году избран почетным академиком разряда изящной словесности Академии Наук. В 1907 году назначен членом Государственного совета. В Сенате неустанно боролся с административной практикой в сектантских делах, особенно в преследовании штундистов. На годовом собрании в 1891 году он впервые произнес речь, посвященную памяти забытого филантропа доктора Гааза; потом Кони составил его биографию, выдержавшую несколько изданий. Известны его речи и лекции о Пушкине (1899), В.С. Соловьеве (1901), А. Д. Градовском, И. Ф. Горбунове, И. А. Гончарове, графе Д. А. Милютине, «О нравственных началах уголовного процесса», «О философских воззрениях князя Одоевского». Труды несудебного содержания в 1906 году Кони объединил в книге «Очерки и воспоминания» (СПб., 1906).

5 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – выдающийся российский государственный деятель и реформатор. С 1892 года – министр путей сообщения, с августа этого же года – министр финансов. С 1903 года – председатель Комитета министров, в 1905-1906 гг. председатель Совета министров. К его идеям, воплощенным в жизнь, принадлежат введение винной монополии, проведение денежной реформы и появление так называемого «монометаллизма», когда в России начали выпускать золотые монеты, а также строительство Транссибирской железной дороги. Им был составлен знаменитый манифест 17 октября 1905 года, ограничивающий самодержавную власть в Россиии и даровавший многие свободы. Автор ценных воспоминаний.

6 Илиодор, архимандрит (1880 – после 1914) – один из лидеров «Союза русского народа». Поддерживал связь с Г.Е.Распутиным, потом боролся с его влиянием. Был заточен во Флорищеву пустынь. Сложил священный сан, а в 1914 году эмигрировал из России. Создал книгу о Распутине – «Святой черт». М.1917.

7 Распутин Григорий Ефимович (1872–1916) – крестьянин Тобольской губернии, обладавший парапсихологическими дарованиями. Останавливал кровотечение у наследника царского престола цесаревича Алексея Романова, страдавшего гемофилией. Благодаря этим способностям был приближен к императорской семье и оказывал серьезное вияние на царя и особенно на царицу. Был убит заговорщиками, среди которых были члены дома Романовых.

Интеллигенция

1 Богданович Е. «Трагедия интеллигенции», сборник «Версты» №2, Париж, 1927. Прим. Г.П.Федотова.

Е.Богданович – один из псевдонимов Г.П.Федотова в русском зарубежьи.

2 Меттерних, Клемент Венцель Лотар фон (1773–1859) – австрийский государственный деятель, дипломат, министр, князь. В 1788 году поступил в Страсбургский университет, но уже в 1790 году отец вызвал его во Франкфурт для присутствия в качестве церемониймейстера при коронации Леопольда

II. Вступление в самостоятельную жизнь совпало с началом Французской революции, к которой он отнесся враждебно. Был свидетелем восстания в Страсбурге, и виденные им сцены произвели на него глубокое впечатление. На дипломатическое поприще выступил впервые в 1798 году. В 1801 году был назначен австрийским посланником в Дрезден, в 1803 году – в Берлин. Здесь начал готовить новую коалицию против Франции, стараясь убедить Пруссию примкнуть к союзу Австрии, Англии и России, и в то же время поддерживая дружеские отношения с французским послом при Берлинском дворе. В 1806 году был послом в Париже, по личному желанию Наполеона. В 1807 году Меттерниху удалось выговорить очень выгодные для Австрии уступки при заключении договора в Фонтенбло.

Когда перемирие окончилось, Австрия вступила в войну вместе с союзниками; 9 сентября 1813 года подписан был союзный договор между Англией, Пруссией, Австрией и Россией. В сентябре 1814 года открылся под председательством Меттерниха Венский конгресс, заново переделавший карту Европы, причем Австрии досталась львиная часть добычи. Враждебный взгляд Меттерниха на единство Германии и Италии восторжествовал; Ломбардия и венецианская область были присоединены к Австрии, а остальная Италия была по-прежнему разделена на мелкие государства.

[3] Гнозиофобия (*греч.*) – боязнь знания.

Буржуазия

[1] «грюндерские предприятия» – «грюндерство», явление, характерное для начального периода становления рыночной экономики – массовое учредительство акционерных обществ, банков и страховых компаний. Грюндерство сопровождается массовой эмиссией ценных бумаг и биржевыми спекуляциями.

[2] более подробно о купцах-меценатах см. замечательное исследование Натальи Думовой «Московские меценаты», М. 1992

[3] Конституционно-демократическая партия («партия к.-д.», «Партия Народной Свободы», «кадеты») – крупная политическая партия в России в начале XX века. Решение о создании партии было принято на 5-ом съезде либеральной организации земских деятелей Союз земцев-конституционалистов (9 – 10 июля 1905 года), исходя из поставленной членами Союза задачи «объединения земских сил с общенародными» в процессе подготовки к выборам в Государственную Думу. 23 августа 1905 г. в Москве состоялся 4-ый съезд организации либеральной интеллигенции «Союз освобождения», который принял решение о присоединении к Союзу земцев-конституционалистов и создании вместе с земскими деятелями единой партии. Избранные обоими Союзами комиссии сформировали Временный комитет, подготовивший объединительный съезд.

Первый учредительный съезд Конституционно-демократической партии прошел в Москве с 12 по 18 октября 1905 года. На съезде были приняты устав и программа партии, выбран временный Центральный комитет, в который вошли такие выдающиеся ученые и политические деятели как В. И. Вер-

надский, И. В. Гессен, князья Павел и Петр Долгоруковы, Н. А. Каблуков, Ф. Ф. Кокошкин, А. А. Корнилов, И. В. Лучицкий, П. Н. Милюков, С. А. Муромцев, В. Д. Набоков, И. И. Петрункевич, кн. Д. И. Шаховской. На 2-ом съезде партии (4–11 января 1906 года) к названию «Конституционно-демократическая партия» были добавлены слова «Партия Народной Свободы», был избран постоянный ЦК, который возглавил князь Павел Долгоруков. В ходе подготовки к выборам в Государственную думу численность партии кадетов неуклонно росла, достигнув к апрелю 1906 года 70 тысяч человек. Этому способствовали как высокий уровень политической активности накануне выборов, так и возможность вступать в Конституционно-демократическую партию на основании одного лишь устного заявления. Широкую общественную поддержку партии обусловили, с одной стороны, радикальная программа политических, социальных и экономических реформ, а с другой стороны, стремление партии осуществить эти реформы исключительно мирным, парламентским путем, без революций, насилия и крови.

В результате конституционные демократы получили в Государственной думе I созыва 179 мест из 499-и, образовав крупнейшую думскую фракцию. Председателем Думы стал член ЦК профессор С. А. Муромцев, кадетами были также все его заместители и председатели 22 думских комиссий. После роспуска Думы через 2,5 месяца её работы, кадеты сперва участвовали в собрании депутатов в Выборге и в выработке известного «Выборгского воззвания», но вскоре отказались от требований Выборгского воззвания и пошли на выборы во II Думу под очень умеренными лозунгами.

После роспуска II Государственной Думы партия кадетов, в отличие от социалистических партий, не была запрещена, проводила общероссийские съезды, свободно издавала и распространяла партийную литературу. В то же время Министерство внутренних дел неизменно отказывало Конституционно-демократической партии в официальной регистрации. Кадеты играли решающую роль в последней Думе, в организациях Земского и городского союзов, в Военно-промышленных комитетах. Поддерживали политику правительства в 1-й мировой войне. Инициаторы создания оппозиционного Прогрессивного блока (1915). Выступали под патриотическими, но радикально антиправительственными лозунгами. Известна знаменитая думская речь Милюкова с обвинениями в адрес правительства и двора («Что это — глупость или измена?»). Наиболее влиятельным периодическим изданием, стоявшим на позициях конституционно-демократической партии, была газета «Речь». После октябрьского переворота партия кадетов была запрещена большевиками.

[4] Taedium vitae (лат.) — отвращение к жизни. При некоторых формах душевного расстройства, преимущественно при меланхолии, все впечатления, воспринимаемые нервной системой, сопровождаются оттенком неприятного чувства, психическою болью. Вместе с тем ни одно впечатление не сопровождается чувством приятным. Больному все представляется в мрачном цвете, он сознает, что ничему не может радоваться. Развивается отчетливое отвращение к жизни, нередко сопровождаемое неудержимым стремлением к самоубийству. Иногда Т. vitae, обусловленное отсутствием приятного, ра-

достного чувства, развивается при неврастении и истерии, а также на почве алкоголизма.

Народ

[1] «Земля и Воля» – тайное революционное общество, возникшее в России в 1861 году и просуществовавшее до 1864 года, с 1876 года по 1879 годы восстановившееся как народническая организация. Вдохновителями общества были Герцен и Чернышевский. Своей целью участники ставили подготовку крестьянской революции. В числе организаторов были Н. Н. Обручев, С. С. Рымаренко, И. И. Шамшин и другие. Программные документы были созданы под влиянием идей Герцена и Огарева. Одним из важнейших требований, выдвигавшихся членами организации, был созыв бессословного народного собрания.

[2] «Трудовиками» назывались члены фракции «Трудовая группа», состоящей из депутатов крестьян и интеллигентов народнического направления. Сама группа возникла в 1906 году как организация крестьянских депутатов 1-й Думы. Трудовики требовали – народовластия, всеобщего избирательного права, демократических свобод, передачи земли крестьянам, при национализации всех земель, кроме крестьянских надельных и частновладельческих, не превышающих трудовой нормы, откуда и получили название. Издавали газету «Трудовой народ». Одним из лидеров группы был А.Ф. Керенский. В июне 1917 года «трудовики» объединились с «энесами» (партией Народной свободы) в Трудовую народно-социалистическую партию.

Российская партия социалистов-революционеров (эсеры) – в начале 90-х гг. XIX века народники-эмигранты образовали Союз русских социалистов-революционеров со штаб-квартирой в Берне (Швейцария). Под их влиянием стали создаваться региональные организации, местные группы и комитеты на территории России. Первый съезд РПСР состоялся в декабре 1905 – январе 1906 года, в партию влились Аграрно-социалистическая лига, Южная партия с.-р. На съезде были приняты Устав и программа партии, а также выдвинуты требования: провозглашение в России народной демократической республики, основных прав и свобод граждан, введение рабочего законодательства, социализация (обобществление) всех земель, отмена частной собственности на землю, объявление ее общенародной собственностью и передача в пользование сельским общинам для обработки крестьянами без применения наемного труда.

Вплоть до февральской революции 1917 года партия эсеров находилась на нелегальном положении. Партия издавала большое количество газет и журналов: «Революционная Россия», «Дело народа», «Знамя труда», «Вестник русской революции». РПСР использовала различные методы борьбы с самодержавием – от легальных до вооруженного восстания. В тактике значительное место отводилось, унаследованному от народников и широко применяемому эсерами, индивидуальному террору. Для этих целей была организована специальная Боевая организация, действовавшая вплоть до 1911 года. Наиболее видными деятелями и идеологами эсеров являлись: В. М. Чернов, А. Р. Гоц,

Н. Д. Авксентьев, Е. Ф. Азеф, Г. А. Гершуни, Б. В. Савинков, М. А. Спиридонова, Е. К. Брешко-Брешковская («бабушка русской революции»).

Российская социал-демократическая рабочая партия (эсдеки) организационно оформилась в 1903 году на II съезде, который принял Программу и Устав партии. Программа партии состояла из двух частей. Первая часть («программа-минимум») предусматривала: свержение самодержавия и установление демократической республики; всеобщее избирательное право и демократические свободы; широкое местное самоуправление; право наций на самоопределение и их равноправие; возвращение крестьянам отрезанных в 1861 году от их наделов земель,; 8-часовой рабочий день, отмена штрафов и сверхурочных работ. Вторая часть («программа-максимум») предусматривала победу пролетарской революции, установление диктатуры пролетариата для социалистического переустройства общества. При обсуждении программных и особенно уставных вопросов наметились серьезные разногласия между двумя течениями радикальным и реформаторским, возглавляемыми В. И. Ульяновым (Лениным) и Ю. О. Цедербаумом (Мартовым). В результате раскола возникли две фракции – большевики во главе с В. Ульяновым и меньшевики, во главе с Ю. Мартовым.

[3] Бланки Луи Огюст (1805–1881) – французский политический деятель, сын члена Конвента Жана Доминика Бланки, брат Жерома Адольфа Бланки. «Бланкизм» – революционное течение, отдающее приоритет заговорщической деятельности и террору против властей. Возникло во время революций во Франции в XIX веке.

[4] «бакунизм», одно из течений анархизма, связанное с именем М. А. Бакунина (1814–1876). Сторонники Бакунина требовали наряду с уничтожением частной собственности отмены всякого государства (в котором они видели первопричину эксплуатации и неравенства), полной автономии мелких общин производителей и объединения их в свободную федерацию (на языке бакунистов эта программа называлась «социальной ликвидацией»). Бакунин и его последователи выступали противниками марксистского учения о социалистической революции; отвергали все формы борьбы (политические и экономические) рабочего класса, не ведущие прямо к «социальной ликвидации». Отрицали необходимость создания самостоятельных рабочих партий, выдвигали концепцию стихийного бунта, движущими силами которого должны были стать наряду с рабочим классом крестьянство, люмпен-пролетариат, учащаяся молодёжь (последним отводилась решающая роль). Бакунизм получил распространение в конце 60–70-х гг. XIX века (особенно после Парижской Коммуны).

Новая демократия

[1] «битнеровцы» – еще до революции К.И.Чуковский обратил внимание на новых, незамечаемых ранее на дорогах истории людей, которых он назвал «битнеровцами» – по имени В.Битнера, владельца издательства «Вестник знания», выпускавшего популярные книги и журналы для самообразования. Он описал этот феномен в блестящей статье «Мы и они», которой предпослан эпиграф «Les parvenus de la science» («Выскочки науки»). Битнеровцы, как их

характеризовал К.И.Чуковский, – это люди, не просто не прошедшие школы высокой культуры, а часто и вообще никакой школы, но зато охваченные безудержной жаждой знаний. К.И.Чуковский пытался понять то, от чего другие отмахивались как от проявлений дурного вкуса, на которые и внимание обращать не стоит. Эти «полунищие полуневежды» были молодо влюблены в жизнь, в людей, в какое-то волшебное будущее.

[2] De omnibus rebus, et quibusdam aliis (лат.) – обо всех вещах и еще о некоторых других.

[3] Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – писатель, публицист, литературный критик. Как мыслитель примыкал к поздним славянофилам. В 1863–1873 годах – консул в Турции. С 1887 года был послушником в Оптиной пустыни. В 1891 году принял тайный постриг с именем Климент.

[4] Жаков Каллистрат Фалалеевич (1866–1926) – коми-зырянский этнограф, философ, писатель. Родился в деревне Давпон, пригороде Усть-Сысольска Вологодской губернии. В 1879 году окончил Усть-Сысольское уездное училище, в 1884 году – Тотемскую учительскую семинарию. С 1885 года работал на Холуницком заводе Вятской губернии чернорабочим. В 1891 году поступил в Петербургский лесной институт, но из-за тяжёлой жизни оставил его. Пытался стать монахом в Заонежской пустыни, однако был изгнан. В 1889–1891 обучался в Петербургском университете. Его литературная, научная и педагогическая деятельность связана с Санкт-Петербургским психоневрологическим институтом (открывшимся 15 февраля 1908 года), где он работал преподавателем с 1908 по 1917 годы. В 1911 году стал профессором. После 1917 года жил в Юрьеве, а с 1921 года – в Риге.

Писать начал в конце XIX века. Известность получила его книга очерков «На Север в поисках за Памом Бурмортом» (1905). Самым крупным произведением стала его автобиографическая повесть «Сквозь строй жизни» (1912–1914) в 4 частях. Его перу принадлежит и эпическая поэма «Биармия» (1916). О произведениях Жакова положительно отзывались Максим Горький, Александр Блок, Валерий Брюсов, Павел Бажов. Он помогал пробиться многим выходцам из Коми, в том числе получившему всемирную известность социологу Питириму Сорокину. Жаков является создателем философского учения лимитизма – «философии предела», основы которой заложены уже в его первой философской работе «Теория переменного и предела в гносеологии и в истории познания» (1904).

[5] Грузенберг Семён Осипович (1876–1938) (псевдоним С. Людин) – русский историк философии и критик, доктор философии Петроградского университета, специалист по философии А. Шопенгауэра и член Шопенгауэровского общества в Германии. Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Присяжный поверенный. Преподавал философию в Петербургском Психоневрологическом институте. Редактор философского отделения Библиотеки знания, член редакции журнала «Вестник знания». В 1919 году вместе с П. Н. Медведевым выступил с идеей создания Института гуманитарных наук и искусств. Институт планировалось создать в Витебске, но несмотря на поддержку наркома просвещения А. Луначарского институт открыт не был.

Партийная псевдоморфоза

[1] Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – русский публицист, издатель, литературный критик. Редактор газеты «Московские Ведомости». Отец – мелкий чиновник, выслуживший личное дворянство; мать – дворянка грузинского происхождения, урождённая Тулаева. Окончил словесное отделение философского факультета Московского университета с отличием. В 1837 году примкнул к кружку Н. В. Станкевича. Дебютировал в печати в 1838 году, опубликовав в журнале «Московский наблюдатель» перевод статьи Г. Т. Рётшера «О философской критике художественного произведения» со своей вступительной статьей и стихотворный перевод сцен из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». В 1839 году переехал в Санкт-Петербург. Сотрудничал в журнале «Отечественные Записки». В 1840 году разошелся во взглядах с В. Г. Белинским, поссорился с М. А. Бакуниным.

Слушал лекции в Берлинском университете. Был увлечён философией Ф. Шеллинга и был принят в доме немецкого философа. По возвращении в Россию сблизился со славянофилами. В 1856 году стал редактором журнала «Русский Вестник». Во время поездки в Англию в 1859 году встречался с А. И. Герценом. С началом преобразований Александра II характер Каткова решительно переменился. В 1860-е годы Михаил Катков стал влиятельным публицистом и политиком. Был инициатором реформ в сфере просвещения, в частности, нацеленных на утверждение так называемого «классического» образования. Не состоял на государственной службе, тем не менее с 1856 года Катков получил чин статского советника, а с 1882 года – тайного советника.

[2] Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – русский мыслитель, историк, правовед и общественный деятель. Первоначально занимал либеральные позиции, позднее отошел от них и сблизился со славянофилами. В 1866 году подал царю записку «О нигилизме и мерах против него необходимых». Кавелин наряду с Б.Н. Чичериным стал основателем государственной школы исторического последования. В своих трудах «Взгляд на юридический быт Древней России» (1847), «Мысли и заметки о русской истории» (1866), «Краткий взгляд на русскую историю» (опубл. 1887) Кавелин показывает решающую роль самодержавного государства в жизни народа. По мнению ученого, русское государство явилось высшей формой общественного бытия в жизни России. Кавелин был одним из творцов крестьянского законодательства 1861 года, в числе первых отечественных ученых исследовал сельскую общину, доказав, что в ее сохранении – основа социальной и экономической устойчивости России. Разрушение тысячелетних обычаев крестьянского мира, по мнению Кавелина, приведет к упадку экономики и падению самого Русского государства.

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – русский правовед, философ, историк и публицист. Почётный член Петербургской Академии наук (1893). Гегельянец. Б. Н. Чичерин происходил из старинного дворянского рода.. Получил домашнее образование. Среди учителей был К. Н. Бестужев-Рюмин, впоследствии академик Петербургской Академии наук и основатель Высших женских курсов. В 1845–1849 годах – студент юридического факультета Мо-

сковского университета; среди преподавателей были Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин. Большое влияние на формирование взглядов Чичерина оказал Т. Н. Грановский. Недолгое увлечение славянофильством сменилось сближением с западничеством.

В 1857 году познакомился с Л. Н. Толстым, с которым у него на несколько лет установились близкие отношения. В 1858–1861 годах Чичерин совершил заграничное путешествие, во время которого знакомился с европейскими политическими учениями. В 1858 году в Лондоне встречался с А. И. Герценом, который опубликовал «Современные задачи русской жизни» Чичерина в «Голосах из России». Чичерин имел в русском обществе уже в ранние свои годы репутацию консерватора. Был приглашен в учителя к наследнику при Александре II; с 1863 года начал читать Николаю Александровичу курс государственного права, но в 1865 году наследник скончался.

В 1861–1867 годах Чичерин – экстраординарный профессор Московского университета по кафедре государственного права; в своей фундаментальной работе «О народном представительстве» впервые в русской юридической литературе проследил развитие институтов парламентаризма у европейских народов. Относительно их применимости к тогдашней России Чичерин писал: «Не скрою, что я люблю свободные учреждения; но я не считаю их приложимыми всегда и везде, и предпочитаю честное самодержавие несостоятельному представительству». В 1868 году вместе с рядом других профессоров вышел в отставку в знак протеста против курса Министерства народного просвещения.

В начале 1882 был избран московским городским головой, сменив на этом посту досрочно ушедшего в отставку С. М. Третьякова. Чичерину удалось добиться некоторых улучшений в городском хозяйстве Москвы. В 1888–1894 годах работал над «Воспоминаниями», значительная часть которых посвящена Москве и Московскому университету 1840-х годах.

[3] Самарины – русский дворянский род, ведущий своё происхождение от Квашниных-Самариных. Юрий Фёдорович Самарин (1819–1876) – русский публицист и философ. Испытал сильное влияние гегелевской философии, а после знакомства с К. С. Аксаковым сблизился с ведущими славянофилами: А. С. Хомяковым и братьями Киреевскими. Особенно сильным было воздействие на него идей Хомякова. В 1844 года Самарин поступил на службу, был секретарем 1-го департамента Сената, потом перешёл в министерство внутренних дел. Тогда же Самарин состоял при рижском генерал-губернаторе Е. А. Головине. В 1853 г. Самарин вышел в отставку и подолгу жил в деревне, изучая быт и хозяйственное положение крестьян и все более и более убеждаясь в необходимости отмены крепостного права. Когда поднят был вопрос об упразднении крепостного права, Самарин был назначен членом от правительства в Самарском губернском комитете. В 1859 году был приглашен к участию в трудах редакционных комиссий, где работал в административном и хозяйственном отделениях, отстаивая вместе с князем В. А. Черкасским славянофильское воззрение на народный быт. Первые три года по освобождении крестьян он был членом губернского присутствия по крестьянским делам в Самаре. Будучи председателем комиссии, избранной московским земством

для обсуждения податного вопроса, Самарин составил подробный, тщательно разработанный проект податной реформы в смысле уравнения всех сословий. В начале XX века, незадолго до февральской революциии, Александр Самарин, потомок славянофила, занимал пост обер-прокурора. Во время Поместного Собора 19170–1918 гг. был выдвинут кандидатом на патриарший престол.

Николай Николаевич Шипов (1846–1911) – российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант. Образование получил в Александровском лицее. В 1881 г. был удостоен ордена св. Владимира 4-й степени и получил под начало Кавалергардский полк, которым командовал до 1884 г., 15 мая 1883 г. произведён в генерал-майоры. В 1885–1893 годах был наказным атаманом Уральского казачьего войска. В 1904 г. назначен членом Военного совета, через два года произведён в генералы от кавалерии. С 1 января 1911 – член Государственного совета по назначению.

Брат – Дмитрий Николаевич Шипов (1851–1920) – общественный и политический деятель, выборный член Государственного совета.

Трубецкие – с Калугой связана жизнь действительного тайного советника, калужского вице-губернатора князя Николая Петровича Трубецкого. Известным русским религиозным философом, публицистом и общественным деятелем был его сын, князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905), профессор философии, с 1905 года ректор Московского университета. Его брат, князь Евгений Николаевич (1863–1920), был также известным философом, профессором в Киеве и Москве. В 1881 году оба брата поступили в Московский университет: Сергей на кафедру философии, Евгений – на юридический факультет. В 1885 году они окончили университет. Сергей был оставлен на кафедре философии для приготовления к профессорскому званию, а Евгений Трубецкой поступил вольноопределяющимся в Киевский гренадерский полк. После сдачи экзаменов на офицерское звание он стал подпрапорщиком и уволился в запас в звании подпоручика Киевского полка. А Сергей в 1888 году был принят в число приват-доцентов Московского университета. В 1890 году после защиты диссертации «Метафизика Древней Греции» ему была присуждена степень магистра философии. В 1900 году состоялась защита докторской диссертации ученого – «Учение о Логосе в его истории». Затем Сергей Николаевич становится экстраординарным, а в 1902 году – ординарным профессором по кафедре философии. С 1900 по 1905 гг. он являлся одним из редакторов журнала «Вопросы философии и психологии», войдя в историю русской философской мысли своей оригинальной концепцией – «теорией конкретного идеализма». Свою работу Сергей Николаевич сочетал с общественной деятельностью. С самого начала формирования в России либерального движения Сергей Николаевич активно участвовал в его становлении. В 1902 году он был утвержден в чине статского советника, в 1903 году командирован за границу. На волне демократических реформ в сентябре 1905 года доктор философии князь С. Н. Трубецкой был избран ректором Московского университета. Пробыл на этом посту всего двадцать семь дней. 6 июня 1905 года на приеме у Николая II Сергей Николаевич обратился к императору во имя спасения России созвать народных представителей. На основании его докладной записки об университетской реформе правительством

была дана широкая автономия университету. Князь до последнего надеялся, что автономия спасет университет, но бурные студенческие выступления развеяли его надежды. 29 сентября 1905 года на заседании у министра народного просвещения ему стало плохо, а через несколько часов он скоропостижно скончался в Московской клинике от апоплексического удара.

После смерти брата, Евгений Николаевич, будучи профессором, заведовал кафедрой Московского университета. В 1906 году он создает религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева, с которым познакомился зимой 1886 года у Лопатиных в Гагаринском переулке в Москве. В 1906–1910 гг. издавал «Московский еженедельник». В 1910 году вместе с Маргаритой Кирилловной Морозовой основал издательство «Путь», где печатал сочинения выдающихся русских религиозных философов. В знак протеста 3 февраля 1911 года Евгений Николаевич вместе с профессорами В. И. Вернадским, Н. А Умовым, В. А. Хвостовым и С. А. Чаплыгиным подали прошение об отставке. После ухода из университета Трубецкой с семьей жил в калужском имении Бегичево. В 1915 году он был избран членом Государственного Совета от земства Калужской губернии. Свои религиозно-эстетические взгляды Е. Н. Трубецкой изложил в очерках «Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи (1915 г.), «Два мира в древнерусской иконописи», «Умозрение в красках» (1916 г.), «Россия в ее иконе» (1917 г.). В этот период он активно участвовал в подготовке и проведении собора Православной Русской Церкви, который открылся 15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля в день Успения Божией Матери. Князь был избран в собор товарищем председателя от мирян. Революцию 1917 года Евгений Николаевич не принял, вынужден был уехать на юг. Умер в 1920 году в Новороссийске от сыпного тифа.

[4] младотурки — политическое движение в Османской империи, которое, начиная с 1876 года, пыталось провести либеральные реформы и создать конституционное государственное устройство. Младотуркам удалось свергнуть султана Абдул-Хамида II (1908) и провести прозападные реформы, однако после поражения Турции в Первой мировой войне они потеряли власть. После победы Кемаля Ататюрка большинство младотурок начали активную деятельность в кемалистской Народно-республиканской партии

Мустафа Кемаль Ататюрк; (1881–1938) — оттоманский и турецкий реформатор, политик, государственный деятель и военачальник; основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики. Возглавив после поражения Османской империи в Первой мировой войне национально-революционное движение и «войну за независимость» в Анатолии, добился ликвидации правительства султана и оккупационного режима. Создал новое, основанное на («суверенитете нации», республиканское государство, провёл ряд серьёзных политических, социальных и культурных реформ Как председатель Великого национального собрания (1920–1923) и затем (с 29 октября 1923) как президент республики, переизбиравшийся на этот пост каждое четырёхлетие, а также как несменяемый председатель им созданной Народно-республиканской партии, приобрёл в Турции непререкаемый авторитет и диктаторские полномочия.

[5] Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) –русский военачальник и стратег, генерал от инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878). Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, освободитель Болгарии. Осенью 1866 года поступил в Николаевскую академию генерального штаба. По окончании курса академии в 1868 году Скобелев стал 13-м из 26 офицеров причисленных к генеральному штабу. В конце 1870 года он был командирован в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией, а в марте 1871 года отправлен в Красноводский отряд, в котором командовал кавалерией. Скобелев получил важное задание, с отрядом он должен был произвести разведку путей на Хиву. Весной 1873 года Скобелев принял участие в хивинском походе. Скобелев с двумя ротами штурмовал Шахабатские ворота, первым пробрался во внутрь крепости. Штурм был прекращён по приказу генерала К. П. Кауфмана, который в это время мирно вступал в город с противоположной стороны. Хива покорилась. В апреле 1875 года Скобелев вернулся в Ташкент и был назначен начальником военной части российского посольства, отправляемого в Кашгар. 19 февраля Кокандское ханство было присоединено к Российской империи и образована Ферганская область, а 2 марта Скобелев был назначен военным губернатором этой области и командующим войсками.

В 1877 году Скобелев отправился в действующую армию, чтобы принять личное участие в Русско-турецкой войне. Во время осады Плевны Скобелев стоял во главе Плевно-Ловчинского отряда. После падения Плевны главнокомандующий решил перейти через Балканы и двинуться к Царьграду. Скобелев был направлен под командование генералу Радецкому. После перехода через Балканы Скобелев был назначен начальником авангарда армии и двинулся через Адрианополь к окрестностям Константинополя. После прекращению военных действий, был назначен начальником «левого отряда» армии, а затем находился в составе армии при её расположении в Турции и при постепенном очищении территории самой Турции и вновь созданной Россией Болгарии. 30 августа 1878 года Скобелев был назначен генерал-адъютантом к императору России. После войны Михаил Дмитриевич занялся подготовкой и обучением вверенных ему войск. 4 февраля 1879 года он был утверждён в должности командира корпуса и выполнял различные поручения в России и за границей.

[6] Гучков Александр Иванович (1862–1936) – политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября». Председатель III Государственной думы (1910–1911). Военный и морской министр Временного правительства России (1917), депутат Думы (1907–1912), член Госсовета (1907 и 1915–1917). Организатор заговора с целью дворцового переворота.

Была ли революция неотвратимой?

[1] аподиктический (греч.) – неопровержимый, безусловно правильный. Аподиктическое суждение выражает логическую необходимость или твердую уверенность.

[2] Панин Никита Иванович (1718–1783) – русский дипломат и государственный деятель, граф, наставник великого князя Павла Петровича с 1760 года.

Панин сблизился с Екатериной II, в особенности после смерти Елизаветы. После переворота, в котором Панин, вместе с Дашковой, принимал живое участие, власть осталась за Екатериной. Он сделал попытку ограничить произвол ее власти, представив императрице проект учреждения императорского совета и реформы сената. Проект вызвал со стороны всех лиц, от которых Екатерина потребовала отзывов, опасения, что в нём скрыто стремление к ограничению самодержавной власти. Императрица, отвергла его. С именем Панина связаны все вопросы внешней политики русского правительства за время от 1762 до 1783 гг. Будучи сначала неофициальным советником императрицы, он в 1763 году стал старшим членом иностранной коллегии. Вскоре, по удалении Бестужева, ему было поручено заведывание всеми делами коллегии, хотя канцлером он никогда не был. Отношения между Екатериной и обоими братьями после женитьбы наследника престола были очень натянутые. С неудовольствием назначила она Петра Панина главнокомандующим против Пугачева.

О честности и доброте Никиты Панина не было двух разных мнений; даже враги уважали его как личность гордую и честную. Из полученных им при вступлении наследника Павла в брак 9000 душ он половину роздал своим секретарям, Фонвизину, Убри и Бакунину. Панин по натуре был сибарит, любил хорошо пожить; у него была лучшая поварня в городе; он не был женат, но увлечение женщинами часто ставилось ему в вину (невестой его была умершая от оспы графиня Шереметева). При всей разносторонней деятельности, которую Панину приходилось проявлять, он был очень ленив и медлителен. Екатерина говорила, что он умрёт когда-нибудь от того, что поторопится.

[3] Мордвинов Николай Семёнович (1754–1845) – русский флотоводец и государственный деятель, сын адмирала С. И. Мордвинова, председатель Вольного экономического общества в 1825–40 гг., знаменитый англоман. Автор трудов по экономике, финансовой политике, сельскому хозяйству, банковскому делу. Во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг. в чине контр-адмирала командовал Лиманской флотилией, возглавлял осаду с моря, бомбардировку и штурм крепости Очаков. В 1790 году, вследствие размолвки с Потемкиным, оставил службу. При вступлении на престол Павла Мордвинову было пожаловано имение с 1000 душ крестьян, но затем он был предан суду и уволен, еще до приговора, в отставку. Вскоре, однако, он был назначен членом Адмиралтейской коллегии и произведён в чин адмирала. Воцарение Александра открыло более широкое поприще для деятельности Мордвинова, обратившего на себя внимание либерализмом своих взглядов. Он привлекался в эту пору к обсуждению важнейших государственных вопросов, поднимавшихся императором Александром и его ближайшими сотрудниками, а с образованием министерств (1802) занял пост министра морских сил, на котором оставался только 3 месяца. Популярность его в обществе сказалась в выборе его московским дворянством в 1806 году предводителем московского ополчения, хотя он не был в то время даже дворянином Московской губернии. Значение Мордвинова в правительственных сферах вновь увеличилось с возвышением Сперанского, для которого он стал помощником в составлении плана новой системы финансов. С учреждением Государственного совета Мордвинов был назначен

его членом и председателем департамента государственной экономии. Как известный либерал предполагался декабристами в состав высшего органа управления государством. Единственный из членов Верховного уголовного суда в 1826 году отказался подписать смертный приговор мятежникам.

[4] Габсбурги – одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. Представители династии известны как правители Австрии (с 1282 года), трансформировавшейся позднее в многонациональную Австрийскую империю (до 1918 года), являвшуюся одной из ведущих европейских держав, а также как императоры Священной Римской империи, чей престол Габсбурги занимали с 1438 по 1806 годы (с кратким перерывом в 1742–1745 годах).

[5] Струве Пётр Бернгардович (1870–1944) – русский общественный и политический деятель, экономист, публицист, историк, философ. За период с 1888 по 1892 гг. перешёл на позиции социал-демократии. В 1889 г. начинает учиться на естественном, а на следующий год юридическом факультете Петербургского университета. В 1890 году основал марксистский кружок. В этот кружок входили А. Н. Потресов и М. И. Туган-Барановский. В 1894 окончил юридический факультет. В 1892 году учился в университете в Граце (Австрия)у социолога Л.Гумпловича и решил стать экономистом. Тогда же начал публицистическую деятельность статьями против народников в немецкой социал-демократической прессе. Опубликовал книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», которая открыла эпоху борьбы русского марксизма с народничеством в легальной печати и стала «символом веры» социал-демократов в России. В январе 1895 г. распространил анонимное «Открытое письмо Николаю II», при вступлении на престол подтвердившему курс на политику контрреформ.

В 1896 году – участник Лондонского конгресса II-го Интернационала. Написал аграрную часть доклада российской делегации, с которым выступил Плеханов. Редактор первых марксистских журналов «Новое слово» (1897) и «Начало» (1899). Для I съезда РСДРП в 1898 написал «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии» – первый документ этой партии. В 1899 году подверг критике взгляды Маркса на неизбежность буржуазной революции. В том же году его лишили места приват-доцента за неблагонадёжность. В апреле 1900 года во Пскове принимает участие в организационном совещании по созданию газеты «Искра» вместе с Л. Мартовым, А. Н. Потресовым, С. И. Радченко, М. И. Туган-Барановским, А. М. Стопани и В. И. Лениным.

В дальнейшем Струве переходит от марксизма к либерализму, путь к которому заканчивает в 1907 году.

Струве начал объединение всех антисамодержавных сил, разделяющих идею политической свободы. 17 марта 1901 года принимает участие в демонстрации на Казанской площади, после чего его ссылают в Тверь. Его поклонник, издатель Д. Е. Жуковский предлагает ему деньги для издательства за границей журнала, пропагандирующего создание конституционного правительства в России. Струве добивается от властей разрешения уехать за рубеж. При содействии влиятельных знакомых он его получает и в декабре уезжает

в Германию. С 1901 года в эмиграции, с 1902 года редактор журнала «Освобождение». Один из авторов сборника «Проблемы идеализма» (1902). Один из создателей либерального «Союза освобождения». В 1905 году вернулся в Россию. Амнистия, дарованная ему лично по ходатайству С. Ю. Витте догнала его в пути. Член ЦК партии кадетов (1905–1915), 8 июня 1915 года вышел из ЦК, а фактически отошёл от партии в 1908 году. В 1906 году возглавил журнал «Русская мысль» и оставался его редактором до закрытия большевиками в 1918 году. В 1907 году – депутат II Государственной думы (1907) от Петербурга, статский советник. Издатель журнала «Полярная звезда» (1905–1906), с осени 1907 года один из ближайших сотрудников «Московского еженедельника» (редактор-издатель Е. Н. Трубецкой). Вдохновитель и участник сборника «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», содержавшего также статьи его единомышленников Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского (Москва, 1909).

1915 год – председатель секретного Особого межведомственного комитета по ограничению снабжения и торговли неприятеля при министерстве торговли и промышленности (по 1917 г.). К большевистскому перевороту Струве отнесся отрицательно. В декабре он отправился на Дон. В Новочеркасске во время начала формирования Добровольческой армии совместно с П. Н. Милюковым способствует разрешению конфликта между генералами М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым по разделению полномочий. Избран членом Совета нарождающейся армии. В феврале 1918 года, в момент вынужденного ухода армии из области Войска Донского в поход, ему приходится покинуть армию. Через Царицын пробирается к началу марта в Москву и до августа живёт на нелегальном положении. В мае участвует в создании самой мощной подпольной антибольшевистской организации «Национальный центр» и активно работает в его московском отделении.

В 1918 году стал редактором и одним из авторов сборника «Из глубины». С начала красного террора, развёрнутого большевиками после покушения на Ленина в конце августа, покидает столицу и через Петроград добирается до Вологодской губернии. В ноябре также скитается по российскому Северу. Ненадолго приезжает в Петроград и нелегально переходит финскую границу. В марте-сентябре 1919 г. в Париже, где участвует в работе «Совещания русских дипломатических представителей». В РСФСР по решению суда был приговорён к смертной казни. В начале октября прибывает в Ростов-на-Дону и возглавляет редакцию газеты «Великая Россия». Во время Гражданской войны член Особого совещания при генерале А. И. Деникине. В феврале 1920 года после поражения Деникина эвакуируется из Новороссийска в Константинополь. Входил в состав правительства генерала П. Н. Врангеля. Эвакуация белых войск из Крыма застала его в дипломатической командировке. Пытался в эмиграции возобновить ежемесячный литературно-политический журнал «Русская мысль», который под его редакцией выходил в 1921 в Софии, затем в Праге (1922–1923), Берлине (1923–1926) и, наконец, в 1927 в Париже. Но все свои силы Струве в то время отдавал другому своему «детищу» – газете «Возрождение». Был избран председателем Российского зарубежного съезда, проходившего в Париже в апреле 1926 года.

Участвовал в деятельности Русского юридического факультета в Праге. С 1928 г. перебрался в Белград. Читал курс социологии на кафедрах в Белграде. В это время Струве отходит от политической деятельности. В конце жизни работает над трудами «Система критической философии» (рукопись погибла) и «Социально-экономическая история России» (не окончена, опубликована в 1952 г.) В 1941 году арестован немецкими оккупантами как «друг» Ленина. Освободился после трёхмесячного заключения. В июле 1942 года ему с супругой удалось выехать к детям в Париж.

Более подробно о нем см. монографию С.Л.Франка «Биография П. Б. Струве», Нью-Йорк,1956

[6] Кассо Лев Аристидович (1865–1914) — российский юрист, государственный деятель. Кассо учился в парижском Лицее Кондорсе, а в 1883–1885 годах слушал лекции в Школе права в Париже, получив диплом бакалавра. Для получения высшего образования переехал в Германию, где поступил (1885) на юридический факультет Гейдельбергского университета. Впоследствии перешел в Берлинский университет. Успешно выдержав магистерский экзамен в Дерптском (Юрьевском) университете, он был назначен (1892) исполняющим должность доцента церковного права Юрьевского университета. В конце 1895 года Кассо переведен на должность экстраординарного профессора по кафедре гражданского права и судопроизводства Харьковского университета. В 1899 году Кассо был назначен ординарным профессором по кафедре гражданского права Московского университета. С 25 сентября 1910 года — управляющий Министерством народного просвещения, с 2 февраля 1911 года — министр в кабинетах П. А. Столыпина, В. Н. Коковцова и И. Л. Горемыкина. Находился на посту министра до самой смерти 26 ноября (9 декабря) 1914 года. При Кассо проводилась в жизнь программа реформирования среднего образования, сводящаяся в целом к усилению государственного контроля над учебными заведениями.

Из университетов были уволены многие профессора и преподаватели либеральной ориентации. Активно практиковалось назначение профессоров на должности в противовес обычной практике их избрания в университетах с последующим утверждением министром. Наибольшую известность получил скандал («дело Кассо») в Московском университете. В начале 1911 года в знак протеста против действий полиции при подавлении студенческих волнений в отставку подало руководство университета — ректор А. А. Мануйлов, помощник ректора М. А. Мензбир, проректор М. А. Минаков. Кассо принял отставки. Тогда университет демонстративно покинули около 130 преподавателей и сотрудников университета.

Шварц Александр Николаевич — министр народного просвещения, предшественник Кассо, управлявший ведомством два с половиной года (с января 1908 по сентябрь 1910 г.), вошел в историю как убежденный консерватор. Реформ не проводил — наоборот, отменил многие льготы и послабления студентам, введенные его предшественниками. Шварц, заседая до своей смерти в 1915 году в Государственном совете, остался верен себе — не примкнул ни к одной из фракций, блюдя свою независимость от партийных мнений и следуя только закону и собственным убеждениям.

Схема революции

Обвал

[1] «белый уголь» — один из самых хорошо изученных сорбентов. Является прямым антиподом черного активированного угля. Это таблетки (а также порошок для приготовления суспензии), которые способны связать в десятки раз больше токсических веществ, чем активированный уголь. Две-три таблетки белого угля способны заменить целую горсть активированного угля. Белый уголь уникален еще и тем, что таблетки являются растворимыми, и не требуют разжевывания или измельчения. Их достаточно просто запить водой.

[2] Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) — русский генерал от кавалерии, военный министр. В 1861 году поступил в Александровский кадетский корпус в Вильно. Летом 1863 года был переведён в Петербург в 1-ю военную гимназию. В 1871 году сдал экзамены и был зачислен в Академию Генерального штаба. После трёхлетнего обучения окончил академию по первому разряду. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 годов. За боевые отличия в войне награжден в 1878 орденом Святого Георгия 4-й степени и золотым оружием. После окончания русско-турецкой войны Сухомлинов был 6 мая 1878 года назначен правителем дел Николаевской академии Генерального штаба. В этой должности он являлся ближайшим сотрудником начальника академии генерала М. И. Драгомирова. Сухомлинов повлиял на развитие и усовершенствование техники кавалерийского дела в русской армии.

После произошедших в Киеве беспорядков, 19 октября 1905 года Сухомлинов был назначен на пост Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора. Генерал-губернаторство пришлось на время революции 1905–1907 года. С основания Киевского отдела монархической организации «Русское собрание» был его председателем. В декабре 1908 года Сухомлинов был назначен начальником Генерального штаба. В марта 1909 года занял пост военного министра. В его министерство были созданы автомобильные части, создан Императорский военно-воздушный флот. В полках были созданы пулемётные команды, а в корпусах — авиаотряды.

Когда к весне 1915 года обнаружился недостаток снарядов и другого военного снаряжения, Сухомлинова стали считать главным виновником плохого снабжения русской армии. 13 июня 1915 года под давлением общественного мнения Сухомлинов был уволен царём от должности военного министра. Вскоре было начато расследование его деятельности на посту министра. 8 марта 1916 Сухомлинов был уволен с военной службы. 29 апреля 1916 года он был арестован и находился в заключении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, пока продолжалось следствие. 11 октября 1916 года Сухомлинов был переведен под домашний арест. Вновь он быыл арестован в 1917 году. Суд проходил с 10 августа по 12 сентября 1917 года. Сухомлинову были предъявлены обвинения в измене, в бездействии власти и во взяточничестве. Большинство обвинений не подтвердилось, однако Сухомлинов был признан виновным в «недостаточной подготовке армии к войне» и приго-

ворён к бессрочной каторге и лишению всех прав состояния. После Октябрьской революции переведен в тюрьму «Кресты». По амнистии, как достигший 70-летнего возраста, 1 мая 1918 был освобожден и выехал в Финляндию, а оттуда в Германию. В эмиграции написал воспоминания.

[3] «Вехи» (Сборник статей о русской интеллигенции, 1909). В нем приняли участие лучшие умы России того времени – П. Струве, С. Франк, Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон. Это было предострежение о грядущей катастрофе, которая ожидала Россию.

[4] Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – русский общественный и политический деятель, князь. После Февральской революции был председателем Совета Министров Российский империи и Временного правительства (фактически главой государства). Окончил Поливановскую гимназию и юридический факультет Московского университета. Тульский помещик, работая в судебных и земских органах Тульской губернии, очень скоро завоевал широкую известность как земский деятель; председатель Тульской губернской земской управы, участник земских съездов. Львов был избран в Первую Государственную думу. В думе Львов возглавил врачебно-продовольственный комитет с широкими благотворительными целями: на деньги правительства и российских и зарубежных финансовых организаций создавались пекарни, столовые, санитарные пункты для голодающих, погорельцев и малоимущих. Занимался оказанием помощи переселенцам в Сибирь и на Дальний Восток .

С 1911 года член Московского комитета партии «прогрессистов», ранее, с 1905 г., состоял в партии кадетов. В Москве был создан «Всероссийский земский союз помощи больным и раненым военным» – его возглавил Львов. За короткий срок эта организация помощи армии, с годовым бюджетом в 600 млн руб., стала основной организацией, занимавшейся оборудованием госпиталей и санитарных поездов, поставками одежды и обуви для армии. В ее ведении находилось 75 поездов и 3 тыс. лазаретов. Через год этот союз объединился со Всероссийским союзом городов в единую организацию – ЗЕМГОР. С 1915 по 1917 год Львов возглавлял объединённый комитет Земского союза и Союза городов. Указ Правительствующему Сенату о назначении Львова председателем Совета министров датирован 2 часами дня 2 марта, то есть на час раньше времени, проставленного в отречении – Львов был назначен ещё императором.

После Февральской революции – Министр-председатель и министр внутренних дел первого Временного правительства, возглавлял первое коалиционное правительство. Провал июньского наступления и организованное большевиками июльское восстание привели к правительственному кризису. 8 июля 1917 г. Львов ушёл в отставку с постов главы кабинета и министра внутренних дел. Временное правительство возглавил военный и морской министр Керенский. После Октябрьской революции поселился в Тюмени, зимой 1918 года был арестован, переведён в Екатеринбург. Через 3 месяца Львова, и ещё двоих арестантов (Лопухина и князя Голицына) выпустили до суда под подписку о невыезде, и Львов тут же покинул Екатеринбург. Он пробрался в Омск, оккупированный восставшим Чехословацким корпусом. Образованное в Омске Временное Сибирское правительство во главе с П. Во-

логодским поручило Львову выехать в САСШ для встречи с президентом В. Вильсоном и другими государственными деятелями. В октябре он приехал в Америку. В ноябре 1918 года Первая мировая война закончилась, началась подготовка к мирной конференции в Париже. Львов вернулся во Францию, где в 1918–1920 гг. стоял во главе Русского политического совещания в Париже.

[5] Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) – российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства. Его отец, Федор, происходил из семьи священника, закончил с отличием Пензенскую духовную семинарию, но не стал, как его старшие братья Григорий и Александр, священником. Он получил высшее образование на историко-филологическом факультете Казанского университета и затем преподавал русскую словесность в казанских гимназиях. Дослужившись до чина коллежского советника, Федор Михайлович получил назначение в Симбирск, на должность директора мужской гимназии и средней школы для девочек. Самым знаменитым воспитанником Фёдора Керенского стал Владимир Ильич Ульянов (Ленин) – сын его начальника – директора симбирских училищ – Ильи Николаевича Ульянова. Именно Фёдор Керенский поставил ему единственную четверку (по логике) в аттестате золотого медалиста. Семьи Керенских и Ульяновых в Симбирске связывали дружеские отношения. Федор Михайлович, после того как умер Илья Ульянов, оказывал участие в судьбе детей Ульяновых. В 1887 году, уже после того как был арестован и казнён Александр Ульянов, он дал брату политического преступника – Владимиру Ульянову положительную характеристику для поступления в Казанский университет.

В 1899 Александр с золотой медалью окончил Ташкентскую гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Участвовал в комитете, созданном коллегией адвокатов, помощи жертвам 9 января 1905 года. С октября 1905 года Керенский пишет для революционного социалистического бюллетеня «Буревестник», который стала издавать «Организация вооружённого восстания». 21 декабря в квартире Керенского был произведён обыск, были найдены листовки «Организации вооружённого восстания» и револьвер, предназначавшийся для самообороны. Был подписан ордер на арест по обвинению в принадлежности к боевой дружине эсеров. Керенский в предварительном заключении находился в Крестах до 5 апреля 1906 года, а затем, за недостатком улик, был освобожден и выслан с женой и годовалым сыном Олегом в Ташкент. В сентябре 1906 года вернулся в Петербург.

В октябре 1906 года Керенский начал карьеру политического адвоката в судебном процессе в Ревеле – защищал крестьян, разграбивших поместья остзейских баронов. Участвовал в ряде крупных политических процессов. В 1910 году он был главным защитником на процессе туркестанской организации социалистов-революционеров, обвинявшихся в антиправительственных вооружённых акциях. Процесс для эсеров прошёл благополучно, адвокату удалось не допустить вынесения смертных приговоров. В начале 1912 года Керенский защищал на судебном процессе в Санкт-Петербурге террористов

из армянской партии Дашнакцутюн. В 1912 году возглавил комиссию Государственной Думы по расследованию расстрела рабочих на Ленских золотых приисках. Выступал в поддержку М. Бейлиса, в связи с чем подвергался судебному преследованию в ходе дела 25 адвокатов. Был избран депутатом IV Государственной думы от города Вольска Саратовской губернии. В Думе выступал с критическими речами в адрес правительства и приобрел славу одного из лучших ораторов левых фракций. В 1914 году по «Делу 25 адвокатов» за оскорбление Киевской судебной палаты был приговорён к 8-месячному тюремному заключению. По кассационной жалобе тюремное заключение было заменено запретом заниматься адвокатской практикой в течение 8 месяцев.

В 1915–1917 годах Генеральный Секретарь Верховного совета «Великого Востока народов России», организацией вышедшей из «Великого Востока» Франции. «Великий Восток народов России» не признавался другими масонами как масонская организация, так как приоритетной задачей ставил политическую активность.

Взлёт Керенского к власти начинался во время Февральской революции, которую он принял восторженно и с первых дней был активным её участником. После того как в полночь с 26 на 27 февраля 1917 года сессия Думы была прервана указом Николая II, Керенский на Совете старейшин думы 27 февраля призвал не подчиняться царской воле. В тот же день он вошёл в состав сформированного Советом старейшин Временного комитета Государственной думы и в состав Военной комиссии, руководившей действиями революционных сил против полиции. В февральские дни Керенский неоднократно выступал перед восставшими солдатами, принимал от них арестованных министров царского правительства, получал конфискованные в министерствах денежные средства и секретные бумаги. Во время Февральской революции Керенский вновь вступил в партию эсеров, принимал участие в работе революционного Временного комитета Госдумы.

2 марта занял пост министра юстиции во Временном правительстве. На публике Керенский появлялся во френче военного образца, хотя никогда не служил в армии. Инициировал такие решения Временного правительства, как амнистия политических заключенных, признание независимости Польши, восстановление конституции Финляндии. По распоряжению Керенского из ссылки были возвращены все революционеры. При Керенском началось разрушение прежней судебной системы. Уже 3 марта был реорганизован институт мировых судей — суды стали формироваться из трёх членов: судьи и двух заседателей. В апреле 1917 года министр иностранных дел П. Н. Милюков заверил союзные державы, что Россия продолжит войну до победного конца. Этот шаг вызвал кризис Временного правительства. 24 апреля Керенский пригрозил выходом из состава правительства и переходом Советов в оппозицию, если Милюков не будет снят со своего поста и не будет создано коалиционное правительство, включающее представителей социалистических партий. 5 мая 1917 года князь Львов был вынужден выполнить это требование и пойти на создание первого коалиционного правительства. Милюков и Гучков подали в отставку, в состав правительства вошли социалисты, а Керенский получил портфель военного и морского министра.

22 мая 1917 года Керенский назначил на должность Верховного Главнокомандующего генерала Брусилова А. А. Будучи военным министром, Керенский приложил большие усилия для организации наступления русской армии в июне 1917 года. Он объезжал фронтовые части, выступал на многочисленных митингах, стремясь воодушевить войска, после чего получает прозвище «главноуговаривающего». 18 июня началось наступление русских войск, которое, однако, закончилось полным провалом. С 8 июля А. Ф. Керенский сменил Георгия Львова на посту министра-председателя, сохранив пост военного и морского министра. 12 июля была восстановлена смертная казнь на фронте. Были выпущены новые денежные знаки, получившие название «керенки». 19 июля Керенский назначил нового Верховного Главнокомандующего – Генерального штаба генерала от инфантерии Лавра Корнилова. В августе Корнилов при поддержке генералов Крымова, Деникина и некоторых других отказал Керенскому остановить войска, движущиеся на Петроград по приказу Временного правительства и с ведома Керенского. Корнилов, Деникин и некоторые другие генералы были арестованы.

Керенский, став верховным главнокомандующим, полностью изменил структуру временного правительства, создав «Деловой кабинет» – Директорию. Таким образом, Керенский совмещал полномочия председателя правительства и верховного главнокомандующего. Сконцентрировав в своих руках диктаторские полномочия, Керенский совершил очередной государственный переворот – распустил Государственную Думу, которая привела его к власти и объявил о провозглашении России демократической республикой, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. К октябрю 1917 года не осталось достаточной военной силы, на которую Керенский смог бы опереться. Кроме того, во время борьбы с Корниловым Керенский вынужден обращаться к большевикам, как к наиболее активным левым, тем самым только приближая события ноября 1917 года. После октябрьского переворота Керенский перебрался в Финляндию, в конце января 1918 вернулся в Петроград, в начале мая – в Москву, где установил контакт с «Союзом возрождения России». Когда началось выступление Чехословацкого корпуса, «Союз возрождения» предложил ему пробраться за границу для переговоров об организации военной интервенции в Советскую Россию.

[6] Викжель – Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза. Организация созданная на 1-м Всероссийском учредительном съезде железнодорожников в 1917 году. Вошел в историю как организация, которая в дни Октябрьской революции стала одним из центров противостояния новой власти.

Большевики

[1] Горький Максим, Алексей Максимович Пешков (1868 – 18 июня 1936) – русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых популярных авторов рубежа XIX и XX веков, прославившийся изображением романтизированного деклассированного персонажа («босяка»). Автор произведений с революционной тенденцией, лично близкий социал-демократам, находив-

шийся в оппозиции царскому режиму, Горький быстро получил мировую известность.

Первоначально Горький скептически отнёсся к Октябрьской революции. Однако, после нескольких лет культурной работы в Советской России (в Петрограде руководил издательством «Всемирная литература», ходатайствовал перед большевиками за арестованных) и жизни за рубежом в 1920-е годы (Мариенбад, Сорренто), вернулся в СССР, где последние годы жизни был окружён официальным признанием как «буревестник революции» и «великий пролетарский писатель», основатель социалистического реализма. Член ЦИК СССР (1929).

[2] Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — политический деятель, публицист, критик, искусствовед. Академик АН СССР, с октября 1917 по сентябрь 1929 — первый нарком просвещения, активный участник революции 1905–1907 годов и Октябрьской революции 1917 года. В 1898 году приехал в Москву, где стал заниматься революционной работой. Через год он был арестован и выслан в Полтаву. В 1900 году арестован в Киеве, месяц находился в Лукьяновской тюрьме, отправлен в ссылку — сначала в Калугу, а затем в Вологду и Тотьму. В 1903 году, после раскола партии, Луначарский стал большевиком (в РСДРП он состоял ещё с 1895). В 1904 году, по окончании ссылки, Луначарский переехал в Киев, а затем в Женеву, где стал членом редакций большевистских газет «Пролетарий», «Вперёд». Вскоре Луначарский являлся уже одним из лидеров большевиков. Сблизился с А. А. Богдановым и В. И. Лениным; под руководством последнего участвовал в борьбе с меньшевиками — Мартовым, Даном и др. Участвовал в работе III (1905, выступил с докладом о вооружённом восстании) и IV съездов РСДРП (1906). В октябре 1905 отправился для агитации в Россию; начал работать в газете «Новая жизнь»; был вскоре арестован и предан суду за революционную агитацию, — но бежал за границу. В 1906-08 году вел художественный отдел журнала «Образование» К концу 1900-х усилились философские разногласия между Луначарским и Лениным; вскоре они переросли в политическую борьбу. Развивал идеи богостроительства.

С начала Первой мировой войны Луначарский — интернационалист; был одним из основателей пацифистской газеты «Наше слово». Известие о Февральской революции 1917 года ошеломило Луначарского; оставив семью в Швейцарии, он прибыл в Петроград. Был избран делегатом Первого Всероссийского съезда Советов РСД. В июле вошёл в редакцию созданной Максимом Горьким газеты «Новая Жизнь». Но вскоре после Июльских дней был обвинён Временным правительством в государственной измене и арестован. С 23 июля по 8 августа находился в тюрьме «Кресты»; в это время заочно был избран одним из почётных председателей VI съезда РСДРП(б). После Октябрьского переворота вошёл в сформированное II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов правительство наркомом просвещения. По свидетельству Л. Д. Троцкого, Луначарский будучи наркомом просвещения, сыграл важную роль в привлечении старой интеллигенции на сторону большевиков: Луначарский был незаменим в сношениях со старыми университетскими и педагогическими кругами, которые убеждённо ждали

от «невежественных узурпаторов» полной ликвидации наук и искусств. Луначарский без труда показал этому миру, что большевики не только уважают культуру, но и не чужды знакомства с ней. В 1933 году отправлен полпредом СССР в Испанию. Был заместителем главы советской делегации во время конференции по разоружению при Лиге Наций.

[3] Базаров Владимир Александрович (1874–1939) – русский философ, экономист, политический деятель. В 1904 году примкнул к большевикам. После революции 1905–1907 годов сблизился с меньшевиками. Отрицательно воспринял Октябрьский переворот 1917 года. С 1921 года работал в Госплане, занимался экономической теорией, переводами научной и художественной литературы. Отрицательно воспринял Октябрьский переворот 1917 года. С 1921 года работал в Госплане, занимался экономической теорией, переводами научной и художественной литературы. В 1930 году был обвинен в причастности к организации «специалистов-вредителей» и арестован.

[4] Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) – русский нигилист и революционер XIX в. Лидер «Народной Расправы». Осуждён за убийство студента Иванова. Отец Сергея Нечаева – внебрачный сын помещика Петра Епишева, по рождению – крепостной. Был усыновлен маляром Г. П. Павловым и получил при этом фамилию Нечаев («нечаянный», «неожидаемый»). Детство Нечаев провел в Иванове. Переехав в Москву, выдержал экзамен на учителя; с осени 1868 года вел революционную пропаганду среди студентов Санкт-Петербургского университета и медицинской академии; студенческие волнения в феврале 1869 года были в значительной мере его делом. Уехал за границу, вступил в отношения с Бакуниным и Огарёвым, получил через последнего от Герцена 1000 фунтов стерлингов на дело революции. В сентябре 1869 года вернулся в Россию и основал революционное «Общество народной расправы», имевшее отделения в Петербурге, Москве и других городах; Нечаев был членом центрального комитета. «Революционер, – говорилось в принятом Нечаевым уставе („Катехизис революционера«), – человек обреченный; у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни имени. Он отказался от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает... только науку разрушения, для этого изучает... механику, химию, пожалуй медицину.... Он презирает общественное мнение, презирает и ненавидит... нынешнюю общественную нравственность».

Когда студент Иван Иванов обнаружил неповиновение воле Нечаева, тот решил устранить его, и в ноябре 1869 года Иванов был убит в гроте Петровской академии Нечаевым, Успенским, Прыжовым, Кузнецовым и Николаевым. Нечаев успел бежать за границу, но его товарищи были найдены и преданы суду. Участники убийства Иванова приговорены к каторжным работам на разные сроки, другие обвиняемые – к более мягким наказаниям. Нечаев издавал за границей журнал «Народная Расправа». Даже Бакунин, ближайшим последователем которого был Нечаев, пишет о нем в одном письме (напечатанном в сборнике писем Бакунина), как о бесчестном человеке, способном шпионить, вскрывать чужие письма, лгать. В 1872 году швейцарское правительство выдало Нечаева России как уголовного преступника. Признанный присяжными виновным в убийстве Иванова, он был приговорен

к каторжным работам в рудниках на 20 лет. Нечаев не был послан в рудники, а посажен в Петропавловскую крепость, где с ним обращались не как с уголовным преступником, а как с политическим. В крепости Нечаев приобрел большое влияние на караульных солдат и вступил через них в сношения с народовольцами, бывшими на свободе. Желябов предложил ему устроить его побег из крепости, но Нечаев отказался, не желая помешать успеху революционных замыслов, которыми он до некоторой степени руководил.

[5] Ткачев Пётр Никитич (1844–1886) – русский литературный критик и публицист. Идеолог якобинского направления в народничестве. Родом из небогатой помещичьей семьи. Поступил на юридический факультет Петербургского университета, но вскоре был привлечён к одному из политических дел и отсидел несколько месяцев в Петропавловской крепости. Когда университет был вновь открыт, Ткачёв, не поступая в число студентов, выдержал экзамен на учёную степень. Писать Ткачёв начал очень рано. Первая его статья была опубликована в журнале «Время» за 1862 год. Вслед за тем во «Времени» и в «Эпохе» помещено было в 1862–1864 годах ещё несколько статей Ткачёва. В конце 1865 года Ткачёв сошёлся с Г. Е. Благосветловым и стал писать в «Русском слове», а затем в заменившем его «Деле». За революционную пропаганду среди студенчества подвергался тюремному заключению, постоянно находился под надзором полиции. Во время студенческих волнений в Петербурге в 1868–1869 годах вместе с С. Г. Нечаевым возглавлял радикальное меньшинство. Весной 1869 года был вновь арестован и в июле 1871 года приговорён к 1 году и 4 месяцам тюрьмы. По отбытии наказания Ткачёв был выслан в Великие Луки, откуда вскоре эмигрировал за границу. Прерванная арестом журнальная деятельность Ткачёва возобновилась в 1872 году. Он опять писал в «Деле», но не под своей фамилией, а под разными псевдонимами. В эмиграции сотрудничал с журналом «Вперёд!», примкнул к группе польско-русских эмигрантов, после разрыва с П. Л. Лавровым начал издавать журнал «Набат» (1875–1881). Являлся представителем «якобинских» тенденций, противоположных и анархизму Бакунина, и направлению лавровского «Вперёд!».

[6] «эксы» – одним из способов добывания денег для революционной работы стали «эксы» – экспроприации. В революционной среде грабители назывались экспроприаторами, ограбления – экспроприациями (эксами). 25 июня 1907 года произошел так называемый «Тифлисский экс». Под таким названием в историю вошло ограбление в центре Тифлиса двух карет, в которых перевозились деньги городского банка. Были убиты и ранены десятки прохожих. Захватив 250 тысяч рублей, грабители скрылись. Операцию осуществила группа большевистских боевиков во главе с Камо (Тер-Петросяном). Эксы давали значительную часть партийного бюджета. На Кавказе общее руководство боевиками осуществлял Сталин (Джугашвили), который личного участия в «эксах» не принимал. В конечном счете награбленными деньгами распоряжался лично Ленин, делая это втайне от большинства партийных руководителей. Он доверял только Красину и Богданову (Малиновскому), они втроем составляли так называемый Большевистский центр внутри ЦК РСДРП. Официально социал-демократы осуждали пополнение партийной

кассы ограблениями, для страховки перед «эксами» непосредственные исполнители выходили из партии, чтобы в случае провала она могла от них отмежеваться.

7 Люксембург Роза (1871–1919) – одна из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии, теоретик марксизма и публицист. Одна из основателей антивоенного Союза Спартака и Коммунистической партии Германии. Люксембург родилась в Польше, в городе Замосце, восточнее Люблина. Она была пятым ребёнком в буржуазной еврейской семье. Окончила женскую гимназию в Варшаве. В 1893 г. вместе с Тышкой, Мархлевским, Варским участвовала в основании социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) и возглавила её печатный орган «Справа роботнича». В 1897 г. Роза защитила кандидатскую диссертацию «Промышленное развитие Польши», затем переехала в Германию. Многократно и подолгу сидела в польских и немецких тюрьмах. Она общалась с Плехановым, Бебелем, Лениным, Жоресом, вела с ними полемику. После начала Первой российской революции в 1905 году Люксембург тайно едет в Варшаву и принимает деятельное участие в революционных действиях польского пролетариата. Царская охранка наконец арестовала её и она провела долгие месяцы в тюрьме. Немецкие друзья выручили её из тюрьмы и в 1907 г. Люксембург навсегда переехала в Германию. В 1916 году была арестована и заключена в тюрьму. Будучи (как и Либкнехт) против свержения шейдемановского правительства, ввиду слабости компартии, Люксембург, тем не менее, приветствует начавшееся выступление берлинских рабочих в начале января 1919 г. Выступление подавили отряды фрайкора под руководством Г. Носке. Арестованные Либкнехт и Люксембург были убиты конвойными по дороге в тюрьму Моабит 15 января 1919 г.

8 Радек Карл Бернгардович (настоящее имя Кароль Собельзон), (1885–1939) – советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения; в 1920—1924 член (в 1920 секретарь) Исполкома Коминтерна. Сотрудник газет «Правда» и «Известия». Образование получил на историческом факультете Краковского университета. В 1902 году вступил в Польскую социалистическую партию, в 1903 – в РСДРП, в 1904 году – в социал-демократическую партию Королевства Польши и Литвы (СДКПиЛ). Сотрудничал с коммунистическими газетами в Польше, Швейцарии и Германии. Во время Первой мировой войны сблизился с В. И. Лениным. После Февральской революции 1917 г. в России Радек становится членом Заграничного представительства РСДРП в Стокгольме, действует как связной между руководством социалистических партий и германским Генштабом, содействуя организации отправки Ленина и его соратников в Россию через Германию. Вместе с Я. С. Ганецким Радек организовывает зарубежные пропагандистские издания «Корреспонденция «Правды» и «Вестник Русской революции». После Октябрьской революции приезжает в Петроград. В ноябре 1917 года становится заведующим отделом внешних сношений ВЦИК. С декабря того же года участвует в советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. С 1919 по 1924 гг. Радек – член ЦК РКП(б). С 1923 года Радек – активный сторонник Л. Д. Троцкого. В 1927 году исключён

из ВКП(б) и Особым совещанием при ОГПУ приговорён к 4 годам ссылки и выслан в Красноярск.

В 1930 году вместе с Е. А. Преображенским, А. Г. Белобородовым и И. Т. Смилгой направил в ЦК письмо, где заявил об «идейном и организационном разрыве с троцкизмом».. В том же году восстановлен в партии. Радек перевёл на русский язык «Майн кампф» Адольфа Гитлера (1932), этот перевод был издан ограниченным тиражом для изучения партийными работниками. В 1936 году году вновь исключён из ВКП(б) и арестован. Как один из главных обвиняемых был привлечен к открытому процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Второй Московский процесс). Стал центральной фигурой процесса, давал подробные показания о своей и других «заговорщицкой деятельности». Категорически отрицал применение пыток. По официальной версии был убит в Верхнеуральском политизоляторе другими заключёнными 19 мая 1939 года.

[9] Раковский Христиан Георгиевич (1873-1941) – советский политический деятель, член ЦК в 1919—1927 гг., входил в состав Оргбюро ЦК в период между VIII и IX съездами РКП(б). Родился в г. Котеле в Болгарии. В 1897 г. окончил Женевский университет. С 1917 г. на революционной работе в Петрограде и Одессе, председатель Верховной коллегии по борьбе с контрреволюцией на Украине. В 1919—1923 годах Председатель СНК Украинской ССР. С 1923 г. полпред СССР в Англии, в 1925—1927 гг. – во Франции, одновременно с 1923 г. зам. наркома иностранных дел СССР. В 1928—1934 гг. находился в ссылке в Астрахани и Барнауле. С 1934 г. нач. управления Наркомата здравоохранения РСФСР. Решением ЦК и ЦКК ВКП(б) 14 ноября 1927 г. исключен из состава ЦК, XV съездом ВКП(б) исключен из партии за участие в троцкистской оппозиции, в 1935 г. восстановлен, в 1937 г. вновь исключен. В январе 1937 г. арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР 8 марта 1938 г. приговорен к 20 годам лишения свободы, 8 сентября 1941 г. ею же приговорен к расстрелу.

[10] Циммервальдская конференция происходила 5-8 сентября 1915 года. Конференция, которая ставила целью объединить все революционные элементы социалистического движения, оказалась далеко не однородной по своему составу. Вокруг русской делегации большевиков, руководимой Лениным, сгруппировались наиболее радикальные моменты (так называемая «циммервальдская левая») поведшие упорную борьбу с представителями более умеренных течений. После долгих прений конференция выпустила манифест с призывом начать борьбу за мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов. Затем была образована постоянная интернациональная социалистическая комиссия с временным секретариатом в Берне. Впоследствии к Циммервальдскому союзу примкнуло более двадцати партий и партийных меньшинств, что навлекло на них травлю со стороны социал-патриотов II Интернационала. Циммервальдское объединение просуществовало вплоть до I Конгресса Коминтерна в 1919 году, на котором оно объявило себя распущенным. Несмотря на умеренность своих лозунгов, Циммервальдская конференция подготовила через создание Коммунистического Интернационала.

[11] Коминтерн (Коммунистический Интернационал, III Интернационал) – международное объединение коммунистических партий различных стран. Был образован по инициативе В. И. Ленина, действовал с 1919 по 1943 годы с центром в Москве, по существу стал орудием осуществления идеи мировой революции. Высшие органы: Конгресс (в 1935 г. прошел последний 7-й конгресс), Исполком (постоянно действующий орган). Коминтерн был историческим преемником I Интернационала (1864–1876 гг.) и II Интернационала (1889–1914 гг.). С конца 20-х гг. большевики стали отказываться от идеи осуществления мировой революции. 15 мая 1943 г. И. В. Сталин распустил эту организацию, которая, как он объяснил, «выполнила свою миссию». В 1951 г. был образован Социалистический Интернационал (Социнтерн), объединивший 76 партий и организаций социал-демократического направления.

[12] Людендорф Эрих Фридрих Вильгельм (1865—1937) — немецкий генерал-полковник. С начала Первой мировой войны — начальник штаба у Гинденбурга, получил общенациональную известность после победы под Танненбергом. С августа 1916 года — фактически руководил всеми операциями германской армии. После окончания войны близко сошёлся с Гитлером, принимал участие в Пивном путче, но вскоре разочаровался в нацистах и перестал участвовать в общественной жизни в 1928 году.

[13] инсурекция (лат.) — восстание, бунт.

[14] Дурново Петр Николаевич (1845–1915) — государственный деятель Российской империи, министр внутренних дел (1905–1906). В 1860 году окончил Морской кадетский корпус, через два года был произведен в мичманы и около 8 лет провёл в дальних плаваниях. В 1863 году, в ходе одной из экспедиций, в честь Петра Николаевича был назван один из островов в Японском море. В 1870 году выдержал выпускной экзамен в Александровской военно-юридической академии и был назначен помощником прокурора при Кронштадтском военно-морском суде. В октябре 1881 года назначен управляющим Судебным отделом Департамента государственной полиции Министерства внутренних дел. С 18 февраля 1883 года — вице-директор департамента полиции. 23 августа 1884 года назначен на пост директора департамента полиции.

После отставки 22 октября 1905 года А. Г. Булыгина стал министром внутренних дел в кабинете С. Ю. Витте. 30 октября 1905 года назначен членом Государственного совета, а 1 января 1906 года произведен в действительные тайные советники. В 1911 году действия Дурново и В. Ф. Трепова, направленные на отклонение Государственным Советом правительственного законопроекта о земствах в западных губерниях, вызвали острый политический кризис. Дурново получил приказание императора объявить себя больным и воздержаться от участия в заседаниях Совета до 1912 года.

[15] Курлов Павел Григорьевич (1860–1923) — генерал-лейтенант, губернатор киевский, минский, товарищ министра внутренних дел и главноначальствующий отдельного корпуса жандармов (1909–1911). Во время войны — главноначальствующий гражданской части в Прибалтийском крае.

[16] Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) — российский государственный деятель. Статс-секретарь, сенатор, действительный тайный советник. С 1851 с семьей жил в Варшаве, учился в Варшавской гимназии. В 1863 году

участвовал в охране порядка на улице во время польского восстания 1863–1864 годов. Продолжил образование в Московском университете на юридическом факультете. В 1879 году назначен прокурором Петербургской судебной палаты. Император Александр II заметил Плеве и указал на него министру внутренних дел графу М. Т. Лорис-Меликову. В 1881 году назначен исполняющим обязанности прокурора в Особом присутствии Правительствующего Сената для ведения дел о государственных преступлениях и о злодеянии 1 марта (убийство императора Александра II).

В 1881–1884 годах занимал пост директора Департамента государственной полиции МВД; проводил энергичные и успешные действия по разгрому террористической организации «Народная воля». Им, совместно с подполковником Г. П. Судейкиным, была разработана система тайной агентурной работы внутри революционных организаций, не знавшая подобных масштабов в России. В 1902 году, после убийства Д. С. Сипягина, назначен министром внутренних дел и шефом Корпуса жандармов. При нём подавлены крестьянские выступления в Подольской и Харьковской губерниях. Он состоял членом первой монархической организации в России — «Русском собрании». В 1904 году в Петербурге, на Измайловском проспекте, близ Варшавского вокзала, был убит студентом эсером Егором Созоновым, бросившим бомбу в его карету.

Победа

[1] Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) — русский военачальник периода Первой мировой войны. Генерального штаба генерал от инфантерии. Участник осады Плевны. Участник русско-турецкой (1877–1878 гг.), русско-японской (1904–1905 гг.) и Первой мировой войн. Активный участник Белого движения в годы Гражданской войны. Создатель и Верховный руководитель Добровольческой армии.

После того как император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего, Алексеев 18 августа 1915 был назначен начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего. С 1916 года — генерал-адъютант. Алексеев как начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего фактически руководил всеми военными операциями вплоть до Февральской революции. Во время Февральских событий 1917 года председатель Государственной думы М. В. Родзянко обратился к императору и к Алексееву с просьбой склонить царя отречься от престола. Алексеев поддержал Родзянко и разослал циркулярную депешу главнокомандующим фронтами. Все командующие фронтами и флотами — великий князь Николай Николаевич, генералы Рузский Н. В., Брусилов А. А., Сахаров В. В., Эверт А. Е. и адмирал Непенин А. И. (командующий Балтийским флотом) (кроме отмолчавшегося командующего Черноморским флотом Колчака) в своих телеграммах просили императора отречься от престола «ради единства страны в грозное время войны». Император согласился с доводами генерала Алексеева и командующих фронтами. Алексеев пытался предотвратить армию от развала, выступал против Советов и солдатских комитетов в армии, старался уберечь солдат от «агитаторов» и восстановить старую власть офицерства.

Арестовал генерала Корнилова и его сподвижников (генералов Романовского, Лукомского и ряд старших офицеров) 1 сентября 1917 года. Октябрьскую революцию Алексеев встретил в Петрограде, проживая на Галерной улице, в квартире, специально снятой для него «Советом общественных деятелей», занимаясь подготовительными работами по созданию новой армии. После октябрьского переворота неегально покинул Петроград и прибыл на юг. В Новочеркасске 2 ноября 1917 Алексеев опубликовал воззвание к офицерам, призывая их «спасти Родину». В Новочеркасске он приступил к созданию добровольческого вооружённого формирования. С начала декабря к этой деятельности подключился прибывший на Дон генерал Л. Г. Корнилов. «Алексеевская организация» стала впоследствии ядром Добровольческой армии. Участвовал в Первом и Втором кубанских походах Добровольческой армии, в которой принял на себя гражданское и финансовое управление, внешние сношения и позже пост Верховного руководителя Добровольческой армии (1917–1919 годы). Скончался 8 октября 1918 года от воспаления легких и был похоронен в Войсковом соборе Кубанского казачьего войска в Екатеринодаре.

[2] Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) – российский военачальник, генерал от инфантерии, военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. Верховный Главнокомандующий русской армии (август 1917 года). Участник Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандующий Добровольческой армии, вождь Белого движения на Юге России. Отец – из казачьей семьи, чьи предки вместе с Ермаком покоряли Сибирь. Мать Л. Г. Корнилова – Мария Ивановна, крещёная казашка из рода аргын, целиком посвятила себя воспитанию детей. Будучи неграмотной, отличалась пытливым умом, жаждой знаний, великолепной памятью и громадной энергией. После окончания Михайловского военного училища в Санкт-Петербурге Корнилов был напрален в Туркестан. Окончил Академию Генерального штаба. С 1898 по 1904 год служил в Туркестане. Переодевшись туркменом, провёл рекогносцировку британской крепости Дейдади в Афганистане. Совершил ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Восточном Туркестане (Кашгарии), Афганистане и Персии – изучал этот край, встречался с китайскими чиновниками и предпринимателями, налаживая агентурную сеть. Итогом стала книга «Кашгария или Восточный Туркестан», ставшая весомым вкладом в географию, этнографию, военную и геополитическую науку. Этот труд был замечен и британскими специалистами.

Первым исследовал «степь отчаяния», совершив поход через нее. На современных описываемым событиям картах Ирана степь обозначалась белым пятном с отметкой «неисследованные земли». Сотни вёрст бесконечных песков, ветра, обжигающих солнечных лучей, пустыня, где почти невозможно было найти воду, а единственной пищей были мучные лепёшки – все путешественники, пытавшиеся изучить этот опасный район, погибали от нестерпимой жары, голода и жажды,. Результатом похода капитана Корнилова стал богатейший географический, этнографический и военный материал. Совершил ряд небольших походов в Памир. В этих экспедициях впервые проявили себя капитаны Корнилов и Юденич. Кроме обязательных для выпускника

Генерального штаба немецкого и французского языков, Корнилов хорошо овладел английским, персидским, казахским и урду. С ноября 1903 по июнь 1904 года находился в Индии с целью «изучения языков и нравов народов Белуджистана». За время этой экспедиции Корнилов посетил Бомбей, Дели, Пешавар, Агру (военный центр англичан). В 1905 году его секретный «Отчёт о поездке в Индию» был опубликован Генеральным штабом. Во время русско-японской войны занимал должность штаб-офицера, затем — начальника штаба 1-й стрелковой бригады. В феврале 1905 году проявил себя отважным военачальником во время отступления от Мукдена, прикрывая отход армии и находясь с бригадой в арьергарде. В 1907—1911 годах Корнилов служил военным агентом в Китае.

Во время Первой мировой войны командовал так называемой «стальной» 48 дивизией, героически проявившей себя на многих фронтах. Попал в австрийский плен, но после третьей попытки бежал. В сентябре 1916 года Л. Г. Корнилов снова отбыл на фронт и был назначен командиром XXV армейского корпуса на Юго-Западном фронте. 2 марта 1917 года, на первом заседании Временного правительства Корнилов был назначен на ключевой пост Главнокомандующего войсками Петроградского военного округа. 5 марта Корнилов прибыл в Петроград. По приказу Временного правительства и военного министра Гучкова Корнилов объявил об аресте императрице и её семье в Царском Селе. Работая совместно с военным министром А. И. Гучковым, Корнилов разработал ряд мер к стабилизизации обстановки, стремясь оградить армию от разрушительного влияния Совета рабочих и солдатских депутатов. В конце апреля 1917 г. генерал Корнилов отказался от должности главнокомандующего войсками петроградского округа «не считая возможным для себя быть невольным свидетелем и участником разрушения армии... Советом рабочих и солдатских депутатов». Его перевели на Юго-Западный фронт командующим 8-й армией — ударной армии фронта, которая под его начальством добилась успехов в ходе июньского наступления войск Юго-Западного фронта. После неудачи июньского наступления Русской армии генерал Корнилов был произведён в генералы от инфантерии, а 7 июля назначен Керенским главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта. Для восстановления дисциплины в армии, по требованию генерала Корнилова Временное правительство ввело смертную казнь. Решительными и суровыми методами, с применением в исключительных случаях расстрелов дезертиров, генерал Корнилов возвратил Армии боеспособность и восстанавил фронт.

Отказал Керенскому в остановке продвижения на Петроград 3-го кавалерийского корпуса под командованием генерала Крымова, которое проводилось по требованию Временного правительства и было санкционировано самим Керенским. Этот корпус был направлен в столицу Правительством, чтобы окончательно (после подавления июльского мятежа), покончить с большевиками и взять под контроль ситуацию в столице. Керенский объявил генерала Корнилова мятежником. Телеграммой без номера и за подписью «Керенский» Верховному главнокомандующему было предложено сдать должность генералу Лукомскому и немедленно выехать в столицу. 29 августа Керенский отдал указ об отчислении от должностей и предании суду «за мятеж»

генерала Корнилова и его старших сподвижников. Одновременно с арестом наиболее активной и государственно-мыслящей группы генералитета, были освобождены Временным правительством большевики, в том числе Троцкий, арестованные за попытку июльского переворота. 9 сентября 1917 года подали в отставку в знак солидарности с генералом Корниловым министры-кадеты.

После октябрьского переворота Корнилов решил идти на Дон походным порядком со своим Текинским полком. Но большевики воспрепятствовали этому. 6 декабря 1917 года Корнилов прибыл в Новочеркасск, где приступил к формированию Добровольческой армии. 9 февраля 1918 г. Корнилов во главе Добровольческой армии выступил в Первый Кубанский поход. «Ледяной поход» проходил в неимоверно тяжёлых погодных условиях и в беспрерывных стычках с красноармейскими отрядами. Несмотря на превосходство красных войск, генерал успешно вывел Добровольческую армию на соединение с отрядом Кубанского правительства. 31 марта 1918 года был убит при штурме Екатеринодара.

Противоречия революции

[1] децимация (от лат. decimatio, от decimus — «(каждый) десятый») — казнь каждого десятого по жребию, высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии. Казнь сопровождалась «мрачными обрядами» (Плутарх) и была, по-видимому, изначально связана с ритуалом человеческого жертвоприношения подземным богам.

[2] МОПР – Международная организация помощи борцам революции. Коммунистическая благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна. Имея отделения в десятках стран мира, оказывала денежную и материальную помощь осужденным революционерам. Создана в 1922 году решением 4-го Конгресса Коминтерна.

[3] Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) – британский писатель и публицист. Автор известных научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. Крупнейший мастер критического реализма. Трижды посещал Россию, где встречался с Лениным и Сталиным.

[4] Ромен Роллан (1866–1944) – французский писатель, общественный деятель, учёный-музыковед. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1915). Друг и поклонник Льва Толстого. Иностранный почётный член АН СССР (29.03.1932).

[5] Дюамель Жорж (1884–1966) – французский прозаик, поэт, драматург, литературный критик, член Французской академии. Родился в небогатой семье. Получил медицинское образование. В 1907 году дебютировал книгой стихов «О легендах, о битвах». Затем были: сборник стихов «Спутники», пьесы «Свет» и «Битва». С 1912 года стал редактором литературного обозрения «Mercure de France». Известность получил как прозаик. Участвовал в Первой мировой войне как военный врач. Описал ее ужасы в сборниках рассказов «Жизнь мучеников» и «Цивилизация». С пацифистских позиций Дюамель осуждал войну в книге стихов «Элегии». Отвергал революционное переустройство общества, защищал «независимость духа» от политики и

подписал «Декларацию независимости духа», составленную Р. Ролланом. В 1927 году Дюамель посетил СССР. Об этой поездке он подробно рассказал в книге «Путешествие в Москву» (1927), которая была встречена во Франции с большим вниманием, как объективное сообщение о СССР человека незаинтересованного. В «Беседе о духе Европы» он советует «принять Советскую Россию в европейскую семью», — сделать из нее буфер между Европой и волнующейся Азией, и тем самым защитить «нашу древнюю цивилизацию» от варварских орд, будто бы надвигающихся из колониальных стран.

[6] Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918–1930). Музыковед, автор книги о Моцарте. Член ЦИК СССР 1–5 созывов, член ЦК ВКП(б) (1925–1930).

[7] УКП — Украинская коммунистическая партия

[8] пауперизация — процесс массового обнищания населения

[9] Форд Генри (1863–1947) — американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру. Завод Форда выпускал дешёвые автомобили в начале эпохи автомобилестроения. Форд известен тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является классическим произведением по научной организации труда. Эта книга стала источником такого политэкономического явления, как «фордизм». В 1918 году Форд приобрёл газету «Дирборн индепендент», в которой с 22 мая 1920 года публиковались антисемитские статьи, а также по частям полный текст «Протоколов сионских мудрецов». В ноябре 1920 года подборка статей из «Дирборн индепендент» была опубликована отдельной книгой под названием «Международное еврейство», которую позднее активно использовала нацистская пропаганда. 16 января 1921 года 119 видных американцев, включая 3 президентов, 9 госсекретарей, 1 кардинала и множество других государственных и общественных деятелей США, опубликовала открытое письмо с осуждением антисемитизма Форда. В 1927 году Форд направил в американскую прессу письмо с признанием своих ошибок.

Генри Форд оказывал серьёзную финансовую поддержку НСДАП, его портрет висел в мюнхенской резиденции Гитлера. Форд был единственным американцем, которого Гитлер с восхищением упоминал в своей книге «Моя борьба». С 1940 года завод Форда, расположенный в Пуасси на оккупированной немцами территории Франции, начал производить авиационные двигатели, грузовые и легковые автомобили, поступавшие на вооружение вермахта. На допросе в 1946 году нацистский деятель Карл Краух, работавший в годы войны в руководстве филиалом одного из предприятий Форда в Германии, заявил, что благодаря тому, что Форд сотрудничал с нацистским режимом «его предприятия не были конфискованы».

Немало Форд помогал СССР. Первый серийный советский трактор — «Фордзон-Путиловец», был создан с помощью специалистов из США на Путиловском заводе. Строительство Горьковского автозавода (1929–1932), реконструкция Московского завода АМО в годы первой пятилетки, подготовка персонала для обоих заводов — были осуществлены при помощи Генри Форда и специалистов «Форд моторс».

Новая Россия

Новое общество

а) Крестьянство

[1] охабень (охобень) — старинная русская верхняя мужская и женская одежда до XVIII века. Охабень был широко распространён среди знати в XV и XVI веках. В конце 1670-х годов охабень вышел из употребления в среде знати, и стал одеждой простолюдинов.

б) Рабочий класс

[1] тейлоризация — американский инженер Ф.У.Тейлор разработал метод научной организации труда, включавший, в частности, экономию физической силы за счёт изгнания лишних, непроизводительных движений, ритмичности, правильного нахождения центра тяжести и устойчивости, экономию времени.

[2] «чубаровщина», по названию Чубаровского переулка в Ленинграде, где в 1926 году двух женщин насиловала группа молодых коммунистов. Тогда этот случай вызвал большой резонанс, так как в этом принимали участие исключительно рабочие и преимущественно члены партии и комсомольцы.

в) Советские служащие

[1] парвеню (от фр. parvenu — добившийся успеха, разбогатевший; выскочка) — человек незнатного происхождения, добившийся доступа в аристократическую среду и подражающий аристократам в своем поведении и манерах.

г) Нэпманы

[1] прекарий — пожалование в древнем Риме земельного участка во временное пользование кому-либо. В феодальной Европе — владение участком земли, который предоставлялся собственником крестьянину на условиях несения какой-либо повинности — барщины или оброка. Используя наречие «прекарно» по отношению к советскому нэпману, Федотов подчеркивает ненадежность существования не только его бизнеса, но и его самого.

Новая культура

[1] «Берлинер Тагеблатт» (нем. Berliner Tageblatt, Берлинский ежедневник) — ежедневная газета, выходившая с 1872 по 1939 в Берлине. Одна из двух наиболее важных немецких либеральных газет этого времени.

«Temps» — ежедневная фанцузская газета.

[2] регионализм – подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, политических и других проблем под углом зрения интересов потребителей того или иного региона.

[3] ИНО – институт народного образования

[4] «шерамур» – одноименный рассказ Н.С.Лескова с подзаголовком «Чрева-ради юродивый», в котором он описывает жизнь русского человека, незаконнорожденного сына помещика и крестьянки. Не получив какого-либо образования, герой рассказа мечется по жизни, пока не обретает покоя в Париже, женившись на хозяйке трактира. Лесков следующим образом характеризует своего героя: «Итак, Шерамур – *герой брюха*; его девиз – *жрать*, его идеал – *кормить другихъ...*»

[5] Покровский Михаил Николаевич Покровский (1868–1932) – русский историк-марксист, советский политический деятель. Лидер советских историков в 1920-е годы, «глава марксистской исторической школы в СССР». Член РСДРП(б) с апреля 1905 года.

[6] Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891) – выдающийся русский языковед, литературовед, философ, первый крупный теоретик лингвистики в России. Член-корреспондент Императорской Санкт-петербургской академии наук.

[7] Венгеров Семён Афанасьевич (1855–1920) – русский литературный критик, историк литературы, библиограф и редактор. В истории русской литературы Венгеров видит «тоску по подвигу», «жажду самопожертвования». Он считал, что русскую литературу создал кающийся дворянин и непривилегированный интеллигент. Что среда, в которой воспитывается и живёт художник, накладывает определённый отпечаток на изображение жизни. Для русских писателей, считал Венгеров, характерен беззаветный героизм, отказ от классовых привилегий, «самозаклание». Под влиянием современного Венгерову народничества сложилась его мысль об «особом пути» развития русской духовной культуры и её высшего выражения – литературы.

[8] «социальный реализм» – преобладающее течение в советский литературе, которое впоследствии в официальном литературоведении получило название «социалистического реализма»

[9] Давид Жак Луи (1748–1825) – французский художник, один из основоположников классицизма в живописи. В 1775–1780 годах обучался во Французской академии в Риме, где изучал античное искусство и творчество мастеров эпохи Возрождения. В 1783 избран членом Академии живописи. Активно участвовал в революционном движении, в 1792 избран депутатом Национального Конвента, голосовал за смерть короля Людовика XVI. Примкнул к радикально-экстремистскому крылу революционеров во главе с Маратом и Робеспьером. Являлся членом Комитета общественной безопасности, подписывал приказы об аресте «врагов революции». В 1794 году после термидорианского переворота был заключён в тюрьму за революционные взгляды. В 1797 году стал свидетелем торжественного въезда в Париж Наполеона и с тех пор стал его сторонником и придворным художником.

[10] Шеллер Александр Константинович (1838–1900) – известный русский писатель, прозаик и поэт. Литературная работа Шеллера началась в 1859,

когда в журнале «Весельчак» стали периодически помещаться фельетоны за подписью А. Релеш. Его прозаические произведения известны под псевдонимом Шеллер-Михайлов.

Омулевский Иннокентий Васильевич (настоящая фамилия Фёдоров) (1836–1883) – российский прозаик и поэт. Родился в семье исправника, окончил шесть классов гимназии в Иркутске. В 1857 году приехал в Санкт-Петербург, учился на юридическом факультете университета. Студентом начал литературную деятельность. Стихотворения Фёдорова печатались в «Современнике», «Русском слове», «Вестнике»; тогда же взял себе литературный псевдоним – Омулевский. Наиболее известен романом, сперва опубликованным в периодике под названием «Шаг за шагом», а затем изданным отдельно под названием «Светлов, его взгляды, его жизнь и деятельность» (СПб., 1871)

[11] Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), прозаик, драматург. Родился в поселке Лебяжье Семипалатинской губернии, в семье сельского учителя. Окончив поселковую школу и проучившись год в павлодарской сельскохозяйственной школе, Иванов пошел работать: сначала помощником приказчика в магазин, затем в типографию наборщиком. Был матросом, грузчиком и даже цирковым артистом. Много странствовал по Сибири, Уралу и Казахстану. С 1915 начал печататься – первым был опубликован рассказ «Сын осени», затем последовали «Золото», «Ненависть» «Сон Ермака», «Две гранки» и рассказ «На Иртыше», который был послан М.Горькому и получил его одобрение.

[12] остранение – термин, введённый В. Б. Шкловским первоначально для обозначения принципа изображения вещей в произведениях Л. Н. Толстого. Шкловский так определяет «приём остранения»: «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание, видения« его, а не „узнавания«». При остранении вещь не называется своим именем, а описывается как в первый раз увиденная.

[13] Леонов Леонид Максимович (1899–1994) – советский писатель. Сын поэта-«суриковца» Максима Леонова из семьи состоятельных московских торговцев; был женат на дочери московского купца и мецената Сабашникова. В 1918 году окончил 3-ю Московскую гимназию. Учился в Московском университете. В 1920 году добровольно вступил в ряды РККА, воевал на Южном фронте, демобилизован в 1921 году. Вернувшись в Москву, профессионально занялся писательской деятельностью. Написал несколько романов: «Барсуки» (1924), «Вор» (1927), «Соть», «Скутаревский», роман «Русский лес» (1953, в котором одним из первых в русской литературе затронул экологическую проблематику), философско-мистический «роман-наваждение» «Пирамида». Автор мемуаров «Литература и жизнь». Лауреат Сталинской премии.

Федин Константин Александрович (1892–1977) – советский писатель, Герой Социалистического Труда (1967). Лауреат Сталинской премии первой степени (1949). Родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина. Не желая идти «в коммерсанты», не раз убегал из дома. В 1911 году поступил в Московский коммерческий институт. В 1914 году был направлен в Германию для усовершенствования немецкого языка. Начало Первой мировой войны (1914–1918) застало и задержало Федина в Германии. Вернувшись в Россию в конце 1918 года, Федин попал в город Сызрань Симбирской губернии. В

феврале 1919 года организовал и редактировал литературно-художественный журнал «Отклики». В Сызрани написал свои первые рассказы: «Счастье» и «Дядя Кисель». Последний был премирован в Москве на конкурсе «РОСТА» и обратил на себя внимание А. М. Горького. С 1921 года участник литературной группы «Серапионовы братья». Заграничные впечатления и поиски «Серапионов» в области «сюжетонаполнения» во многом определили характер первого романа Федина «Города и годы» (1922–1924). В 1933–1935 годах работал над романом «Похищение Европы» — первым в советской литературе политическим романом. Академик АН СССР (1958). Первый секретарь (1959–1971) и председатель правления Союза писателей СССР (1971–1977). Участвовал в травле Б. Л. Пастернака и высылке А. И. Солженицына.

[14] Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) — известный русский писатель. Гимназическое учение его не пошло дальше V класса. Некоторое время учился в харьковской школе живописи. Попытка попасть в Академию Художеств не удалась из-за отсутствия аттестата, но дилетантски Арцыбашев продолжал заниматься живописью. Писать начал очень рано, в 16 лет, в провинциальных газетах. В 1901 году поместил в «Мире Божьем» очерк «Паша Туманов», в 1902 году в «Русском Богатстве» — большой рассказ из народной жизни «Куприян». Известность принесла ему повесть «Смерть студента Ланде», напечатанной в «Журнале для всех» 1904 год. Огромную известность доставил Арцыбашеву его роман «Санин», напечатанный первоначально в «Современном Мире» в 1907 года, а затем быстро разошедшийся в отдельном издании. 2-е издание было конфисковано, и автор привлечен к уголовной ответственности за порнографию. Роман был переведен на многие иностранные языки.

Церковь

[1] Тучков Евгений Александрович (1892–1957) — родился в деревне Теляково Суздальского уезда Иваново-Вознесенской губернии. Получил четыре класса образования, работал в кондитерской и в кожевенно-обувной мастерской, во время Первой мировой войны писарем в тыловых штабах. В революционные Евгений Тучков вступил в партию большевиков. С 1918 года трудился в Ивановс-Вознесенком ВЧК. Был послан в Уфу, где возглавлял отряд ЧОН, боровшийся с Мензелинсским восстанием крестьян. С 1922 по 1929 годы Тучков руководил секретным 6-м «церковным» отделением ОГПУ и одновременно был секретарем Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП (б). Обе структуры были нацелены на окончательное искоренение религии в СССР. В 1939 году был уволен по болезни из органов НКВД. В 40-е годы работал лектором Союза воинствующих безбожников, а вскоре стал его секретарем вплоть до его закрытия после Великой Отечественной войны.

Более подробно о Е. А. Тучкове см. монографию Бычкова С. С. «Большевики против Русской Церкви», М. 2006

[2] имяславие — мистическое учение в православии, заключавшееся в особом почитании имени Божьего. В начале 1900-х гг. получило распространение в русских монастырях на Афоне. Почитание монахами имени Божьего было

расценено российским епископатом как бунт, а имяславие объявлено ересью. В 1913 году монахи-«имяславцы», более 900 человек были высланы в Россию с Афона. Идеи имяславия легли в основу «философии имени», разработанной П. А. Флоренским, С. Н. Булгаковым, А. Ф. Лосевым.

[3] Вениамин, митрополит (в миру Василий Павлович Казанский) (1873–1922) – митрополит Петроградский и Гдовский. Был арестован, судим, а затем расстрелян большевиками 13 августа 1922 года по делу «об изъятии церковных ценностей.» Прославлен в лике святых в 1992 году.

P.S. Сегодняшний день

[1] термидор – 11-й месяц (19/20 июля – 17/18 августа, французского республиканского календаря, действовавшего с октября 1793 по 1 января 1806. Речь идет о термидорианском перевороте во время Великой французской революции, в результате которого была ликвидирована якобинская диктатура. В переносном смысле слово «термидор» означает любую реакцию против завоеваний революции, так, Л. Д. Троцкий называл «термидором» приход к власти И. Сталина.

[2] Беседовский Григорий Зиновьевич (1896–1951) – советский дипломат, первый секретарь советского посольства во Франции, эмигрант-невозвращенец. В автобиографической книге «На путях к Термидору» (1931) писал, что на протяжении всей своей жизни страдал от тяжёлой наследственной психической болезни. С 1923 года находился в составе дипломатической миссии от РСФСР в Польше. Член Правления Американской торговой организации («Амторг») в Нью-Йорке (1925–1926 гг.). В 1926 году назначался неофициальным (из-за отсутствия дипломатических отношений) советским дипломатическим представителем в США. С 1927 года советник советского посольства во Франции. После посещения направленного для специальной беседы к нему чекиста Б. А. Ройзенмана 3 октября 1929 г. бежал из посольства и получил политическое убежище во Франции. Сотрудничал в газетах «Возрождение», «Последние новости». Основатель и редактор газеты «Борьба» (1929–1932 гг.). В годы Второй мировой войны участник французского Сопротивления.

[3] hic incipit dementia – **здесь начинается безумие.**

[4] Иннокентий III (1161–1216) – папа Римский с 1198 по 1216 годы. Родился в Италии. Сын графа Тразимондо, племянник папы Климента III. Учился богословию в Парижском университете и праву в Болонском. Вскоре после избрания подчинил римский муниципалитет власти папы (префект стал папским чиновником). Инициировал 4-й крестовый поход (1199–1204), который в 1204 году положил начало Латинской империи в Константинополе. Покровительствовал созданию в 1198 году в Палестине Тевтонского ордена. Инициировал крестовый поход против альбигойцев (1208). Тогда же ввёл церковную инквизицию с миссией против альбигойцев, назначив её главой испанца Доминика де Гусмана. В 1212 году состоялся крестовый поход детей для освобождения Палестины от власти мусульман. Поход окончился плачевно – большая часть детей погибла в пути от недоедания и болезней.

В 1215 году созвал Латеранский IV Собор, который принял много важных решений. В Восточной Европе папа Иннокентий III в 1202 году санкционировал основание Ордена меченосцев. В 1215 году организовал крестовый поход немецких рыцарей против пруссов. Добился расширения Папской области. В 1209 году короновал императором Священной Римской империи Оттона, герцога Саксонского. Однако уже в ноябре 1210 года отлучил его от Церкви.

[5] Сергий, митрополит (Страгородский Иван Николаевич) (1867–1944) – епископ Православной Российской Церкви; с 8 сентября 1943 года патриарх Московский и всея Руси. С декабря 1925 до октября 1937 года – Заместитель Патриаршего Местоблюстителя (митрополита Петра (Полянского)); с октября 1937 года – Патриарший Местоблюститель. С мая 1927 года стал на путь безусловной лояльности политическому режиму СССР, что вызвало весьма противоречивую реакцию в Церкви как в СССР, так и за рубежом. Его «Декларация» стала причиной многих расколов снутри Церкви.

Проблемы будущей России

Предпосылки

Хозяйство

[1] Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – высший советский хозяйственный орган со статусом наркомата в 1917–1932 гг. Учрежден при СНК декретом ВЦИК и СНК от 2 (15) декабря 1917 для организации и управления всего народного хозяйства и финансов. В состав ВСНХ входили отраслевые ведомства (Главсахар, Главнефть, Центрочай и т. д.). На местах создавались губернские и уездные совнархозы. В период 1963–1965 гг. в СССР также существовал Высший совет народного хозяйства СССР Совета Министров СССР (ВСНХ СССР) – высший государственный орган по руководству промышленностью и строительством в стране.

[2] реституция (лат.) – в международном праве – форма материального возмещения ущерба в результате неправомерного международного акта путём восстановления состояния, существовавшего до его совершения. В гражданском праве – последствие недействительности сделки, заключающееся в возврате сторонами всего полученного по сделке. При невозможности вернуть товарные ценности в натуральном виде возвращается их стоимость в денежном выражении.

[3] автаркия (греч.) – самообеспеченность, самодостаточность. Система замкнутого воспроизводства сообщества, с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой; экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. Автаркия направлена на создание замкнутой, независимой экономики, способной самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Развитие автаркии в стране, по мнению некоторых экспертов, идёт вразрез с закономерностями развития мировой экономики, что приводит к хозяйственной отсталости страны.

[4] Дантон Жорж Жак (1759–1794) – один из основателей Первой французской республики, сопредседатель клуба кордельеров, министр юстиции времён Французской революции, первый председатель Комитета общественного спасения.

[5] братья Гримм (Якоб, 1785–1863 и Вильгельм, 1786–1859) – немецкие лингвисты, собиратели и исследователи немецкой народной культуры.

[6] Смит Адам (1723–1790) – шотландский экономист, философ-этик; один из основоположников современной экономической теории.

Национальная проблема

[1] пантюркизм (синоним – пантуранизм) – культурное и политическое течение, распространенная в государствах, населенных тюркскими народами, в основе которой лежат идеи о необходимости их политической консолидации на основе этнической, культурной и языковой общности. Сформировалось во второй половине XIX века.

[2] рецепция (лат.) – в теории права означает заимствование или воспроизведение. В истории права употреблялся для обозначения заимствования, восприятия какой-либо национальной правовой системой принципов, институтов, основных черт другой национальной правовой системы.

[3] Мазепа Иван Степанович (1639–1709) – государственный и политический деятель. С 1687 года гетман Войска Запорожского Левобережной Украины, а с 1704 года, после объединения Левобережной и Правобережной Украины, – гетман Войска Запорожского обеих сторон Днепра. Второй в российской истории кавалер ордена Андрея Первозванного. Князь Священной Римской империи с 1 сентября 1707 года. Длительное время был одним из ближайших сподвижников Петра I и много сделал для экономического подъёма Левобережной Украины. За воинские заслуги королём Речи Посполитой Августом Сильным награждён польским орденом Белого Орла. В 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII, почти за год до его разгрома русской армией. За измену присяге предан гражданской казни с лишением титулов и наград. Русская православная церковь предала Ивана Мазепу анафеме. После поражения Карла XII под Полтавой бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.

[4] mania grandiosa (лат.) – мания величия.

[5] Minderwertigkeitskomplex (нем.) – комплекс неполноценности.

Политическая проблема

а) диктатура

[1] в виду многозначности слова «демократия» приходится уптреблять его в трех смыслах: 1. Существующего в Европе парламентарно-демократического режима; 2. Свободного, правового государства; 3. Народовластия вообще, во всем разнообразии его исторических форм.

Прим. Г. П. Федотова

б) Монархия или республика?

[1] Вандейский мятеж иначе «Вандейская война» — вооруженное контрреволюционное выступление крестьян, дворян и духовенства из западно-французского департамента Вандея под католико-монархическими лозунгами весной 1793 года. Одной из причин восстания называют принудительный набор в революционную армию. В марте 1793 в городке Шоле молодежь расправилась с командиром местной национальной гвардии. Спустя неделю противники рекрутского набора столкнулись с республиканцами в Машекуле: счет жертв среди последних пошел на сотни. На берегах Луары возник отряд повстанцев, возглавили который торговец полотном Жак Кателино и лесничий Ж.-Н. Стоффле. Вскоре, в середине марта, в стычке с ним была разбита небольшая республиканская армия в 3 тыс. человек. К руководству вооруженных отрядов начали привлекать местных дворян. Вандейцы являлись сторонниками короля и католицизма. Армия вандейцев называла себя «Королевской католической армией». В июне войска вандейцев заняли город Сомюр, открыв себе дорогу на Париж, но идти на столицу не осмелились. Напротив, они повернули на запад, вошли в Анжер, покинутый властями и защитниками, и в конце июня предприняли осаду Нанта, рассчитывая на помощь англичан. Нант удалось взять.

В ходе подавления восстания и последующих карательных операций против населения Вандеи были без суда убиты более 10000 человек обоих полов, в том числе родственники и члены семей участников восстания, священнослужители, монахи и монахини. Из фактов геноцида населения Бретани наиболее известны «Нантские утопления», заменившие собой казни на гильотине. Впоследствии сопротивление вандейцев стало символом борьбы для белого движения в России.

[2] Бурбоны — европейская династия, младшая ветвь королевского дома Капетингов, происходящая от Робера (1256–1317, граф Клермон, по жене сир де Бурбон), младшего сына Людовика IX Святого. Вступили на французский престол с пресечением другой ветви Капетингов — династии Валуа — в 1589 (в лице Генриха IV Наварского). Династия является, вероятно, не только древнейшим, но и самым многочисленным из европейских монарших домов.

[3] младороссы — эмигрантское русское националистическое движение 1920-х—1940-х годов. В 1923 году на Всеобщем съезде национально мыслящей русской молодёжи, прошедшем в Мюнхене, было решено образовать Союз «Молодая Россия». Его лидером стал А. Л. Казем-Бек. Позднее, в 1925 году, организация была переименована в Союз младороссов. Младороссы поддерживали великого князя Кирилла Владимировича, как претендента на российский престол. Он, в свою очередь, ввел в партийное руководство младороссов своего представителя — великого князя Дмитрия Павловича. В составе движения младороссов было несколько тысяч молодых национал-революционеров. Отделения Союза («очаги») были созданы в Париже и Нью-Йорке. Движение выпускало периодические издания «Бодрость!», «Младоросская искра», «К молодой России», «Казачий набат» и «Казачий путь». Формой младороссов были синие рубашки. В период Второй мировой

войны младороссы воевали на стороне Франции, участвовали в движении Сопротивления. В 1942 году А. Л. Казем-Бек официально объявил о роспуске партии младороссов. По характеру движение младороссов было националистическим. Идеалом государственного устройства считалась идеократическая самодержавная монархия. Образцами русского самодержца считались «царь-труженик» Пётр I и «царь-освободитель» Александр II. Более подробно см. монографию французской исследовательницы Мирей Массип «Истина – дочь времени»,М.2010

[4] Марков Николай Евгеньевич (Марков Второй) (1866–1945) – русский политик и публицист. Один из учредителей Курской народной партии порядка, которая впоследствии вошла в Союз русского народа. В 1905–1917 годах издавал газету «Русское знамя»; с осени 1915 года – также «Земщину». Депутат III и IV Государственной думы от Курской губернии. Монархист, один из лидеров черносотенцев. С 1910 года председатель главного совета «Союза Русского Народа». С 1922 года связан с семьей великого князя Кирилла Владимировича, после его смерти в 1938 году – безусловный сторонник его сына великого князя Владимира Кирилловича. Проявлял интерес к фашизму. В Германии встречался с Александром Римским-Корсаковым, вместе с ним участвовал в съезде монархистов в Рейхенгалле, был избран председателем Высшего монархического совета. В 1935 году в Эрфурте вступил в русскую секцию нацистской «Мировой службы» (так называемого «антисемитского интернационала»). Начиная с 1936 года редакторовал русский выпуск еженедельника «Мировая служба. Международная корреспонденция по просвещению в еврейском вопросе», который издавался Ульрихом Флейшгауэром. Участвовал в создании антисемитской энциклопедии «Сегила Вери». На протяжении 1930-х годов публиковал в Германии книги и статьи антисемитского содержания на русском языке («История еврейского штурма России», «Лик Израиля»). Выступал поборником «окончательного решения еврейского вопроса» и сторонником войны с СССР.

[5] contrat social – «общественный договор», социально-экономическая теория, объясняющая происхождение гражданского общества, государства, права как результат соглашения между людьми. Общественный договор означает соглашение управляемыми на наборе правил, по которым ими управляют. Теория общественного договора гласила, что легитимный государственный орган должен быть создан благодаря согласию граждан. Различные сторонники теории общественного договора по-разному пытаются объяснить, почему в разумном личном интересе человека добровольно отказаться от свободы, которой каждый обладает в естественном состоянии, чтобы получить преимущества политического порядка. Томас Гоббс (1651), Джон Локк (1689) и Жан-Жак Руссо (1762) разрабатывали теорию общественного договора. Однако, Гоббс защищал авторитарную монархию, Локк либеральную монархию, а Руссо защищал либеральный республиканизм. Идея «общественный договора» использовалась в Декларации Независимости США.

6 – гвельфы – политическое течение в Италии XII–XVI веков, представители которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи в Италии и усиление влияния папы Римского. Получили

название от Вельфов, герцогов Баварии и Саксонии – соперников германской династии Штауфенов. Враждовали с гибеллинами.

в) Советская система

[1] pays legal (франц.) – политические права

[2] куриальность – речь идет о куриальной системе выборов, при которой существует ряд разрядов избирателей, разделенных по имущественному, расовому, и национальным признакам. Подобная система накладывает немало ограничений на избирателей и исключает из избирательной борьбы значительную часть населения. Куриальная система обеспечивает большинство мест в парламенте наиболее состоятельным гражданам.

[3] косвенная система выборов – в некоторых Конституциях установлена избирательная система, в силу которой избиратели выбирают не прямо членов парламента, а сперва избирателей, а последние уже совершают окончательный выбор. Избирательное право, а вместе с тем высшая власть сохраняется за народом, но он пользуется последней через посредство сравнительно небольшого числа лиц, менее склонных, чем народная масса, увлекаться страстями. (см. более подробно исследование Д. С. Милля «О представительном правлении»)

г) Традиция и революция

[1] «монтаньяры», «гора» – политическая партия, образовавшаяся во время Великой французской революции. С момента открытия Законодательного собрания 1 октября 1791 года монтаньяры заняли верхние ряды левой стороны, откуда и произошло название их партии – Гора. В дальнейшем в Конвенте партия эта состояла из парижских депутатов, вождём её был Дантон. К ней примыкали Марат, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн, Мерлен из Дуэ, Базир, Шабо. В Конвенте монтаньяры были очень могущественны, несмотря на малочисленность. Они искали поддержки в народной толпе и приобрели господство в парижском клубе якобинцев, удалив из него жирондистов. В борьбе жирондистов и монтаньяров последние одержали верх: жирондисты были выставлены в глазах народа как федералисты. После решительной победы над жирондистами 2 июня 1793 года монтаньяры обнародовали Конституцию, которая никогда не была приведена в исполнение. В Комитет общественного спасения, созданный 6 апреля, вошли после падения жирондистов крайние монтаньяры. Восстановленные против Робеспьера казнью Дантона монтаньяры способствовали перевороту 9 термидора, но реакция скоро обратилась против них самих.

[2] Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – общественный деятель, историк, публицист, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, автор многотомного издания «Русская история в жизнеописаниях её деятелей», исследователь социально-политической и экономической истории России, в особенности территории современной Украины, называемой Костомаровым южною Русью и южным краем.

Щапов Афанасий Прокофьевич (1831–1876) — сибирский историк, публицист, писатель. Родился в семье сельского дьячка и крестьянки-бурятки. В 1841 году поступил в Иркутское уездное духовно-приходское училище. Детству Щапова посвящена первая часть романа «Магистр» М. В. Загоскина. В 1846 году за блестящие успехи Щапов был переведен в духовную семинарию, а после её окончания в числе лучших учеников направлен в Казанскую духовную академию, где учился в 1852–1857 годах. В сентябре 1856 года начал читать лекции по русской истории в Казанской духовной академии. 17 сентября 1860 года Щапов был избран профессором кафедры русской истории в Казанском университете. Щапов открыто заявлял о «земском народосветии», главным проявлением которого должно стать областное самоуправление во главе с областными советами. Он состоял членом тайного студенческого общества «Библиотека казанских студентов», стал автором его программы. 16 апреля 1861 года Щапов выступил на панихиде по крестьянам села Бездна Спасского уезда Казанской губернии, убитым во время крестьянских волнений. 30 апреля по личному распоряжению царя за эту речь был арестован. В мае 1861 года, будучи под следствием, обратился к Александру II с двумя посланиями, содержащими программу общероссийских реформ, в которой предложил создать региональные органы власти — областные земские советы. Был освобождён из-под следствия в августе 1861 года, лишён кафедры и приговорён к двухнедельному аресту. Синод приговорил его к ссылке в Соловецкий монастырь, однако объяснительная записка Щапова своей прямотой понравилась министру внутренних дел Валуеву, который взял его на поруки. Приговор был отменен, а Щапов получил назначение в Министерство внутренних дел и возможность работать с архивными документами по делам раскола. Но канцелярская работа опротивела ему, и он оставил службу, занявшись литературной деятельностью. Его статьи публиковались в столичных журналах «Отечественные записки», «Дело», «Век». С 1862 году за Щаповым был установлен секретный надзор в связи с имевшимися сведениями о его отношениях с «лондонскими пропагандистами». В 1864 году он был выслан «по неблагонадежности» на свою родину, в село Ангу, откуда позже переведён в Иркутск. Летом 1865 года Щапов был арестован по делу «Общества Независимости Сибири» и освобождён от ответственности лишь 20 февраля 1868. Он состоял в правлении Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества, участвовал как этнограф в экспедициях в Туруханский край, в Верхоленский и Балаганский округа Иркутской губернии.

Организация культуры

[1] гутировать — (разг. устар.) смаковать.

[2] россика — термин, использующийся в отечественной истории искусства для обозначения западноевропейских художников, работавших в России в XVIII в. — 1-й пол. XIX в. по заказам императорского двора. В Европе этот термин используется в более широком значении: в широком смысле «зарубежная Россика» — это совокупность всех зарубежных материалов (в том числе эмигрантских), имеющих отношение к России.

[3] communis opinio (лат.) — общепринятая точка зрения

[4] софократия или ноократия (греч.) — вид политического устройства или социальной системы общества, которая «основана на приоритете человеческого разума». По определению Платона ноократия или софократия представляет собой «аристократию мудрости» и должна стать будущей политической системой для всего человечества, заменив со временем иные формы правления, включая демократию (трактуемую им как «власть толпы»).

В XX столетии при формировании ноосферы Земли согласно представлениям академика В. И. Вернадского и французского философа Пьера Тейяра де Шардена должна сформироваться софократия. В широком смысле — совокупность теоретических философских концепций, обосновывающих эволюционную необходимость перехода от демократии к более совершенной форме государственного правления. Власть интеллектуальной элиты с рациональным мышлением, выступающей в роли главной направляющей силы научно-технического прогресса и социально-экономического процветания общества.

Церковь

[1] «банька 40 мучеников» — святые 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся. В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство. В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из них, Кирион, сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы». Агриколай смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков.

Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные». На следующий день суд перед мучителем и допрос повторился, воины же оставались непреклонными.

Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на

всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один, по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я — христианин!» — и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».

Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.

Падение Советской власти

Впервые статья была опубликована в журнале «Новый град» № 5 за 1932 год.

[1] Дмитриевский Сергей Васильевич (1893–1964) — российский революционер, советский дипломат. Окончил Петербургский университет. До революции 1917 года член партии эсеров. В 1919 году вступил в РКП(б). В 1923 году генеральный секретарь советского торгпредства в Берлине. В 1924 году первый секретарь советского посольства в Афинах. В том же году был назначен управляющим делами Народного комиссариата иностранных дел. С 1927 года советник советского посольства в Стокгольме, откуда в 1930 году бежал и стал невозвращенцем. В эмиграции стал участником русских националистических организаций. Написал книги, в которых отстаивал идеи «национал-коммунизма» («национал-большевизма»). Особое место в трудах Дмитриевского занимает вопрос о Сталине, которого тот считал выразителем «национал-коммунизма», создающим почву для рождения новой Российской империи. Книги Дмитриевского имели большой резонанс в эмиграции, оказав влияние на евразийцев и младороссов. В 1940 году Дмитриевский обратился к Рейнхарду Гейдриху с призывом не препятствовать естественному перерождению СССР в национал-социалистический режим. Это вызвало подозрения Гейдриха в том, не является ли Дмитриевский советским агентом, цель которого — предотвратить военные действия Германии против СССР. Троцкий в своей книге «Сталин» приводит следующую характеристику Дмитриевского: «Дмитриевский — бывший советский дипломат, шовинист

и антисемит, временно присоединившийся к сталинской фракции в период её борьбы против троцкизма, затем перебежавший за границей на сторону правого крыла белой эмиграции. Замечательно, что и в качестве открытого фашиста Дмитриевский продолжает высоко ставить Сталина, ненавидеть его противников и повторять все кремлёвские легенды.»

[2] Сырцов Сергей Иванович (1893-1937) – советский государственный деятель, третий председатель СНК РСФСР (1929–1930). В 1912 г. поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института императора Петра Великого. В 1916 году был исключен. Большевик с 1913 года. В 1914 году член Невского райкома. Был арестован и приговорен к 9 месяцам тюрьмы. После Февральской революции возвратился из ссылки в Петроград. Направляется ЦК в Ростов-на-Дону. Участник Октябрьской революции. В октябре 1917 года – председатель Ростово-Нахичеванского совета и военно-революционного комитета. В ноябре 1917 – феврале 1918 гг. – председатель Донского областного ВРК по борьбе с белоказаками. Руководил карательными экспедициями против казачьего населения Дона. В годы Гражданской войны военный комиссар 12-й армии Красной Армии. Один из организаторов «расказачивания». В 1920-21 гг. секретарь Одесского губкома РКП(б). В 1921–1926 гг. зав. отделом ЦК РКП(б). С 1924 г. – заведующий Агитпропотделом ЦК. Член Президиума Комакадемии, редактор журнала «Коммунистическая революция». В 1926–1929 гг. секретарь Сибирского крайкома ВКП(б). Член ЦК ВКП(б) в 1927–1930 гг. С мая 1929 года – председатель СНК РСФСР. В 20-е годы Сырцов активно боролся как против троцкистско-зиновьевской оппозиции, так и против «правого уклона», но с 1929 г. начал открыто критиковать Сталина. В 1929 г. на заседании СНК РСФСР он подверг критике практику осуществления и темпы индустриализации, а в 1930 году поставил вопрос о перемещении Сталина с поста генсека. Сырцов называл Сталина «тупоголовым человеком, который ведёт страну к гибели».

В апреле 1930 года стал во главе так называемого «право-левацкого блока». Сырцов создал координационный центр (И. С. Нусинов, В. А. Каврайский, А. И. Гальперин, А. Л. Курс), который блокировался с группой члена ЦК партии В. В. Ломинадзе, в руководящее ядро которой входили Л. А. Шацкин и В. Д. Резник. Они хотели поставить вопрос о смещении Сталина на ближайшем пленуме, но один из руководителей группы Ломинадзе выдал их планы Сталину. Поэтому 3 ноября 1930 года Сырцов был снят с должности и одновременно выведен из состава Политбюро и ЦК ВКП(б)и направлен на партийную работу на Урал. С 1931 года заместитель председателя правления акционерного общества «Эксполес», управляющий трестом. В 1935–1937 гг. директор завода в г. Электросталь. В 1937 году арестован. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорён к расстрелу.

Рютин Мартемьян Никитич (1890–1937) – советский партийный деятель, один из немногих, кто пытался организовать реальное сопротивление И. Сталину. В революционном движении с 1912 года, член РСДРП с 1913 года. В годы Первой мировой войны окончил Иркутскую школу прапорщиков, служил в Харбине. В 1918–1919 годах командующий войсками Иркутского Военного округа, с 1920 года на партийной работе в Сибири и Дагестане.

С марта 1924 года в Москве. В 1930 году член Президиума ВСНХ; кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1924—1927 годах Рютин активно поддерживал Сталина в борьбе с Троцким и его сторонниками, с «новой» и объединённой «троцкистско-зиновьевской оппозицией», возглавлял бригады боевиков, разгонявших оппозиционные собрания и демонстрации. Однако в 1928 года Рютин, как и многие московские партработники, не принял сталинскую политику в деревне и методы индустриализации страны. В отличие от лидеров оппозиции, после их поражения не отрёкся от своих взглядов, искал в партии единомышленников и осенью 1930 года после доноса был исключен из ВКП(б). 13 ноября был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, несколько месяцев провёл в Бутырской тюрьме. 17 января 1931 года Особое совещание при ОГПУ оправдало Рютина за недоказанностью предъявленных ему обвинений.

После освобождения работал экономистом на предприятии «Союзэлектро». В 1932 году вместе с В. Н. Каюровым, М. С. Ивановым, П. А. Галкиным и ещё несколькими большевиками с дореволюционным стажем организовал, точнее, провозгласил «Союз марксистов-ленинцев» и попытался объединить вокруг него все оппозиционные силы. В обращении «Ко всем членам ВКП(б)» (1932) Рютин обвинил И. В. Сталина в извращении ленинизма, узурпации власти. Благодаря доносу одного из членов «Союза» небольшая организация Рютина была арестована ОГПУ в сентябре 1932 года. Рютин на допросах держался исключительно мужественно. Особым совещанием при ОГПУ был приговорён к смертной казни, но за него заступились Киров, Орджоникидзе, Косиор, Чубарь. 11 октября 1932 г. коллегией ОГПУ СССР приговорен к 10 годам тюремного заключения. Летом 1936 года был возвращён в Москву в связи с готовившимися тогда Московскими процессами. Содержался во внутренней тюрьме НКВД. Однако отказался отвечать на вопросы следователя и подписывать заранее заготовленные «протоколы допросов» несмотря на жестокие пытки. Пытался покончить с собой. 10 января 1937 Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Рютина к смертной казни. Расстрелян в тот же день. Вместе с Рютиным были расстреляны также и 11 ранее репрессированных его сторонников.

[3] Трудовая крестьянская партия (ТКП) — упоминаемое в материалах органов государственной безопасности СССР (ОГПУ и НКВД СССР) в конце 20-х — 40-х годах, но в действительности не существовавшее «антисоветское политическое образование» в СССР в конце 20-х годов XX века. Обвинения в принадлежности к этой партии были частью сфабрикованных дел в отношении неугодных сталинскому режиму политических, общественных и научных деятелей. По одной из версий название «Трудовая крестьянская партия» было придумано следователями для того, чтобы связать обвиняемых с организацией Трудовая крестьянская партия — «Крестьянская Россия», которая была создана в 1921 году в Праге С. С. Масловым. В 1930 году по «делу Трудовой крестьянской партии» были арестованы заместитель Наркома земледелия СССР Андрей Берзин, экономисты Николай Кондратьев, Александр Чаянов, Лев Литошенко. Николай Иванович Вавилов ходатайствовал за арестованных по этому делу, что позже послужило поводом для обвинения

его в «руководстве антисоветской шпионской организацией „Трудовая Крестьянская партия«» в 1941 году.

[4] ...Р.Д. объединения... – Русский Дом имени императора Николая II в Белграде (1933–1941). Одно из монархических объединений в русской эмиграции

[5] аватар (санскр.) – термин в философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения Бога из духовного мира в более низкие сферы бытия. Хотя на русский язык слово «аватар» обычно переводится как «воплощение», точнее его можно перевести как «явление», так как концепция аватары отличается от идеи воплощения Бога «во плоти» в христианстве. Чаще всего термин «аватара» ассоциируется с Вишну и его десятью основными аватарами, наиболее популярными из которых являются Кришна и Рама. Список десяти аватар Вишну приводится в ряде Пуран. В «Бхагавата-пуране» содержится описание 22 основных аватар Вишну и утверждается, что аватар Вишну бесчисленное множество. Аватары играют центральную роль в традиции вайшнавизма – преобладающем направлении индуизма. Одно из самых ранних упоминаний об аватарах содержится в «Бхагавад-гите», где Кришна описывает основные функции аватар – восстановление принципов дхармы, поддержание социального и космического порядка.

[6] «Освобождение» Струве – русский двухнедельный журнал, нелегальный орган либерального направления. Издавался за границей, сначала в Штутгарте (No 1, 18 июня (1 июля), 1902 – No 56, 7(20) сент. 1904), а затем в Париже (No 57, 2(15) окт. 1904 – No 78-79 5(18) окт. 1905), под редакцией П. Б. Струве. Основан группой земцев-либералов. Журнал подготовил создание «Союза освобождения», органом которого он стал с лета 1903 года. Тематика статей носила в основном политический характер. Был опубликован ряд секретных правительственных документов. Наиболее актуальный материал публиковался в «Листке «Освобождения»» (№ 1, Штутгарт, 11(24) февр. 1904 – № 26, 20 марта (2 апр.) 1905). Редакция «Освобождения» выпустила две книжки со статьями и материалами по истории общественного движения в России, ряд документальных сборников.

Социальный вопрос и свобода

Впервые статья была опубликована в журнале «Современные записки» № 47 за 1931 год.

[1] Wille zur Machi (нем.) – воля к власти

[2] Freiheit eines Christenmenschen (нем.) – свобода христианина

[3] Бентам Иеремия (1748–1832) – английский социолог, юрист, один из теоретиков политического либерализма, родоначальник утилитаризма. Учился в Вестминстерской школе, Квинз-колледже Оксфордского университета. Этическое учение изложено им в книге «Деонтология, или наука о морали» (т. 1–2, 1834). В основе этики Бентама лежит «принцип пользы», согласно которому действия людей, их отношения должны получать моральную оценку по приносимой ими пользе. Критерием морали выступает «достижение пользы, выгоды, удовольствия, добра и счастья». Резко критиковал теорию

общественного договора Ж. Ж. Руссо как пробуждающую дух восстания, однако защищал требования реформы английского парламента на основе расширения избирательного права. Отстаивал идею свободной торговли и ничем не стеснённой конкуренции, что, по его мнению, должно обеспечить спокойствие общества, справедливость, равенство. Был сторонником свободы слова, отделения церкви от государства, женского равноправия, права на развод, запрещения рабства, запрещения пыток и телесных наказаний, отмены наказания для гомосексуалистов. Выступал за права животных.

[4] Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий философ, юрист, экономист и политический деятель. Родился в Бреслау в еврейской купеческой семье, обладавшей некоторым достатком. В середине 1840-х гг. Лассаль в Париже сблизился с Гейне, по достоинству оценившим его личность. В 1848 году был довольно видным деятелем радикальной демократической партии в Прирейнской Пруссии. Сотрудник радикальной «Neue Rheinische Zeitung», редакторами которой были Маркс и Энгельс, он объявил себя последователем их идей. Преданный суду по обвинению в государственной измене, но оправданный присяжными, он был привлечён к суду исправительной полиции и присуждён к тюремному заключению. В 1858 году издал свой труд о Гераклите, были опубликованы небольшие литературные работы. В 1862 году Лассаль выступил перед берлинскими рабочими со знаменитой речью: «Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия». По предложению комитета для созыва всеобщего германского конгресса рабочих Лассаль написал «открытое письмо», резюмирующее социально-политическую программу. Комитет принял эту программу, и в мае 1863 года был основан всеобщий Немецкий рабочий союз, заложивший основы СДПГ. Лассаль был избран его президентом. По своим политическим взглядам Лассаль был сторонником республиканской формы, пангерманизма и противником федеративного начала. Считал, что все немецкие земли должны объединиться (не исключая и австрийских) в единую республику. Лассаль считал рабочий класс носителем чистой идеи государства, как нравственного единства индивидуумов, воспитывающего человечество для свободы. Он продвинул вперед немецкое рабочее движение, положив начало организации рабочих как самостоятельной политической партии и дав им ясную программу, явившись основателем новейшей немецкой социал-демократии.

[5] Сен-Симон Анри (1760–1825) — французский философ, социолог, социальный реформатор, основатель школы утопического социализма. Главные произведения Сен-Симона: «Письма женевского обитателя к современникам» (1802 г.), «Катехизис промышленников» (1823 г.), «Новое христианство» (1825 г.). Идеи французского философа-утописта способствовали формированию коммунистической идеологии. Система сен-симонизма была создана не им, а его учениками. Во всех сферах он лишь намечал новые направления. Своим учением об обществе Сен-Симон связал свое имя с первой стадией эволюции позитивизма, а взгляды, высказанные им в последние годы относительно рабочего класса, сделали его родоначальником социализма.

[6] Мор Томас (1478–1535) — английский мыслитель, писатель, святой Католической церкви. Начальное образование получил в школе Св. Антония.

Продолжил своё образование в Оксфорде, где учился у Томаса Линакра и Вильяма Гросина, знаменитых юристов того времени. В 1494 году он вернулся в Лондон и в 1501 году стал барристером. В 1504 году Мор был избран в Парламент. В 1520 реформатор Мартин Лютер опубликовал три работы: «Обращение к христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пленении церкви», «О свободе христианина». В этих работах он изложил свое учение о спасении через веру, отверг таинства и другие католические практики и указал на злоупотребления и пагубное влияние Римско-католической церкви. В 1521 году Генрих VIII ответил на критику Лютера работой писателя, известного как Assertio, написанной и отредактированной Мором. За эту работу папа Лев X наградил Генриха VIII за его усилия в борьбе с ересью Лютера. Мартин Лютер ответил Генриху VIII в печати, называя его «свиньёй, болваном и лжецом». По просьбе Генриха VIII Мор составил опровержение: Responsio Lutherum. Оно было опубликовано в конце 1523 года. В Responsio Мор защищал верховенство папы, а также таинство других церковных обрядов.

Первым деянием Мора в Парламенте стало выступление за уменьшение сборов в пользу короля Генриха VII. В 1510-е годы Мор привлёк к себе внимание короля Генриха VIII. В 1517 году он помог усмирить Лондон, взбунтовавшийся против иностранцев. В 1518 году Мор становится членом Тайного Совета. В 1520 году он был в составе свиты Генриха VIII во время его встречи с королём Франции Франциском I неподалёку от города Кале. В 1521 году к имени Томаса Мора добавляется приставка «сэр» — он был посвящён в рыцари за «заслуги перед королём и Англией». Был казнен королем Генрихом VIII за то, что воспротивился его желанию разорвать отношения с Католической Церковью и папой Римским, который не дал благословения укоролю на очередной брак.

[7] Кампанелла Томмазо (1568–1639) — итальянский философ и писатель, один из первых представителей утопического социализма. Родился в Калабрии, в ранней молодости вступил в доминиканский орден, но, проявив свободомыслие в религиозных вопросах, должен был оставить родину. В 1598 году, вернувшись в Неаполь, был схвачен вместе с несколькими монахами и отдан под суд по обвинению в колдовстве и в составлении заговора. Подвергнутый неоднократной пытке, он был приговорен инквизиционным трибуналом к пожизненному заключению и провёл в тюрьме 27 лет, пока благодаря вмешательству папы Урбана VIII не был выпущен на свободу в 1626 году. Последние годы Кампанелла жил во Франции, где кардинал Ришелье назначил ему пенсию. Большая часть сочинений Кампанеллы написана им в тюрьме и издана впоследствии стараниями его ученика, Адами. Свои политические и экономические взгляды Кампанелла излагает в «Civitas solis», «Questiones sull' optima republica» и «Philosophia realis». Их отличительная черта — смесь фантастического элемента со здравым, реальным представлением о жизни. «Civitas solis» изображает в форме романа идеальную страну — город Солнца.

Население этого города-государства ведет «философскую жизнь в коммунизме», то есть имеет все общее, не исключая и жен. С уничтожением

собственности уничтожаются в городе Солнца и многие пороки, исчезает всякое самолюбие и развивается любовь к общине. Управляется народ верховным первосвященником, которого называют Метафизиком и выбирают из числа мудрейших и ученейших граждан. В подмогу ему учрежден триумвират Могущества, Мудрости и Любви – совет трёх подчиненных Метафизику руководителей всей политической и общественной жизни страны.

[8] Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805–1875) – немецкий экономист, один из основоположников теории «государственного социализма». Основные принципы экономической теории Родбертуса заключались в следующем: установление нормального рабочего дня и нормального в каждом производстве дневного урока, а затем расценка всех продуктов по количеству нормального рабочего времени; установление особого трудового денежного знака, удостоверяющего количество исполненного нормального труда, устройство общественных магазинов, где эти трудовые деньги разменивались бы на продукты соответственно трудовой стоимости последних. В своих работах он не уточняет, какой смысл он вкладывает в понятие «нормальный».

[9] Рёскин Джон (1819–1900) – английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт. Оказал большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины XIX – начала XX века. В юности много путешествовал. Поступил в Оксфордский университет, и впоследствии читал там курс искусствоведения. Среди его работ наиболее известны «Лекции об искусстве», «Художественный вымысел: прекрасное и безобразное», «Английское искусство», «Современные художники», а также «Природа готики». Рёскин многое сделал для укрепления позиций прерафаэлитов. В качестве идеала он выдвигал средневековое искусство таких мастеров Раннего Возрождения, как Перуджино, Фра Анжелико, Джованни Беллини.

Преподавая рисование в Рабочем колледже Лондона, Рёскин попал под влияние Томаса Карлейля. Его начинают интересовать идеи преобразования общества, а не только теория искусства. В книге «Последнему, что и первому» он выступает с критикой капитализма с позиций христианского социализма, требуя реформ в образовании, всеобщую занятость и социальную помощь инвалидам и людям преклонного возраста. В 1869 году был избран первым почётным профессором искусств Оксфордского университета. Рёскин приобрёл большую популярность в среде ремесленников и рабочего класса –выпуская с 1871 по 1886 годы ежемесячное издание «Письма к рабочим и труженикам Великобритании».

[10] градуация (лат.). – деление на градусы.

[11] такое же облачко несло когда-то для Илии... – ссылка на гл.18 3-ей Книги Царств, в которой повествуется о единоборстве пророка Илии с жрецами Ваала. До этого в Палестине три года не было дождя – по молитвам пророка Господь «затворил небо». После победы над жрецами, Пророк Илия шесть раз посылал слугу посмотреть – нет ли над морем облака: «В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднѣмается от моря, величиной с ладонь человеческую» (3-я Царств, 18, 44). После этого над Палестиной разразился дождь.

Что такое социализм?

Впервые статья была опуликована в журнале «Новый град» № 3 за 1932 год.

[1] Зомбарт Вернер (1863–1941) — немецкий экономист, социолог и историк, философ культуры. Ученик Густава Шмоллера, представитель немецкой исторической школы в экономической теории, классик немецкой социологии. С 1890 года — профессор Бреславского (Вроцлавского) университета. С 1906 года — в Берлине.

Зомбарт — знаток итальянского народного хозяйства. Основные работы Зомбарта посвящены экономической истории Западной Европы, в особенности возникновению капитализма, проблемам социализма и социальных движений. Испытав в молодости влияние работ Карла Маркса, Зомбарт выделялся среди немецких экономистов-профессоров того времени радикальными взглядами на социально-политические вопросы. В последние годы своей жизни не мог преподавать. Пришедшие к власти нацисты препятствовали распространению его книг, а студентам было запрещено посещать его лекции.

[2] laissez faire (франц.) — здесь: предоставить свободу действия

[3] memento (лат.) — помни

[4] (ducunt volentem) fata nolentem trabunt (лат.) — желающего идти судьба ведет, не желающего — влачит.

[5] прудонизм — разновидность социализма, основу которого составляют философские и социологические взгляды П. Ж. Прудона (1809–1865), идеализировавшего общество мелких товаропроизводителей. Его учение предлагало создание такого общественного строя, при котором члены общества являются самостоятельными мелкими собственниками-производителями.

Основы христианской демократии

Впервые статья была опубликована в журнале «Новый град» № 8 за 1934 год.

[1] Бабёф Гракх (имя взято в честь античных Гракхов; настоящее имя Франсуа Ноэль Бабёф (1760–1797) — французский коммунист-утопист, руководитель движения «во имя равенства» во время Директории. Под влиянием идей Руссо и Мабли (позднее Морелли) стал убеждённым сторонником общества «совершенного равенства», в котором отсутствовала бы частная собственность. Уже в 1785 году разработал план создания «коллективных ферм» вместо крупных земельных владений. Был активным участником революции в Пикардии. В 1789 году поехал в Париж, где застал взятие Бастилии. 22 октября 1789 года — первое открытое выступление Бабёфа, направленное против избирательного ценза. В 1790 году за организацию движения против уплаты косвенных налогов Бабёф был арестован в Руа и препровожден в Париж, в тюрьму Консьержери. Откуда его освободили при содействии Ж. П. Марата. Выпущенный на свободу, он вскоре вновь подвергнут краткосрочному тюремному заключению. После свержения монархии был избран в

Генеральный совет департамента Сомма, а затем в директорию дистрикта Мондидье. В 1793 году работал секретарём продовольственной администрации Парижской Коммуны. На протяжении всей революции Бабёф последовательно отстаивал интересы неимущих классов. Критиковал Марата и якобинский Конвент и за недостаточное внимание к вопросу о «благосостоянии неимущего класса». Бабёф пошёл дальше – он хотел фактического равенства среди людей, считая это идеалом общественного устройства. Опыт якобинской диктатуры и деятельность по распределению продовольственных ресурсов столицы привели Бабёфа к мысли о практической возможности осуществления «общества совершенного равенства». В августе 1793 года по ложному обвинению в подлоге он был приговорен к 20 годам каторги. На протяжении всего периода якобинской диктатуры Бабёф упорно добивался пересмотра своего дела; выйдя из парижской тюрьмы в декабре 1793 года, он вновь оказался в тюрьме в Мондидье и, наконец, был освобожден за девять дней до термидорианского переворота. Освобождённый из тюрьмы, он через несколько недель становится убеждённым противником термидорианского Конвента.

Весной 1796 года возглавляет «Тайную повстанческую директорию» и готовит народное выступление. В результате предательства одного из участников движения заговор был раскрыт и все его руководители и ряд участников были арестованы. 26 мая 1797 года суд в Вандоме приговорил Бабёфа и Дарте к смертной казни. После объявления приговора они пытались заколоть себя кинжалами и нанесли тяжелые ранения. Утром следующего дня полумертвыми они были отнесены на эшафот и гильотинированы.

[2] томизм – (лат.) – учение в схоластической философии и теологии католицизма, основанное святым Фомой Аквинским. Доктрина томизма учит о способах постижения догматики посредством разума в отличие от августинианства, взывающего к интуиции. С этим связана большая ориентация томизма на учение Аристотеля, чем на Платона и неоплатоников. К XIV веку томизм получил признание в различных школах доминиканского ордена. Против томизма выступали последователи Иоанна Дунса Скота, Вильгельма де ла Марса, Р. Бэкона, группировавшиеся вокруг францисканского ордена. В эпоху Реформации томизм видоизменяется благодаря влиянию так называемой второй схоластики (Франсиско Суарес). Последнее возрождение томизма начинается с середины XIX века (неотомизм) – А. Штёкль, М. де Вульф, Д. Мерсье, У. Ньюмен, Т. Либераторе. Современный томизм представляет собой богословскую интерпретацию новейшего естествознания, попытки через призму учения Фомы Аквинского оценить философскими идеи Иммануила Канта, Георга Гегеля, Эдмунда Гуссерля, Мартина Хайдеггера и других современных мыслителей.

[3] «новоградцы» – группа единомысленных Г. П. Федотову русских эмигрантов-парижан, активно участвовавших в течении 30-х годов в издании журнала «Новый град». Среди них были ныне причисленные к лику святых священник Димитрий Клепинин, монахиня Мария Скобцова и И. И. Фондаминский.

[4] Цинцинат Луций Квинкций (ок. 519 до н. э. – ок. 439 до н. э.) – древнеримский патриций, консул 460 года до н. э., римский диктатор 458 и 439 годов до

н. э. Цинциннат считался среди римлян одним из героев ранних годов Римской республики, образцом добродетели и простоты. Был в постоянной оппозиции к плебеям, сопротивлялся предложению Терентилия Арсы составить письменный кодекс законов, уравнивающий в правах патрициев и плебеев. Цинциннат жил в скромных условиях, работая на своей небольшой вилле.

Камилл Марк Фурий Камилл (ок. 447 – 365 гг. до н. э.) – римский государственный и военный деятель. Согласно Титу Ливию занимал ряд высших государственных должностей: был цензором в 403 г., 6 раз был военным трибуном с консульской властью, 5 раз назначался диктатором, 4 раза удостаивался триумфа, трижды был интеррексом. За изгнание галлов получил титул «второго основателя Рима». Будучи патрицием, в борьбе патрициев и плебеев последовательно занимал сторону патрициев.

[5] синекдоха – троп, разновидность метонимии, основанная на перенесении значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения между ними. Обычно в синекдохе употребляется:

1. Единственное число вместо множественного;
2. Множественное число вместо единственного;
3. Часть вместо целого, например;
4. Родовое название вместо видового или видовое название вместо родового.

[6] Юстиниан Флавий Пётр Савватий более известный как Юстиниан I или Юстиниан Великий (483–565) – византийский император с 1 августа 527 вплоть до своей смерти в 565 году. Юстиниан – один из наиболее значимых правителей поздней античности. Его правление знаменует важный этап перехода от античности к Средневековью и, соответственно, перехода от римских традиций к византийскому правлению. На Западе ему удалось завладеть большой частью земель Западной Римской империи, распавшейся после Великого переселения народов, в том числе Апеннинским полуостровом, юго-восточной частью Пиренейского полуострова и частью Северной Африки. Важным событием является поручение Юстиниана о переработке римского права, результатом которого стал новый свод законов – свод Юстиниана. Указом императора был полностью перестроен сгоревший собор Святой Софии, поражающий своей красотой и великолепием. В 529 году Юстиниан закрыл Платоновскую академию в Афинах. Во время правления Юстиниана произошли первая пандемия чумы в Византии и крупнейший бунт в истории Византии и Константинополя – восстание Ника, спровоцированного налоговым гнётом и церковной политикой императора.

[7] аксиос (греч.) – достоин

Наша демократия

Впервые статья была опубликована в журнале «Новый град» в № 9 за 1934 год.

[1] Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль Эдуар Жаннере-Гри) (1887– 1965) – французский архитектор швейцарского происхождения, пионер модернизма,

представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер. Ле Корбюзье – один из наиболее значимых архитекторов XX века. Здания по его проектам можно обнаружить в разных странах – в Швейцарии, Франции, США, Аргентине, Японии и даже в России. Характерные признаки архитектуры Ле Корбюзье – объёмы-блоки, поднятые над землёй; свободно стоящие колонны под ними; плоские используемые крыши-террасы («сады на крыше»); «прозрачные», просматриваемые насквозь фасады («свободный фасад»); шероховатые неотделанные поверхности бетона; свободные пространства этажей («свободный план»).

[2] Chambre des deputes (франц.) – палата депутатов

[3] пронунциаменто (исп.) – всенародное провозглашение; объявление военачальника противником правительства; призыв к восстанию. В Испании воззвание к народу о поголовном восстании против властей и существующего порядка.

[4] принципат (лат.) – первый сенатор, сенатор открывающий заседание. Условный термин в исторической литературе для обозначения сложившейся в Древнем Риме в период ранней империи (27 до н. э. – 284 н. э.) специфической формы монархии, совмещавшей монархические и республиканские черты. Обладатели высшей власти именовались титулом принцепс, этим подчёркивался их статус не монарха-самодержца, а первого среди равных. В историографии закрепился титул «император», хотя основные полномочия глава государства имел как народный трибун и принцепс.

Система принципата стала оформляться при Августе, власть которого основывалась на соединении различных магистратур. Август и его преемники, будучи принцепсами сената, одновременно сосредоточивали в своих руках высшую гражданскую (пожизненный народный трибун) и военную власть. Формально продолжало существовать республиканское устройство: сенат, комиции (народные собрания), магистратуры (кроме цензоров). Но эти институты утратили прежнее политическое значение, так как выборы в них и их деятельность регулировались принцепсом. Реальная власть была сосредоточена в руках прицепса-императора и близких к нему людей, его личной канцелярии, штат которой непрерывно рос, а сфера деятельности расширялась.

[5] Токвиль Алексис (1805–1859) – видный французский политический мыслитель, историк и политический деятель, лидер консервативной Партии порядка, министр иностранных дел Франции. Его отец был ярым монархистом. Однако сам Токвиль не разделял общественно-политические взгляды своих предков. Он получил хорошее гуманитарное образование и некоторое время работал юристом. Опираясь на ретроспективный анализ политического развития общества, Токвиль пришел к выводу о неизбежности наступления демократии во всем мире. Первым государством, которому в полной мере удалось воплотить принципы демократического устройства общества, были, по Токвилю, Соединенные Штаты. Под предлогом изучения пенитенциарной системы Соединенных Штатов, Токвиль в 1831 году отправился в заокеанское путешествие. Путешествие длилось около года и по возвращении Токвиль издал книгу под названием «Демократия в Америке». Это произведение наряду

со «Старым порядком во Франции», стало одним из главных трудов французского мыслителя. «Демократия в Америке» выдержала несколько изданий и была переведена практически на все европейские языки.

[6] Витенагемот – народное собрание в англосаксонский период истории Англии. Витенагемот представлял интересы англосаксонской знати и духовенства и имел совещательные функции при короле. Этот орган считается предшественником английского парламента. Институт витенагемота возник в VII веке и на протяжении последующих четырехсот лет все важнейшие вопросы государственной политики решались королём при одобрении совета. Название «витенагемот» на англосаксонском языке означало «собрание мудрых людей». Такие собрания существовали во всех англосаксонских королевствах Британии, а после объединения страны под властью Уэссекса в IX веке, витенагемот этого королевства приобрёл общеанглийский характер.

О демократии формальной и реальной

Первая публикация в журнале «Новая Россия» в № 8 за 1936 год.

[1] демотия – (от греч. Демос – люд). Демотию евразийцы противопоставили буржуазной демократии. «Современная демократия есть олигархия живущего сейчас взрослого поколения над нацией, как целым», – утверждал Н. Н. Алексеев. Евразийцы решили считать народом либо нацией «не какой-то случайный отбор людей, удовлетворяющих условиям всеобщего избирательного права, но совокупность исторических поколений, прошедших, реальных и будущих, образующих оформленное государством единство культуры». В становлении особого евразийского этнопсихологического типа сыграла по их мнению, империя Чингиз-хана. Именно в ней, считали они, евразийский культурный тип впервые предстал как целое.

О свободе формальной и реальной

Первая публикация в журнале «Новая Россия» в № 7 за 1936 год.

[1] законы дракона – иначе «Драконт» – афинский архонт, с оставил в 621 году до н.э. свод законов, отличавшихся крайне жестокостью.

Христианин в революции

Впервые статья была опубликована в журнале «Новый град» № 12 за 1937 год. Затем в посмертном сборнике статей Г. П. Федотова «Христианин в революции», Париж, 1957.

[1] Адамизм – (по имени Адама, легендарного первого человека) средневековое сектантское учение, проповедовавшее возвращение к простоте нравов времен Адама и Евы и общность имущества.

[2] Ахеронт – одна из пяти рек (река скорби) в царстве мертвых; согласно мифологиеской традиции ее воды сливаются с потоками Стикса.

[3] par excellence (франц.) – здесь: в подлинном смысле слова

[4] Дрейфус Альфред (1859–1935) – французский офицер, еврей по происхождению, герой знаменитого процесса (дело Дрейфуса). Учился в Париже в Военной и потом Высшей Политехнической школе; служил в артиллерии и дослужился до чина капитана. В 1893 году был причислен к Генеральному штабу. Отличался трудолюбием, исполнительностью, большой ревностью к службе, строгостью к себе и другим, потому не пользовался симпатией товарищей. В 1894 г. в Генштабе обнаружился документ с перечнем секретных бумаг, переданных германскому атташе в Париже. В написании записки (а, значит, в передаче секрета вероятному противнику) был обвинён Дрейфус. В декабре 1894 г. суд приговорил его к пожизненному заключению, и капитан был публично разжалован и отправлен в тюрьму во французской Гвиане на Чёртов остров. Своей вины не признал. Вскоре у многих возникли сомнения в неопровержимости улик; были названы другие подозреваемые.

В 1895 г. дело начали пересматривать. В 1898 году в поддержку Дрейфуса выступил Эмиль Золя. Дрейфус ничего об этом не знал до 1899 года, когда дело стали слушать в кассационном суде. Приговор его был сокращён до 10 лет, а в 1900 году президент Эмиль Лубе его помиловал, и Дрейфус вышел на свободу. В 1906 г. суд совершенно оправдал его. Он был восстановлен на службе и повышен в звании , но вскоре, из-за проблем со здоровьем вышел в отставку. Будучи офицером запаса Дрейфус вернулся в армию с началом Первой мировой войны, дослужился до подполковника и в 1918 году был награждён орденом Почётного легиона.

[5] Ставиский Александр (1886?–1934) – создатель финансовой пирамиды во Франции. Родители Ставиского были выходцами из Российской империи, эмигрировали после революции. Александр лицей Кондорсэ. В начале 1930-х в Европе стал активно действовать банк под названием Credit municipal de Bayonne. Ничем не примечательное коммерческое предприятие из небольшого города на юго-западе Франции за считанные месяцы превратилось в успешную финансовую компанию, ворочавшую миллионами. Её создатель Александр Ставиский договаривался с мэрией Парижа о грандиозном контракте на строительство жилых домов. Выпущенные под это облигации на 100 млн франков казались наилучшим вложением и пользовались огромным спросом. Но вскоре владельцы выпущенных фирмами Ставиского бон оказались ни с чем. Все деньги исчезли. Александр стал одним из самых влиятельных и информированных людей Франции, оставаясь при этом человеком-загадкой для всех, даже для жены и друзей. Проекты Ставиского пытались использовать в своих целях разные политические силы – и не только во Франции, но и в Испании, Германии, Италии, СССР.

Фешенебельный Биарриц являлся идеальным местом для развлечений, но главное – оттуда можно было без особого риска воздействовать на ситуацию в Испании. Банк создавался в том числе и для помощи силам, способным противодействовать республиканцам. Выписанными Стависким чеками на предъявителя оплачивались поставки оружия, пиар-компании, информаторы

и агенты влияния. Но финансировали своих сторонников через Ставиского не только испанские монархисты. Во Франции к его услугам прибегали представители и правых, и левых партий. Он работал с итальянскими фашистами. Из Германии с его помощью выводили деньги те, кто спешил покинуть рейх после прихода к власти Гитлера. У Стависского были связи с международным троцкистским движением.

[6] contradictio in adjecto (лат.) – противоречие в определении, внутреннее противоречие

[7] eran trecento, eran giovanni e forti, e sono morti – «Их было триста, они были молоды и сильны...и все погибли». Герцен в «Былом и думах» цитирует и дает перевод строк из стихотворения Л.Меркантини «Собирательница колосьев из Сапри», посвященного трагической судьбе отряда итальянского революционера К. Пизакане. Летом 1857 года они высадились в местечке Сапри, на западном побережьи Неаполитанского королевства. По плану, разработанному руководителем итальянских революционеров Маццини, эта высадка должна была стать началом общеитальянского восстания. Но наседение не поддержало революционеров, и вскоре они погибли в схватке с австрийцами, которые в этот период владели Италией.

Любовь и социология

Впервые статья была опубликована в журнале «Православное дело» № 1 за 1939 год.

[1] пиетизм – изначально движение внутри лютеранства, придававшее особую значимость личному благочестию, живому общению с Богом. Пиетизм во время своего возникновения (XVII век) противопоставлялся лютеранской ортодоксии, акцент в которой делался на догматику, которая далеко не всегда была понятна прихожанам. Термин «пиетизм» употребляется и применительно к не связанным с лютеранством деноминациям и религиозным группам. Пиетисты – этим именем впервые стали называться в Лейпциге последователи Шпенера, молодые магистры, читавшие в 1689 г. поучительные лекции. Они придавали большее значение внутреннему благочестию, деятельной любви, нравственному усовершенствованию и искреннему поскаянию, чем неуклонному соблюдению церковных правил и предписаний.

[2] номинализм (лат.) – философское учение, согласно которому названия таких понятий, как «животное», – «эмоция» – это не собственные имена цельных сущностей, а общие имена (универсалии), своего рода переменные, вместо которых можно подставлять имена конкретные. Универсалии, согласно номинализму, – это имена имён, а не сущности (как для схоластического реализма) или понятия (как для концептуализма.

[3] Атрей (греч.) – в древнегреческой мифологии царь Микен, сын Пелопса и Гипподамии, брат Фиеста, муж Аэропы, отец Агамемнона и Менелая. Бежал от отца после убийства Хрисиппа. Царь Микен Сфенел сделал его правителем Мидеи. Оракул предсказал жителям Микен, что они должны избрать в цари потомка Пелопа, они послали за Атреем и Фиестом. Фиест, с помощью

Аэропы добыв золотого ягненка, воцарился. Позже, когда Гелиос превратил восток в запад, показывая тем самым несправедливость воцарения, Атрей изгнал Фиеста. За то, что Фиест соблазнил его жену Аэропу, Атрей убил сыновей брата, а из их мяса велел приготовить жаркое, которое подал на стол, пригласив Фиеста погостить. Гелиос именно тогда изменил свой путь. Фиест проклял весь род Атрея. Потомки Атрея именовались Атридами.

Лабдак (греч.), в греческой мифологии фиванский царь, внук Кадма, сын фиванского царя Полидора и Никтеиды. Отец Лая, дед Эдипа. Унаследовал трон в младенчестве. Фивами как регент правил Нектей, его дед по матери. После его смерти регентом стал брат Никтея Лик. Когда Лабдак достиг совершеннолетия, власть перешла к нему. Однако вскоре Лабдак потерпел поражение от афинского царя Пандиона и умер, оставив наследником годовалого сына Лая. У поздних античных авторов сообщается о гибели Лабдака, подобно Пенфею, от рук разъяренных вакханок. Лабдакиды — потомки Лабдака.

[4] Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) — литературовед, культуролог, историк культуры русской эмиграции. В 1912 окончил немецкое реформаторское училище и поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где специализировался на кафедре всеобщей истории. После октябрьских событий 1917 года Вейдле покинул Санкт-Петербург и в течение трёх лет (1918–1921 гг.) преподавал историю искусства в Пермском университете. В октябре 1924 он уехал в Париж, где прожил до конца своей жизни, с 1925 по 1952 преподавал в Свято-Сергиевском Богословском институте. Многочисленные эссе по истории русской и европейской литературы и художественной культуры, о судьбах христианского искусства, месте России в духовной истории Европы.

[5] парикии — во II–III вв. христианские общины носили название парикии, то есть, это были отдельные, местные церкви под управлением епископов, при которых существовал совет пресвитеров (пресвитерий). Дьяконы несли служебные обязанности. С середины III-го века происходит усложнение структуры, появляются диаконисы, лекторы, экзорцисты, чтецы, заклинатели. В Риме развивается штат низшего клира — при папе Фабиане, в 236-50 гг. появляются иподиаконы, привратники, аколуфы.

[6] Алкмеониды (греч.) — знатный род древних Афин. Восходит к Алкмеону, внуку Нестора, царя Пилоса и участника Троянской войны. Носили на щиту герб в виде белого трискелиона. Алкмеониды запятнали себя нечестием в 640 г. до н. э. при подавлении мятежа Килона, когда они (в том году все девять архонтов принадлежали к этому роду) перебили людей, искавших защиты у алтарей. Дабы очистить город от скверны, Алкмеониды после этого несколько раз изгонялись из Афин (последний раз в 509 г. до н. э.), причем даже кости умерших выкидывались из могил. Подавлением мятежа Килона руководил Мегакл.

[7] этос — (от др.-греч. ethos — обычай, нрав, характер) — совокупность стойких черт индивидуального характера. Первоначально этосом обозначали привычное место совместного проживания: дом, человеческое жилище, звериное логово, птичье гнездо. Античные философы считали, что челове-

ческий характер обладает неизменностью. Характер личности формируется традициями и обычаями. Поэтому всегда есть возможность описать различные обнаружения характера, исходя из его этоса. Аристотель воспользовался термином этос для определения особой науки — этики, которая обратилась к этическим добродетелям как особой предметной области знания. Позднее этосом обозначали стойкую систему нравственных представлений. Например, нравственные представления эпохи Реформации, жизненные правила людей той поры получили название «протестантский этос». Идею определяющей роли протестантского этоса в становлении капитализма развил М. Вебер.

[8] Баррес Морис (1862–1923) французский писатель. Член Французкой академии с 1906. Романы «Под взглядом варваров» (1888), «Свободный человек» (1889), «Сад Беренисы»(1891), составляющие трилогию «Культ я», а также книга «О крови, страсти и смерти» (1894) отличались не только мистическим самоанализом, но и шовинизмом. Комедия «День в парламенте» (1894, рус. пер. «Изнанка», 1895) высмеивает парламентаризм. Книга «Враг законов» (1893) содержит критику социализма. В трилогии «Роман национальной энергии», состоящей из романов «Беспочвенные» (1897), «Призыв к оружию» (1900) и «Их лица» (1902), проводятся расистские идеи. Апологией католицизма проникнут роман «Вдохновенный холм» (1913). Все обличения Барреса носили резко антидемократический характер.

О свободе

Первая публикация в журнале «Новая Россия» в № 63 за 1939 год.

Письма о социализме

Впервые статья была опубликована в журнале «Новая Россия» № 84 за 1940 год.

[1] «норвежскую трагедию...» — в то время, когда Федотов писал эту статью, войска нацистской Германии вторглись в Норвегию.

[2] плутократия (греч.) — форма правления, когда решения правительства определяются мнением не всего народа, а влиятельного класса богатых людей, при этом существует глубокое социальное неравенство и низкая социальная мобильность. Плутократия является частным случаем олигархии — режима, при котором реальная власть находится у небольшого круга лиц (например, знати, военных, партийной верхушки либо родственников правителя). Чаще этот термин употребляется по отношению к государствам, где богатые классы, не имея формальных преимуществ, гарантированных законом, фактически пользуются преобладающим влиянием на выборы и на ход государственной жизни.

[3] патронат (лат.) — происходит от слова «патрон» в римском праве — знатный гражданин (первоначально из патрициев), покровитель зависимых от него вольноотпущенников и клиентов и их защитник на суде. Особый слуга

(номенклатор) помогал поддерживать многочисленные взаимоотношения с клиентами. Клиенты, в свою очередь, должны были каждое утро приветствовать своего патрона в его доме, выполнять функции посыльных, быть его личной охраной или клакёрами при выступлениях. Если патрон хотел выдвинуть свою кандидатуру на государственную должность, клиенты были обязаны голосовать за него на народных собраниях (комициях). Города и провинции Римской империи также были под покровительством патрона, чаще всего римского сенатора, обязанностью которого была защита интересов города или провинции в Риме.

[4] Блюм Леон (1872–1950) – французский политик, первый социалист и второй (после Сади Карно) еврей во главе французского правительства. Блюм происходил из обеспеченной буржуазной семьи – сын фабриканта шёлковых лент. Учился в престижном лицее Генриха IV, затем в Сорбонне. В молодости занимался литературой, исследовал творчество Гёте, печатал стихи в журнале под редакцией Андре Жида, выступал как критик. Под влиянием дела Дрейфуса, как и многие французские евреи, заинтересовался политикой. Стал активным участником социалистического движения, последователем и поклонником Жана Жореса, одного из ведущих теоретиков партии и марксистов того времени, издателя газеты «Юманите». С 1919 года глава Социалистической партии Франции и депутат Национального собрания от Парижа. Осудил Октябрьскую революцию и диктатуру пролетариата, заявив о неприемлемости любой диктатуры. После этого сторонники русской революции организовали Французскую коммунистическую партию (1920), причём к ним перешла и «Юманите».

В 1936 году стал одним из организаторов антифашистского Народного фронта, одержавшего победу на всеобщих парламентских выборах, после чего Блюм согласился стать премьер-министром. Правительство Блюма приняло пакет важных социальных законов: оно окончательно утвердило 40-часовую рабочую неделю, ввело оплачиваемый отпуск для рабочих, уравняло арабов в Алжире в правах с французами. В 1937 году из-за противоречий внутри коалиции по вопросу поддержки испанских республиканцев в Гражданской войне в Испании Блюм ушёл в отставку. Весной следующего года он вновь был назначен премьером, но не смог сформировать правительство. В 1940 году отказался покинуть республику (хотя, как еврей и социалист, обрекал себя на репрессии при немецкой оккупации). При созыве Национального собрания в Виши был одним из 80 депутатов, мужественно голосовавших против предоставления диктаторских полномочий маршалу Петену. Содержался с сентября 1940 года под арестом. В 1942 году был предан вместе с рядом политиков-антифашистов показательному суду, во время которого произнёс речи, обличающие нацистов и режим Виши; по распоряжению немцев процесс был прекращён. В 1943 году по приказу Пьера Лаваля выдан немцам и содержался в Бухенвальде. Благодаря случайности спасся от расстрела, в мае 1945 года был освобождён союзниками. Блюм вернулся во Францию и вошёл во временное правительство де Голля, а в конце 1946 года кратковременно возглавил государство и правительство, был также представителем Франции в ЮНЕСКО.

[5] Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) – 32-й президент США, возглавлял США во время мирового экономического кризиса и Второй Мировой войны. Единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока. Будущий президент родился в богатой и уважаемой семье Джеймса Рузвельта, предки которого эмигрировали из Нидерландов в Новый Амстердам в 17-м веке. Отец Рузвельта владел наследственным имением Гайд-Парк на реке Гудзон и солидными пакетами акций в ряде угольных и транспортных компаний. Мать Рузвельта, Сара Делано, также принадлежала к местной аристократии. До 14 лет Рузвельт получал домашнее образование. В 1896–1899 гг. учился в одной из лучших привилегированных школ в Гротоне (штат Массачусетс). В 1900–1904 гг. Рузвельт продолжил образование в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра. В 1920 году Рузвельт баллотировался от Демократической партии в вице-президенты США в паре с кандидатом в президенты Дж. Коксом. Поражение Демократической партии и тяжелая болезнь (полиемелит) на время отстранили Рузвельта от активной политической деятельности. Но в 1928 году он был избран губернатором штата Нью-Йорк. Пробыв два срока на посту губернатора, Рузвельт приобрел ценный опыт, пригодившийся ему в годы президентства. В 1931 году, в момент обострения экономического кризиса, он создал в штате Временную чрезвычайную администрацию по оказанию помощи семьям безработных. В президентской кампании 1932 года Рузвельт одержал победу над Г. Гувером, не сумевшим вывести страну из экономического кризиса 1929–1933 гг. («Великой депрессии»). В первые сто дней своего президентства (начавшегося в марте 1933 года) Рузвельт осуществил ряд важных реформ. Была восстановлена банковская система. В мае Рузвельт подписал закон о создании Федеральной чрезвычайной администрации помощи голодным и безработным. Был принят Закон о рефинансировании фермерской задолженности, а также Закон о восстановлении сельского хозяйства. Рузвельт считал наиболее перспективным Закон о восстановлении промышленности, который предусматривал комплекс правительственных мер по регулированию промышленности. В 1935 году были проведены важные реформы в области труда, социального обеспечения, налогообложения, банковского дела. Принятые Конгрессом по инициативе президента законы явились смелым экспериментом государственного регулирования с целью изменения распределительного механизма экономики и социальной защиты населения.

Блицкриг Гитлера в Европе и третья подряд победа Рузвельта на выборах 1940 года активизировали американскую помощь Великобритании. В начале 1941 года президент подписал «Закон о дальнейшем укреплении обороноспособности Соединенных Штатов и о содействии другим целям». Закон о ленд-лизе распространялся на СССР, которому был предоставлен беспроцентный заем на сумму 1 млрд долларов. Рузвельт стремился как можно дольше ограничиваться поставками вооружений и по возможности избегал широкомасштабного участия США в европейской войне. При этом под лозунгом «активной обороны» с осени 1941 года в Атлантике шла «необъявленная война» с Германией. Нападение 7 декабря 1941 года японских самолетов на американскую военно-воздушную базу Перл-Харбор в Тихом

океане явилось неожиданностью для Рузвельта. На следующий день США и Великобритания объявили войну Японии, а 11 декабря война Соединенным Штатам была объявлена Германией и Италией. Рузвельт, в соответствии с конституцией, принял на себя обязанности главнокомандующего в военное время. Он приложил немало усилий для укрепления антигитлеровской коалиции, придавая большое значение созданию Организации Объединенных Наций. 1 января 1942 года в Вашингтоне состоялось подписание Декларации Объединенных Наций, закреплявшей этот союз в международно-правовом порядке. На Тегеранской конференции «большой тройки» (1943) Рузвельт не поддержал У. Черчилля, уклонявшегося от решения конкретных вопросов об открытии второго фронта.

Проявляя особое внимание к вопросам послевоенного мирного урегулирования, Рузвельт впервые на Квебекской конференции (1943) изложил свой проект создания международной организации и ответственности США, Великобритании, СССР и Китая («четырех полицейских») за сохранение мира. Переизбранный в 1944 году на четвертый срок Рузвельт внёс значительный вклад в исторические решения Крымской конференции (1945), но вместе с Черчилем подписал с оглашение о выдаче СССР бывших военнопленнных, большая часть которых впоследствии была расстреляна или погибла в лагерях. По возвращении из Ялты Рузвельт продолжал заниматься государственными делами и готовился к открытию 23 апреля конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско, а также 17 июля к открытию Потсдамской конференции. Однако 12 апреля 1945 года скончался от кровоизлияния в мозг.

6 Де Ман Хендрик (1885–1953) — бельгийский социальный психолог, теоретик социализма и политик. Родился в семье буржуа. Являлся внуком фламандского поэта Яна ван Беерса. После получения аттестата зрелости начал изучать математику в Брюссельском, а затем в Гентском университете. В 1905 году был исключен оттуда за участие в демонстрации в поддержку русской революции и переехал в Германию, которую считал «обетованной землей марксизма». Начал сотрудничать в бельгийской социалистической прессе, а затем стал редактором газеты «Leipziger Volkszeitung». Помимо журналистской деятельности, изучал в Лейпцигском университете экономику, историю, философию и психологию, и получил степень доктора философии. Общался с Августом Бебелем, Карлом Каутским, Карлом Радеком, Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом. В 1907-08 годах совместно с Либкнехтом и Людвигом Франком возглавлял Социалистический интернационал молодежи, параллельно учась в Венском университете. В 1910 году в Лондоне вступил в Социал-демократическую федерацию. Вернувшись в Бельгию в 1911 году, де Ман пропагандировал настолько радикальные взгляды, что они едва не привели к расколу Бельгийской рабочей партии .

После Первой мировой войны де Ман преподавал социальную психологию в Вашингтонском университете Сиэтла, в то же время борясь против эксплуатации фермеров, что в итоге привело к увольнению с кафедры. В 1922-26 годах преподавал в Академии труда во Франкфурте-на-Майне. В 1929 году стал первым заведующим кафедрой социальной психологии Франкфуртского

университета. Считая безработицу наиболее плодотворной почвой для распространения фашизма, разработал «План де Мана», сопоставимый с «Новым курсом» Франклина Делано Рузвельта и предлагавший для искоренения безработицы плановую экономику. После прихода нацистов к власти все книги де Мана были включены в список книг, подлежащих сожжению, а сам де Ман был уволен из университета и вернулся в Бельгию.

В 1935 году премьер-министр Пауль ван Зееланд назначил де Мана министром труда, а в следующем году де Ман возглавил министерство финансов. В 1938 году де Ман в качестве министра без портфеля занял пост советника Леопольда III, рекомендуя королю, в частности, не втягивать Бельгию в надвигающуюся войну. После того, как Бельгия была оккупирована Германией, правительство страны отправилось в Париж, а оттуда в Лондон. Де Ман посоветовал королю остаться в стране (данное решение в итоге привело к отречению Леопольда III от престола в 1951 году). 28 июня 1940 года де Ман издал манифест, в котором приветствовал «низложение парламентского режима и капиталистической плутократии». Оккупация дала де Ману возможность для нейтралистских социальных и экономических действий. С августа 1944 года де Ман обосновался в Швейцарии, благодаря ходатайству социалистов получив политическое убежище. 12 сентября 1946 года бельгийский военный трибунал, рассмотрев дело по обвинению де Мана в государственной измене, заочно приговорил его к 20 годам тюремного заключения и возмещению нанесенного им ущерба в размере 10 миллионов франков. Все попытки де Мана добиться реабилитации оказались безуспешными. 20 июня 1953 года он погиб вместе с женой — автомобиль, в котором они находились, заглох на железнодорожном переезде и попал под поезд.

В том же году вышли мемуары де Мана «Против течения».

[7] Хаксли (Гексли) Олдос Леонард (1894–1963) — английский писатель. Автор известного романа-антиутопии «О дивный новый мир». Как по отцовской, так и по материнской линиям Хаксли принадлежал к британской культурной элите, давшей ряд выдающихся учёных, писателей, художников. Его отец — писатель Леонард Хаксли, дед по отцовской линии — биолог Томас Генри Хаксли. Брат Хаксли Джулиан (первый пркезидент «ЮНЕСКО» и основатель Фонда дикой природы) и единокровный брат Эндрю (лауреат Нобелевской премии по физиологии) были знаменитыми биологами. Свой первый роман, который не был опубликован, Хаксли написал в возрасте 17-и лет. Он изучал литературу в Баллиольском колледже в Оксфорде. Уже в двадцать лет Хаксли решает избрать писательскую деятельность как профессию. В его романах речь идёт о потере человечности обществом в процессе технологического прогресса (антиутопия «О дивный новый мир!», есть ещё книга «Возвращение в прекрасный новый мир», написанная через 20 лет после первой. В ней Хаксли описывает противоположное первой книге состояние и развивает мысль о том, что на самом деле все будет значительно хуже и страшнее, чем в первой. Также он затрагивал пацифистские темы. Незадолго до его смерти в пожаре в его собственном доме сгорели все его рукописи.

[8] Пастер Луи (1822–1895) — французский микробиолог и химик, член Французской академии (1881). Пастер, показав микробиологическую сущность

брожения и многих болезней человека, стал одним из основоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни в настоящее время, опытным путем доказав невозможность этого. Его имя широко известно благодаря созданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации.

Церковь и социальная правда

Статья написана по заказу Всемирного Совета Церквей. Была опубликована на английском языке в «Тезисах для православной серии трудов Всемирного Совета Церквей» (сс. 1–16) в Женеве в в 1950 году. Повторно, но уже на русском языке, статья была опубликована в посмертном сборнике статей Г. П. Федотова «Христианин в революции» в Париже в 1957 году.

[1] Трельч Эрнст (1865–1923) – немецкий теолог, философ культуры и либерал. Его работы являются синтезом теологии Альбрехта Ричля, социологической концепции Макса Вебера и неокантианства Баденской школы. Сочинение «Социальные учения христианских церквей» содержит плодотворные идеи в этой области. Разрабатывал понятие «секта» как творческий период становления религиозной организации.

[2] Винсент де Поль (1581–1660) – католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия. Родился в 1581 году в бедной крестьянской семье. Гасконь была в этот период одним из самых нищих регионов Франции. Благодаря покровительству местного помещика, заметившего неординарный ум мальчика, Венсан смог получить общее образование в Даксе, затем изучал богословие в Тулузе. В 1600 году рукоположен в священники. Во время одной из поездок на юг был взят в плен берберами и увезен в Тунис, в рабство. В 1607 году был освобожден и смог вернуться на родину. После освобождения прибыл в Париж, в 1612 году был назначен настоятелем небольшого прихода возле Парижа. Сильное влияние на формирование его взглядов оказало три личных знакомства: со знаменитым богословом кардиналом Берюлем, который помог молодому священнику в первый период его парижской жизни. Со святым Франциском Сальским, а также с Корнелием Янсением, учение которого, впоследствии известное как янсенизм, он не принял и активно с ним боролся.

На протяжении 10 лет исполнял обязанности капеллана в семье знатного генерала Гонди, в чьих владениях многократно видел бедных крестьян, влачивших жалкое существование. Этот жизненный опыт сильно повлиял на него, и вся его дальнейшая деятельность проходила под знаком помощи больным и бедным. Вторым важным делом, которому он посвятил жизнь, было повышение нравственного уровня и уровня образования священников. В 1625 году основал конгрегацию миссионеров или конгрегацию лазаристов (по имени монастыря св. Лазаря, где располагалась резиденция конгрегации). В 1633 году папа Урбан VIII утвердил её конституцию, и в том же году св.

Венсан вместе с герцогиней Луизой де Марийак создал конгрегацию дочерей милосердия, главным делом которой стала помощь бедным, больным, брошенным детям и каторжникам. Одной из главных заслуг святого является создание стройной системы подготовки священников: предсеминарий и семинарий. Работой над созданием этой системы во Франции он занимался с 1626 года до самой смерти. Основал 18 семинарий и множество школ и предсеминарий. Система быстро распространилась на соседние с Францией страны, что имело огромное значение в улучшении уровня образования клира и его нравственном воспитании.

[3] Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма. Является отцом термина феминизм.

[4] Леру Пьер (17971871) – французский философ и политэконом. Его образование было прервано смертью отца, он был вынужден искать работу, чтобы поддержать мать и семью. Сначала работал каменщиком, затем в типографии, где продолжал заниматься самообразованием. Стал журналистом, заинтересовался идеями Сен-Симона, впоследствии в 1824 году основал журнал «Le Globe» – официальное издание сенсимонистов с 1831 года. Но вскоре порывает с сен-симонизмом и пытается создать собственную социалистическую систему. Публикует несколько работ: «О равенстве», «Опровержение эклектизма» и другие. Развивает систему, в которой компонует пифагорейское и буддистское учения с идеями Сен-Симона. В 1841 году совместно с Жорж Санд основывает социалистическую газету «Revue independante». В 1846 году организует и руководит типографией, издает новые журналы и ряд брошюр социалистической тематики. После революции 1848 года избирается в законодательное собрание. В 1848 году публикует несколько сочинений, среди которых «Критика Мальтуса». В результате установления Второй империи был изгнан из Франции и жил с семьёй сперва на острове Джерси, где занимался экспериментами в области агрономии, затем в Лозанне. Благодаря амнистии возвратился на родину в 1869 году, умер во время событий Парижской коммуны.

[5] Санд Жорж (настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен) (1804–1876) – французская писательница. В 1822 году Аврора гостила в семье друга своего отца, полковника Ретье дю Плесси. Через супругов дю Плесси она познакомилась с Казимиром Дюдеваном, незаконным сыном барона Дюдевана, владельца поместья Гильери в Гаскони. Казимир сделал предложение не через родных, как тогда было принято, а лично Авроре и тем покорил её. Она была уверена, что Казимир не интересуется её приданым, так как он был единственным наследником своего отца и его жены. Аврора и Казимир обвенчались в Париже и уехали в Ноан. Мужа не интересовали ни книги, ни музыка, он охотился, занимался «политикой в местном масштабе». Вскоре супруги Дюдеван разошлись. Казимир стал выпивать и завёл несколько любовных связей с ноанской прислугой. Она оставила поместье в управление мужу в обмен на ренту, выговорив условие, что будет проводить полгода в Париже, другие полгода в Ноане и сохранять видимость брака. Чтобы зарабатывать, Аврора решила писать. В Париж она привезла роман «Эме. Аврора обрати-

лась к журналисту и писателю Анри де Латушу, только что возглавившему «Фигаро». Роман «Эме» не произвёл на него впечатления, но он предложил ей сотрудничество в газете и ввёл в парижский литературный мир.

Вначале Аврора писала вместе со своим любовником Сандо: романы «Комиссионер», «Роз и Бланш», имели у читателей большой успех. Самостоятельно Аврора начала новую работу, роман «Индиана». Аврора выбрала мужской псевдоним: это стало для неё символом избавления от рабского положения, на которое обрекало женщину современное общество. Сохранив фамилию Санд, она добавила имя Жорж. Успех «Индианы», о которой хвалебно отозвались Бальзак и Гюстав Планш, позволил ей заключить контракт с «Ревю де Дё Монд» и обрести финансовую независимость. В 1835 году Жорж Санд приняла решение развестись и обратилась за помощью к известному к адвокату Луи Мишелю. Республиканец, блестящий оратор, Мишель сыграл решающую роль в формировании политических взглядов Санд.

Склонный, как и Жорж Санд, к мистицизму, новый ее друг, композитор Франц Лист познакомил писательницу с Ламеннэ. Она сразу же стала горячей сторонницей его взглядов. Для основанной Ламеннэ газеты «Монд», Санд предложила писать бесплатно, выговорив себе свободу в выборе и освещении тем. Причиной разрыва Ламеннэ и Санд стало то, что она была верной последовательницей философии Пьера Леру. В течение пятнадцати лет Санд поддерживала Леру, в том числе и материально. Она оказывала поддержку поэтам из пролетарской среды и пропагандировала их творчество.

6 Ламеннэ Фелисите-Роберт (1782–1854) – аббат, знаменитый французский писатель. Ламеннэ в ранней молодости, под влиянием сочинений Руссо, обнаружил некоторое свободомыслие в религиозных вопросах; но период сомнений продолжался недолго, и он принял священство. Истинная религия, считал Ламеннэ, – католицизм, потому что на его стороне большая часть человечества. Авторитет церкви, опирающейся на традицию и на народную веру, так велик, что ему должно внимать государство. Государства не может быть без религии, религии – без церкви, церкви – без папы. Его политический идеал – христианская монархия. Революция 1830 года находит в Ламеннэ открытого сторонника и наталкивает его на мысль об издании, в сотрудничестве с Монталамбером и Лакордером журнала «L'Avenir». Программа последнего сводится к следующим пунктам: 1) отделение церкви от государства; 2) гарантии личности (свобода совести, печати, преподавания, союзов, труда и промышленности); 3) уничтожение палаты пэров и крайностей централизации; 4) уничтожение избирательного ценза и установление всеобщего голосования. Невмешательство государства в церковные дела должно быть куплено, по мнению Ламеннэ, отказом папы от светской власти и духовенства – от государственного жалованья. Только в 1832 г., ввиду категорического заявления папой своего неудовольствия, журнал был окончательно прекращен. С Ламеннэ была истребована подписка в том, что он не будет писать ничего противного учению и интересам церкви. Это не помешало, однако, Ламеннэ, после тяжелой внутренней борьбы, выступить на дорогу радикальной и социалистической оппозиции, изданием замечательной книги: «Paroles d'uncroyant», имевшей большое влияние на тогдашнее французское

общество. В форме библейских псалмов и евангельских притч, он нападает на существующий экономический и политический строй, стоящий в противоречии с требованиями религии, и выступает защитником кооперации, права на существование, равенства полов и народного суверенитета. Специальной энцикликой от 15 июля 1834 г. книга была осуждена папой. Окончательно отойдя от католической церкви, Л.аменнэ в дальнейших своих сочинениях становится в ряды наиболее передовой политической партии и подвергается неоднократно преследованиям за свои нападки против июльской монархии. Его социализм предполагает лишь добровольное проявление братских чувств, людьми, просвещенными истинной верой и любовью. Ламеннэ является первым провозвестником католического социализма; влияние его заметно на многих представителях французского духовенства 40-х гг. XIX века (аббат Констан, Шантом), на Берне и Ренане.

[7] Лакордер Жан-Батист Анри (1802–1861) – французский католический проповедник, член Французской академии; восстановитель ордена Доминиканцев во Франции. Сначала был адвокатом, считался вольтерьянцем. В 1824 году занялся изучением богословия, принял духовное звание и выступил горячим защитником христианства, в котором находил единственно правильное учение о нормах общественного быта, и в частности католичества, в котором усматривал единственную форму христианства, способную осуществить его идеалы. Согласно с Ламенне, с которым он сблизился, Лакордер думал, что можно быть искренним католиком и в то же время сторонником политической свободы. В журнале Ламенне «l'Avenir» горячо отстаивал независимость церкви от правительства. После июльской революции основал вместе с Монталамбером, без разрешения государства, свободную коллегию. Коллегия была закрыта по распоряжению гражданских властей, а в 1832 году запрещен папой журнал «L'Avenir».

Подчинясь решению папы, Лакордер вступил в состав причта собора Парижской Богоматери и с церковной кафедры стал защищать ультрамонтанское, ориентированное на римский престол, а не на национальные веяния во французском католичестве учение в области богословия. Чтобы убедить высшее духовенство в своем отказе от прежних идей, Лякордер написал против Ламенне «Considerations sur le système philosophique de M. Lamennais» (1834). В 1841 г. Лакордер возвратился из Италии в Париж и снова с успехом проповедовал перед массами слушателей. В 1848 г. он вновь обратился к журналистике, издавал «Ere nouvelle» и был избран в члены учредительного собрания, но скоро сложил с себя депутатские полномочия. С 1853 г. предался исключительно заботам об основанной им коллегии. Язык проповедей Лакордера, полный антитез, романтики и лиризма, его поклонники называли «языком апостола».

Указатель имен

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

Содержание

План собрания сочинений Г. П. Федотова

1. Абеляр, статьи 1911–1925 гг. (вышел в свет).
2. Статьи из журналов «Путь», «Православная мысль» и «Вестник РХСД» (вышел в свет).
3. Святой Филипп, митрополит Московский (приложение: «Житие митрополита Филиппа», билингва) (вышел в свет).
4. Статьи 30-х годов из журналов ВРХСД, «Современные записки, «Числа», «Версты» (готовится к печати).
5. «И есть, и будет» (Размышления о России и революции) и другие статьи (вышел в свет).
6. Статьи из журналов «Новый град», «Современные записки», «Новая Россия» (готовится к печати).
7. «Стихи духовные» и статьи второй половины 30-х годов (готовится к печати).
8. «Святые Древней Руси» (вышел в свет).
9. Статьи американского периода (1942–1951 гг.) (вышел в свет).
10. «Русская религиозность: христианство Киевской Руси. X–XIII вв.» (вышел в свет).
11. «Русская религиозность: Средние века. XIII–XV вв.» (вышел в свет).
12. «Переписка с Татьяной Дмитриевой, И. М. Гревсом. Конфликт в Свято-Сергиевском богословском институте и другие материалы» (вышел в свет).

Георгий Петрович Федотов

Собрание сочинений в 12 томах

Том 5:

И есть, и будет

Художник *И. Бурый*

Формат 60x88/16. Гарнитура Нью-Баскервиль.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3857.

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”»
121099, Москва, Шубинский пер., 6